

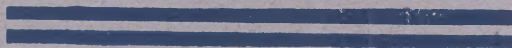
И О В Ъ И И  
М И Р

И О В Ъ И И

И О В Ъ И И  
М И Р

И О В Ъ И И  
1964

7



1964

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 7

Июль, 1964 г.

---

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ — Хранитель древностей, повесть	3
ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ЛИРИКИ: Петрусь Бровка — Слава, Мой шар земной!.., Люблю, прибав свой стол рабочий...; Пимен Панченко — В родных местах; Максим Танк — Письмо, найденное плугом, Шторм начался резким натиском... Перевел с белорусского Яков Хелемский	91
ВЕРА ПАНОВА — Из американских встреч	95
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Новые стихотворения	105
ВАДИМ ЕМЕЛЬЯНОВ — Зверушка, рассказ	115
Д. САМОЙЛОВ — набросок портрета, стихотворение	134
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН — Дорога на Тайшет	135
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Б. КЕДРОВ — Страница 100. Как родилось ленинское определение диалектики	171
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
НИК. СМИРНОВ — Первые годы «Нового мира»	185
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Л. ЧЕРНАЯ — Литература «дня ноль» (Заметки о литературе ФРГ)	198
В. СУРВИЛЛО — К вопросу о наследственности	214
З. ПАПЕРНЫЙ — Смех Чехова	224

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	233
М. Блинкова. Достоверность и схема.— О. Михайлов. Мишко Супрун — как он есть.— Е. Барышников. Изображение и слово.— В. Кутейщикова. «Старые моряки» и вечно юная мечта.— А. Турков. Народ — это люди.— Б. Сарнов. Глазами художника.	
<i>Политика и наука</i>	254
П. Деревянко. Ленин и военная наука.— Ф. Олещук. Неустаревающие мысли.— Ю. Гаврилов. Новые флаги над Африкой.— Ю. Буртин. О социологических исследованиях.— Эр. Ханпира. О языке — популярно.— С. Гомов. Унылое перо педанта.— М. Крутов. Господин Риттер переодевается.	
<b>Трибуна Читателя</b>	
И. Травкина — Гармония внешняя и внутренняя	272
КОРОТКО О КНИГАХ	278
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285
<b>Самуил Яковлевич Маршак</b>	287

---

---

---

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

★

## ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ

*Повесть*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Глава первая*

**В**первые я увидел этот необычайный город, столь не похожий ни на один из городов в мире, в 1933 году и помню, как он меня тогда удивил.

Выезжал я из Москвы в ростепель, в хмурую и теплую погоду. То и дело моросил дождичек, и только-только начали набухать за заборами, на мокрых бульварах и в бутылках на подоконниках бурые податливые почки. Провожали меня с красными прутиками расцветшей вербы, потешными желтыми и белыми цветами ее, похожими на комочки пуха. Больше ничего не цвело. А здесь я сразу очутился среди южного лета. Цвело все, даже то, чему вообще цвести не положено — развалившиеся заплоты (трава была прямо из них), стены домов, крыши, лужи под желтой ряской, тротуары и мостовые.

Час стоял ранний, дорога предстояла дальняя. От станции до города меня довезли, а по городу надо было идти пешком. Но Алма-Ата спала, спросить дорогу было не у кого, и я двинулся наугад. Просто потому пошел, что лучше все-таки идти, чем стоять. Шел, шёл, шел — прошел километра три и понял, что кружу на одном месте. Главное — не за что зацепиться глазом, все одинаково: глинобитные заборы, за ними аккуратные мазанки, редко белые, все больше синие и зеленые (потом я узнал, что здесь в белила хозяйки добавляют купорос); крепкие сибирские избы из кругляка, не закрытые, а прямо-таки забитые деревянными ставнями с черными болтами, кое-где рабочие бараки и желтые двухэтажные здания железнодорожного типа — с лестницами, балконами, застекленными террасами (только закончен Турксиб). И все это одинаково захлестнуто, погружено до крыш в сады. Сады везде. Один сад рос даже на мостовой: клумбы, газон, небольшой бетонный фонтанчик. Желтые тюльпаны, красные и сизые маки и тот необыкновенный цветок с черными глянцевыми листьями, не то багровый, не то красно-фиолетовый, который алма-атинцы приносят из-под ледников и зовут ласково и почтительно по имени и отчеству — Марья Коревна (Марьян корень, очевидно).

В другом месте, тоже прямо на мостовой, мне повстречалась рощица белых акаций. Просто повернул я за угол — и вдруг выбежала навстречу целая семья высоких, тонких, гибко изогнутых деревьев. «Восточные танцовщицы», — подумал я. И они в самом деле всем — лакированными баг-



ровыми иглами, перламутровыми сережками (точь-в-точь морские ракушки), кистями белых цветов (точь-в-точь свадебные покрывала), этой необычайной гибкостью напоминали танцующих девушек. От деревьев исходил сладкий, пряный запах, и он был так тяжел, что не плыл, а стоял в воздухе. Солнце еще не встало, а под акациями уже трубили шмели и кружили большие белые бабочки. Здесь я увидел, что зелень в этом городе расположена террасами. Первый этаж — вот эти акации. Над акациями фруктовые сады, над садами тополя, а над тополями уже только горы да горные леса на них. Вот сады-то меня и пугали больше всего: поди-ка разберись, где ты находишься, если весь город один сплошной сад — сад яблоневый, сад урючный, сад вишневый, сад миндальный — цветы розовые, цветы белые, цветы кремовые.

А над садами тополя. Потом я узнал — они и есть в городе самое главное. Без них ни рассказать об Алма-Ате, ни подумать о ней невозможно. Они присутствовали при рождении города. Еще ни улиц, ни домов не было, а они уже были.

Весь город, дом за домом, квартал за кварталом, обсажен тополями. Нет такого окна в городе, высунувшись из которого ты не увидишь бы прямо перед собой белый блестящий или черный морщинистый ствол. От Алма-Аты до Ташкента проходит большая дорога — день и ночь по ней мчатся грузовики. Но называется она не улица, не шоссе, не дорога, а просто — аллея. «Ташкентская аллея», — говорят алма-атинцы. И в самом деле, огромный сотнекилометровый тракт — всего-навсего только одна большая тополевая аллея.

Алма-атинский тополь — замечательное дерево. Он высок, прям и всегда почти совершенно неподвижен. Когда налетает буря, другие деревья, гудя, гнутся в дугу, а он едва-едва помахивает вершиной. Не дерево, а колоссальная триумфальная колонна на площади (не забудьте, каждому из этих великанов по доброй сотне лет). Но нет дерева более живого и говорливого, чем тополь. От самых корней до вершин он полон живой мелкой листвой, шумит, пульсирует, переливается серебром и чернью.

А над тополями уже горы.

Отроги Тянь-Шаньского хребта... Кажется, что два мощных сизых крыла распахнулись над городом — держат его в воздухе и не дают упасть. Но в то далекое утро сизыми эти крылья казались мне только снизу: там, где залегали дремучие горные боры, — вершины же их были нежно-розовыми. Кто был на Каспии, тот знает — вот так на заре горят чайки, когда они пролетают над водой.

Я стоял, смотрел на горы, на тополя, на белые акации под ними и думал: куда же идти, ведь здесь никогда не найдешь дорогу. Встало солнце, и хотя люди еще спали за замками, ставнями, болтами и решетками — город уже проснулся. С час как бойко шла переключка петухов. Горлачили — один бойчее другого — все дворы города. Не смолкая чирикал и заливался вишенник. С сухим электрическим треском вспархивала розовая и синяя саранча. Заливались где-то на задах лягушки. Потом я узнал: в городе зверья не меньше, чем людей. В городском парке по вечерам ухает филин. По улицам, как только смеркнется, носятся летучие мыши, иволги кричат и поют на автобусной остановке в центре. На тесовые крыши предместий (их тут зовут по-старому — «станции») садятся фазаны. Сидит такой красно-желтый красавец и тревожно озирается по сторонам: залетел с прилавка (так здесь называются травянистые холмы) и сам не поймет зачем. Дикие козочки забегают осенью и ягнятся в окраинных садах. Словом, нигде в мире, сказал мне один зоолог, дикая природа не подходит так близко к большому городу, как в Алма-Ате.

Нельзя сказать, чтобы улицы выглядели нарядно. Это еще не была «красавица Алма-Ата» сороковых, а тем более пятидесятых годов: хаты, хатки, странные саманные постройки, где добрую половину дома занимает стена, а окошко находится под крышей; потом вдруг выкажется крепкая, как орех, русская изба с резными подоконниками и широкими воротами, за ней потянется длинная турксібская постройка на целый квартал — масса окон, террас, дверей, лестниц — и снова хаты, хатки. Глина, саман, тес, тростник. Ни бутового камня, ни кирпича. Новых двухэтажных домов мало — старых совсем нет. В общем, мирно спящая казачья станица самого начала века.

И вдруг произошло чудо: я пересек улицу и очутился в совершенно ином городе. Улицы здесь были широкие, мощеные, дома многоэтажные, изукрашенные сверху донизу. К каждому из них вела лестница с огромными церковными ступенями из белого камня. Крыши у этих хором были тоже особенные — сводчатые, и кончались они то шпилем, то цветным куполом, то петухом. И везде резное дерево, белый камень, колонны, узорчатые водостоки.

Здание, мимо которого я шел, растянулось, как мне показалось, на несколько кварталов. Оно походило на старинный пассаж или крытые торговые ряды. Мне почему-то пришли в голову такие слова, как «Деловой двор» или «Славянский базар». А напротив «Делового двора» стоял самый настоящий дворец Шехерезады, такой, как его рисуют на коробках папирос — обвитая кружевами громадина с башней на крыше, с множеством окон и широкими узорчатыми дверями — не дверями, а целыми воротами. Так и хочется их распахнуть настезь.

Я повернул за угол и тут увидел знаменитый собор. Мне о нем пришлось много слышать и раньше, но увидел я что-то совершенно неожиданное. Он висел над всем городом. Высочайший, многоглавый, узорчатый, разноцветный, с хитрыми карнизами, с гофрированным железом крыш. С колокольной, лестницей — с целой системой лестниц, переходов и галерей. Настоящий храм Василия Блаженного, только построенный заново пятьдесят лет тому назад уездным архитектором. Собор стоял в парке, и около него никого не было, только на широких ступенях спал старый казах с ружьем за плечами, в войлочной шляпе. Я постоял, покашлял, вздохнул — старик все спал. Я тронул его за плечо. Он пошевелинулся, поднял голову, посмотрел на меня и очень чисто по-русски спросил, сколько времени. Часы висели напротив. Мы оба поглядели. Оказалось, что уже пять.

Сторож вздохнул.

— Рано, рано стали летом приходить поезда, — сказал он. (Я был с чемоданом.) — Вы что — прямо с вокзала?.. И пешком через весь город? Здорово! Значит, верст пять отмахали, если напрямик. Нездешний? А-а, нездешний! А куда же вы сейчас? А-а, на Октябрьскую? Ну, ну! Значит, в бывшие номера? Да нет, нет, не закрыты. И сейчас какие приезжающие останавливаются. Есть, есть такие! Их в тысяча девятьсот одиннадцатом году один наш семирек отстроил. Ну как же, все, все знаем! Во время гражданской в них еще товариш Дмитрий Фурманов проживал. «Мятеж» его читали? Ну вот, как раз про них! А вот так и пройдете — прямо, прямо через парк — и они. Сразу увидите их. Крыльцо такое выдающее и крыша скатом. Их сразу узнаете. Они среди всех зданий выделяющие. Тоже зенковской постройки.

— Какой? — спросил я. — Зен... зенковской?

— Ну, зенковской, зенковской, — повторил сторож настойчиво. — Вот сразу видно нездешнего. Андрей Павлович Зенков. Он при царизме весь этот город снова выстроил — вот все это! — Сторож сделал рукой круг. — И собор этот тоже его. И собор, и ряды, и магазин Шахво-

ростова, и офицерское собрание, и благородное собрание, и две гимназии, и суд окружной (там теперь типография) — все, все его.

— Как, все построил один человек? — спросил я.

— Один, один — не десять! — подтвердил он с удовольствием. — Андрей Павлович, инженер Зенков. Знаменитейший строитель был. И теперь еще жив. Но теперь что... А я еще его когда помню! Тогда помню, когда на этом месте ничего не было. Все начисто землетрясение снесло. Одни завалы остались. Я молодой парень был, батрачил. Так нас с лопатами сюда гоняли. Хотели уж на другое место город перенести и с Зенковым советовались, а он отсоветовал. Говорит: «Незачем переносить — строили неправильно, вот и снесло. А мы построим как следует — и будет стоять век. Ни одно землетрясение не шелохнет». И вот верно, стоит — не шелохнется.

— Так, может, и землетрясений с той поры не было? — спросил я.

— Здравствуйте! А одиннадцатый год? — обиделся сторож. — Страшнейшее землетрясение было! Земля провалилась, горы разошлись. А что зенковское было, то так и осталось стоять. Даже стекла не повывлетели. А вы знаете, какое это строение? Второе в мире по высоте. И ни гвоздя, ни железинки — одно дерево — вот! Что там — никто не знает, может — клей какой. Весь мир удивляется. Иностранцы приезжали — смотрят, ничего понять не могут, как так? Вот что это за здание. А вы: «Землетрясений не было!» Тут такое было, что...

Он махнул рукой, кинул берданку через плечо и пошел вокруг собора.

Так через несколько часов после того, как я прыгнул со ступенек вагона на алма-атинскую землю, пришлось мне услышать от первого же встретившегося мне старого казаха это имя. «Андрей Павлович Зенков. Знаменитый инженер — тот, кто отстроил город Верный после землетрясения».

А осенью 1960 года, уезжая из Алма-Аты, я зашел в Центральный музей Казахстана и попросил дать мне снимки всех строений Зенкова. В музее у меня старое и доброе знакомство. Во время оно я пробыл там три года старшим научным сотрудником и делал все, что мне поручали: ездил в экспедиции и командировки, разрывал курганы, описывал древние черепки, диктовал старенькой, дряхленькой машинистке текстовки ко всем вещам мира, неосторожно попавшим в музей, от николаевской копейки до летучей собаки с Яванских островов, делал еще сотню дел, больших и малых, нужных и ненужных, и в музее меня помнили. Через пять минут сотрудница принесла мне целую гору снимков. Кто-то догадался их уложить в черный конверт из-под фотобумаги. Я раскрыл его, встряхнул, и вот на стол посыпались один за другим виды старого Верного — все, что чертил, рассчитывал и строил Зенков. Я увидел черную весну, бревенчатый мост без перил и свай через тихую грязную речонку, а вокруг тонкие, голые прутья ив, затем деревянное здание офицерского собрания, высокое, нарядное, кудрявое — не то купеческий памятник где-то на Ваганькове, не то фанерная пирамида в парке — терем в русском стиле с высоким-превысоким крытым крыльцом с петухами и деревянными полотенцами; около него остановились бородатые мужики и, улыбаясь, глядят в объектив аппарата. У терема широкие ступени и маленькая дверь в глубине крыльца — это производит впечатление мощи и устойчивости так, как ее понимал архитектор Зенков. Он был очень затейлив, этот огромный ларец, неуклюжий и сквозной, весь увешанный деревянными кружевами и полотенцами.

Еще и еще падали на стол снимки, и вот мелькнул покатый, тупой (ни дать ни взять мучной ларь) архиерейский дом; выпретенное и лаконичное, как вицмундир чиновника, застегнутый на все пуговицы, здание

гимназии (здесь учился Фрунзе); магазин колониальных товаров купца... купца... Я так и не разобрал его фамилии, набранной светлыми металлическими буквами на высокой и крутой, как радуга, вывеске, прочел только, что торгует он с сыновьями.

Удивительно точно и ясно вышла на старой фотографии диковатая и смешная молодость города. На ней все молодо и непривычно. Вот растет на первом плане тонюсенькое дерево, коленчатое, с ветвями только у самой вершины, такое, какое теперь никогда не встретишь на улицах Алма-Аты. Сейчас от самых гор до вокзала несется сплошной поток не умолкающей ни на минуту зелени. Она такая густая, что даже фонари здесь тоже кажутся зелеными. А на снимке торчит что-то узловатое, кривое, несуразное. Но ведь я отлично знаю это дерево. Оно и до сих пор растет там же, на углу Красина и Горького. Под ним у меня и встречи были разные, и свидания я назначал там. Это такой же чернокожий, шумливый великан, как и все его собратья, что ныне сторожат улицы Алма-Аты. Значит, сколько же лет этому снимку? Тридцать, сорок, пятьдесят? Еще больше?

Стоит перед открытой дверью магазина понурая лошаденка с телегой, а на ней сидит кто-то, свесив ноги в сапогах, и ждет. Еще одна лошадь идет снизу — я знаю, с мучного рынка, от лабазов купца Шахворостова. Сейчас здесь заводское здание, но я застал еще эти белые, приземистые, слепые строения, похожие на монастырскую стену. Идут быстрым, бодрым шагом двое мужчин — тоже в сапогах (семиреки не любят ботинок). На ступеньках сидят (смотрю уже в лупу) две старухи, а около них раскрыты мешки. Неужели продают семечки? А здесь ведь, похоже, не расторгнешься, милые! Считаю: двое идут, двое сидят на телегах да еще две — значит, всего шесть человек. Подумать только! Шесть человек в яркий солнечный день на протяжении двух кварталов самой людной в городе улицы!

Итак, ранняя весна какого-то фантастически далекого года — десятого или одиннадцатого — возле узорчатого строения Зенкова. Я люблю рассматривать старые снимки тех мест, по которым хожу уже добрых полсотни лет. На них все смешено во времени и на все проливается какой-то новый, резкий, боковой свет. Вещи от него молодеют, люди улыбаются и становятся во фронт, старые, вросшие в землю здания снова вздымают свои фасады и резные узорчатые главы.

Однажды в ясный весенний день какого-то из этих годов бродячий фотограф (представитель Всемирного почтового союза, как значится на открытке) установил здесь на мостовой свой треножник, мановением руки разбросал зевак и щелкнул объективом. Это было лет пятьдесят тому назад; и вот через полстолетия я смотрю на все, что он увидел, его же глазами. Он удивлялся — и я удивляюсь. Он радовался всем этим необычным куполам, радугам и шпилям — и я радуюсь.

А о строителе этого великолепия я и посейчас знаю не так уж много. Знаю, что он был военным инженером («фортификатором», как тогда говорили) и строил не только быстро и пышно, но еще — и это главное — крепко. А это в Верном ценилось превыше всего.

У города Верного в то время была тревожная и плохая слава. Его знали как край света и гнездо землетрясений необычайной разрушительной силы, как город на вулкане.

Говорили, что в городе Верном надо строить либо глухие деревянные коробки, либо одноэтажные, плоские, прижатые к земле дома с толстыми стенами и мощными фундаментами.

Но Зенков возражал: нужны цемент, железо и дерево. И вот он начал возводить из тьянь-шаньской ели многоэтажные здания, окружал центр обширными дворцами и наделял эти дворцы всем тем, что должно было

неминуемо рухнуть при первом же толчке — шпилями, куполами, башнями. Он как бы смеялся над разрушительной силой землетрясения, дразнил ее.

«С глубокой верой за успехи будущего я не боюсь за наш город,— писал Зенков в «Семиреченских областных ведомостях»<sup>1</sup>,— за нашу Семиреченскую и в то же время сейсмическую область. Я верю в ее будущее, я верю, что... наш город украсится солидными, в несколько этажей, каменными, бетонными и другими долговечными строениями... При специальном устройстве фундаментов... вполне допустима конструкция грандиозных по высоте до 30—40 этажей... зданий...» И дальше: «Наблюдательный ум человека, его энергия, гений творчества, покоряющий стихийные силы природы — (замечательные слова находил Зенков, когда писал о своем высоком ремесле),— уже теперь вселяют надежду, что стихийная сила землетрясений не страшна грандиозным постройкам человека».

Прошу заметить: это писалось в марте 1911 года, сейчас же после великого — десять баллов — землетрясения<sup>2</sup>.

Жертвы этой второй катастрофы были тоже очень велики (хотя в десять раз меньше предыдущего), но из великолепных дворцов Зенкова не обрушился ни один. Дерево не подвело его! А в самом грандиозном творении Зенкова — кафедральном соборе — уцелели даже стекла. «При грандиозной высоте,— писал он об этом своем творении,— он (собор) представлял собой очень гибкую конструкцию. Колскольня его качалась и гнулась, как вершина высокого дерева, и работала, как гибкий брус».

Читаешь и видишь, как раскачивались и гудели в Верном тополя во время землетрясений.

Зенкову удалось построить здание высокое и гибкое, как тополь. Какая похвала может быть выше! И город выстоял. Он не потерял ничего. Все дворцы, гимназии, лавки, соборы остались целыми. Такими мы их видим и сейчас. Время, правда, внесло кое-какие коррективы в творения Зенкова. В одном месте сняли крыльцо, в другом в стене прорубили дверь, но все это чепуха, мелочь — в общем-то здания не изменились. Не изменился и зенковский центр города. И когда идешь, скажем, по улице Горького (бывшая Торговая) и видишь пышные деревянные ансамбли: деревянные кружева, стрельчатые окна (только не считайте, что это готика!), нависшие арки, распахнувшиеся, как шатер, крылья низко спустившихся гребенчатых крыш, — то понимаешь: это все Зенков — его душа, его золотые руки, его понятия о красоте. Ничего из его наследства не тронута ни людьми, ни временем, ни землетрясениями. Землетрясениями-то особенно. Они ведь действительно больше не страшны его городу — бетонному, каменному, многоэтажному, долговечному, такому, о котором он писал в газете «Семиреченские областные ведомости» полстолетия тому назад.

Я видел фотографию Зенкова той поры — поры его славы. Это еще молодой, красивый офицер, стройный и подтянутый. Чем-то — нервной ли худобой лица, офицерскими ли усиками, или этим знаменитым по

<sup>1</sup> Номера от 8 и 10 марта 1911 года.

<sup>2</sup> А оно было точно очень велико. Земля после него долго гудела, как огромный колокол. «Как сейсмическое явление, по определению ученых (акад. Голицын), землетрясение это является одним из величайших, известных науке. Оно во многом превышает силу свою последние землетрясения в Мессине, Шемахе и в самом г. Верном в 1887 г. Сейсмографы многих сейсмических станций Европы были им испорчены и перестали работать, чего не было при землетрясениях предыдущих» (Отчет князя Багратиона Мухринского, «Семиреченские областные ведомости», 15 апреля 1911 года).



всем снимкам плащом-крылаткой со львами — он разительно напоминает лейтенанта Шмидта.

И еще я знаю про Зенкова, что он любил красивые вещи. Вернее, не красивые, а изукрашенные. В музее хранится его портсигар из уральского камня. На нем не осталось живого места. Он весь в вензелях, образках, разноцветных жгуче синих и розовых эмалях с картинками и видами. На протяжении ладони насажено около трех десятков этих разнообразных цветастых, узорных, крошечных предметиков. Я смотрел на эту чудесную игрушку и думал: как же все это похоже на творчество самого Зенкова! В течение полувека этот замечательный строитель рассчитывал, чертил и возводил все, что ему заказывали власти и частные лица — особняки, мосты, церкви, церквушки, магазины и лабазы. И строил он их по одному плану. Он терпеть не мог обнаженного пространства и всюду, где только мог, скрадывал его, устремлял карнизы вверх и снова рушил их с высоты; изгибал и ломал линии крыш, украшал их мелкой резьбой и, заканчивая, воздвигал как пьедестал всему огромное гладкое лобное место крыльца, а потом накрывал его еще сверху куполом; в городе, подверженном землетрясениям, он возводил шпили, арки над окнами, узорные решетки на окнах, крыл их киноварью и зеленью (а охру, видно, не терпел), и мне кажется, что причудливые павильоны нижегородской промышленной выставки навсегда остались для него идеалом красоты, легкости и богатства.

Именно поэтому каждое его здание узнается безошибочно. Узнается по резным оконным рамам, по ажурному железу, по дверям, по крыше, по крыльцу, а главное, по свободному сочетанию всего этого. А то, что этот стиль не стал стилем города, в этом Зенков не виноват. В ту пору не было и не могло быть никакого стиля у города Верного. Он рос стихийно, произвольно — то лез на прилавки, то сбегал в овраги, то прижимался саманными, подслеповатыми избушками к одной речке, медленной и грязной (ее и звали-то Поганка!), то шарахался всеми своими теремами и башнями к другой — к кипучему горному потоку, бьющему прямо из ледников. Он был так молод, жизнелюбив, энергичен, что никакой стиль не мог бы подчинить его себе...

И все-таки представить себе Алма-Ату без построек Зенкова невозможно. При всей его любви к архитектурным побрякушкам, резному дереву и гофрированному железу, было у него какое-то честное и четкое единство детали, что-то такое, что роднило его здание с рождественской елкой, разукрашенной снизу доверху. Тут тебе и звезда, тут тебе и петухи, тут еще и другие бессмысленно красивые завитушки и кренделя. И есть, есть в его зданиях что-то действительно нарядное, по-настоящему ликующее и веселое. Он хотел радовать и удивлять людей, и, конечно, ему это удавалось. Я уверен, что люди, проходя мимо его здания, поднимали головы и улыбались — до чего же это все-таки забористо! Выкиньте Зенкова с его чудесными теремами и башнями из города Верного — и сегодняшняя Алма-Ата станет уже чуточку иной. И даже не чуточку иной, а совсем иной, потому что она лишится своего главного украшения и естественного центра — поразительного зенковского собора. А представить Алма-Ату без этого полужантасического здания попросту невозможно.

Я уже говорил: во время моей работы в музее мне пришлось составлять и писать всякое — от инвентарных списков старой мебели до ругательных писем лицам, не возвратившим нам экспонатов. Кажется, все вещи в мире были тогда названы и объяснены мною с помощью Брокгауза и Ефрона, и только о соборе, в котором я работал (ныне там Музей республики), я так ничего и не написал. Да это было и понятно.

Никто тогда не интересовался архитектором Зенковым<sup>1</sup>. Поэтому и я знаю о соборе только то, что вычитал в старых газетных подшивках. Вот говорят и даже пишут в путеводителях, что это второе по высоте здание в мире, выстроенное из дерева (недавно в газете я прочитал даже: «Высочайшее в мире деревянное здание»). Может быть, может быть... Хотя я и не особенно в это верю. В самом деле, кто сравнивал высоту зенковского собора и того, первого в мире, которое, как говорят, находится где-то в Испании или в Канаде? Кто вообще собирал сведения о сравнительной или абсолютной высоте деревянных зданий в мире? Тут все непонятно и недоостаточно, начиная с Испании. Ведь Испания — страна камня, обожженной глины, широких известковых плит и гранита. Католические культуры вообще не любили строить из дерева, и если искать, где собор еще более высокий и великолепный, чем алма-атинский, то, вероятно, лучше бы обратиться к северу: Великому Устюгу, Архангельску или даже Аляске<sup>2</sup>.

Все, что я писал о зданиях Зенкова, полностью относится к этому собору. Он так огромен и высок, что его не окинешь взглядом. Так пышен, что, если глядеть близко, не разберешь, что в нем главное, а что второстепенное. И вообще если пройти к нему от дома офицерского собрания (а для этого надо только пересечь парк), то увидишь, что и на церковное-то здание этот собор не очень похож. И тут и там те же самые купола, те же шпили, резные карнизы, узорные чердаки, шатрообразные крыши. И кажется, водрузи на офицерском собрании еще луковку с крестом, то и будет та же самая церковь. Вообще в архитектурной мистике строитель верненского собора понимал не много. Оно и понятно. Человек он был деловой и светский, на своем веку строил торговые ряды, офицерское собрание, дворянское собрание, и когда ему наконец город заказал кафедральный собор — невиданный, огромный, богатый! — он и для бога соорудил те же губернаторские хоромы. И все-таки повторяю: собор великолепен, он огромен и величествен так, как должно быть величественно всякое здание, вписанное в снега Тянь-Шаньского хребта. Город, лежащий около его подножия, оказался поднятым им на высоту добрых сорока метров. В варварских побрякушках этого здания отлично выразился весь дух старого Верного, как его нам построил Зенков: его молодость, его оторванность от всех исконных устоев, его наивность, его самостоятельность и наконец залихватское желание не ударить в грязь лицом перед миром.

<sup>1</sup> О личной жизни Зенкова, кажется, никто ничего еще не писал. Именно поэтому и хочется привести клочок воспоминаний, появившихся в год смерти замечательного строителя. «В его маленьком гостеприимном флигельке у головного арыка побывало много строителей, и каждый уносил оттуда чувство большой теплоты к этому старику. Он любил город и край, в котором проработал больше полвека. Помню, собрались мы выбирать место для строительства лесозавода на реке Или (он был тогда губернским инженером). «Выедем в понедельник», — сказал я. «Нет, в понедельник не удастся — там выпадет снег», — ответил он. (До понедельника оставалось еще четыре дня!) И он оказался прав: мы сумели выбрать место только на следующий за тем день. Я навсегда запомнил и поездки с ним, и встречи, и рыбную ловлю на реке Или. Он был большим мастером рыбной ловли и любил охоту на фазанов (П. Григорьев).

<sup>2</sup> Во всяком случае на торжестве открытия собора епископ Туркестанский Дмитрий назвал его попросу «одним из величайших деревянных храмов нашего отечества». Мне кажется, что эта осторожная формулировка ближе всего к истине. Говорят еще, что весь собор построен без железа — ни гвоздя, ни болта. Но это уж вовсе неверно. Сам Зенков писал о колокольне так: «Стены ее в углах и простенках прошиты восемью сквозными вертикальными болтами».

Вокруг храма раскинулся огромный городской сад, растут тополя, дубы, сосны, липы, шумит веселый мелкий кустарник, распускаются ирис и розы, бьют фонтаны.

А внутри собор огромен. Его своды распахнуты, как шатер: под ними масса южного солнца, света и тепла, оно льется прямо из окон в куполе на каменные плиты пола, и когда разблестится ясный, солнечный день, белый купол кажется летящим ввысь, а стены как бы парят в белом и голубом тумане. И вообще в этом лучшем творении Зенкова столько простора, света и свободы, что кажется, будто какая-то часть земного круга покрыта куполом. Это очень южный храм, в нем все рассчитано на свет и солнце.

Мы, северяне, знаем совершенно иные храмы. В них потолки низки и давят, в них пространство зажато и стиснуто в узких угловатых сводах. В них темно, тесно и страшно. И все в таких соборах свое, собственное, мистическое — и лики икон, и тусклые пятна лампад, и черное серебро подсвечников.

А Зенков отдал богу только то, что он много лет привык давать людям — белые высокие стены, белые же своды купола, в прорезы которого видно чудесное алма-атинское небо, голубые и розовые иконы, похожие на картины. И писал эти иконы не монах, не богомаз, а учитель рисования — художник Хлудов, такой же великий украшатель, как и сам строитель Зенков<sup>1</sup>.

### *Глава вторая*

Прошло не то четыре, не то пять лет. Получилось так, что в этом соборе я и стал работать.

Первое, с чем я познакомился, придя туда, был церковный чердак. В самый день моего поступления меня свела туда заведующая хранением. Дело в том, что на чердаке этом уже года три стояло несколько заколоченных ящиков с караханидскими (XI век!) черепками, и заведующей, девушке еще очень молодой, но хозяйственной и бережливой — ее

---

<sup>1</sup> Приведу некоторые из теоретических положений Зенкова, сопоставив их с данными современной науки.

Сейсмостойкое здание, пишет Зенков, должно:

1. Строиться из дерева или его заменителей. Здесь разногласий нет. «Только эластичные материалы и конструкции являются действенными антисейсмическими факторами в руках архитектора» (Н. Бачинский, «Антисейсмика в архитектурных памятниках Средней Азии»).

2. Иметь очень глубокий фундамент. «Опустите глубоко в землю фундамент — и вы не будете бояться за целостность вашего жилища». Вот это положение Зенкова признано только в последнее время: «Изучение последствий землетрясений показало, что малая глубина заложения фундамента отрицательно отражается на прочности сооружений во время землетрясений» (К. Николаев, «Некоторые положения строительства в сейсмических районах»).

3. Иметь обширные зазоры между землей и фундаментом. Ибо «каменный дом, не соприкасающийся в своем основании с верхними слоями земли, не боится землетрясений; подвал должен быть устроен под всем домом, так как он перехватывает сейсмические волны» (Зенков).

А вот что пишет советский инженер Ф. Зеленков о предложенном им (как он считает — впервые) сейсмоамортизаторе: «В данной работе впервые описан новый метод... Для этой цели использован специальный фундамент, который отделяет, то есть изолирует, здание от земли воздушным зазором и тем самым от сейсмических ударов со стороны земли». Автор упоминает много имен, но имени Зенкова среди них нет.

Как развитие и продолжение этой мысли необходимо, считает Зенков, «огорожде-

звали Клара Фазулаевна,— страшно хотелось, чтобы я из них слепил хотя бы с десяток сосудов. Уж больно хороши были эти черепки — блестящие, новешенькие, разноцветные: и небесно-голубые, и черно-зеленые, и какие-то шоколадные.

«Понимаете,— умильно говорила она мне,— ведь тут все, все осколочки целы, и даже свой номер на каждом осколочке, тут только руки приложить». Руки я к черепкам прикладывавать не стал, но на чердак полез и с тех пор туда зачастил.

Чердаки — моя слабость. Я их люблю и понимаю с детства. Когда мне было лет десять, мы жили в Москве в большом, хмуром пятиэтажном доме, и самое лучшее в нем был чердак. Каждый день несколько часов я проводил там. Было страшновато, тихо и хорошо. Стояли необычайные вещи, каких на земле нет — оленье рога, поросшие мохнатой пылью, разбитый аквариум, чучело совы. Порой из старого умывальника показывалась морда огромной плюшевой крысы, и я замирал от восторга. Незнакомый кот, чудесный и рыжий, вдруг появлялся у слухового окна — стоял гордый, прямой и подтянутый и смотрел на меня. Как он не походил на тех худых, шершавых и умильных попрошаек, которых мне не разрешалось брать на руки. В щелях и застрехах пищали воробьята, и, если встать на цыпочки, можно было достать целую горсть их, страшно горячих, трепещущих, влажных. Внизу ничего этого, конечно, не было.

Но музейный чердак, по совести, был самым необычным из всех, которые я видел. Там лежали черепа. Представьте себе, вы по узенькой темной лесенке, как на колокольню, взбираетесь наверх, согнувшись, чуть не на животе протискиваетесь в узкую дыру и сразу — желтоватый рассеянный свет, тишина, какие-то острые, хрупкие звуки — не то балка треснула, не то птица села на крышу, — запах земли и смолистых бревен. А под ногами черепа — целая верещагинская пирамида черепов. Сколько их тут было! Черепа длинные и круглые, черепа клыкастые и совсем беззубые, черепа рогатые и безрогие, черепа птичьи и звериные, черепа на полу, в фанерных ящиках, на балках и прямо под ногами. И кто только не сложил тут свою вольную голову: рядами лежали архары с узорчатыми зубами, поодаль от них — тигры с коварными, по-кошачьи узкими и косыми глазницами, в углу — волки, тоскливые, длинные, свирепые собачьи морды. Их да еще кабанов здесь было больше всего. Отдельно лежало несколько медвежьих черепов — лобастых и скуластых. А на балке, прямо перед входом, как две пики, торчал турий череп. Под ним в ящике из-под сигар я нашел клык пещерного медведя. Я долго вертел его в руках. Это было самое настоящее орудие убийства — массивное, шерботое, свирепо изогнутое, как сапожный нож или ятаган для вспарывания животов. От него так и веяло одиночеством каменного века. Совсем недавно я прочитал исследования одного ученого немца.

---

ние здания рвами, которые при твердых грунтах могут засыпаться землей». Вот эту мысль Зенков вынашивал несколько десятилетий, после того как в 1887 году он наткнулся на следующие необычные явления.

После катастрофы 1887 года оказалось, пишет он, «деревянная минная галерея в г. Верном на расстоянии всего 12-ти верст от эпицентра (Аскайское ущелье) испытала, очевидно, настолько легкое сотрясение, что в ней не везде осыпалась земля». А в катастрофический 1911 год Зенков сделал и другой опыт: «Окопал свой дом антисейсмическим рвом» «Результаты считаю блестящими. При землетрясениях в 6 баллов,— пишет он,— только слышу гул, жду толчков, но их уже не испытывает мой дом, окруженный рвом... Семь месяцев ходят ко мне люди смотреть ров».

Этого опыта Зенкова, кажется, еще не изучал и не повторял никто.

Пещерный медведь, пишет этот немец, не заслужил своей свирепой репутации. Это было смиренное травоядное животное; и даже так — это было самое первое животное, прирученное человеком. Еще не родился в волчьей норе тот щенок, от которого пошли собаки, а медведь уже ворочался и порывался в каменной нише, куда его запер человек.

«Грузное травоядное животное; проводящее треть своей жизни в зимней спячке, — пишет исследователь, — должно быть, было для человека чем-то вроде кладовой. Ощувив голод, достаточно было пойти по подземной галерее, найти нишу и угостить (!) медведя по голове (нет, вы представляете себе, как все это выглядело!). Наш предок поступал почти так же, как современный человек, идущий в хлев, чтобы зарезать свинью».

Не знаю, не знаю! Все, конечно, может быть: и человеческие и звериные репутации одинаково неустойчивы. Вот прочел я однажды в специальной литературе, что горилла — смиренное, добродушное животное и ее обожают жители Конго, что страшная зубастая рыба, способная за десять минут обглодать до костей вола, никогда не нападает на человека, что пещерный лев был полосатым, как тигр, и вообще был тигром, а не львом. Даже Джоконда, говорят, не Джоконда, а портрет какой-то куртизанки (только куда же тогда девать ее знаменитую улыбку?!). Что ж, может быть, по этой логике и пещерный медведь тоже не медведь, а что-то вроде допотопной свиньи. Но, по совести говоря, когда я вспоминаю этот желтый разбойничий клык и чувство, с которым его вертел, подбрасывал и взвешивал на ладони, мне не верится немецкому ученому. Нет, это-таки был медведь, и клыки у него были медвежьи, людоедские! Я долго таскал его в кармане, подумывал даже, а не про сверлить и не сделать ли из него талисман, но потом добросовестность взяла свое, и я опустил его обратно в ящик. Так, наверное, он лежит там и по сегодня.

На чердаке было очень жарко и душно. Воздух здесь стоял неподвижной болотной заводью. Свою долю тепла испускало все — еловые стропила, крыша, черепя, пол. Пол-то особенно. На добрый метр он был устлан голубиным пометом. Это мне казалось необъяснимым: Голубей ведь в городе нет, так откуда же взяться их помету? Никто этого не знал. Молодые не интересовались, а старики не помнили. И вот однажды музейный столяр все-таки рассказал мне о верненских голубях. Это был высокий кряжистый старик — пьяница и матерщинник, в промасленной тельняшке, заляпанной краской. Тридцать лет он прослужил в соборе и многое видел: видел он и то, как улетели голуби.

Помню, сидит он перед печуркой, мешает в консервной банке щеточкой черный вонючий клей и не торопясь говорит сварливым голосом:

— Голуби! Ты меня об них спрашивай, кроме меня никто ничего не может помнить. Ты знаешь ли, сколько их тут было? Фатальоны! — (Была у него такая счетная единица — тысячи, миллионы, фатальоны.) — Я этих голубей очень хорошо помню. Батюшка раз за краской меня посылал на чердак — новый иконостас мы делали, так золото понадобилось. Залез туда я — как они взлетят! Как крыльями засвистят! Ну! Сразу стало темно! Закричал я: «Кыш вы туда-то!» — и сорвал голос. Пылью задавился, кашляю, давлюсь, ничего не вижу. Одна пыль в роте, да они свистят крыльями. И все меня по лицу, по лицу, по лицу! Вот ведь сволочи! Вылез я кое-как и бежать. Да как приложусь ногой о ступеньку, чуть не до кости коленку просадил. Прилез вниз в пуху и пыли, все лицо заляпанное, стою и ничего не соображу. Поп меня увидел, как грохотнет: «А краска-то где?» А какая там краска? Я еле дух перевожу. «Там, говорю, у голубей ваших, мать ихнюю так...» Грохочет: «Ты что ж, гово-



рит, голубей испугался, что они тебе, такой дубине, исделать могут?» — «Что? А сбросить вниз в лучшем виде». Совсем зашелся. «Да что это тебе, говорит, орел или ястреб? Это же, говорит, голубь, голубица, Христова птица, про них и в писании сказано: «Незловивы, яко голуби». Полезай сейчас обратно, вон художник стоит ждет». — «Нет, говорю, ваше преподобие, не полезу! И ты мне про птицу-голубицу не толкуй. У Христа особые голуби были, белые, вон что над алтарем или что по крышам ваши сынки-балбесы метлой гоняют, а это, говорю, сволочь необузданная...» Так и не полез, потом уж сам художник лазил. Не знаю уж, как он там с ними...

— А улетели-то они как? — спросил я.

— А улетели они вот как, — ответил он, прихватил тряпкой консервную банку, снял с огня и поставил на стол. — В один час собрались стайей, погуркали-погуркали между собой, взвились, сделали круг над собором и улетели. Весь город смотрел. Вон туда улетели! — Он махнул рукой к горам. — Все садами, садами летели, а дальше — в лес и в горы. Мой сосед заинтересовался, поскакал за ними, я потом его спрашивал. «Куда делись, говорит, окончательно сказать не могу, я их ночью потерял. Они чем дальше, тем все ниже летели, потом кто послабже на яблоньку, на траву стал садиться. Ну, а стая-то, конечно, та дальше летела». Так и скрылись. Вот как они улетели, никто этого не помнит, один я помню.

И сколько потом я ни спрашивал старожиллов, сколько ни толковал с местными краеведами, никто ничего прибавить не смог. Вчера их около собора было тысячи, а сегодня посмотрели — ни одного нет. Я и раньше слышал о чем-то подобном. Какая-то таинственная сила иногда вдруг поднимет, взметнет с места какое-нибудь мелкое зверье и гонит, гонит его на новое место. Начинают, например, идти белки. Идут, идут, идут. Идут десятками, сотнями тысяч. Прыгают по сучьям, карабкаются по стволам, ковыляют по земле. Никого не боятся, ничего не видят. Поле так поле, улица так улица — им все дорога. Идут напролом в какую-то только им известную сторону. Так, говорят, в старом Петербурге со Щукина двора однажды двинулись крысы. Было их не сотни тысяч, а миллионы. Шли среди бела дня посередине мостовой. Вставали трамваи, шарахались и неслись, как от волков, хрипящие лошади — крысы все шли. Пересекли несколько улиц, дошли до Невы и как в землю канули. Было такое же и с альпийскими пеструшками. Но птицы, но сизари...

Я думал об этом, сидя на чердаке и разбирая черепа — волк к волку, тигр к тигру, кабан к кабану.

Однако на чердаке я бывал только изредка. Разборка черепов не входила в мои прямые обязанности. Все служебное время я сидел у себя в «археологическом кабинете». Так называлась обширная светлая комната на хорах собора. Над этой давнишней надписью кто-то намалевал другую: «Хранитель древностей», а еще кто-то прибавил: «И ходить к нему строго воспрещается», а третий просто прибил жестянку — череп и две кости. Я часто думал, что здесь было раньше? Регент ли в ней занимался с хором, божественные предметы сюда таскивали или еще что? Комната мне не нравилась: было в ней жарко и душно, а главное — высоко, попробуй полазай сюда с полным беременем камней да железа. А камней у меня было много. Почти все экспонаты были камни. Ведь древнее Семиречье — это не античное поселение. Это там амфоры, терракота, камни, черно-красные вазы — здесь же серые глыбины с надписями, выбитыми железом, каменные болваны, чудовищные бронзовые котлы, которые не повернешь и не подвинешь, светильники на железных козлиных ногах, каждая нога по центнеру. Всего этого у меня собралось столько, что негде было сидеть. Середину «кабинета» занимала огромная стеклянная витрина с надписью: «Индустрия каменного века».

Когда-то эта «индустрия» стояла в самом музее. Теперь ее перетащили ко мне, и она сразу забила всю комнату. Места осталось только для мраморного столика на тонких железных ножках — такие стоят в пивных — да двух стульев.

Придя сюда, я прежде всего решил навести порядок. Заперся и стал все разбирать. Щиты — в одно место, ящики с камнями — в другое, бронза и монеты (монеты лежали в сумках) от екатерининских пятаков до римских динариев и серебристых чешуек с арабскими надписями — в третье и четвертое. Одно это заняло у меня больше месяца. И тут, на ходу, только на одну минуту открывая и захлопывая ящики, я увидел, какое богатство накопили здесь мои предшественники.

А предшественники у меня были знатные. То и дело, например, попадалась фамилия Кастанье. «Из сборов Кастанье», «Из коллекции Кастанье», «Описано Кастанье», «Смотри рисунок в монографии Кастанье» и так далее. Этим человеком я заинтересовался уже намного позже. Тогда же мне просто было от него некуда деваться. Столько он насобирал камней. И там Кастанье, и тут Кастанье, и везде один и тот же Иосиф Антонович Кастанье — «ученый секретарь Оренбургской архивной комиссии» (так он подписывался под своими статьями). «Преподаватель французского языка в Оренбургской гимназии» (так в одной строчке сообщил о нем Венгеров). Этими титулами, пожалуй, исчерпывается и все, что я о нем знаю. Да и только ли я один? И никто ничего не знал о Кастанье. Много позже мне пришлось просмотреть с добрую сотню словарей и библиографических справочников, я ни в одном из них не нашел упоминания о нем. Так я и не знаю, когда он родился, когда умер и даже какая цена его книгам. Знаю только, что был он подвижен и энергичен необычайно. Семиречью предан фанатично. Куда он только не совался с ним! В Париж, в Музей человека, где он вручил «великому Мортилье» доклад о каменных бабах; в Тулузу, где он говорил о них же со «знаменитым Картаньяком»; в Мадрид, где он в археологическом музее изучал иберийские надгробья. В Берлин, на Корсику, в Тунис на развалины Карфагена. Все идеи и образы мировой истории, осевшие золотом, мрамором, гранитом и бронзой, этот человек хотел привлечь для того, чтоб они объяснили ему, что же такое каменные бабы его родных степей. Ничего из этого, конечно, не вышло. «Карфаген и царство инков» только вконец запутывали дело. Тайна так и осталась тайной. «Да, повторимость идей, как мне сказал еще недавно знаменитый Картаньяк, но не общность народа, — меланхолично писал он. — Разве мы не видим египетских пирамид в Мексике, скифских курганов в долине Миссисипи, каменных баб русских степей в древнем царстве инков? Одни и те же причины могут породить одни и те же следствия». Вот и все. С чего начал, тем и кончил! Чтоб шагнуть дальше, надо было обладать не только материальной, но еще и теоретической истиной, а откуда мог взять ее Кастанье? На мнимой схожести совершенно разных явлений и предметов вывихивали себе мозги и не такие головы, как многолетний секретарь Оренбургского археологического общества. Но, как теперь сказали бы, краеведом Кастанье был первоклассным: внимательным, неутомимым, знающим, рьяным, из тех, для кого история действительно была музой. О чем он только не писал, что только не описывал, в каком только уголке степи не побывал и какие только истории с таинственными подземельями и скелетами с ним не случались! Писал он и о надгробных памятниках, и о сирийских надгробьях, и о неолитических стоянках, и о свастике, и бог его знает еще о чем.

Конечно, я и в подметки не годился своему предшественнику. Он действительно собрал всю индустрию каменного века: в его ящиках лежали кремневые топоры, стрелы, наконечники копий, обломки кремня, обрабо-

танного и круглого, может быть, остатки какой-то палеолитической Венеры. И керамика, керамика... то есть черепки, черепки... Из этих черепков можно было слепить добрую сотню сосудов.

«Гребенчатый орнамент», «гребенчато-ямочный орнамент», — писал Кастанье на этикетках. «Ямочный орнамент» — вот это и был самый древний рисунок. Просто лежал однажды человек на берегу реки, тыкал пальцем в песок и смотрел, что получится. И получалась линия, точка, снова линия, снова точка, и вот уже не линия и не точка, а рисунок. А потом кто-то, может, он сам, а может, другой, перенес эти линии и точки на горлышко сосуда и поставил его на огонь обжигаться. Так родился орнамент. И опять, видимо, ничего не произошло и никто ничего не заметил. Только старуха, постоянно дремавшая около огня, покачала головой да ребята завизжали, заплясали и стали просить, чтобы им дали подержать новый горшок в руках. Вот и все, что, вероятно, произошло в тот день у огня. Но орнамент уже родился. Он стал жить, расти, менять свое очертание, усложняться, обрастать новыми подробностями, тяжелеть. Теперь он занимал уже не только горлышко сосуда, но и весь сосуд целиком, заползал вниз, устремлялся вверх, извивался змеей, закручивался спиралью, вспыхивал то тут, то там, действительно стал походить на гребень. Слово раскрылись человеческие глаза, и они увидели то, что не могло даже присниться: чистые геометрические формы. Не круглый лист, не треугольный камень, а круг и треугольник — линию и точку в самых разнообразных сочетаниях. И кроме линий простых, двойных, зигзагообразных, изломанных под разными углами, появились еще и квадраты, овалы и пирамиды. До неузнаваемости изменилась и самая линия. Теперь она падала на мокрую глину пучками, связками, тончайшим излучением, елочками и крестиками. Вот, вероятно, именно так на горлышке пузатого горшка — сколько же десятков тысячелетий прошло с той поры? — зародилась под пальцами мастера прекрасная и почти волшебная абстракция орнамента, к которому мы ныне так привыкли, что даже не замечаем его.

Под пальцами мастера! Я ведь нарочно употребил неточное слово. В том-то и дело, что творцом орнамента был не мастер, а мастерица. Не мужчина, а женщина. По отпечаткам пальцев, что сохранились на стенках посуды, ученые пришли к выводу: посуду лепила женщина. Вероятно, так и должно быть. Всякому свое. Мужчины каждый день видели смерть лицом к лицу, и была она то медведем, то мамонтом, то пещерным львом. Орнамент прельщал таких охотников меньше всего. Вряд ли они понимали даже смысл и красоту всех этих черточек и ямочек. Слишком уж это было мелко и несерьезно, что-то вроде бус и ожерелья. Мужчины приходили к огню усталые и потные, покрытые своей и чужой кровью. В час отдыха они вырезали на куске кости одиноких мамонтов, босящихся бизонов, гигантского оленя с откинутыми рогами. Вырезали они и самих женщин. Даже не вырезали, а высекали из кости и камня так, чтоб их можно было покрепче зажать в кулак. Это были прекрасные объемные животные с могучими бедрами, с телом, разделенным на круги и треугольники. Даже теперь радостно глядеть на эти каменные цветки — неповторимых палеолитических Венер.

Вот так и возникло два этих течения — конкретное и абстрактное. Так они и существовали десятки тысячелетий, каждая в своей области, одна на горлышке сосуда, другая на кости и на стене пещеры, не отрицая и не трогая друг друга.

Здесь нужно оговориться. Я пишу не об абстрактном искусстве, а об абстракции в искусстве, а это совсем разные вещи. Я убежден, что современный абстракционизм вырос совсем не из орнамента.

Первобытный человек — *homo primigenius* — «человек первородный», как почтительно называет его наука, был существом положительным и реальным. Красоту он понимал, как меру и число, гармонию и соразмерность. Он подмечал эту гармонию и на коже раздавленной им гадюки (ведь и на ее чешую тоже кто-то нанес гребенчатый орнамент), в расставке листьев на стебле, в весеннем звоне капели, в окраске и пятнах на члениках бабочек, в смене дня и ночи, зимы и лета. По закону этой же чистоты и рассчитаны созданные им орнаменты. А абстракционизм прежде всего боится равновесия. Отрадите его в зеркалах, и он сразу же умрет, превратившись в обыкновенную обойную ткань. Если великий кроманьонец уравновесил мир на горлышке сосуда, то художник XX века взорвал его динамитом и атомом, пропустил через мясорубку и то, что осталось, полными пригоршнями ляпнул на полотно.

И оказались на полотне густки цветов, тени вещей, осколки форм. И опять надо звать кроманьонца, чтоб слепить из дымящихся, растерзанных кусков мира тихую, чуть слышную мелодию каменного века.

Я это впервые ясно почувствовал, рассматривая коллекции Кастанье. И еще мне очень нравились и сосуды сами по себе. Человек меди и бронзы был величайшим мастером своего дела. Его горшки прочны, как каменные. Да они и в самом деле каменные, глина в них смешана с песком и дресвой — крупной зернистой галькой (красные, желтые и зеленые зерна ясно видны в изломах). Она служит как бы кремневым скелетом сосуда, поэтому этот сосуд и живет бессчетное количество тысячелетий. В музее была масса разных сосудов. От маленького обгорелого горшочка, в котором, может быть, кипела похлебка из мамонта, до огромных, в человеческий рост, кувшинов... Эти-то были непростительно молоды. Хорошо, если каждому из них было по семьсот лет. Совершенно гладкие, несокрушаемые, с мастерски вылепленным горлом, со следами гончарного круга на внутренней стороне, они никакой исторической ценности не представляли, а мешали мне страшно. До меня в них уборщицы хранили тряпки и швабры, а в одном оказалось чуть ли не с пуд тыквенных семечек. Я сдуру рассказал об этом кому-то — и вот весь музей начал бегать ко мне за ними в перерыв.

— Дайте, пожалуйста, семечек.

Я махал рукой, и вот сосуд наклоняли, опрокидывали и лезли в него железным совком. Я все ждал, что кто-нибудь ахнет это чудище о каменный пол и оно разлетится. Но сосуд был просто несокрушаем. Как его ни грохали, как ни катали — а пол-то был каменный, — ничего с ним не случилось. А ведь еще с пяток таких сосудов — и мне пришлось бы выбросить из комнаты даже пивной столик и разбирать свои камни, просто сидя на корточках. Поэтому, когда однажды пришел в музей древний старикашка и рассказал, что в горах в колхозе «Горный гигант» весь клубничник усыпан осколками, а в конторе колхоза даже стоят два совершенно целых сосуда, нужно приехать и забрать, я подробно записал весь его рассказ, но никуда не поехал и ничего никому не сообщил. Я бы и свои корчаги давно выбросил бы на помойку, да как это сделать? Ведь на каждой же этикетка и запись: «Сосуд для хранения зерна. Эпоха караханидов (XI век). Из сборов И. А. Кастанье».

О старике этом — звали его Родионов — я еще расскажу. Как-то само собой получилось так, что с приходом его в музей все в моей жизни пошло кувырком.

Началось, впрочем, все с того, что рано утром мне позвонили из редакции республиканской газеты и попросили зайти к редактору. Я зашел. Секретарь-машинистка вынула из папки три странички с пышным заглавием «Индийский гость» и подала мне.

— Вот просили прочесть и дать заключение, — сказала она и снова откинулась в какие-то листы.

При газете этой я состоял давно, катал прямо на машинку юбилейные статьи, давал информации о всех интересных приобретениях и находках нашего музея, консультировал, правил, знал всех, и меня знали все. Поэтому такие задания мне приходилось получать и выполнять часто. Но сейчас, только пробежав три странички четкого машинописного текста, я обалдел, онемел и вдруг шагнул прямо за стеклянную дверь, в кабинет редактора. Редактора не было, за его столом сидел заместитель — высоченный молодой человек в роговых очках и с трубкой во рту. Его недавно по распределению прислали к нам из Москвы, но он уже сумел задать тон всей редакции: «Старик», «Старуха», «А не пойти ли нам, старуха, в «Белую лошадь»...»

— Слушайте, — сказал я, — что это вы мне дали? Это же просто бред.

Он снял очки и стал их протирать. Это были, конечно, очки из оконного стекла, но я первый раз видел, чтоб он остался без них.

— Мнения насчет этого бреда резко разошлись, — сказал он. — Кое-кто считает, что, возможно, это и не вполне бред. Я здесь человек новый, ничего толком не знаю, так что... — И он улыбнулся, показывая великолепные круглые зубы, похожие на облупленные лесные орехи.

Но я даже вздрогнул: наконец-то я его увидел по-настоящему, его лицо, простецкое лицо хорошего деревенского парня, нос картошкой и бурые глаза в крапинках. Но именно это почему-то и рассердило меня больше всего.

— Значит, вы допускаете, — спросил я свирепо, — что удав может бежать из зверинца, проползти через весь город. Вы представляете — через весь город! — базар, улицы, площади, парки, дворцы — и доползти до прилавков, свернуться на каком-нибудь из них и перезимовать под сугробами. Ну, знаете...

Но он уже был опять в своих роговых очках и поэтому снова стал насмешливым, неприступным и гордым.

— Ничего я, дорогой старик, не знаю, — отрезал он уже совершенно по-редакторски. — Я всего четыре месяца в этом городе и поэтому ничегошеньки не знаю. Но вот первый вопрос к вам как старожилу: был ли мальчик? Сбежал удав из передвижного зверинца или нет?

— Не знаю.

— Вы не знаете! Вы старожил, да не знаете! Ну, а откуда мне, топоу пова, знать, а? — Он выдвинул ящик стола, вынул конверт и положил передо мной. — Вот, пожалуйста. Читайте.

Я прочитал: «Бюро вырезок: «Газета... номер... от 6 августа прошлого года. Сообщение нашего корреспондента «Индийский гость в окрестностях Алма-Аты».

«Алма-Ата. (Наш корр.)

Еще с прошлой осени по колхозу «Горный гигант» ходила молва о нежеланном госте. Его часто видели в роще. Зима прекратила эти разговоры, и только на днях «гость» вновь появился.

Увидели его в саду. Обвился он вокруг ствола и выбирал самые лучшие спелые яблоки.

Член колхоза Луценко рассказывает: «Шел я около часу дня через сад. Вдруг как что-то зашипит около меня: чуть на хвост огромной змеи не наступил. Серая. Длиной метра четыре. Как ствол средней яблони.

В последние дни в колхозе начали исчезать кролики. Оказалось, что в прошлом году из зверинца на колхозном базаре исчез индийский удав. Пробравшись за город, удав акклиматизировался и сумел где-то пережить зимние холода. Сейчас принимаются меры к его поимке».



— Ну что? — спросил заместитель, когда я бросил вырезку на стол. — Убедительно ведь, кажется: дата, фамилия, место, подробности?

Я только развел руками.

— Хорошо, читайте дальше. Вот вам свидетельства очевидцев. Это уже заметка нашей газеты. От августа прошлого года.

«Охота на удава», — прочел я.

«За последние дни в районе стана 6-й бригады колхоза «Горный гигант» участилась пропажа кур и кроликов. Колхозники знали вора, но на глаза он показывался редко. 3 августа ребята из 6-й бригады играли в саду недалеко от стана и заметили большую змею. Она поднялась до первых ветвей яблони, срывала яблоки и ела. Ребята догадались, что это удав, и побежали в стан. Колхозники вооружились веревками, длинными шестами, и когда пришли к указанному месту, удава уже не было.

Колхозники решили непременно изловить удава живьем».

Я положил газету на стол и посмотрел на заместителя. Он поймал мой взгляд и улыбнулся.

— Вот мы, — сказал он, — то есть редакция — и просим вас — музей — дать нам научную консультацию на тему: существует удав в природе или нет. Но только точно, ясно, авторитетно, категорично. Понятно?

— Да понятно-то понятно, — сказал я, переминаясь. — Но неужели это вас действительно интересует?

— А как же? — опять очень весело удивился он. — Как же нас это может не интересовать, дорогой старик? Два года ползает по колхозам какое-то чудо-юдо, пугает народ, срывает работу, портит яблони, душит кур — возьмите, возьмите эти вырезки, покажете в музей! — и никто ничего не знает. Так кого же просить навести ясность, как не республиканскую научную организацию? Но если вы отказываетесь — хорошо! Тогда мы обратимся в филиал Академии наук.

— Да нет, почему же, — пробормотал я. — Почему же мы отказываемся? Мы совсем не отказываемся...

— Ну вот, я тоже думаю, что не надо вам отказываться, — улыбнулся он. — К тому же материал интересный, необычный, его, конечно, и напечатать и перепечатать, но ясность нужна крайняя. Сами знаете, какое сейчас время, как смотрят на паникеров.

Знаю, знаю, ох, как знаю...

Я что-то пробормотал, взял заметку и пошел в отдельный кабинет: надо было обдумать все как следует. Подпись под машинописными строчками, что дала мне секретарша, была: «Добрыня Никитич» (следовательно, понял я, змееборец). Но я сразу же узнал волшебное перо местного златоуста — Даниила Ротатора. (Так я и не знаю, фамилия это или прозвище.)

«Тихи вершины Ала-Тау, густы и темны леса его, — писал Добрыня, — цветисты альпийские луга и полны чудесных плодов яблочные сады предгорий. Синяя птица прилетает в эти сады из Индии. Она гнездится, эта чудесная странница небес — голубого цвета с голосом флейты, — на таких недоступных скалах, куда не вступала еще нога человека. Никто не сумел до сих пор заключить в клетку синюю птицу! До недавнего времени она была единственным индийским гостем, посетившим наш город. Но вот появился и второй гость — молчаливый, таинственный и древний. Несколько лет тому назад наш город посетил передвижной зверинец. В нем были львы и тигры, барсы и пантеры, в бассейне плавал нильский крокодил, а в отдельном павильоне жила огромная, похожая на дракона змея. Днем она спала, свернувшись чудовищными кольцами, а ночью зеленые фосфорические глаза гада... — (Колонка про эти глаза; про то, как удав гипнотизирует свои жертвы; про заклинателей змей, про факиров, полколонки про Саламбо и про ее возлюбленного питона и наконец

колонка про то, как ночью удав загипнотизировал сторожа и сбежал. Когда пришли открывать зверинец, сторож спал, растянувшись на каком-то ящике. Когда его растолкали, он сказал, что его загипнотизировали — а что скажешь иное?)... — С этих пор этот легендарный, библейский зверь поселился в яблочных садах Ала-Тау. Два года он был неуловим и невидим. Но неделю тому назад бригадир шестой бригады колхоза «Горный гигант» Иван Федорович Потапов, обходя хозяйскими шагами свой участок...»

Тут я разыскал незанятый телефон и вызвал «Горный гигант». Подошли сразу. Грубый мужской голос спросил, кого надо. Я ответил: Ивана Семеновича Потапова, бригадира шестой бригады.

— Ну вот это я и есть, — ответил тот же голос. — Кто говорит?

Я ответил:

— Музей.

— Ну и что? — спросил Потапов.

Я сказал, что мы хотели получить от него кое-какие сведения.

— Это какие же еще сведения? — спросил он почти враждебно.

Я начал спрашивать его про удава: сам ли он его видел или слышал от кого и есть ли в колхозе еще кто-нибудь, кто его видел? Когда все это произошло?

Потапов слушал-слушал меня, а потом вдруг тихо спросил:

— Командировочные получил?

— Какие командировочные? — не понял я.

— Какие? — крикнул он вдруг. — Золотые! Я вот про твои дела отпишу и сам приеду сдать вам в контору, тогда узнаешь какие! Бездельник! Черт лохматый! «Подпишите мне, пожалуйста, командировочную» — и я-то, дурак, подписал, мать твою... — Он с размаху бросил трубку.

Я постоял, посмотрел на секретаря-машинистку, почесал лоб — ничего не понял — и поплелся к себе домой.

Вот тут меня и поймал этот проклятый Родионов. Он сидел на лавочке и ждал. Около его сапог лежала на земле наволочка, набитая до краев чем-то твердым и угловатым.

«Уже на дом стали приходиться», — подумал я и спросил:

— Вы ко мне?

— Так точно, к вам! — Он встал. — Мне сегодня сказали, что вы в музее не будете. А у меня сегодня выходной. Я в горах живу. Вот я и осмелился...

Говорил он вежливо, но холодно и важно. И вообще он был весь какой-то подтянутый, аккуратный, с планшетом на бедре, этакий седенький козлик, с бородкой клинышком и строгими, выжидающими глазами. А сверх этого ничего: ни улыбочки, ни лишнего жеста. Парило всюю, а на нем был бордовый шерстяной жилет и сапоги, на голове фуражка, на фуражке — малиновые молнии.

«Не отвязаться», — понял я и сказал:

— Ну что ж, пойдём в комнату, — и толкнул ногой дверь. (Она у меня никогда не запиралась.)

Он осуждающе взглянул на меня, но ничего не сказал. В комнате было прохладно и темно. (Директор мне пожертвовал китайские занавески и жестяной вентилятор, и он целые сутки повизгивал и чуть не прыгал по столу.)

— Вы почтовый работник? — сказал я, подвигая старику кресло (кожаное, поповское, с бесшумно взрывающимися пружинами).

— Был, — ответил он, — сейчас уже на пенсии, работаю счетоводом в кооперативе дома отдыха «Каменское плато».

— А это что? Далеко от колхоза «Горный гигант»? — спросил я как будто вскользь.

— Да нет, рядом, — ответил он. — Они на прилавках, в саду, а мы внизу, через Алма-Атинку, у шоссе.

— А вы там кого-нибудь знаете? — спросил я. — Всех знаете? Бригадира Потапова не знаете?

Очень нехороший был у меня тон, какой-то напряженно равнодушный, выпрашивающий, фальшивый. Никак он не мог не заметить этого.

— Это бригадира из шестой бригады? — спросил он. — Нет, не знаю. Так видеть много раз видел, а вот говорить что-то не приходилось.

Я думал, что он спросит: а зачем мне нужен этот Потапов? Но он ничего не спросил, только сидел смотрел на меня и ждал. «Вот черт», — подумал я и спросил:

— Что, змей у вас там, говорят, появился?

Не удивляясь, он пожал одним плечом.

— Да всякое говорят бабы. Я, откровенно говоря, не прислушивался. Мне это все ни к чему. — Он наклонился над своей наволокой. — Я вот что хотел показать вам. Если разрешите, конечно...

Вся эта сухость, равнодушие, строгий взгляд, издевательская вежливость и учтивость — все это взятое вместе походило просто-напросто на вызов. И не знаю, зачем я протянул ему статью.

— Прочтите.

Он опустил наволочку, полез в карман жилетки, вынул пухлый сафьяновый футляр с золотыми инициалами, открыл, достал очки, надел, потом поднял со стола один лист и стал читать. Я смотрел на него. Читал он внимательно и хмуро. Прочел один лист, положил его на стол, взял другой, потом третий. Читал вдумчиво, не пропуская ни строки. Дочитал до конца все три листа, снял очки, спрятал в футляр, щелкнул им, положил в карман и сказал:

— Ну что ж, вполне художественно. Только вот про синюю птицу — зря, она не голубая, а темно-синяя с отливами, как вороненая сталь. И поймать ее тоже можно. Трудно, но можно. Я ловил. Это вы перемните. Это ведь дрозд, только зовут его — синяя птица. Так вот...

Он снова нагнулся, размотал бечевку на наволоке и достал довольно большую игрушечную лодку с тремя гребцами на корме. Лодка была черная, а фигурки — желто-палевые. Старик поставил игрушку на стол и посмотрел на меня. А я тоже смотрел на нее и думал: да где же все это — и лодку, и фигурки гребцов, стоячих, а не сидячих, — видел?

— Позвольте, позвольте, — сказал я, — да ведь это же... — Я хотел сказать: «Это же из музея игрушек», но почему-то осекся.

Вот только тут он позволил себе чуть-чуть улыбнуться, вернее, не улыбнуться, а только слегка растянуть углы рта.

— Узнали? — сказал он. — Точнейшая копия, могу сказать без хвастовства. Вот вырезал и подношу музею!.. Дар Родионова. — И он слегка даже поклонился.

— Спасибо, — сказал я ошарашенно. — Большое вам спасибо, но... я не знаю... — Я в самом деле не знал, как сказать ему, что эта игрушка — индийская или яванская джонка (даже не подлинник, а ремесленная копия) — ни на кой черт нам не нужна. Да ее и поставить негде, ни к одному отделу она не подходит. — Но только я не знаю... Мы ведь игрушки не собираем, мы республиканский музей.

А он уже опять подтянулся, одеревенел и смотрел на меня сурово.

— Не собираете игрушки? — спросил он любезно. — А вот эта, скажите? Это тоже игрушка? — Он снова наклонился над наволочкой и поставил на стол одну за другой несколько вещей: статую будды, позолоченную и раскрашенную — алые губы, голубые глаза, белый лотос в руке, потом золотого китайского дракона и наконец узорчатую резную башню, похожую на винтовую лестницу с карнизами, перилами, узорной

верхушкой,— все это было сделано чисто и точно под слоновую кость. Надо сознаться, что такие работы мне приходилось видеть не часто.

«Да, но делать-то с этим что? — тоскливо подумал я.— Ну, будда еще туда-сюда — тут где-то рядом был буддийский монастырь, ну а все это...»

— Так вы полагаете, что все это игрушки? — спросил Родионов. Он сидел на стуле и не отрываясь смотрел на меня.

— Да нет, не игрушки,— ответил я неловко.— Будду мы у вас возьмем и оплатим...

— Ну, вот и та лодка тоже не игрушка,— отрезал он и начал собирать и засовывать в наволочку все свои изделия.— Это лодка мертвых из изобразительного музея Пушкина. Если вы археолог, то должны были ее видеть. Там даже фотографии с нее продают. Я по фотографии резал, а потом ходил сличать. А вы говорите: игрушки! Для исторического отдела эти игрушки — первое дело.

Вот черт возьми, надо же, надо же так сесть в галошу! И главное: только что он сказал про музей Пушкина, как я вспомнил, что ведь десять раз видел я эту барку и даже знаю, где она стоит — по правую сторону от входа, возле шкафчика с мумиями: мумия крокодильчика, мумия кошки, голова женщины на подставке, а рядом, в другом шкафу, на нижней полке — вот эта барка. Но доказывать или говорить что-нибудь, конечно, уже было ни к чему.

— Так вот будду мы возьмем,— тупо повторил я.

— Спасибо, не надо,— гордо отрезал он.— Пойду через парк, кину детшкам, пусть играют... Теперь вот какое дело...

Он полез в планшет и вынул оттуда что-то большое, плоское, завернутое в суровую тряпку, развернул тряпку, а под ней оказалась пергаментная бумага. Развернул пергаментную бумагу — в ней оказались три небольших осколка сосуда: горлышко, доньшко и стенка. Все это было здорово обточено водой. Но я сразу же узнал останки родной сестры своей корчаги. «Ведь притащит, идиот, две или три такие цистерны — и не повернешься, и не посадишь никого».

— Откуда это у вас? — спросил я бесцельно, вертя в руках обломки.

— Из колхоза «Горный гигант»,— ответил он спокойно.— Как раз из тех мест, где голубая птица поет и удав ползает.

«Вот проклятый,— подумал я.— А ехать все равно придется».

— Ну что ж, приеду посмотрю,— сказал я, вздыхая.— Вы оставьте здесь это все, я потом как-нибудь...

Но он сидел, смотрел на меня так, что я невольно спросил:

— Еще у вас чего-нибудь?

Он вдруг молча наклонился, полез в планшет, достал оттуда сложенный вчетверо лист ватмана.

— Что это? — спросил я, не протягивая руки.

Тогда он, сверкнув глазом, молча развернул, вернее распахнул, бумагу и положил ее передо мной на стол. Это был план. Зеленым карандашом были нанесены холмы, деревья, кудрявые кусты (так символы изображали облака), а посередине прямоугольник с крупной надписью: «Копать здесь».

— Ну и что здесь выкопаешь? — спросил я уныло.

Он сверкнул на меня глазом и ответил:

— Если копать по-умному,— это он подчеркнул особо,— то большие вещи можно найти.

— А именно,— спросил я,— корчаги?

Никак не удавалось мне справиться со своим голосом. Как ни хотел я говорить тихо и спокойно, не получалось. Старик посмотрел на меня и отвернулся.

— Разнообразные,— ответил он коротко, опять посмотрел и опять отвернулся.— Два сосуда уже выкопаны, в правлении стоят, приезжайте заберите, а здесь целый римский город можно откопать.

— Даже уж римский? — улыбнулся я.— Ну, ну.

А мне ведь было по-настоящему-то совсем не смешно. Я понимал: эта новая идиотская история мне будет стоить изрядно крови. От меня этот кладонскатель пойдет к директору, а у директора пропадают спущенные еще с начала года кредиты на научную работу, за неиспользованием их срезали в прошлом году, срежут и в этом, а в будущем так и совсем не предусмотрят: раз не можете освоить, так зачем просите? Директор был человек новый, в музее никогда не работал, и этот свирепый старик со своими планами, черепками, целым римским городом, закопанным где-то тут поблизости, здорово может закрутить ему голову. Он ведь не знает, что такие приходят в музей чуть ли не каждый месяц. Один приносит карту местности, где зарыт клад Александра Македонского, другой отыскал в подвале чемодан со старыми бумагами, а в них оказалась десятая глава «Евгения Онегина», отстуканная на машинке, третий пошел гулять в горы, и там за ним вдруг погнался дикий человек, четвертый же... ну, вот этот четвертый сидит сейчас передо мной и свирепо глядит на меня. Он старый, восторженный дурак, но от него скоро не избавишься. У таких мухоморов не поймешь, чего больше — ослиной настойчивости или восторженной петушиной злости.

— Да почему же именно римский? — спрашиваю я уже вяло.— Ну пусть бы какая-нибудь Усуни или Саки, ну это еще туда-сюда, а римляне-то как сюда попадут? Они-то вон где жили!

Он усмехается. Я ему буду толковать про римлян! Так академик смотрит на шарлатана, выдающего себя за профессора.

— А что, Александр Македонский воду из Сыр-Дарьи шлемом черпал, вы знаете это? — спрашивает он меня в упор.

Этот проклятый Александр Македонский! Никуда от него не уйдешь в Средней Азии — он проходил везде, произносил афоризмы, зачерпывал воду шлемом, зарывал сокровища в каждом холме.

— Так ведь он же грек был,— кричу я, сорвавшись,— грек! Вы же слышите — Ма-ке-дон-ский! Значит, грек, если Македонский. А потом, где Сыр-Дарья, где Алма-Ата? Есть разница?

Он усмехается все тоньше, все презрительнее.

— Никакой особой разницы. Обе в Казахстане. Сойдите вниз, взгляните на карту. А греки и римляне одной нации.

— Это как же так? — спрашиваю я ошалело.

— Да вот так,— отрезает он.— Античность!

Ну что тут было делать и говорить? Я только развел руками, но это вдруг и вывело его из себя. Он даже фыркнул по-кошачьи.

— Ну что, что вы на меня машете? — зло заговорил он.— Махать нечего, если дело говорят. Там, коли хотите знать, уже находки сделаны. Пресса об них писала. Вам, как музейному работнику, первому надлежало бы знать.

— Это про римскую монету, что ли? — спрашиваю я.

Он зло улыбается.

— Ага! Римскую? Признаете, что римскую? Так что ж, ее нарочно подбросили, что ли?

— Да нет, зачем же,— вяло отвечаю я,— кто ее будет подбрасывать? Монета, вероятно, подлинная.

— Ну и вот,— успокоенно кивает он головой.— Так бы и говорили с самого начала.

Тут и я засмеялся. Так уж это все хорошо получалось. Он крыл меня по всем швам!



А история с монетой была такая: год тому назад (значит, еще до моего поступления в музей) республиканская газета поместила на четвертой полосе большую статью: «Казахстан был римской колонией?» Знак в конце был чистым кокетством. Автор статьи, профессор Института национальной культуры, Столяров никаких вопросов не ставил, а просто утверждал, и все. Утверждал же он очень многое. Казахстан от Арала до Тянь-Шаня, утверждал профессор, был частью римской провинции «Азия» («остатки империи Александра Македонского»). Правил этой провинцией римский наместник Санабар; он впервые ввел в колонию латынь вместо «бытовавшего там греческого языка». Случилось это, по всей вероятности, в двадцатых годах первого века нашей эры. На западной окраине Алма-Аты, «в районе нынешних садов и огородов», находился тогда центр провинции с правительственными зданиями и дворцом губернатора. Холмы, тянущиеся вдоль улицы Дачной, не холмы, а «могилы императорских особ». (Каких-каких?) И наконец, заключал он перечень своих открытий, «представляется несомненным, что клинопись, несколько осложненная по сравнению с ассиро-вавилонской и персидской, была в ходу в Казахстане две с половиной тысячи лет тому назад».

И обо всем этом поведала профессору римская монета, откопанная где-то в огороде. Статья иллюстрировалась ее перерисовкой. На одной стороне этой монеты был изображен бюст бородатого мужчины «в обычном римском шлеме», на другой — «фигура человека, освещенного лучами солнца». («Ногами он попирает побежденные народы», — писал профессор.) Вокруг бюста шла надпись, которую автор расшифровывает так: «Imp[erator] Cave[t] Elin[orum] Mu[ndum] Sana[bar]», то есть «Император хранит мир эллинов Санабар». На обратной стороне около фигуры человека была другая надпись: «Orines Mu[ndus]» — «Мир Востока», и внизу непонятные буквы «P. X. X. T.».

Писалось далее, что монета эта совершенно уникальная. В «Эрмитаже», правда, имеется динарий этого же самого Санабара, но надпись на ней халдейская, а не латинская. Английский историк Суингем относит такие монеты к началу двадцатых годов первого века нашей эры. Кончал профессор призывом ко всем научным учреждениям, археологам и краеведам произвести раскопки по Дачной улице. Лет сорок тому там находили монеты, утварь, золу, столбики с орлами. Зола — следы кремации, орлы — знамя легионов. Так можно же предполагать, какие сокровища хранят эти холмы!

Через два дня после этой статьи на дачные огороды двинулись люди с заступами и пятериками. И вскоре несчастные холмы выглядели так, как будто на них выпустили стадо носорогов. Но копались не только любители. (Ведь боевые орлы отливались из чистого золота и серебра — передавалось из уст в уста какое-то замечание профессора.) Вся десятая школа — самая большая в городе — вышла сюда на субботник с лопатами. А однажды, проходя случайно по этой же улице, я встретил Добрыню-Ротатора. Он шел, мудро и загадочно улыбался. Это был пузатый, грузный старик в пенсне, кокетливый и величавый, с розовой лысиной и острым подбородком. В городе его знали. Он преподавал литературу в пединституте и печатал эссе на литературные темы. И я читал их, когда они мне попадались. Так — вероятно, возвышенно и мудро — писал бы буриданов осел, если бы его научили грамоте. Когда мы поравнялись, Добрыня поднял руку, и я остановился. Поздоровались. Он спросил, читал ли я вечернюю газету. Я ответил, что нет, не успел.

— Прочтите, вам должно понравиться, — посоветовал он. — Я там поместил очень интересный этюд. Ничего особенного, конечно, но очень картинно и впечатляюще. Не понимаю, как они рискнули? — Он гордо хихикнул. — Такая, знаете, историческая миниатюра или мозаика золо-

том. Идут римские легионы, сверкают римские золотые орлы, дышат степи, гремит музыка... ну и тому подобное... Легионы ведет седой римский воин, изрубленный в боях. Ему уже пора на покой, но он все-таки хочет познать неведомое. Обязательно прочтите!

Статью Добрыни я прочитал через пять минут, стоя у газетного киоска.

«Жарко дышат надвигающиеся пески,— писал он.— Вспыхивает зарево степных огней, слышатся незнакомые и такие созвучные окружающему миру мелодии. Это просторы неведомой земли... Пески, конечно, не зеленые луга; бесплодные равнины не хлебные поля. Но тот, кто ведет эти легионы, знает: надо идти на восток, свет оттуда... Это своего рода последнее рукопожатье земле... Странно, но факт: римские орлы в своем стремительном полете долетели до предгорья Ала-Тау и смежили свои крылья под алма-атинскими тополями. И там, где сейчас только зеленая трава да синее небо...» И еще и еще строк на двести этих «степных огней», «волшебных мелодий», «рукопожатий земле».

После того, как я опустил газету, у меня было такое чувство, словно я наполнил касторки с сахарином. Но чувство-то чувством, а римская-то монета была действительно откопана в огородах на окраине Алма-Аты, и действительно я не считал ее подброшенной. Поэтому и ответить старику на его вопрос мне по существу было нечего.

А он сидел на крае стула и глядел на меня с хмурой снисходительностью. Он уже понимал, что я окончательно зашился. Если монета подлинная, то не свят же дух принес ее на Дачную улицу. Значит, действительно римляне были тут.

— Слушайте,— сказал я горестно,— ну как вам все это объяснить? Ну, римская монета, ну, Санабар там какой-то, не слыхал я такого среди римских наместников, ну, царек такой паршивенький периферийный, верно, был — значит, вероятно, мог быть и наместник Санабар. Но ведь грош цена всему этому. Разве римская монета — документ? Разве доказывает она что-нибудь? Эх, вот не были вы никогда коллекционером! Да вы знаете, сколько их разбросано по свету? Тонны! Десятки, сотни тонн! Римляне ими заплевали всю землю. Они как семечки. Нет места, где не валялось бы этого добра. Из рук в руки, из рук в руки — вот и дошла медяшка до алма-атинских огородов. А стояла она и тогда не дороже солдатской пуговицы.

— Да не медяшка она, а серебряная,— рыкнул на меня старик.

— Ну да, серебряная! А знаете, сколько в ней серебра? — спросил я.— Два процента! И того не будет... В этих бляшках девяносто восемь процентов примеси. Когда я учился в школе, любая такая монета шла у нас за двугривенный. Ну, много-много — за полтинник, если была побольше. У меня их полный ящик когда-то был. Так что, если эту ерунду еще учитывать...

Он не стал терять больше со мной времени. Он попросту чинно встал, взял фуражку, надел ее, отряхнул брюки и пошел из комнаты. А на пороге остановился и сказал строго, укоризненно:

— Вот вы такие монеты по школьному делу за двадцать копеек или там за полтинник покупали, ящики ими набивали, все может быть, не спорю — чего не знаю, о том никогда не спорю,— да здесь-то она не покупная, а обретенная. Я же ее лично откопал в огороде. Так что вы меня не агитируйте. И, может быть, действительно в Москве по всем улицам римские монеты разбросаны — чего не видел, того не знаю! — но здесь каждая вещь со смыслом... Вот так! И до свиданья.

И он забрал свои вещи и вышел. «Побежал к директору жаловаться», — понял я.

### Глава третья

И действительно, через день директор вызвал меня к себе в кабинет. Когда я вошел, он сидел за письменным столом — высокий, крепкий мужчина лет сорока пяти — пятидесяти, в военной гимнастерке с расстегнутым воротом, с белоснежным воротничком под ним — и писал. Около его локтя лежали три красных черепка — горлышко, донышко и стенка, стояли лодка мертвых и золотой будда. Я взглянул на них и вздохнул. Директор посмотрел на меня и рассмеялся.

— Те самые, те самые, — сказал он весело. — Ты что же это, дорогой товарищ, о казенном добре не печешься? Какой же ты, к бесу, хранитель, а? Приносит тебе человек ценные экспонаты, отдает, заметь, задаром, а ты нос воротить, отказываешься. Как же это так? — Он взял будду и стал вертеть его в руках. — Ты посмотри, от чего ты отказался, чудак? Работа-то какая. Смотри! Каждый ноготок отдельно и блестит, сволочь, как на маникюрный. А узор-то, узор на подоле! Его только в лупу рассматривать. — И он действительно вынул лупу и стал вертеть будду так и этак. — И ведь каждый, каждый завиточек, — сказал он восхищенно. — На, на! Посмотри! Иголкой, что ли, он его резал?

— Да, но нам-то зачем это? — спросил я. — Ну, будда, ладно, пусть валяется в запаснике. А баржа мертвых зачем? Мы что — древний Египет, Нубия?

— Опять зачем? — Директор откинулся на спинку кресла и строго посмотрел на меня. — Нет, это ты брось. Это ты по-настоящему брось. А антирелигиозная пропаганда? Ее кто за нас вести будет — Пушкин? Мы должны ее вести — ты должен ее вести, научный сотрудник, понимаешь? Вот я еще ему книжку Ярославского дал — «Как живут и умирают боги». Заказал вырезать Озириса, Адониса и Мирту. Мы все это выставим в вводном отделе — языческие христы. А рядом — икона нерукотворного спаса. Это уж я принесу. Стоит у меня такая, я на ней опыты показывал. Чувствуешь, какая пропаганда? — И он хитро подмигнул мне. — А ты тексточку напишешь получше, позабористее.

«Да в кого же он меня хочет превратить?» — подумал я и официально сказал:

— Да ведь это дело массовички, Митрофан Степанович, что я-то в этом понимаю?

Он скорбно посмотрел на меня, вздохнул и покачал головой.

— Ах, как это мы любим все валить на других, то есть так любим, так любим! Она массовичка, а ты научный работник, — прикрикнул он вдруг, — ты ей напишешь, а она твое писание до масс будет доводить, понял? Ну ладно, ты посиди, пожалуйста, одну минуточку тихо. Тут мне одну такую бумажку прислали... — Он вздохнул и покачал головой. — Кто там их только придумывает, не знаю. Сидит какая-нибудь штучка в перманенте и пишет, пишет. Сядь, пожалуйста, не ходи.

Было накурено и жарко. Я подошел к окну и распахнул его настежь, прямо в сирень. Потом взял графин и полил цветы на подоконнике, попробовал включить вентилятор — он не работал. Тогда я вспомнил, что он не работал и вчера и позавчера, и об этом все говорили, и никто ничего не делал, снял телефонную трубку и задумался, вспоминая номер.

— Нет, ты сядь! Сядь! — повторил директор. — В глазах мельтешишь! Ну что, в отделе есть что нового?

Я усмехнулся. Что у меня могло быть нового? Да ровно ничего — черепки и камни. Вся «древнейшая история Казахстана» в старой экспозиции умещалась на одной стенке, от окна до окна. Три щита — одна витрина. Щиты были обычные наши щиты — фанера, обтянутая кума-

чом. На первом щите — зуб мамонта, похожий на окаменевшую губку, а под ним несколько кривых осколков (каменный век); на другом — узкий, как только-только что народившийся месяц, бронзовый серп и круглое зеркало на длинной ручке, кольца от уздечки да три ряда голубых и зеленых бус, на третьем — темно-синие изразцы, содранные московской комплексной экспедицией с какого-то знаменитого мавзолея, да склеенная из осколков белая миска с черной свастикой (феодализм). Витрина же была и того проще: в ней помещался вырубленный кусок могилы — горшочек с просом да кости: собачьи и человечьи. Их открыла и доставила нам лет пять тому назад сотрудница комплексной экспедиции. Сосуд был обгоревший, кривобокий, треснутый — с одной стороны совсем черный, с другой — кирпично-красный, ну, одним словом, такой, какой не жалко было сунуть даже и покойнику в могилу. Погребен в могиле был старик, и, наверно, очень дряхлый, скрипучий старик с ревматическими пальцами и съеденными зубами. И пес около его ног тоже был желтозубый и старый. Больше в могиле не нашли ничего — ни ножа, ни стрел, ни бус.

Но вот эта нищета и является, говорила москвичка, самым ценным в погребение. Курганы вождей, могильные насыпи царей и ханов, погребальные холмы над знаменитыми воинами, убеждала она нас, хорошо известны науке и давно изучены. А эта бедная, заброшенная степная могилка отлично отражает рядовой быт кочевников VII века.

Горшок нравился и мне, но по совсем иным основаниям. Я смотрел на него и думал: ну что ж, горшок как горшок, таких сейчас сколько угодно у деревенских стариков. Сколько раз, наверно, со зла толкали его деду под нос, пнув по дороге его никчемного пса: «Пшел, окаянный! Что лезешь под ноги!» И вот дед умер, пса зарезали, горшок разбили (целый в могилу не кладут), и все это через тысячелетия утратило свое настоящее человеческое значение и стало научной ценностью и памятником. И не сохранилось в этом памятнике уже ни старости, ни бедности, ни человечества. Осталось одно: «Усуньское погребение VII века» — полутораметровый ящик под стеклом.

О том, какое значение для науки имеет это погребение, очень бойко рассказывала посетителям экскурсоводка моего отдела — молодая, разбитная девчонка со звонким голосом и крутым хохолком цвета свежей сосновой стружки: «Подойдите, товарищи, поближе. Так! Всем видно? Всем! Отлично! Итак, переходим к древнейшей истории нашей республики. В этой витрине (девушка, отойдите так, чтобы и всем было видно!) вы видите погребальный инвентарь усуней VII—VIII века. Обратим внимание на те предметы, что находятся в могиле... Ну, прежде всего горшок. В нем находилось просо». И о просе: «А просо, товарищи, одна из древнейших земледельческих культур мира». Затем о собаке: «Около ног старика, как будто охраняя его, лежат кости собаки. Это не случайно, товарищи. Собака вывела человека в люди». И пошла, и пошла... Об усунях, о саках, еще о чем-то. Голос у девчонки звонкий, вид восторженный, она машет руками, улыбается, поворачивается к посетителям, и вот уже побежал шепоток по рядам, ближние подвигаются еще ближе, дальние приподнимаются на цыпочках и стараются заглянуть в стеклянный ящик с серыми костями и красным черепком. Такая древность! Такая ценность! Такая редкость!

Так продолжалось с месяц, а потом экскурсоводку забрали в отдел реконструкции сельского хозяйства — и около моих щитов стало сразу пусто и скучно. В конце концов туда даже перестали сажать дежурную — перевели вниз, к семиреченским тиграм, а то у одного, самого страшного, обрезали усы. Попробовала было пойти к моим щитам заве-

дующая культурно-массовым сектором, но с ней сразу же вышел грех. Кто-то из экскурсантов вдруг спросил: «А какой урожай проса снимали с га древние усуну в VII веке?» Вопрос был не предусмотренный инструкцией, заведующая смешалась, вспомнила мои рассказы про мифическую египетскую пшеницу, которая якобы дает сам-сто, да и лягнула: «Сто», а потом перепугалась еще больше и пояснила: «И отсюда выражение — «сторицей». Скандал мог получиться грандиозный с оргвыводами, объяснительными записками и прочими неприятностями. Дело-то в том, что как раз в это время знаменитый Чаганак Берсиев снял самый большой урожай проса в мире и урожай этот, конечно, далеко-далеко не был сам-сто. Получилось, как тогда любили говорить, опошление подвига знатного просовода или, и того хуже, клевета на советскую действительность. Заведующая, сообразив все, после экскурсии, полумертвая от страха, влетела в кабинет директора, рухнула в кресло и заплакала, забилась, захлопала, закричала.

— Это все он, он, он! — орала она. — Все этот ваш чертов хранитель! Я знаю, он нарочно под руку рассказывает про египетскую пшеницу. Зачем он рассказывает? Что, у нас в Советском Союзе своей пшеницы нет? Но пусть он не думает, что это ему пройдет. Я знаю, куда пойти!

Пойти она никуда не пошла (успокоили, дали воды, высморкали и не пустили), но возненавидела меня с тех пор люто. После того, как у меня не стало экскурсовода, я тихо сидел наверху и инвентаризовал. Но скоро и этому должен был прийти конец — кончались инвентарные карточки. И сейчас, сидя против директора и глядя, как он быстро пишет что-то, видимо очень решительное, я сказал:

— Работать мне уже не над чем.

Он поднял голову и недоверчиво взглянул на меня.

— Да ну, неужели правда все кончил? Вот молодец! А то говорят, забрался наш хранитель на хоры и что там делает — никто не знает, наверно водку со столяром хлещет.

Водку со столяром мы, верно, «хлестали», но только не в музее, а по холодку в парке, на травке под сиренями.

— Что ж, — ответил я, — не будет карточек, верно, придется водку хлестать, только вот не по сезону она.

Директор задумчиво поглядел в окно.

— Да, жарыща, черт ее! В тени сорок! И как ее дед лопает, не понимаю. Я вот ее сейчас в рот взять не могу, а он выльет пол-литра в кружку от бачка, крутанет — и все одним духом до дна. И не закусывает, собака. Понюхает корочку — и все. А еще на задышку жалуется. Какая там у него задышка! Его еще лет на сто хватит. Это, брат, не мы с тобой!

Мы оба немного посмеялись.

— Что ж, старых верненских кровей мужичок, — сказал я, — он ее в этом соборе еще лет тридцать тому назад с попами хлестал. Бегал, рассказывает, на Пугасов мост за смирновской очищенной.

— Как ты сказал? Смирновской? — переспросил директор и остановился, прислушался. — Да, да, смирновская, смирновская! Верно, верно, была такая водка — помню! Шустовский коньяк, смирновская водка, папиросы «зефир». — Он посидел, подумал, поулыбался чему-то своему и вдруг сказал: — Ну, с этим дедом ладно, пусть... А вот другой дед на тебя в обиде. — Он кивнул головой на тетрадку. — И лодку не взял, и не с полным вниманием отнесся к его плану. Что ты ему насчет древнего горшка сказал? Сказал, что не надо, не поедем за ним?

Я пожал плечами.

— Наоборот, сказал, что надо и обязательно поедем.

— Да? — переспросил он. — Ну и правильно, поезжай, бери горшок и привози к себе. И не тяни ты Христа ради с этим, не тяни... Что тут тянуть? Раз вещь древняя, то рассуждать нечего, мы же музей.

— Это конечно.

— Ну, а раз конечно, то и делай, как надо! А то вон твоя благожелательница уже ходит с раздутым горлом. «Ничем себя наш ученый утруждать не желает, даже поехать взять музейную ценность и то ему лень». Чувствуешь змею? А язычок-то ей не привяжешь. Нет, ты поезжай, поезжай возьми этот горшок.

Он говорил и как бы извинялся передо мной, и я отлично понимал его. Никакого смысла в этих горшках он тоже не видел, но раз мы музей, а горшок древний, то давай его сюда. Таков приказ, не подлежащий обсуждению. А директор полжизни провел в армии, в музей попал по какому-то непостижимому стечению обстоятельств (таких непостижимостей много появилось в эти годы) и поэтому научную дисциплину тоже понимал по-военному. Раз положено, так о чем же тут и говорить! Музей... И все-таки в моем отделе он чувствовал себя всегда несколько неловко, совсем не так, как, например, в отделе хлопководства. Там все ясно, вот экспонат, вот диаграмма, вот схема производственного процесса, вот портрет вождя, и над ним крупно: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей». Все понятно и ясно. У меня же ни черта не поймешь — каждая вещь имеет не свою обычную ценность, а какую-то особую, так называемую научную, и законы ее никак не уловить.

Вот, например, ящики на чердаке. В них черепки; одни черепки обливные, то есть чудесные, блестящие, разноцветные, все в каких-то павлиньих и змеиных переливах; другие — просто-напросто осколки горшка. А ценность у тех и других одинакова. На каждом свой шифр, например: «Тр. 35. Б. Р. 3. С. 4. Б.», а означает это — «Тараз. Раскопки 35 года. Баня. Раскоп 3-й. Слой 4-й. Раскопку вел Берштам».

Когда я объяснил это директору, он даже руки потер от удовольствия. Так ему понравилось то, что у каждого черепка есть своя формула. И потом ко всему, что я ему показал, директор относился покорно и уважительно, но с каким-то веселым недоумением. Повторяю же, он был военным человеком.

Дел у директора было масса и без меня. Все в музее осыпалось, рушилось, протекало, валялось без призора. Никто не знал, что у нас есть, чего нет и что нам надо еще. Целый день директор мотался по комиссиям, подкомиссиям, наркоматам, главкам и в кабинет возвращался только под вечер, когда спина на гимнастерке делалась у него черной. Человек он был энергичный, хваткий, даже горластый, умел выжимать и уговаривать. Но все это относилось к армейским делам. В музее же у него постоянно что-то не ладилось. То и дело он попадал впросак, писал не то, что нужно, а на самые простые вопросы ответить не мог, просил денег на то, на что не следовало просить, ссылался на то, на что ссылаться не полагается. Дело осложнило еще и то, что в свое время он кое-кого прижал, и те поэтому пакостили ему с истинным удовольствием.

Однажды, зайдя к нему в кабинет, я застал его на диване с мокрым полотенцем на лице. Именно на лице, а не на голове. Из-под мокрого комка высовывался один выбритый до синевы подбородок. Полотенце было тяжелое и невыжатое, вода текла ему прямо на распахнутую грудь, на ломающийся от свежести и белизны воротничок. Я притворил дверь и окликнул его. Он не пошевелился. Я поднял его руку. Рука была тяжелая, горячая, но совершенно мертвая. Я положил ее ему на грудь, подошел к телефону и снял трубку, но номер назвать не успел. Он вдруг сбросил полотенце (оно сочно шмякнулось о пол) и сказал: «Не надо.

Это голова болит». И сказал о голове так, как говорят: «Не надо, это рак». Боль на директора налетала внезапно. Он сидел за столом и писал или разговаривал с кем-то — и вдруг вздрагивал, бледнел, у него отвисала челюсть, он с усилием глотал что-то, зеленел все больше и больше и вдруг очень ровно, опираясь руками о стол, поднимался с места и плавно выходил из кабинета. А потом лежал на диване, плотно закрыв глаза, его тошнило.

И все-таки при всем том он не забывал меня. Раз в неделю, какие бы дела у него ни были, он вдруг вспоминал о том, что наверху, где-то чуть ли не на колокольне, сидит человек, который не то водку там пьет, не то карточки пишет, и, смешливо качая головой и подсмеиваясь, поднимался ко мне.

— Ну, как живем, что нового, хранитель? — спрашивал он.

Новыми были кости, черепки, бронза, которые я то стаскивал к себе с чердака, то опять, занеся в карточки, уносил на чердак и в подвалы. Директор ходил среди моих камней и каменных баб, кряжистый, плотный комбриг в отставке (скажем прямо, в какой-то очень странной отставке), в белой летней гимнастерке, с армейским ремнем, пружкой-звездой, в брюках галифе и таких надраенных сапогах, что с них все время спархивали солнечные зайчики (только армейцы так умеют чистить сапоги), и улыбался всему, что видел. Вопросов он сначала не задавал совсем, а потом понемногу стал задавать их все больше и больше и наконец уже столько, что мне уже было нечего отвечать. Он много читал, и память у него была отличная, военная. Он ничего ни с чем не смешивал и ничего не путал. И поэтому, когда он брал в руки гладко отшлифованный, серый или черно-синий кусок кремня и коротко говорил: «Неолит» — спорить не приходилось. Это был неолит. Точно так же, когда я ему однажды показал разукрашенный сосуд, где все гребни, круги, пучки тончайших пунктирных излучений чередовались в какой-то дикой гармонии взлета и падения, в круговом вихре уравновешенных и в то же время взорванных и взметенных линий, он сказал: «Вот только-то сегодня обнаружил в отделе хранения, смотрите, какой чудный андроновский сосуд», — он обрадованно воскликнул: «А-а-а! Из Ачинска» — и прошел мимо.

Его уже все труднее и труднее было удивить чем-нибудь.

И все-таки один раз я его не только удивил, но даже, пожалуй, потряс. Я показал ему цветы. В маленькой фанерной коробочке со стеклянной крышкой (в таких продавали чернослив) на вате, уже совсем серой, лежали желтые, белые, кремовые, почти совсем черные свернувшиеся лепестки. Каждый с ноготь. Были они сморщенные, ветхие, легчайшие и какие-то очень, очень древние. И чувствовалась в них еще великая боль увядания. Это была насильственная, грубая смерть цветка. Коробка была наглухо запечатана и лежала в дубовом ящике. Я нашел этот ящик на чердаке среди волчьих и медвежьих черепов.

— Что же это такое? — спросил директор в растерянности.

Я не ответил и сунул коробочку ему в руки. Он бережно, почти робко взял этот крошечный стеклянный гробик с привешенными к нему огромными черными, как пломба, печатями, положил на ладонь и стал рассматривать.

— Сколько лет всему этому? — спросил он тихо.

Я ответил, что не меньше трех тысяч.

— Что? Три?.. — воскликнул он в ужасе. — Что же это такое?

Я ответил, что это белая акация. Когда-то целую ветвь ее сорвали с дерева и возложили на грудь умершего фараона Аменхотепа II. На лбу его, уже пустом, как горшок, лежал венчик из лотосов, голубых и белых,

а на груди вот эта акация. Тело этого фараона, сухое, желтое и звонкое, как чурка, отыскал в 1899 году французский археолог Поре в так называемой долине царей, что около Фив, и снял с груди фараона цветы и еще какой-то амулет. Все это он поднес мадемуазель Ольге Козловой в день ее ангела 5 декабря. Обо всем этом было написано тушью по-французски на обороте ящика.

— А амулет где? — спросил директор.

— А амулета не было, были только эти цветы. Три тысячи лет тому назад их кто-то положил на грудь покойника — буйного, сильного человека, искусного воина, лук которого никто не мог натянуть, кроме него самого — так хвастался он даже в своей надгробной надписи. Три тысячи лет они пролежали у него на груди.

— Отдай, отдай в отдел хранения, — сказал директор, — пусть запрут в шкаф вместе с фарфором. Ведь три тысячи лет этой белой акации.

Белые акации цвели в ту пору во всем городе. Это были высокие, гибко изогнутые деревья. От них исходил сладкий, пряный запах, было под ними всегда темновато. К ним прилетали большие, таинственные, мохнатые сумерницы. Над ними, там, где уж не было ветвей и сияло только солнце да небо, кружились золотистые бронзовки. Верно, все так же было и в Египте в тот день, когда кто-то сорвал с дерева эту ветку и возложил на грудь фараона.

А кем он был, этот человек? Жрецом, женой, любимым рабом? Рабыней? Кто же это знает?

— Так ты съезди возьми горшок, — повторил директор и встал из-за стола. — Возьми! «Возьми себе шубу, да не было б шуму», как говорит Александр Сергеевич, а то видишь, что он пишет? — Он достал из папки две тетрадные страницы и подал мне. — Вот тут, где отчеркнуто, читай.

«Хранитель этого отдела, — прочел я, — человек еще молодой, но горю у него непомерный. Все-то он знает лучше всех. А как проговоришь с ним десяток минут — видишь, что он полный Профан и Невежда — (оба слова с большой буквы). — И вот думаешь: да как же можно поручить изучение Родного Нашего Края — (все с большой буквы) — человеку, у которого нет к нему интереса?! Я очень прошу вас, уважаемый товарищ нарком, посмотреть на эти дела с серьезной точки зрения. Кроме того...»

Я бросил письмо на стол.

— Ты на почерк-то, на почерк-то обратил внимание? — сказал директор.

— Почерк потрясающий, — ответил я. — Прямо высший класс! И в остальном он тоже во всем прав. Никакого интереса я к нему не имею и говорить с ним тоже не буду. Начни — и дня не хватит. А он, видать, жук! Вот монету античную откопал где-то в огороде да принес в институт, так ведь какой шум там затеяли — римский легион в Алма-Ате! Дворец проконсула Санабара на месте колхоза «Горный гигант». Золотые орлы, императорские могилы. Ведь это все с большого похмелья и то не выдумашь. И ничего — сошло. Здесь напечатали, в Москве промолчали. Кому охота связываться с психами! Так вот он теперь к нам пришел, экспедицию просит туда послать! Гоните вы его в шею!

— Да, просит, просит, — задумчиво согласился директор. — Даже докладную подал. Ну, экспедицию не экспедицию, конечно, а эти... как они у вас там называются? Разведочные раскопки, что ли? Ну, разведочные раскопки сделать можно бы было.

Я хотел огрызнуться, но сдержался и только спросил: какой же смысл он находит в этих разведочных раскопках? Поехать-то, конечно, можно — лето, погода отличная, яблоки поспели, карточки у меня все равно кон-



чились, так почему же не поехать, но смысл-то какой во всем этом? Ну, привезем еще десяток корчаг да черепков, а делать что с ними будем? Их у нас и так с десяток ящиков на чердаке. Так и простоят, пока кто-нибудь не догадается снести их в мусорную яму.

— Дело не в черепках,— сказал директор.— Да ты что с ним, вовсе не разговаривал? На этом месте под землей находится древнейший город Алма-Ата, вот что он говорит. Есть, есть тут город, это и я слышал. Так вот он толкует, что нашел его. Сколько, мол, ни искали, никто найти не мог, а он нашел. Видишь, как он повернул.

Я усмехнулся.

Как все-таки легко завести директора, когда начнешь говорить ему о непонятных вещах! Но я ничего не сказал ему. Я только спросил: кого же он думает послать на эти разведочные раскопки. Я бросить отдел не могу, у меня на носу юбилейная выставка Хлудова, целый месяц придется копаться в запасниках музея, отыскивать его картины и рисунки и составлять каталог. Или он думает, что выставку можно отложить? Если отложить, то тогда другое дело, я поеду, проживу с недельку-другую на чистом воздухе.

— Нет-нет, ни в коем случае,— встревожился директор,— занимайся, занимайся, пожалуйста, Хлудовым, это наше первоочередное дело.

Мы помолчали.

— Вот если б еще хоть был один работник,— сказал я вскользь.— Да вы ведь все только обещаете, и до вас у меня был такой же разговор со старым директором, и она мне тоже обещала...

— И она тоже обещала,— горько усмехнулся директор и покачал головой.— Она обещала, и я обещаю, а толку все нет. Да? Голубчик, да откуда же я тебе его возьму, работника-то? Наркомпрос никого не дает, а так с улицы взять тоже боязно. Вон у нас сколько всякого добра и ничего не учтено, и не записано, все так и валяется навалом. Я третью докладную пишу, требую категорически.

— И что же?

Он пожал плечами.

— Ну вот, когда дадут, тогда и поедem в горы,— сказал я.

Он вздохнул.

— Да, видно, что уже так.— Он встал, прошелся по комнате.— Видно, так и придется.

Он покачал головой и засмеялся.

— А бедовый тебе попался старикашка, прямо-таки фырчит от злости. Говорит, а внутри его что-то рычит. А ты занимайся Хлудовым, занимайся. Это сейчас наше первоочередное дело... Уже в газетах о выставке объявлено. Беда только, что старик кляузный, сейчас же жаловаться побежит. Ну, да уж ладно, пусть бежит. Хлудов для нас сейчас — это самое главное.

На другой день утром я застал в своем кабинете деда-столяра. Дед сидел за пивным столиком и, далеко отставив локоть, что-то старательно выписывал химическим карандашом. Увидев меня, он быстро спрятал лист в карман.

— А я думал, что ты опять не придешь,— сказал он равнодушно.

— Это почему же я не приду? — спросил я, проходя и открывая окно.— Накурил ты здесь.

— Нет, я сейчас много курить не могу,— ответил дед печально.— Сейчас у меня задышка и грудь ломит. Скажи, что это вот тут, под лопатками, колет? Вот тут, тут, смотри.

Дед опять похозяйничал, привел монтера Петьку, и они дулись в козла. Деревянный ящичек с костями торчал из лошадиного черепа (Усунь-

ское погребение), и я сразу его заметил, как только вошел. И пили они тут, конечно. Вчера Клара впопыхах не заперла шкаф с запасными спиртовыми препаратами, а когда спохватилась и стала проверять, то недосчитала тигрового ужа.

— Уж не дед ли выпил? — сказала она мне.

— Ну, вы скажете! — ответил я и отошел поскорее от греха подальше.

— Смотри, дед, — сказал я, — ты такое хлебнешь, что ослепнешь. У Клараы гремучая змея пропала, знаешь ты про это?

— Гремучая? — Дед взглянул на меня с неизмеримым превосходством. — Какой же дурак гремучую тащит! Ну взял бы там лягушку или ужа. А то выдумал что украсть — гремучую. Нет, ты вот скажи, отчего у меня задышка. Иногда будто ничего, а иногда так подопрет, вот гут, — он ткнул себя пальцем под лопатку, — ой-ой-ой!

— Ты у директора спроси, — посоветовал я. — Очень он твоей задышкой интересуется. Вчера про нее только и разговор был.

Я прошел к шкафу, отпер его, вынул ящик с карточками, поставил его на стол, придвинул чернила и приготовился работать. Дед сидел, смотрел на меня.

— Ну-ну, — сказал он через минуту. — Что же ты замолчал, рассказывай дальше: разговор был?.. Ну...

— Что ж дальше? — спросил я. — Лопнет, говорит, дед от водки, в самую жару ее дует — вот и весь разговор.

Лицо у деда стало нехорошее — усиленно спокойное.

— Да нет, не весь, — сказал он скрипучим голосом, — ты скрываешь.

Я положил ручку и посмотрел на него внимательно.

— Да говори, говори, — крикнул дед, — что ты жмешься, как... Кого вы там наняли?

Я бросил ручку.

— Ну совсем от водки помешался, — сказал я. — Откуда что берет, черт его знает.

— А почему мне директор приказал освободить один верстак в столовке? Мол, другой сюда придет по выходным работать. Что же ты скрываешь-то? Ты все говори.

— Ну и какая тебе беда, пусть работает, выпиливает.

Я снова взял ручку.

Дед недоверчиво покосился на меня, но я сделал вид, что не замечаю, и продолжал писать. Писал и чувствовал, что огромная льдина свалилась с сердца деда и он сразу просветлел и обмяк.

«Глупый ты дед, — подумал я, — ах, какой же ты дурак! Да разве мы когда-нибудь с тобой расстанемся, старый ты пьяница? Как же этот собор-то будет жить без тебя? А директор — жук! Тоже хорош! Дразнит старика. Да разве два медведя в одной берлоге уживутся?»

— Ничего, дед, держись! Три крепче к носу, мы тебя в обиду не дадим! — крикнул я бодро.

Старик счастливо посмотрел на меня и быстро заворчал:

— Вы уж не отдадите... Вы не отдадите... На вас только понадейся! Знаешь, как я на вас надеюсь? Вот как!

А сам улыбался и улыбался, а потом что-то вспомнил и крикнул:

— Да ведь к тебе красавица приходила!

— Какая еще красавица? — огрызнулся я.

— А бог тебя знает какая. К тебе, а не ко мне приходила. Если ко мне красавица приходит, так я знаю, какая она. Старое поколение, знаешь, оно какое было...

И он рассказал, какое было старое поколение.

«Ожил дед», — подумал я и сказал:

— Ладно, дед, иди, а то прискочит сейчас Клара насчет этого ужа...

— Да она с Кларой и говорила,— сказал дед счастливо,— ей-богу, ей-богу... Ничего ей не открыла, ни-чего! Та и так, и сяк, и «передать, может быть, что-нибудь», и «дайте телефон, он позвонит» — та ничего! Вся покраснела, пошла и говорит: «Звонят тут ему всякие!»

И дед хмыкнул.

Он был заводила и озорник, этот семидесятилетний пьяница с толстым сизым носом. Пил он как дьявол, столярное дело знал ангельски, любил поозорничать, посмеяться, посплетничать, а может,— кто же его знает? — еще и вправду погуливал.

— Так, значит, не приходила, а звонила,— сказал я.— Так почему ж ты знаешь, что она красавица?

— Знаю,— хмыкнул дед,— я раз сам к телефону подходил. Знаешь, какой голосочек — незабудочка! Вот у барышни Фольбаум был такой голосок. «Скажите, когда я могу увидеть...» — и тебя по всему артикулу. «Можете, говорю, увидеть сегодня, его Совнарком вызвал, сейчас ожидаем обратно». — «Ах, большое, большое вам мерси». — «Пожалуйста, мы всегда хорошим барышням служить рады». Так что ты в трусах сегодня не сиди, а то она придет, а ты, как Ванька малый, без брюк, довольно стыдно будет. (Был у него такой какой-то Ванька малый — предел человеческого падения, серости и дурости. Меня он с ним сравнивал еще редко и то больше за глаза, зато по отношению к остальным этот несчастный Ванька так и не слезал у него с языка.)

— Ну, ладно, дед,— сказал я,— иди-иди, а то, верно, она придет, а мы тут с тобой...

Пришла она только на следующий день. Я сидел и писал карточки и вдруг поднял голову и увидел привидение — да, да, это первое, что пришло мне в голову — привидение! Так она была страшна и так бесшумно появилась на пороге.

— В чем дело? — закричал я, вскакивая (я был все-таки в одних трусиках, иначе здесь было невозможно работать). — Музей закрыт!

Она чуть улыбнулась и сказала:

— Мне нужны вы. Я похожу по музею, одевайтесь! (Голос был, правда, мелодичный и молодой.)

Через пять минут она пришла снова и представилась: прозектор медицинского института, вдова профессора Ван дер Белен.

— У меня к вам дело.

— Садитесь, пожалуйста,— пролепетал я, а сам сесть не смог, да так и стоял до конца разговора.

Она давила меня всем — своей осанкой, желтым верблюжьим лицом, скулами, несгибаемым бурым пальто, словно выкроенным из жести, черным пузатым портфелем, который она сейчас же положила на стол.

— Вот что я хочу вас спросить,— сказала она, чуть кривя тонкие, высокомерные губы.— нет ли у вас в музее хорошего скульптора?

Я сказал, что и никакого-то нет, есть только мастер по муляжам.

— Му-ляжжи? — переспросила она.— Нет, это мне, конечно, не подходит. Дело в том, что мне надо вылепить бюст... — Она достала из портфеля трехкилограммовую банку «сахар» и поставила ее на стол.— Вот из этого материала, смотрите!

Я посмотрел: на три четверти банка была наполнена чем-то серым, однородным, сыпучим, такое иногда приходится находить при раскопках.

— Это пепел? — спросил я.

— Да,— ответила она,— это пепел! Это пепел моего любимого человека доктора Блиндермана. Я его сама сожгла, теперь я хочу вылепить из этого пепла его бюст.

Я молчал и ошалело смотрел на нее.

— Ну, конечно, он сперва заболел, умер, а потом я его сожгла,— объяснила она улыбаясь.— Вы так на меня смотрите, что...

— Да нет, нет,— сказал я поспешно,— ничего особенного. Только, может быть, вы мне как-нибудь объясните...

— А все очень просто,— сказала она и начала рассказывать.

Действительно, история оказалась сумасшедшей, но не очень сложной.

Любимый человек Ван дер Белен был хирургом и работал в городской больнице. За что-то лет пять тому назад он попал в ссылку и уже кончал ее. Дома его ждали жена и дети, а он вдруг рехнулся и сошелся с этой страшной, костлявой, как смерть, старухой. Ван дер Белен была мрачна, юмористична, деятельна и ничего на свете не боялась. Маленький доктор Блиндерман (он был, верно, крошечный, я видел его фотографии — чижик-пыжик в пиджаке) боялся всего и паче всего повторного ареста. Так они жили, работали, встречались. Потом доктор Блиндерман заболел и слег. Осень 37 года в Алма-Ате была очень плохой — дождливой, холодной, гриппозной. И Блиндерман схватил воспаление легких. Болезнь, как сказала мне Ван дер Белен, сразу приняла галопирующую форму. Доктор Блиндерман бредил, вскакивал, кричал, чтоб его спрятали, что за ним пришли, а над ним сидела страшная старуха Ван дер Белен, меняла ему влажную повязку на голове, поила чаем и уговаривала. Никого в комнате больше не было, никто не интересовался доктором Блиндерманом. Через неделю он умер. Старуха забрала его к себе в анатомичку, вскрыла, заактировала и сожгла. А затем выгребла пепел, ссыпала в хозяйственную жестянку и забрала домой. Затем достала где-то цветочную рассаду, высадила ее на жестяной поднос, и с тех пор доктор Блиндерман всегда стоял среди цветов. Так прошло несколько месяцев, старуха все продолжала думать и выдумывать. И додумалась. Летом 1938 года она стала посещать квартиры кое-каких алма-атинских художников. Она просила хозяина уделить ей пять минут, садилась, клала портфель на колени, вынимала банку, раскрывала ее и рассказывала всю историю жизни и смерти доктора Блиндермана. Художники пугались, шарахались, кричали, что она взбесилась, чтоб она немедленно забирала свою банку и катилась с ней к чертовой матери, что на нее сейчас спустят собак, милицию вызовут. Но смутить Ван дер Белен, старую смолянку, урожденную грузинскую княжну, было просто невозможно. Она засовывала банку опять в портфель, ласково просила извинения и уходила. Выдержка у нее была железная, а кроме того, она верила, что скульптор обязательно найдется. Деньги у нее на это были. Она целые полгода питалась молоком и хлебом и копила. И действительно, скульптор нашелся. Это был какой-то безумный изобретатель-химик и художник одновременно. Он сразу же заболел ее мыслью. Это идея, сказал он, надо только найти, с чем соединяется человеческий пепел. Он поставит эксперимент и позвонит ей. И через месяц он действительно позвонил в прозекторскую. Пепел, сказал он, соединяется с жидким стеклом, пусть она тащит свою банку, он попробует. «Хорошо,— сказала старуха,— завтра я принесу вам все». А ночью к Ван дер Белен постучались два веселых румяных паренька, третий управдом, и предъявили ордер на арест. И первое, что спросили они, было: «А где же доктор Блиндерман?!» — «А вон, в резеде»,— кивнул управдом на подоконник. И тогда один из пареньков смеющейся походкой (все трое были в отличном настроении) подошел к подносу, взял в руки круглого двухкилограммового доктора Блиндермана и унес с собой.

Полностью конец этой невероятной истории я узнал только через несколько лет. Но все основные элементы ее — смерть доктора Блиндерма-

на, пепел, бюст, арест — я знал тогда же и рассказал директору. Он выслушал меня, не перебивая и ничего не спрашивая. И только когда я кончил, бросил ручку, которой играл, и спросил, правда ли это. Я сказал, что в основном да.

— Нехорошее дело, — вздохнул он, — очень, очень нехорошее.

— Жалко старуху, — сказал я.

Он удивленно поднял голову.

— Старуху? Эту ведьму-то? Вот уж кого ни капельки не жалко, старая психопатка и пакостница. Я бы такую дрянь дальше зеленого ларька не пускал, а ее, видишь ли, в трупарню допустили, бо-лва-ны!

— Да, — сказал я, — это вы правильно. Шекспировская ведьма! Она и внешне похожа — посмотрите!

И я открыл том Шекспира, лежащий у меня на столе, и показал ему рисунок. Он долго смотрел, а потом как-то смущенно, совершенно иным тоном сказал:

— Вот Шекспир! Я ведь его всего не читал, брат. Только что на сцене видел. А мне «Макбета» хочется прочесть. Есть он тут? — И он ушел, унося книгу.

А часа через два он снова зашел ко мне уже поутихший, спокойный и мирно спросил, кто у нас занимается вводным отделом.

Я засмеялся. У нас, собственно говоря, и вводного отдела-то не было, был просто вестибюль с фигурой мамонта (его намалевали прямо на стене в натуральную величину). Витрина с куском металлического метеорита, который очень быстро украли (мне и до сих пор, по совести говоря, жалко его, преотличный был метеорит, килограмма на три, отшлифованный с одной стороны до зеркального блеска, с другой — сохранивший всю свою первозданность — буграстый, черный, лобастый, опаленный огнем и холодом космического пространства). Висело еще несколько красочных таблиц — происхождение вселенной: везде взрывы, букеты желтого пламени, мрак, схема Канта — Лапласа, схема Чемберлина — Мультона, схема Джинса (о Фесенкове и Шмидте тогда еще никто не слышал). Вот, пожалуй, и весь отдел. Да, была еще одна старая книга XVIII века «О многочисленности миров» с великолепным форзацем (гравюра на меди), изображающим коперниковскую систему мира. Я приобрел эту древность в букинистическом магазине и подарил заведующей отделом хранения. Тогда этот отдел только что оформлялся.

Вот с этой книги и начался разговор о вводном отделе. Я ответил ему, что отдел этот растет сам по себе; вот найдет, положим, Клара у себя альбом «История религии», принесет его нам — мы и выдерем несколько таблиц, застеклим и повесим; принесут нам школьники кусок глинистого сланца с отпечатком древней рыбы — мы его приспособим туда же. А вот недавно попался нам зуб ископаемой лошади...

— Да, да, — сказал директор задумчиво, — понятно, понятно, листки из альбома, зуб... самотек, халтура... — И вдруг спросил: — А кто поместил среди этих таблиц и зубов книгу о системе мира, вышедшую двести лет тому назад?

Я ответил, что я. Он полминуты молча смотрел на меня, а потом вдруг хлопнул по плечу.

— Ну, молодец, — сказал он как-то даже растроганно. — Есть вкус и выдумка... Есть! В нашей работе это главное. Вот что значит настоящая вещь. Повесь ты не книгу, а фотографию — и все пропало, пройдут мимо и не взглянут. Ты знаешь, ведь эту самую книжку святой синод постановил уничтожить. Един бог и един мир, и никаких тебе множеств. Вот

и весь тут сказ.— Он сел.— Напиши-ка об этом тексточку, я дам литературу, хорошо?

Я кивнул головой.

— И так, знаешь,— он мужественно потряс кулаком,— покрепче, покрепче, вот как мы читаем об этом в красноармейских аудиториях: «Ненавидя и страшись человеческой мысли, мракобесы в черных рясах решили...» Понимаешь? Напишешь?

Я ответил:

— Если сумею, то напишу.

— Сумеешь,— великодушно успокоил он меня.— Ты сумеешь! Это твоя статья в «Казправде» о республиканской библиотеке? Что там находится первое издание Галилея? Твоя?

Я ответил, что написали эту статью мы вместе с одним из сотрудников библиотеки Корниловым. Он мне показал эту книгу; кажется, она даже не заинвентаризована.

— Ну? — Глаза директора загорелись охотничьим огнем. В нем сразу проснулся пропагандист-агитатор, член ОВБ (Общества воинствующих безбожников).— Даже еще не заинвентаризована? Слушай, а как бы нам ее сюда, в музей, на витрину, а? И надпись над обеими книжками: «Борьба церкви против разума — книги, запрещенные инквизицией православной и католической». Это в том же месте, где языческие христы.

«Христы... Вот напасть-то, не забыл, значит...» — подумал я и сказал:

— Не отдадут нам эту книжку. Там одна такая тетка сидит...

— Не отдаст? — посмотрел на меня директор.— Ну, это еще как сказать. Тут все дело в бумажке, как бумажку составить. Ты сам посуди, кто у них там по-итальянски читает? Лежит и лежит она на полке. Не твоя статья бы, так никто о ней и не знал. Ну, ладно, я об этом поговорю кое с кем. Как фамилия-то тетки? Аюпова? Аюпова, Аюпова! Встречались как будто где-то на заседании в Наркомпросе, кажется.

Продолжение этого разговора было самое неожиданное. Через два дня директор позвал меня к себе, открыл ящик стола и вынул то самое прижизненное издание Галилея в бело-желтом переплете из свиной покоробленной кожи, которое я с таким трепетом держал в руках месяц назад.

— Что, дали сфотографировать? — спросил я.

Он довольно расхохотался.

— Сфотографировать! Придумаешь! Я для этого книг не беру, я если что беру, так насовсем.— Он хлопнул ладонью по книге.— Наша! Триста лет нас ждала, из Голландии к нам приехала. Поместим на всеобщее обозрение. И вообще надо, надо тебе заняться вводным отделом. Мы же музей! Должны воспитывать. На одних камнях далеко не уедешь, товарищ археолог!

И снова засмеявшись и снисходительно похлопав меня по плечу, он ушел. А я остался и начал о нем думать.

Как он попал к нам? Почему его не послали, скажем, инспектором в Осоавиахим или не сделали директором физкультурного института? Как вообще его можно было запрятать в музей? Надо сказать, что я и до сих пор не уяснил потаенный смысл этого назначения. Но, вернее всего, и никакого смысла не было. Просто надо было сунуть куда-то человека, вот и сунули. Сошлись мы с ним совершенно неожиданно. Оказалось, что мы интересуемся одной и той же областью, но с разных сторон. Я вплотную лет пять занимался кризисом античной мысли I века, а следовательно, зарождением христианства. А он лет двадцать

как читал лекции на антирелигиозные темы, разоблачал поповские чудеса, обновлял иконы, превращал воду в кровь. Поэтому у нас нашлось много общих интересов. Лектором он был превосходным. Аудиторию чувствовал, так сказать, кожей, пряжкой своего красноармейского ремня, сбить его было невозможно. И поэтому попы его боялись по-настоящему. А к тому же опять-таки та же несокрушимая красноармейская память. Он помнил наизусть и тексты и критику их. Тексты знал и я, но совершенно с другой стороны, а в ряде случаев и совершенно по-иному. Поэтому мы чаще спорили, чем соглашались. Но и это было тоже хорошо. Как все антирелигиозники того времени, он вопросы понимал прямо и лобово и так же лобово отвечал на них. Чертил, например, на доске родословную Христа (все это наизусть, наизусть!) — у Матфея так, у Луки — этак, а у Марка совсем иначе. Так как же, товарищи красноармейцы, на самом деле?

Для меня, понятно, все это никакого значения не имело. Я говорил ему о той вулканической почве, на которой возникло это молодое, паразитично сильное и живучее течение, о том, что, когда в начале нашей эры республика превратилась в монархию, а вождь ее — сначала в императора, а потом — в бога, для обнаженной, мятущейся человеческой мысли не осталось ничего иного, как отвернуться от такого бога и провозгласить единственным носителем всех ценностей мира человека. Но тогда пришлось перенести царство его за пределы жизни, ибо на земле места для человека уже не оказалось. Директор все это отлично понимал, но вместе с тем это никак его не интересовало. В красноармейскую аудиторию с такими разговорами не сунешься. И, конечно, он был прав. Мои ученые построения только вконец запутали дело. Попы (а их у нас появилось немало, директор задумал провести инвентаризацию музея, и ему потребовались грамотные люди; не шутка ведь — описать и занести в картотеки двести тысяч экспонатов), так вот попы, слушая меня, только поддакивали и кивали головой («Вот как теперь, оказывается, студентов учат: очень хорошо, молодой человек, очень хорошо! Что перед этим наше семинарское образование? Да разве нас, дураков, когда-нибудь так учили? Поэтому так и получилось все, что мы дураками были!»). Директор же их клал с ходу. Они только слабо барахтались под его железными аргументами. Нужно сказать, что теперь этот тип пропагандиста-беседчика вымер почти начисто. Но мое поколение его помнит. В двадцатые годы в рабочие клубы, школы взрослых, просто библиотеки и столовки пришло целое поколение таких-разэтаких молодых, задорных, красивых, голосистых командиров. В течение нескольких часов они начисто разделялись с богом, попами, церковью, самогонщицами, кулаками, спекулянтами и кончали свою лекцию показом какой-нибудь картины, такой же залихватской, отчаянной и веселой, как и они сами. (Ну, например, «Комбриг Иванов» — 1924 года. Комбриг пленяет своей громоносной антирелигиозной лекцией в клубе дочку попа и увозит ее на кавалерийском седле. И вот ведь великая культура гражданского стиха двадцатых годов! Все титры в картине были написаны стихами!)

Старая интеллигенция не любила таких лекторов. Она честила их архаровцами и хулиганами, называла их лекции похабиной, то ли дело нарком Луначарский! Но из эпохи этих людей уже не выкинуть. Они вошли в нашу жизнь так же плотно, как входили расписные агитпоезда с зелеными драконами и мускулистыми рабочими кумачового цвета, как окна РОСТА, карикатуры Моора, красочные плакаты Маяковского.

Вот на этой красочности мы и сошлись с директором вторично. Оба мы понимали и любили художника Хлудова, выставка которого впервые открылась в залах нашего музея летом 37 года.

### Глава четвертая

Жил в городе Верном такой художник, автор многочисленных этнографических картин, кажется по выслуге лет еще статский советник, учитель рисования верненской мужской гимназии Николай Гаврилович Хлудов<sup>1</sup>.

В молодости он был строг и педантичен, а под старость сделался чудаковатым и смешным. Угощал гостя в половине тридцатых годов папиросами «ю-ю». Очень хотел получить государственный заказ, но никак не мог понять, зачем ему заключать договор с государством. Спрашивал, как можно за пять дней написать плакат метров в десять, когда он, Хлудов, и на картину в один метр тратит больше месяца. «Я вижу — вы все сошли с ума», — сказал он скорбно и отмахнулся. (Так заказ и не состоялся.)

Судьба послала этому чудаку при редком долголетии еще и завидную плодовитость. Хорошая сотня картин и этюдов до сих пор хранится в запасниках Центрального музея. Картинная галерея взяла их отказалась. «Что за художник? — сказали искусствоведы. — Ни стиля, ни цвета, ни настроения. Просто бродил человек по степи, да и заносил в свой альбом все, что ему попадалось на глаза — казаха, казашку, казачат с луком, еще всякое». Так ничего и не взяли. И когда я, готовясь к юбилейной выставке, попросил кое-кого из Союза художников показать, где и что повесить, на меня поглядели, как на блажного. «Господи, да валяйте их всех подряд, — сказал мне самый известный, — из чего тут выбирать? Это же все Хлудов». И я повесил все подряд — казаха с ковром в руках, и девушек в реке, и ребятшек с луками, и ночную грозу, и расчудесных казаков-семиреков на конях и с шашками наотмашь, и еще множество всякой всячины, и все они висели и сияли, и вокруг них всегда останавливались. Ведь это был Хлудов!

Вскоре после этого мне предложили написать о нем небольшую популярную статейку для журнала. Я ухватился за это предложение — перерыл все музейные архивы, собрал целую папку фотографий, а потом написал с великим трудом с десяток мучительно вялых страниц и бросил все. Ничего не получилось. Не нашлось ни слов, ни образов. В редакции меня выругали, а статью через год написал другой, уже настоящий искусствовед. Один кусок из его статьи я уже цитировал. Вот еще два о мастерстве художника:

---

<sup>1</sup> Вот какие сведения содержатся в единственной известной мне статье о нем: «Родился в 1850 году в Орловской губернии. Отец — фейерверкер Брянского арсенала. Учился в Одесской школе рисованию. В 1876 году учился в мастерской Гоголинского. В 1877 году с художником Глушковым очутился в Верном учителем рисования. Составил вместе с Глушковым этнографический альбом (казахи, уйгуры, дунгане, узбеки), потом работает на межевание земли в Семиреченской и Сыр-Дарьинской областях. В 1877 году привлекается Мушкетовым и путешествует с ним по местам разрушения. Награжден серебряной медалью. С 1910 по 1917 — учитель рисования и черчения в Верненском высшем начальном училище, учительской семинарии и женской гимназии. С 1910 — участвует на выставках Петербурга и Москвы. С 1918 по 1919 преподает рисование и черчение в Верненском сельскохозяйственном техникуме». Добавлю сюда еще последнюю черту его биографии: «Педагогическая деятельность Хлудова имела большое значение для советского казахского искусства. С 1921 года он возглавлял студию, где занимался с группой начинающих художников» (Е. Микульская). Эта школа просуществовала десять лет, до 1931 года, но значение работы Хлудова далеко выходит за узкие, временные рамки потому, что в этой студии получили первые профессиональные знания многие художники, которые работают и сейчас в Алма-Ате.



«Единственное влияние, которое испытал Хлудов,— это влияние верещагинского натурализма. Хлудов достигал временами значительных результатов, соединяя скупую, выдержанную гамму с четким рисунком». А рисунки эти описываются так: «Уйгурская школа» — восемь мальчиков сидят на полу во время урока по чтению корана, позади учитель-мулла с длинной палкой-указкой; «Жатва» — семья казаха жнет пшеницу на переднем плане, одна из женщин наливает другой в чашку кумыс; «Ночная баранта» (грабеж) — горный пейзаж, ночью в грозу несколько казахов угоняют косяк лошадей; «Похищение невесты» — молодой казах переносит через реку девушку, на другом берегу поджидает его товарищ с лошадьми.

Вот и все. Десяток раскрашенных фотографий, этнографические документы о быте казахской степи начала века — восемь мальчиков, четыре казаха, одна девушка, один мулла. Этим исчерпана жизнь художника.

Я не хочу ни оскорблять этого искусствоведа, ни тем более спорить с ним прежде всего потому, что, вероятно, в чем-то он прав, но, вероятно, также прав и я, когда говорю, что он ничегошеньки не понял в Хлудове<sup>1</sup>. И та моя давняя статья об этом художнике не удалась мне, конечно, только потому, что я тоже пытался что-то анализировать и обобщать, а о Хлудове надо разговаривать. И начинать статью о нем надо со слов «я люблю». Это очень точные слова, и они сразу ставят все на свое место. Так вот — я люблю...

Я люблю Хлудова за свежесть, за радость, за полноту жизни, за красоту событий, которые он увидел и перенес на холст.

Я люблю его за солнце, которое так и бьет на меня со всех его картин. Или яснее и проще: я люблю и понимаю его так, как дети любят и понимают огромные литографии на стене, чудесные поздравительные открытки, блестящие переводные картинки, детские книги с яркими лакированными обложками. Все в них чудесно, все горит. И солнце над морем (солнце красное, море синее), и царский пурпур над золотым ложем, и наливные яблочки на серебряном блюде — один бок у яблочка красный, другой (с ядом) зеленый, и темные леса, и голубейшее небо, и луга нежно-лягушачьего цвета, и роскошные кочаны лилий в синем, как небо, пруду. Вот и Хлудов точно такой. Только, пожалуй, гениальный таможенник Руссо не боялся рисовать такими ясными, я бы сказал, лобовыми красками, как он. Именно красками, а не тонами — тонов у него нет, как и нет у него иных настроений, кроме радости и любованья жизнью. Он заставлял луга пестреть цветами, коней подыматься на дыбы, мужчин гордо подбочениваться, красавиц распускать волосы. Он вытаскивал узорную парчу, ковры, ткани и все это вываливал груды перед зрителем. «Смотрите, я все могу!» Рисовальщиком он был великолепным, даже не рисовальщиком, а мастером рисунка. Иногда он просто кокетничал своей техникой, тем, что он все может. Вдруг возьмет и вычеканит ни с того ни с сего на уродливом, тяжелом браслете из черного серебра старинный казахский узор или вдруг распишет кошму так, что рисунок ее сделается рельефным — прямо хочется потрогать! Или пропустит солнечный луч через воду — и вода вспыхнет и засветится. Все, что он видел, он видел с точностью и резкостью призматического бинокля. А ведь в такой бинокль не уловишь ни тонов, ни переходов.

<sup>1</sup> Впрочем, дело не в нем. Такой подход к работам Хлудова был в то время обычным. Художника в нем даже не угадывали. «Полотна Хлудова являются маленькой энциклопедией Казахстана, передающей своеобразие этого края в красках и линиях», — писала «Литературная газета» в дни первой декады искусства Казахстана (15 мая 1936 года).

Одни цвета да жесткий, четкий контур: дерево, холм, человек на холме. Нечто похожее, но только еще резче и жестче можно найти в рисунках, приложенных к научным отчетам и описаниям старинных экспедиций (все старинные естествоиспытатели отлично рисовали). Точность этих рисунков равнялась только той латыни, которой она сопровождалась. Животные в таких рисунках были видом, человек — типом или народностью. Ученый, стоящий над художником, начисто лишал его творческой свободы, но зато он учил его конкретности, точности, бережному обращению с вещью, заставлял не только изображать мир, но и различать его на части. Это и была наука. До души такие художники через платья, тюрбаны и побрякушки дорваться на могли, зато плоть они любили и передавали ее отлично. История несправедливо отнеслась к этим великолепным рисовальщикам, она не сохранила нам имен. А об этом стоит пожалеть. Все эти фактографы и протоколисты были романтиками и фантазерами.

Попробую пояснить это примером. Лет четыреста пятьдесят тому назад какой-то предприниматель или капитан корабля привез в славный город Нюрнберг носорога и выставил его в балагане, а художник Дюрер протискался через толпу зевак, открыл альбом и начал рисовать. Рисунок у него получился очень точный. Носорог как носорог. Можно определить все: и породу, и возраст зверя. И все-таки повторяю (я даже не полностью понимаю, как это выходит): это не только реальный носорог — это еще чудовищный и фантастический зверь апокалипсиса. Его панцирь распростерт, как крылья дракона или гигантской летучей мыши. У птеродактилей, как их рисуют в фантастических романах, точно такие крылья. Ясно видны сочленения, сухие пальцы и когти, какие-то скрепки и шляпки гвоздей. Вся фигура его словно выкована в кузнице оружейника. В ней куют мечи, щиты, шлемы, нагрудники, вот выковали для украшения арсенала и этого зверя. Это то самое чудовище, о котором в книге Иова написано: «Он поворачивает хвостом, как кедром, ноги у него, как медные трубы, кости, как железные прутья». Таким Дюрер его увидел и зарисовал. Но мы-то с детства знаем совершенно другого носорога. Это просто-напросто громоздкая, неповоротливая скотина, толстокожая и нечистоплотная, с узенькими свиными глазками и тяжелым задом. Он громоздко ворочается в загоне, сопит, фыркает, грузно шмякает по соломенной подстилке так, что летят навозные брызги. Таким мы его узнали в детстве по зоопаркам и учебникам зоологии и иным нам его уже не увидеть, даже после Дюрера. Но посмотрите на его рисунок — и вы поймете, что приходило в голову мастера, когда он впервые открывал свой альбом перед клеткой зверя.

А раскрашенные гравюры Бюффона! Это был прудивительный человек, этот Бюффон — натуралист, путешественник, придворный остроумец, гениальный стилист и кавалер многих орденов. И это был еще человек, который вдруг захотел принять на себя обязанность Ноя. Он проинвентаризовал все живое — всех чистых и нечистых, и сделал это со всем блеском в томах, переплетенных в бурую кожу и залитых золотом.

Конечно, современным зоологам нечего делать с этой горой книг, но зато какие там гравюры! Разве можно равнять с ними рисунки иллюстраторов Брема? И те были мастерами первого класса. Каких павлинов они, например, рисовали — великолепных, блестящих, распахнутых, как гигантский веер! Как умели они передать мягкость пуха райской птицы, мельчайшие чешуйки на крыльях колибри, светоносность, изумруд и бронзу оперенья зимородка! Они вырисовывали каждое перышко, схватывали свечение раковины, блеск пера, лоск шерсти, тусклый желтый огонь глаз зверя. Но поздно, слишком поздно они пришли со своими кисточками. За сто лет прошло удивление, выдохся восторг первооткры-

вателей, и осталась на их долю только верность рисунка, твердость руки, зоркость глаза. И сразу же их великолепные картинки превратились в олеографии. Все удивительное, неповторимое, сказочное ушло из их рисунков безвозвратно.

Кто хочет вступить вместе с Робинзоном на его необитаемый остров, кто хочет полюбить Пятницу, пусть отыскивает в музеях и библиотеках старинные альбомы, листает их голубоватые страницы, всматривается в точные и четкие зарисовки! Только там найдешь портреты невиданных людей, зарисовки с еще неизвестных животных. И не в мастерстве, конечно, дело. У рисовальщика была одна задача — дать точный документ, не нарисовать, а запротоколировать. Но разве не чувствуется, когда смотришь на эти необычайные линии, изгибы и формы, дрожь, которая вот-вот охватит карандаш художника? Вот, например, гравюра в одном из томов Бюффона — птица-носорог. Она чудовищна, огромна, зловеща — этакий тропический черный рогатый ворон. Художник был скрупулезен, он ничего не упустил. Его карандаш и резец доходили только-только до определенного предела и останавливались на нем; но чувствуется, как хотелось ему пририсовать этому дьяволу еще второй рог, сделать его клюв крючковатым, как нос у ведьмы, а ногти когтистыми, вообще намекнуть как-нибудь, что тут и до черта не так уже далеко. И другая гравюра — гриф. Смотришь и понимаешь, что художник рисовал птицу, а вспоминал-то дракона. И размах дьявольских крыльев, и перья, похожие на чешую, и стальные когти, и змеевидная, морщинистая шея гада — все, все ясно выдает мысль художника. Он понимал, что гриф вышел из рук создателя не совсем таким, каким был задуман, что не все намеки в нем расшифрованы, не все дожато, додумано до конца. И будь, например, господом-богом он, художник, все брошенное мимоходом было бы доведено до полной ясности. Дракон был бы драконом, а черт — чертом. Но над художником стоит ученый, и мысль о всей этой дьявольщине только чуть-чуть сквозит в точных, уверенных линиях его карандаша.

Таковы были старинные рисовальщики. И Хлудов тоже мог бы на всю жизнь остаться только одним из них. Но его окружали горы, пески, моря, зелень, голубейшее небо, цветастая земля — и он бросил карандаш и взялся за кисть. И недаром, конечно, взялся. Мир заблестал, задвигался, замерцал в его полотнах. Он так и не расстался — старый учитель рисования провинциальной гимназии — со своей почти фотографической сухостью и жесткостью рисунка, так и не узнал иных цветов и красок, кроме тех, которые выдавливаются на холст из тюбика.

Я уже писал — ему были недоступны ни полутона, ни переливы. Он не признавал ненастье и серое небо. Все, что он видел, он видел либо при свете солнца, либо при полной луне. Но тут ему уже не было соперников. Ведь он рисовал не только степи и горы, но и ту степень изумления и восторга, которые ощущает каждый, кто первый раз попадет в этот необычайный край. И именно поэтому каждое его полотно ликует и смеется от радости. Конечно, радость эта грубовата. Хлудов был начисто лишен того чувства, которое заставляет художника вдруг останавливаться в сумерках перед кустом сирени или перекатывать в руках светящуюся раковину. Но зато какие великолепные кисти винограда — сочного, спелого, тяжелого, пронизанного насквозь зеленым солнышком, — несет на лотке разносчик фруктов! Он стоит в древесной тени темной и светлой аллеи — рослый, сильный красавец, солнце жгуче пробивает сквозь листву и рассыпает на песке желтые медали и браслеты. На разносчике белая, сверкающая рубаха, высоко засученные брюки, крепкие, босые, бронзовые ноги, и сам он — бронзовый, молодой, крепконогий, с полновесной тяжестью на голове. Только взглянешь — и сразу

станет легко на душе. Вот все это — жаркий полдень, зеленоватые потемки, тени и свет на песке, гряда виноградных кистей, рослый улыбающийся красавец — и есть мир Хлудова. И вот что интересно. Семиреченская степь, как всякая древняя страна, просто набита памятниками. Огромные мазары, развалины великолепных мечетей — пышные, как взбитые подушки, — надгробья с узорчатыми надписями и полумесяцем, каменные бабы — целые мертвые города, населенные каменными людьми... Но ведь Хлудов все это попросту не заметил. Ни одной такой его зарисовки я не знаю. Вероятно, где-то в каких-то альбомах что-то подобное и есть, но картины на эти темы он определенно не рисовал. Он жил только настоящим, интересовался только сегодняшним, проходящим, живым.

Ясно, какой храм они построили с Зенковым. Однажды я это понял с полной отчетливостью. Долгое время на чердаке валялось несколько длинных черных досок, никто на них не обращал внимания, но как-то я перевернул их и через пыль и лампадную копоть увидел проступающую живопись. Досок было много — наверно, десятка полтора, я их все обтер мокрой тряпкой и выставил вдоль стены. И они все стояли в ряд — воины, цари и мужи. Одни суровые и решительные, другие — затуманенные раздумьем предстоящего подвига; на них сверкали панцири, латы и мечи, над ними парили нимбы и небесные короны. Потом был какой-то старец с детски розовым лицом и длинной благостной бородой. Он истово заводил глаза горé, а под ним лежали разбитые скрижали — осколки синеватого мрамора. Красавицы с нежным овалом лица, голубоглазые, тонколядые, пышноволодые, держали в длинных прохладных пальцах пальмовые ветви и лилии. Было видно все мерцающие лепестки, марки, желтые, похожие на гусениц тычинки. Были еще и детские личики с крылышками (зачем их оторвали от земли и сделали ангелами?). Были быки и львы, змеи и голуби. Наверно, я наткнулся на остаток того самого большого иконостаса, о котором верненский батюшка Марков, грешивший стишками, писал в «Семиреченских ведомостях» так:

Иконостас здесь резной и прекрасный,  
Золотом чисто, искусно покрыт,  
Он грандиозный, высокий, трехчастный,  
Точно охвачен огнем и горит.

И он действительно горел со всех сторон и со всех досок. Горел даже на чердаке. Даже через пыль и копоть. Даже через десятки лет забвенья и пренебреженья.

И когда я ушел от этих досок и спустился вниз под белый купол музея, к высоким окнам, под целые столбы и туннели света, к своим каменным, бронзовым, медным и железным векам, я понял, почему Зенков поручил украшать храм именно Хлудову.

И мне стало очень радостно за них обоих.

### *Глава пятая*

Недели через две после этой выставки директор забрался ко мне наверх и спросил, не знаю ли я такого — Николая Семеновича Корнилова. Я ответил, что если он говорит о том молодом человеке, который служит в публичной библиотеке, то знаю. Раза два мне пришлось обращаться к нему по разным личным нуждам. Один раз я его просил доставить мне две очень важные для меня книги, другой раз, когда меня послала в библиотеку редакция «Казахстанской правды», он водил меня

по отделам и показывал книжные редкости. Ведь речь, наверно, идет о том самом индексаторе Корнилове, что показал мне издание Галилея.

— О том самом, о том самом,— обрадовался директор.— Там этой завали, по его словам, осталось еще ящиков двести, и никто не знает, что в них — то ли старые газеты, то ли арабские рукописи. Вот он сидит и пишет на них карточки. Год сидит и еще два года, говорят, просидит. Вот порядочек! — Директор засмеялся.— Десять лет гниют у них эти ящики, и никому до них никакого дела нет. Как привезли их в двадцатых годах заколоченными, так они и стоят, а все нас ругают за беспорядок! Так что ж, достал он тебе книги?

Я сказал, что нет,— наверно, не нашел или позабыл.

← Не нашел! — махнул рукой директор.— Конечно, не нашел. А то б он принес.

— Нет, нет, он не трепач.

— Слушай, так вот он к нам в музей просится. Что-то не нравится ему там, никак с начальством сладиться не может. С Аюповой, с Аюповой! — крикнул он смеясь.— Как ты на это смотришь?

Я сказал, что буду очень рад такому начальнику, археологу.

— Вот именно,— подхватил директор,— вот именно, что он археолог. Но только почему ты говоришь «рад начальнику»? Сотруднику рад, а не начальнику.

— Как же не начальник,— сказал я.— Он специалист и будет как раз на месте, а меня вы переведите куда-нибудь к тиграм. Так мне уж надоели эти черепки да камни...

— Ну, ну,— махнул рукой директор,— ты тоже выдумашь. Тигры! Так вот я пришлю его к тебе завтра же — потолкуйте.

Назавтра Корнилов не пришел, и на этом разговоре все пока и кончилось.

И вот однажды я повстречал Добрыню в парке. Медленно и важно шагал он по аллее. Со всех сторон с ним здоровались. Он отвечал чуть заметным наклоном лысины, розоватой, как кусок мыла. Поблескивало пенсне, мягко лоснилась эта самая лысина, руки с бескостными кистями висели, как ласты, и весь он, круглоголовый, грузный, с перетянутым животом, походил на дрессированного динозавра средней величины. Удивительно много в нем было чего-то от большой желтой вялой ящерицы. Увидев меня, Добрыня остановился, нахмурился и сделал мне знак пальцами подойти. Я подошел, мы поздоровались.

— Вы что? — спросил он, подходя.— Хотите оформить Корнилова?

Я ответил, что да, хотим, был такой разговор.

— Да боже мой,— махнул Добрыня на меня мягкой розовой ладонью.— Да что вы? Вы не знаете, почему он уходит из библиотеки?

— Нет!

Добрыня сделал испуганные глаза.

— Да он с Аюповой так поссорился, что она его выгнала. Да нет, как же вы этого не слышали?

Ничего я не слышал про это, но Аюпову, ученого секретаря библиотеки, знал хорошо. Мне несколько раз приходилось обращаться к ней с просьбами. Надо сказать — то были пренеприятнейшие минуты моей жизни. Аюпова была высокой, сухой, черноволосой женщиной с резкими, мужскими жестами, острыми глазами орехового цвета и жестяным голосом. Она носила черный костюм с узкой юбкой, похожей на брюки — так она плотно облежала колени, и почти мужские ботинки с очень высокой шнуровкой. Лицо у нее было узкое, длинное, желтое, цвета промасленной бумаги. Волосы она подрубала скобкой и много курила. Смотрит на тебя, молчит, хмурится, думает что-то свое и грызет папиросу. Вечно она была занята, вечно ей было не до посетителей,

и принимала она меня наспех: или расхаживала по кабинету, или держала телефонную трубку в руке. Говорить с ней было не только неприятно, но и нелегко. В середине разговора она вдруг что-то вспоминала и говорила скороговоркой: «Одну минуточку!» — и хватала трубку. Разговоры по телефону у нее были короткие и резкие. Все кончалось тем, что, не договорив и не дослушав, она кому-то приказывала: «Сделайте!», «Возьмите!», «Зайдите!» — со звоном бросала трубку на рычаг, хватала ручку и что-то быстро записывала в настольный блокнот. С десяток секунд губы ее еще шевелились, а потом она вздыхала и поднимала на меня тяжелые, холодные глаза с постоянным выражением скуки и рассеянности и говорила: «Да, я слушаю вас, слушаю». И слушала, хмурясь и играя ручкой до тех пор, пока опять, что-то вспомнив, снова не хваталась за трубку. Вероятно, все это было пустяками, мелочью, на которые не следовало обращать внимания. Но, выходя из кабинета, я каждый раз давал себе твердый зарок: ну, хватит! Больше ни ногой! Однако нужда была сильнее меня, и через неделю я снова уныло и робко стучался в белую дверь с черно-золотой дощечкой: «Ученый секретарь. Прием посетителей ежедневно от 3 до 4.30». Улыбалась Аюпова очень редко и для меня всегда совершенно неожиданно. Ты ее просишь дать для выставки такую-то редкую книгу, разрешить сделать такие-то и такие-то фотографии с такого-то издания, она долго слушает тебя, молчит, смотрит на крышку стола да грызет папиросу, а потом вдруг поднимет голову, улыбнется и скажет: «Ну, хорошо, берите».

Через минуту, идя по улице, я ломал себе голову, что же я бахнул ей такого смешного или нелепого? С чего это она вдруг улыбнулась? И ничего придумать не мог. А потом вдруг раз понял: «Господи! Да ведь она рассмеялась просто потому, что ответила «хорошо». Отказывала же она без улыбки, смотря прямо в глаза и никогда не смягчая короткий отказ никакими извинениями или объяснениями. Нельзя — и все. Вот что я знал об ученом секретаре библиотеки, и если время от времени при встречах с ней меня смущала и раздражала одна мысль, или, вернее, один вопрос, то только такой: «Да кого же, черт возьми, какую кожаную куртку, какого стального комиссара играет эта пожилая, издерганная и, видимо, достаточно несчастная женщина?» И все-таки в ее личной порядочности я не усумнился ни разу. И не потому не усумнился, что верил в ее сверхскупную пресную добродетель, а просто оттого, что мне никогда не хотелось думать о ней больше пяти минут, то есть как раз столько времени, сколько мне требовалось, чтобы дойти от библиотеки до музея. Но сейчас, когда Добрыня мне сказал, что у Корнилова вышло что-то с Аюповой и Аюпова его уволила, мне вдруг стало по-настоящему неприятно. Я как-то очень ясно и четко почувствовал, что значит поссориться с Аюповой. Я представил себе, как она стучит маленьким желтым кулаком по стеклу стола, так что дребезжат ручки в бронзовом стакане, как она кричит, как все время хватается за телефонную трубку, прерывает разговор, а ты стоишь ждешь, гадаешь, что же еще последует за этим. Я, наверное, даже поморщился, потому что Добрыня обрадованно воскликнул:

— Да как же вы этого не согласовали! Нет, нет, ничего вы себе на шею не берите, зачем вам все это нужно?

Я поблагодарил Добрыню и пошел к директору. Директор задумчиво ходил по кабинету, увидев меня, обрадовался и крикнул:

— Слушай, а там у тебя...

Но я не дал ему досказать и выложил все, что услышал. Он сразу же нахмурился, подошел к дивану, сел, дослушал меня до конца, а потом спросил:

— Ну, а что этот Добрыня так беспокоится? Ему-то какое дело?

Я пожал плечами.

— Информирует, предостерегает,— покачал головой директор и усмехнулся.— Экий, прости господи, банный лист. К каждому заду обязательно прилипает. Ну, что ему это, а? — Он вопросительно посмотрел на меня и опять пожал плечами.— И ведь талантливый человек, вот что обидно,— продолжал он с горечью.— Такой отличный исторический писатель, а...— И, махнув рукой, он встал и опять заходил.

— Что? — от изумленья я даже сел на диван.— Что вы сказали? Добрыня — отличный писатель?..

Директор остановился и тоже удивленно посмотрел на меня.

— А ты разве не читаешь его статьи? — спросил он.— Отлично пишет, живо, красочно, с огоньком. Такие картины иногда рисует! Ты что же, не согласен?

Я ничего не ответил, только рукой махнул, и тогда директор ехидно улыбнулся и мелко закачал головой.

— Эх, брат, какие же, однако, вы все завистники,— сказал он укоризненно.— Пишете, а нет в вас широты душевной. Того великодушия нет, что было у классиков. Никак нельзя у вас при одном похвалить другого. Сразу же и обида. Вот и ты! Ты тоже очень неплохо пишешь, я твои статьи всегда с большим удовольствием читаю, даже жене всегда показывал: «Вон, Валя, посмотри, что наш хранитель написал». И та статья, например, про библиотеку, из-за которой все произошло с Корниловым, совсем, совсем неплохо написана. Очень много интересных данных. Но все это не то, не то... Понимаешь, картин у тебя тех нет. Огонька не хватает, души мало. Пишешь складно, связно, логично, читать интересно, а вот не зажигаешь ты, как Добрыня. Нет, не зажигаешь... А ведь зажечь — это главное. Как это мы еще в школе-то учили? «Сейте великое, доброе, вечное».

Он был в ударе и проговорил бы еще с час. Но я его перебил.

— Слушайте,— сказал я,— вы говорите, что все вышло из-за моей статьи о библиотеке. Что же тут могло выйти? И при чем тут Корнилов?

Директор недовольно посмотрел на меня. Ох уж эти завистники, разве они чего-нибудь понимают, когда затронули их самолюбие!

— Ну, обиделась на тебя эта Аюпова,— сказал он с легким раздражением.— Что ты там пишешь о недостатках библиотеки? То тебе нехорошо, это тебе нехорошо, потом какую-то сотрудницу, которая тебе все эти недостатки показывает, выдумал. А там такой никогда и не было. Ну, а водил тебя по библиотеке Корнилов. Так Аюпова на него и налетела: «Как вы смели?» Он ей: «Да вы ведь сами меня к нему приставили!» — «Как я вас приставила? Что вы на меня как на мертвую валите!» Он ей тоже чего-то хорошее сказал... Ну, и пошло! Короче говоря, он уже подал заявление об уходе.

— Здорово! — сказал я ошалело.— Откуда вы все это знаете?

— Да от него и знаю. Я же с самого начала сказал: он у тебя сидит в комнате и ждет. А ты тут о Добрыне со мной споришь. Кто как пишет, разбираешь! Иди скорей, а то уйдет. Ведь целый час человек дожидается.

Корнилов сидел за столом и смотрел стереоскоп. Стереоскоп, надо сказать, был у меня замечательный. Огромный ящик из полированного красного дерева, блестящий, вместительный, с большими светлыми стеклами и богатым набором диапозитивов. Диапозитивы были чудесные, раскрашенные. Сзади они освещались электрической лампочкой так, что на них горело и играло все — павлины, фонтаны, фейерверки, потешные огни, радуги, северное сияние, салюты из пушек, веера в Версале. А сза-

ди панорамы был еще потайной ящичек, и в нем лежали другие диапозитивы, тоже раскрашенные и тоже на стекле, но секретные. В этом же ящичке я нашел желтую, сложенную четверо листовку. Она была набрана крупными кудрявыми буквами и обведена черной узорчатой рамкой с парящей ласточкой и улыбающимися карликами. Текст внизу листовки был такой:

Чудо XX века! Первый раз в городе Верном!  
В казенном саду показывается:

Электростереопанорама!

Обширная программа в двух отделениях

#### I отделение

Волшебное путешествие за пятак во все концы земного шара.

Снимки сделаны специальными нашими корреспондентами и раскрашены в Лейпциге от руки в артистическом заведении Брокгауза. Вы увидите — слонов в девственном лесу Цейлона, удава, душащего буйвола, охоту негуса на львов, тигра, терзающего свою несчастную жертву, пещеру скелетов, охоту на китов, русалку, изловленную арабами в Красном море.

А также

Многое другое!!!

Внимание мужчин!

#### II отделение

За дополнительную плату в гривенник  
(со включением благотворительного сбора)

Сорок видов пикантных женщин.

Мир женской красоты!

Красотки Парижа, Берлина, Лондона и Мадрида в натуральном виде.

Разоблачение чудес света и полусвета.

Мадам Европа в объятиях негра.

Австрийские гусары берут приступом крепости любви.

«Так вот, моя Симона, где твоя корона». Пикантная повесть в трех частях  
(в красках).

Господ офицеров просим проглядеть наше зрелище бесплатно. Нижние чины платят половину. Женщины и дети до 16-ти лет к просмотру второй части программы не допускаются. Панорама работает непрерывно, до 12 часов ночи.

Спешите, спешите, спешите!!!

Только несколько дней! Перед отъездом в Москву и Петербург!

Кажется, я ничего не переврал в этой пышной и многообещающей программе. Хотя что-то пропустил уже наверное. Это ведь был большой развернутый тетрадочный лист, густо заполненный текстом.

Панораму эту я нашел на чердаке среди ящиков и черепков. Она была запыленная, грязная и заляпанная штукатуркой. Я ее вычистил, отмыл горячей водой, а потом снес в столярку к деду, и он через два дня принес ее завернутую в чистую простыню и торжественно поставил на стол — крепкую, новенькую, пахнущую клеем и грушей.

— Ну, теперь верти опять хоть до утра, — сказал он. — Включи-ка свет, поставь баб.

Я поставил, и дед так и прилип к стеклу.



— Вот ведь собаки,— говорил он, побряхтывая от удовольствия и вертя ручку.— Что только не придумают, а?.. Вот ученые люди, а?.. Ах ты черт! Ты смотри, смотри! — И хохотал до слез.

Он досмотрел всех баб до конца, а потом спросил.

— А пол-литра где?

Я вытащил из-под стола бутылку зубровки, и мы ее распили тут же, перед панорамой. Дед охмелел, развалился и стал рассказывать.

— Мне эта панорама, можно сказать, старая знакомая. Ты знаешь, сколько я ее лет помню? — спросил он вдруг сурово.— Да лет, наверно, сорок, никак не меньше! Цирк «Интернационал» был, и она тут же рядом стояла в зеленой будке. Так жены мужиков из нее, ровно из гадючника, за шиворот таскали: «Ты чего там не видел?» Сколько тут крику было! Но ты вот что, однако,— он сделал обеспокоенное лицо,— ты эту музыку с бабами спрячь подальше. Поставь опять львов или слонов, а то знаешь, как попасть может? Тут и меня не пощадят, музей все-таки.

И я опять поставил львов, слонов и русалок, а красавиц убрал. Теперь Корнилов сидел перед ящиком и крутил ручку. Когда я вошел, он поднял голову и сказал просто и весело — так, как будто мы расстались с ним всего часа два тому назад:

— Вы знаете, ведь точно такие же картины я смотрел лет двадцать пять тому назад в Москве, на Чистых прудах.

Я поглядел на стол. На панораме лежало два больших тома в серых переплетах: «Каменный период» Уварова. Значит, все-таки не забыл, принес, молодец!

— Вот за книги вам большое спасибо,— сказал я.— Это как раз то, что мне и нужно.

— Да, да,— ответил он невнятно,— очень рад,— и весь словно ушел в ящик.

Я прошелся два раза по комнате, открыл окно, включил вентилятор и остановился около него.

— Слушайте,— сказал я.— Что ж там у вас произошло в библиотеке? Он досадливо поморщился.

— Я сейчас досмотрю и расскажу,— сказал он.

«Что за чудак»,— подумал я. Я хотел что-то сказать, но вдруг словно ветер подул на меня и прорвалась какая-то пелена. Я совершенно ясно вспомнил и будку на Чистых прудах, о которой он говорил, и точно такой же ящик с видами Египта и Индии, и другой ящик в углу, запретный, таинственный, от которого меня постоянно гнали (теперь-то я знаю почему), и жестяной силомер с русским богатырем Иваном Поддубным (румяные бицепсы и лихо закрученные усы), и электрический прибор со шнурами и блестящим металлическим цилиндром («Прошу попробовать. Полезно для здоровья»), и другой ящик — не то шарманку, не то музыкальную шкатулку. Когда в боковой прорез его опускали монетку, он играл несколько вальсов — это иголки цеплялись за иголки.

А еще я вспомнил военный оркестр. Посредине бульвара, на небольшой площадке, усыпанной темно-желтым влажным песком, стояла высокая круглая беседка. В ней сидели солдаты и трубили. Был тут и турецкий барабан, и тромбоны, и гарелки, и флейты. Но самое главное были все-таки трубы. Через каждые десять минут оркестр играл новый вальс или мазурку. Когда первый круглый звук вдруг, словно ком, вылетал из трубы и, подпрыгивая, скакал по газонам или вдруг остро или тонко прорезала воздух, как будто пропиливала лобзиком, труба, все мамки, няньки и бонны, неподвижные и важные, как бронзовые божки, вставали с лавок, брали нас за руки и вели к беседке. Музыканты играли, вытаращивая глаза, надувая щеки, краснея от натуги и солдатской бравоности. Играть на весь бульвар в жару было тяжело, но они стара-

лись, во время игры часто вынимали платки и прикладывали ко лбу, гимнастерки их на спине всегда были черные. Маленький сухой человечек, крылатый, всеведущий и грозный, парил над ними. Музыканты глядели на его палочку, на маленькие цепкие руки, его свирепое лицо и били, свистели, трубили. И белые строганные пюпитры вспомнил я, и ноты на этих пюпитрах, писанных лиловыми чернилами, и самую музыку — торжественную, громогласную, нелепую и пышную, какую-то очень уверенную в себе.

А затем, посмотрев и послушав все, я сошел по лесенке из беседки, пошел по утопанному песку, прошел между зеленых и красных ведерочек, золотистых обручей, палочек-скакалочек, ярко-красных песочниц, разноцветных мячиков, обошел беседку, пригнул голову и юркнул в свое самое заветное, самое таинственное, самое-самое волнующее — в ту пещеру, на которую в упор в течение всего лета смотрели все няньки, бонны, трубачи, дети и все-таки ничегошеньки не видели.

Только я один знал и видел все. Здесь всегда было сыро, прохладно и сумрачно. В самый ясный, солнечный день тут стояли тихие рассветные сумерки. Когда я нырял туда, никто на целом свете не мог меня отыскать. Меня искали, мне кричали, мне приказывали не валять дурака и выходить, потому что меня все равно видят. Но я сидел тихо-тихо, и никто не мог понять, куда же я делся. Только что стоял здесь и канючил: «Пойдем к пруду. Ну, пойдем же к пруду» — и вдруг как в землю провалился. А я ведь сидел совсем-совсем рядом, так рядом, что протяни только руку — и схватишь, и никто меня не видел. Никто сюда не заглядывал — один я! Здесь я находил массу самых интересных вещей. Они безвозвратно пропадали там на земле и появлялись здесь, около моих ног. Особенно много было здесь всех родов мячиков — больших и совсем крошечных, светлых и серых, очень тугих черных и тонкокожих, распиленных секторами в нежные, переходящие друг в друга тона. Их искали, об них горько-горько плакали, из-за них ссорились («это ты взял и забросил»), а они все лежали тут около меня. Были мячики совсем новые и звонкие, как бубен, только тронь — и они сейчас же оживут, запрыгают и полезут тебе в руки. Были мячики совсем старые и дохлые, ткни их пальцем — и образуется глубокая, долго не исчезающая впадина. На такие я и внимания не обращал. А один раз мне попала даже очень дорогая заводная игрушка — крошечный автомобильчик, черный, блестящий, аккуратный, как жужелица (мы отыскивали такие под камнями, на газонах). Он лежал на боку, зацепившись за какую-то щепку, и когда я его взял в руки, он вдруг защелкал, загудел, забился в моих руках, как пойманная ящерица.

В этом чудесном месте я впервые узнал тихую сумеречность пещер, таинственность и тишину глубоких расселин. Впрочем, о тишине-то я, конечно, зря. Никогда здесь не бывало тихо. Ревели трубы, ухал барабан, в такт им бахали о гудящие доски кованые солдатские сапоги, ибо мое убежище (надо же наконец сказать) было подполом той самой беседки, в которой сидел военный оркестр.

Беседка стояла, как на сваях. Между дощатым настилом и землей было пустое пространство. Туда вечером дворники прятали метлы, лопаты, ведра и огромные белые скребки. Взрослые туда могли пролезть только на брюхе. Я же входил свободно, только чуть пригибал голову. В солнечный день здесь было жарко, сыро и сумрачно, как в тропическом лесу. Всюду, как пальмы, торчали сваи. Одно время среди них поселилось целое семейство страшных, одичалых кошек, грязных, мохнатых и зеленоглазых ведьм. Это были свирепейшие создания, и из их угла постоянно раздавалось злобное шипение, будто я потревожил гнездо черных кобр.

И пруд я вспомнил тоже, и дощатые мостки, длинные, деревянные, вечно влажные лестницы, и серебристо-белые и серые лодки, имена которых было приятно произносить вслух — «Орленок», «Шантеклер». Вспомнил я и безногого гармониста на колесиках, который, лихо перекосясь, играл по заказу гуляющих, и студентов в малахитовых фуражках, и веселых молодцов (наверно, приказчиков) в расшитых русских рубашках с отложными воротами и елочками на вороте, и других приказчиков — постарше, солидных и медлительных, в твердых пиджаках и соломенных шляпах из твердой же соломки, затем девушек, вечно пунцовых, в белых блузках с бархоточками на шее — от них всегда пахло карамельками. Благородные господа сюда не ходили. Чистые пруды были маленьким грязным прудишком. И бульвар этих господ тоже не устраивал — был заплеванной семечками и тесный. И оркестр был не по этим господам, и играл он не то, что нужно было им по их учености, и публика собиралась здесь совсем не та.

— А оркестр помните? — спросил я Корнилова и положил ему руку на плечо. — Как он играл «На сопках Маньчжурии», помните?

Он сразу же вскочил со стула.

— Как? — сказал он изумленно. — Чистые? Значит, вы тоже... — Он схватил меня за руку. Мы стояли и смотрели друг на друга. — Значит, и вы...

Тут у меня к глазам и горлу подступили слезы, и я как-то ослаб и сел на стул. В это время отворилась дверь и вошел директор.

— Ну, — сказал он улыбаясь, — договорились? Отлично. Хранитель древностей, принимай нового сотрудника. Это ты виноват, что он здесь появился! Он же вылетел из-за твоей статьи.

Статью, о которой идет речь, я написал по заданию редакции, и она была помещена в одном из мартовских номеров газеты.

Я писал, что «среди крупнейших книгохранилищ Союза Казахстанская публичная библиотека имени Пушкина в Алма-Ате занимает одно из первых мест. По далеко не полным сведениям, книжный фонд ее содержит свыше 610 тысяч томов на тридцати пяти языках мира».

Библиотека, писал я далее, располагает замечательными редкостями: вот, например, полный комплект томов французской энциклопедии Дидро — все тридцать пять томов ее. Затем первое издание Эразма Роттердамского «Похвала глупости». («Очень интересна внешность казахстанского экземпляра. Он весь исписан разными почерками. На первой странице неуклюжие знаки какой-то тайнописи, в середине на полях скоропись XVI века, на последней — четкие еврейские письмена. Сколько же различных людей по-разному читало и штудировало эту книгу!»)

Затем я писал о книге Галилея. Том самом издании, которое перекочевало к нам на экспозицию вводного отдела:

«Следующая книга написана по-латыни. Вот ее далеко не полное заглавие: «Книга автора Галилео Галилея Лиценциата Пизанской академии, экстраординарного математика, в которой содержится 7 диалогов о двух мирах Птоломея и Коперника с прибавлением об описании и движении земли».

На форзаце гравюра — три астронома наблюдают восходящее солнце. Возле дряхлого Аристотеля и кряжистого Птоломея, похожего на кулачного бойца, — гибкая и молодая фигура Коперника. Это знаменитая книга. Ей, положившей начало современной астрономии, посвящены толстейшие монографии на всех языках мира. Ее происхождение подробно обследовано целыми поколениями историков: Книга Галилея вышла во Флоренции в феврале 1632 года, а в 1633 — шестидесятидевя-

тителный автор на коленях и в рубищах отрекался в подвалах инквизиции от истин, изложенных в семи диалогах.

В библиотеке хранится экземпляр издания, выпущенный знаменитой голландской фирмой «Эльзевир» после осуждения ее автора. Чтобы не погубить Галилея, издатель старательно оговаривается, что книга выпущена без ведома автора. Инквизиции пришлось сделать вид, что она верит в эту наивную оговорку.

С внешней стороны издание сделано с тем замечательным тактом, изяществом и простотой, которые делают имя Эльзевиров нарицательным. Глядя на чистый, четкий шрифт книги, невольно веришь странной легенде о том, что типографский набор Эльзевиров был отлит из чистого серебра».

И наконец, так сказать, под занавес, я наносил заключительный удар. Но как раз в это место статьи и вкралась опечатка, из-за которой впоследствии и поднялось столько шума.

«Последняя книга,— писал я,— которой ограничилась наша беглая разведка, не отнесена администрацией к числу редких. Она скромно стоит на нижней полке, не привлекая внимания. Однако даже самый беглый поверхностный осмотр оказался достаточным, чтобы определить ее колоссальную, не поддающуюся пока учету ценность. Это огромный фолиант по истории инквизиции, датированный 1685 годом. С редкой обстоятельностью, год за годом, рассказывает эта жуткая книга о пытках, казнях и религиозных гонениях. Неизвестный художник ее щедро иллюстрировал. Дыбы, костер, четвертование, виселица — вот тема этих мрачных прекрасных гравюр.

Что это за книга, как она попала в Казахстан? Имеется ли еще где-нибудь хоть один экземпляр? На эти вопросы заведующий иностранным отделом т. Попятна никакого ответа дать не смогла. А между тем есть основания думать, что книга является уникальной. Книга эта еще ждет своего исследователя».

Кончалась же статья так:

«К сожалению, научная обработка и использование этого огромного культурного богатства не находится на должной высоте. Редчайшие издания XVI—XVII веков покрываются пылью, бесплодно ожидая читателя. Ученая часть библиотеки в ряде случаев сама не знает, какими сокровищами она владеет. Сорок тысяч томов на 25 европейских языках обслуживаются одним сотрудником. Конечно, ни о какой научной работе при таких условиях разговаривать не приходится.

...Приходится констатировать, что Государственная публичная библиотека Казахстана, являющаяся одной из богатейших библиотек Союза, располагающая книгами мировой ценности, свое богатство знает из рук вон плохо».

Все это было напечатано в воскресном номере. Аюпова прочла и обомлела. Статья о библиотеке, о том, что эта библиотека является одной из крупнейших в Советском Союзе, о том, что ее фонды необозримы, сокровища, хранящиеся в ней, неоценимы, а она и ее работники ничего не знают и ничего не ценят. Что все это значит? Кто позволил какому-то нахалу из редакции рыться в ее библиотеке, что-то выявлять, что-то не одобрять, кого-то выделять, во что-то вмешиваться? И она, ученый секретарь, ничего не знает! «Товарищ Попятна, видите ли, водила этого хлюста по фондам! Так где же эта Попятна, ну-ка дайте ее сюда, я поговорю с этой Попятной по-своему». — «Да никакой товарищ Попятной у нас нет», — отвечают ученому секретарю перепуганные сотрудники. «Вот как! — шипит ученая дама. — Я так и думала, что никакой Попятны у нас нет. Ясно, что все брехня. А ну-ка позвать того артиста, который водил корреспондента по библиотеке».

Дойдя до этого места, Корнилов — а я здесь точно передаю его рассказ — засмеялся и сказал:

— И тут нужно сказать: вы поставили меня в преидиотское положение, она шипела и брызгала на меня, а я молчал как дурак, ведь у нас и в самом деле нет никакой Попятной.

— Господи! — сказал я. — Да и я сам эту фамилию прочитал только в газете. Они же не посылают корректуру, вот и вышло... А вместо фразы: «На этот вопрос заведующая иностранным отделом, понятно, никакого ответа дать не могла» — машинистка напечатала: «Заведующая иностранным отделом Попятна»... — и так далее. Ну, что же можно было сделать? Номер-то уж вышел в свет.

— Ну, с этой Попятной все и началось, — улыбнулся Корнилов и стал рассказывать дальше.

Установив криминал, ученый секретарь Аюпова начала действовать. Она вызвала заведующего отделом хранения, распекла и выгнала из кабинета. Вызвала сотрудника восточного отдела профессора Гаврилова (он показывал мне старинные рукописи корана) и спросила его, с какой целью он создает вокруг своей работы в библиотеке нездоровую сенсацию и вписал себе в статью без ведома директора и ученой части какие-то сомнительные комплименты. Гаврилов, профессор-арабист, начал что-то объяснять, но тут Аюпова вдруг сняла трубку, позвонила в отдел кадров и попросила, чтоб ей немедленно принесли в кабинет личное дело сотрудника Гаврилова. И сказано это было так, что сотрудник Гаврилов побледнел и опустил на диван. Но она сидеть ему не дала, она сказала, что он свободен, пусть идет работать, а она его уже вызовет. И через час его действительно вызвали, но уже в отдел кадров и заставили писать новую автобиографию (прежняя, сказали ему, была составлена неудовлетворительно: не написано, например, отчего гражданин Гаврилов вдруг в 35 году покинул Ленинград и кафедру арабистики, которой он руководил, и перебрался в Казахстан).

Потом ученый секретарь вызвала к себе профессора вторично, и тут началось самое безобразное. Она кричала, хватала и снова бросала на рычаг грохочущую телефонную трубку. Перед ней лежало личное дело Гаврилова с его новой автобиографией, и она раздраженно выхватывала то одну, то другую бумажку, махала ею перед его лицом и снова швыряла на стол. Она кричала, что отлично понимает, с какой целью все это сделано, что мы нарочно сговорились оклеветать коллектив библиотеки, но это у нас не пройдет. Она пойдет и расскажет... В конце концов несчастного профессора почти запертво вытащили из ее кабинета.

С Корниловым все обошлось проще. Когда Аюпова начала кричать и махать перед его лицом трудовой книжкой, он вдруг встал с места, подошел к столу, вырвал у нее книжку из рук и вышел, хлопнув дверью.

Все это рассказал мне Корнилов, сидя против панорамы «Чудо XX века» и постукивая пальцами по столу.

— Вот так все и вышло, — окончил он. — Вот поэтому я и у вас.

— Ну что ж, — ответил я, — вышло неплохо. Посмотрим, что дальше будет. Утро вечера мудренее.

А утром в музей позвонили из редакции и попросили меня немедленно прийти в кабинет редактора. Я пошел и только что отворил дверь, как сразу увидел Аюпову. Она сидела в кресле нога на ногу и курила. На ней был ее постоянный черный костюм, та же юбка, похожая на брюки. На всю жизнь я запомнил ее узкое, прокуренное, желтое лицо, тонкие губы и жест — резкий, порывистый, отточенный, с которым она, далеко отставив острый локоть, выхватывала папиросу и, бросив что-то,

снова закусывала ее. На протяжении разговора папироса эта все время гасла, и Аюпова, обдирая коробку, шумно чиркала спичками, ломала их и кидала прямо на стол.

Когда я вошел, она взглянула на меня и сразу же отвернулась.

— Ну,— сказал редактор обрадованно,— проходите, садитесь. Вы знакомы?

— Да,— ответил я, проходя и садясь.— Мы знакомы.

— Приходилось встречаться,— ответила Аюпова.

— Отлично,— сказал редактор, не замечая ее тона.— Тут вот какое дело...

Был он невысокого роста, плотный, смуглый, с круглым лицом и короткими мягкими висячими усами. И поэтому выглядел добрым и литрым.

— Тут товарищ Аюпова недовольна нашей статьей,— продолжал он, смотря мне в лицо умными, смеющимися глазами,— напутали мы там много, заострили внимание не на том, на чем нужно. О редкостях расписали много, а работа коллектива библиотеки осталась в стороне.

— Ну как же в стороне,— пожал я плечами,— наоборот, мы написали, что книжный фонд огромный, а помещение маленькое, штата не хватает, и это тормозит всю работу.

— Поэтому вы и выдумали мне в помощь какую-то Попятну?— спросила Аюпова.

— А вот с Попятной, правильно, получился скандал,— сказал я редактору.— Нечего сказать, показали качество работы редакции, выдумали какого-то подпоручика Кижэ — товарищ Попятну. Кто за это будет отвечать?

— А автор,— любезно сказала Аюпова.

— Нет, нет,— быстро поднял руку редактор,— я уж вам говорил, товарищ Аюпова, что автор тут совершенно ни при чем, у него все правильно, это в типографии напутали. Мы этот случай будем еще обсуждать на летучке. Кто прошляпил — тот и ответит. Рублем ударим...

Аюпова взглянула на меня и провела дрожащей рукой по спинке кресла. И тут вдруг непонятное бешенство овладело мной. У меня его не было раньше — это она передала мне свои чувства. Я физически чувствовал, как она кипит, как все в ней прыгает и дрожит, как на раскаленной сковородке. И мне хотелось поддать жару ей еще, довести ее до полной истерики, до крика. Я мгновенно возненавидел ее всеми клеточками тела и стал сдержанным и точным.

— И вообще, товарищ редактор,— сказал я таким обычным тоном, как будто ровно ничего не случилось и никакой Аюповой вообще не было в кабинете,— надо на будущее ввести такое железное правило — автор обязательно должен читать корректуру.

— Да, есть такое правило у нас, есть,— страдальчески поморщился редактор.— Когда можем, посылаем, конечно. Но беда в том, что мы ежедневная газета и потому исключений у нас в работе всегда будет больше, чем правил. Ну вот, например, внезапно летит из номера какой-то материал, ночной редактор лезет в загон, хватается, скажем, вот вашу статью, считает строчки, урезает сколько надо и сует ее в полосу. Ну, какая же тут к бесу авторская корректура? Да и где он, автор-то? Из постели я его, что ли, тащить буду?

— Вот так и появляются всякие Попятны,— сказал я нравоучительно и услышал за собой тонкий певучий звон — это Аюпова рванулась на кресле.

— Не в Попятной дело в конце концов,— крикнула она и, выхватив папироску, с размаху бросила ее так, что она прилипла к стеклу.— Дело в том, что нечего было разводить сенсацию — (она так и сказала — «раз-

водить сенсацию»), — что это вам, Америка? Придумали, чем удивить советского человека — пятнадцатый, шестнадцатый века, Галилей, инквизиция. Нет, не этим советский человек интересуется. А то, что работу библиотеки определяют не тем, сколько она собрала изданий пятнадцатого или шестнадцатого века, а как обслуживает своих читателей. Это вы забыли? Как об-слу-жи-ва-ет! А вы за сенсацией погнались, за с-е-н-с-а-ц-и-е-й! Эх!

Она произносила «сенсация» так, что было ясно: все то плохое и темное, что есть в капитализме,—это вот эта самая сенсация. Кит, на котором стоит эксплуататорский строй. Она выкрикнула все это и вдруг вздохнула и облизала губы. А я глядел на нее и понимал все, что в ней происходит. Она накричалась, настучалась, наругалась, изошла слюной у себя в библиотеке, и для последнего решительного боя сил у нее уже маловато. А тут вдруг неожиданно выясняется, что и приходила-то она зря: тот, в ком она видела все зло, и вообще ни при чем — виновата редакция. А что с редакции взять? Ничего. Поправки-то не печатаются. Это и она отлично понимала.

— И работа с читателем у вас тоже не на высоте,—сказал я меж тем дружески и подошел к ней вплотную,—помещение маленькое, неудобное, между некоторыми полками не пройдешь даже, и что у вас там лежит — одному аллаху известно. Ну, а насчет быстроты обслуживания вот смотрите сами,—и я достал из кармана записную книжку,—в двенадцать часов дня читатель заказал книжку. Через десять минут заказ дошел до книгохранилища и тут...

Аюпова зло поглядела и резко отодвинулась.

— Не трудитесь,—сказала она и так махнула рукой, что мой блокнот полетел на пол.— Меня корниловские данные совершенно не интересуют.

— Да это же не корниловские данные,—сказал я,—я выписал это из вашего доклада.

— Как, я вам давала свой доклад? — мгновенно вскинула голову Аюпова, и мне показалось, что она даже побледнела.— Вы от меня хоть слово слышали? Я с вами разговаривала? Да вам их дал все этот человек, который...— Она рывком повернулась к редактору.— Обо всех этих вопросах я хотела поговорить с вами особо,—сказала она сухо.

Наступило молчание. Я смотрел на Аюпову, Аюпова смотрела на меня.

— Ну что ж,—сказал редактор и поднялся из-за стола,—давайте поговорим. Товарищ подождет в другой комнате. Только вы не уходите,—скороговоркой бросил он мне.— Вы мне будете нужны. Я вас позову.

Позвал он меня через десять минут. Когда я вошел, Аюпова по-прежнему сидела и курила.

— Слушайте,—сказал редактор хмуро.— Вы имели сведения, что Корнилов отбывал ссылку?

— Имел,—ответил я.

— Как? За что? Когда? — спросил редактор хмуро и быстро.

Аюпова взглянула на меня, и на ее лице выразилось такое злое, победное торжество, что мне даже стало смешно. «Да ты еще и круглая дура»,—подумал я и ответил:

— Все, что я знаю, он рассказал только вчера. Была у него какая-то дурацкая студенческая история, что-то они там натворили спьяна...

— А именно, именно?! — подстегнул меня редактор.— Что именно там они натворили? Вы этим не интересовались? Он что, партийный?

— Не знаю.

— Зря! — хлестко сказал редактор и слегка ударил маленьким кулачком по столу. — Ну, и даже примерно не знаете, в чем там дело?

— Да нет, примерно-то знаю. Обыкновенный студенческий скандал, он и попал как-то боком. Просто пристал к пьяной компании.

— Да это все равно, все равно! — торжествующе запела и замахала на меня Аюпова. — Раз его сослали...

— Да не говорю я с вами! — крикнул я на всю редакцию и так толкнул пустой стул, что он упал. — И вообще это не ваше дело, а...

Но я плохо знал Аюпову. Она вдруг грозно поднялась, сделалась выше на целую голову, стала высокой, стройной, подтянутой и с размаху швырнула в меня папиросой.

— А чье же это дело? — крикнула она. — Ваше, что ли? Да, дай только волю таким, как вы... — Она махнула рукой. — А вот вождь нас учит, что советская печать — острейшее орудие и ее нужно делать чистыми руками, это вы знаете?!

— Так это не ваши ли руки чистые! — крикнул я. — Котенка я не дал бы в эти чистые руки, а не только людей.

— Гнать вас из музея поганой палкой нужно, — загремела Аюпова и сразу стала из желтой иссиня-красной, — в шею гнать, пока вы не навредили еще больше. Какие вы там беседы ведете с нашей молодежью о знатном просоводе, что вы думаете — это секрет?

— Что? О просоводе?

Сознаюсь, я просто ошалел. Словно обухом она меня ударила.

— А, не помните, уже не помните? — усмехнулась Аюпова и вдруг наклонилась и яростно, дробно забарабанила кулаком по спинке кресла. — Врете! Все вспомните! Все, как есть, вспомните! И как вы экскурсии проводили, и как персонал обучали клеветать на наших лучших людей, и как портреты вождей на бумагу продавали, все вспомните, все...

Дверь приотворилась, и в ней показалось испуганное лицо тети Насти — редакционной уборщицы.

— А не захотите вспомнить сами, так заставят другие! — торжествующе кричала Аюпова.

— Ну, хватит, — вдруг резко и тихо сказал редактор и встал с места. — Что это, редакция или зверинец? Какие портреты вождей вы там продавали на бумагу?

— Да газеты, старые газеты, — сказал я, мучаясь от дурноты. — Месяца два тому назад мы продали в ларек несколько пудов старых газет.

— А со знатным просоводом что?

— А спросите ее.

Я махнул рукой и отвернулся, мне уж было на все наплевать — на Аюпову, на редактора, на самого себя. Так мне вдруг стало скучно и противно.

— Да-а, — протянул редактор. — Да-а!

Аюпова победно взглянула на меня, поднялась с места и взяла портфель.

— Когда потребуется и спросят, я расскажу, — сказала она величественно, и голос ее уже опять пел. — А с вами я вообще больше дел иметь не хочу, и вы к нам не приходите. — Она пошла и остановилась около стола строгая, чинная, невозмутимая в своей нестигаемой правоте. — Так вот, товарищ редактор, я пришла к вам не жаловаться, а как партиец к партийцу. Вы, конечно, вольны делать, что хотите, но... Советская печать должна делаться чистыми руками! — Она выкрикнула это, как лозунг, и вышла из кабинета.

Наступило тяжелое молчание. Редактор долго молчал, смотрел на крышку стола и хмурился, а потом вдруг взял трубку, вызвал типографию и о чем-то быстро поговорил с ночным редактором. Содержание



разговора до меня уже не доходило совершенно. Я сидел, молчал, качал ногой, и внутри у меня было пусто, одиноко и мерзко. А потом редактор встал из-за стола, прошелся по кабинету, подошел к окну, постоял около него, задернул шторку, взял со стола портфель, застегнул его, подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул:

— Тетя Настя, запирайте дверь, мы уходим.

Потом подошел ко мне и тронул меня за плечо.

— Пойдем,— сказал он тихо.

Было тихо и совершенно безветренно. Вовсю сияла прозрачная луна, и от ее света все казалось либо голубым, либо зеленым, либо пепельным, гладкие стволы тополей — зелеными, белые стены невысоких домов — голубыми, водоразборная будка, камни на обочине — серебристо-серыми. Было так светло, что я различал каждый лист на тополе, каждую мелкую ямочку на дороге, наполненную до краев терпким лунным светом. Большие синие заводы стояли около заплотов, и в них, как подводные камни, лежали черные, резкие, почти фиолетовые тени. Мы вышли на проспект и пошли по краю мостовой — около самых тополей; у наших ног по арыкам бесшумно, стремительно неслась вода — то совершенно черная под тополями, то синяя с фиолетовыми быстрыми искрами на переходах.

— Где-то листья жгут,— сказал редактор негромко.— Слышите дымок?

Это вдруг с той стороны улицы от садов и гор налетел теплый нежный ветерок и принес целое облако, пахнущее дымом и яблоками. С поворота бесшумно вылетел и остановился перед нами тоже совсем зеленый от лунного света редакционный «газик»; высунулось лицо шофера.

— Ваня, ты поезжай домой,— сказал редактор.— А я пешком пойду.

Дверь снова щелкнула, молодой голос о чем-то спросил.

— Нет,— ответил редактор,— завтра заедешь часам к трем, я в редакцию не пойду.

Мы прошли еще несколько шагов, и тут редактор спросил меня:

— Вы слышали, что сегодня сказала Аюпова?

— Да,— ответил я.

Он поглядел на луну и глубоко вобрал в себя воздух.

— Ночь-то какая! — воскликнул он совершенно иным тоном, мягким и лирическим.— Вы знаете, я первый раз в этом году гуляю ночью. Как мы все-таки обкрадываем себя под конец жизни! От мяса отказываемся, в горы не ходим, по ночам не гуляем. А ведь последние годы...

Я молчал.

— Да, такая вот неприятность с этим Корниловым. И Аюпова права! При всем при том, а права!

— Это в чем же? — остановился я.

Он вздохнул.

— А в том она права, дорогой мой,— сказал он нравоучительно и печально и взял меня под руку,— что советская печать должна делаться чистыми руками. Понятно тебе? А всякого рода чуждый элемент — обиженные, репрессированные, приспособившиеся, классово чуждые — эти и близко не должны к ней допускаться. А мы вот часто допускаем. Иногда от гнилого либерализма, иногда от лени — самим-то ведь писать не хочется! А чаще вот так, как сегодня — от идиотской болезни благодушия. И получается: указал человек на конкретный недостаток, обличил кого-то, а обличенный приходит и говорит: «Я протестую! Вы в своей газете предоставили трибуну классовому врагу». И ни-

чего не напишешь, приходится признаваться — действительно представили трибуну.

— Это Корнилов-то враг! — воскликнул я.

Редактор посмотрел на меня и засмеялся.

— Что, не враг? — спросил он добродушно и ответил: — Может быть, может быть, и даже наверно совсем не враг, но вот знаем-то это вы да я, а тот, к кому Аюпова побежит жаловаться, он нас с вами не спросит. Он как будет смотреть? Репрессирован? Да, репрессирован. За что репрессирован? За антисоветскую деятельность. Судимость еще не снята, а он каким-то боком сотрудничает в газете. Ну что ж, очень плохо, что ему дали такую возможность. И тот, кто допустил ее, тот потерял бдительность. Вот и весь разговор со мной. Понимаете?

Я молчал.

— И весь разговор, — повторил он настойчиво. — Потому что, когда скажут так, тебе отвечать нечего. А потом объясняйся ходи. И хорошо, хорошо, если когда все объяснишь, и все докажешь, и все бумажки принесешь, тебе тот же товарищ скажет вдруг по-простому, по-человеческому: «И надо было тебе связываться с ним, доставлять и себе и нам такие неприятности? Неужели у тебя не нашлось в редакции никого, кто мог бы написать эту же самую статейку, но только без всяких историй? За что ты тогда людям жалованье платишь?» И ведь нечего ответить: он прав.

— Это так, конечно, — уныло согласился я, — если смотреть так, то...

Он взглянул на меня, безнадежно покачал головой и вздохнул. Опять мы шли по улице, залитой луной, мимо тополей, голубых и серых от лунного света. Кое-где в них горело еще одно красное или зеленое окно, — мимо заборов и будок, садов и площадей, мимо всего уснувшего города.

— И парня, конечно, жалко, — сказал редактор. — Это так! Он бегал, старался, хотел оказать нам услугу и вот, пожалуйста, получил. Вы что ж думаете, я не понимаю этого?

Я молчал.

Он искоса посмотрел на меня, потом быстро наклонился, поднял с дороги какой-то камешек и, коротко размахнувшись, бросил его в темноту.

— И главное ведь, — заговорил он, помолчав, — из самых низких шкурных чувств поднят весь этот хай, чтоб никто и думать не смел тронуть Аюпову! Она чтоб всех, а ее — ни-ни-ни! Что мое — то свято. Не суйся, а то голову отшибу, вот как Корнилову. До сих пор без работы шляется, нигде не принимают! Вот ведь что она хочет. А ведь тоже говорит: «Я люблю самокритику».

Я засмеялся.

— Это она вам так сказала?

Он тоже засмеялся.

— Она. С этого и начался разговор. «Я люблю самокритику, я сама критикую других и прошу, чтобы меня тоже критиковали самым беспощадным образом. Без критики, я считаю, нет движения вперед». Это она считает! Ну, а потом: зачем мы поместили эту статью? Зачем упрекаем в том-то, том-то, зачем с ней не согласовали, зачем разрешили клеймить?

Мы прошли еще до конца аллеи, и тут редактор вдруг взял меня за локоть и повернул тихонько назад.

— Пойдем! Пора! Жена теперь уже все телефоны оборвала. Понять не может, куда я делся. Ведь я со службы всегда сразу домой. — Он помолчал, подумал. — Аюпова мне сказала, что Корнилов хочет поступить к вам в музей — это правда?

Я пожал плечами.

— Теперь его не возьмут. Ведь она всюду бегаёт и жалуется.

— А директор трус? — спросил редактор, что-то обдумывая.

— Нет, директор как раз храбрый человек, но...

— Так я завтра позвоню ему, — решил редактор. — Пусть берет, не боится. Я поговорю где нужно, объясню все. Самое-то главное: статья правильная! Молодец Корнилов, интересный материал дал, стоящий. Это нужно учесть. И мне уже звонили из ЦК, говорили: побольше бы таких статей.

— Сделанных вражескими руками? — спросил я.

Он засмеялся и махнул рукой.

— Ладно! До свиданья. Вот наконец я и дошел. Четыре раза прохожу я сегодня мимо. Никогда у меня еще этого не было.

Он пошел и вдруг остановился.

— Слушай, — сказал он серьезно, — ты на Аюпову тоже очень не обижайся. У нее неделю тому назад забрали мужа.

Меня разбудил дед-столяр. Он стоял надо мной и кашлял. Я поднял голову.

— Все спишь, — просипел дед, в груди у него сразу запели две дудки. — Вот задышка замучила, и махорку теперь не курю, а все давит. А ну, вставай, говорю. Там у тебя массовичка всю твою империю разгромила, все твои образы на полу.

— Какие образы? — спросил я, еще не совсем проснувшись.

— Пойди — увидишь. — И он сердито положил на край кровати фотографию Кастанье — уникальный экземпляр, отысканный мной в старых архивных папках музея.

— Где ты это взял? — спросил я, и сон с меня как рукой сняло.

— Да говорю: иди, они и все там валяются.

Я вскочил и стал одеваться. Дед стоял надо мной, кашлял и рассказывал:

— Позвала меня и говорит: «Принесите лестницу, будем снимать фотографии». Ну я, конечно, принес, а она привела меня к твоим щитам и приказывает: «Вот я буду показывать, а вы снимайте». Когда дошло вот до этого твоего, я ее спрашиваю: «А хранитель, говорю, знает?» А она: «Не знает — так узнает. Это приказ свыше, снимайте, не бойтесь». Ну, раз не бойтесь, то я и ободрал у тебя все начисто.

С портретом Кастанье в руке я влетел в музей и увидел: массовичка уже покончила с «Дружбой народов» и, подбоченившись, командовала разрушением «Культуры и искусства Казахстана». Около нее на полу лежала целая гора рам и плакатов. К ободранной стене была прислонена трясучая, заляпанная цементом лестница, и на верхней перекладине ее плясал наш электрик Петька — горластый парень лет двадцати. Приподнявшись на цыпочки, он тянулся к огромной фотографии: «Чапаев со своим штабом». Две женщины — фотограф и заведующая отделом хранения Клара — поддерживали эту лестницу с обеих сторон и бояливо глядели на Петьку.

— Зоя Михайловна, что ж вы делаете! — крикнул я.

Массовичка посмотрела на меня и улыбнулась. Была она толстая, с одутловатым лицом, вытянутым настолько, что мне все время хотелось зажать его в ладонь, как клизму, да и подавить. Глаза у массовички были узенькие, свинушки, с желтыми прожилками.

— Здравствуйте, — сказала она мне строго. — А мы вас уже искали! Вот, — она кивнула на стены, — чистим экспозицию, директор приказал заменить устаревшие экспонаты. У вас мы уже все кончили.

— Так что ж, это вы по приказу директора сняли Кастанье? — спросил я.

— Разумеется! — воскликнула массовичка. — Да вы же и сами понимаете, конечно, что этому экспонату не место в музее.

— Это почему же конечно? — спросил я свирепо.

Она хитро и мудро прищурилась. Она политически прищурилась, так сказать.

— А вы посмотрите на него получше, — сказала она.

Я посмотрел получше. Конечно, не ахти какой вкус был у Кастанье. Он сфотографировался в позе Гамлета. Черный спадающий плащ, мундир, черная широкополая шляпа, а в руке череп.

— Ну и что? — спросил я.

— Ну, одет-то, одет-то он как! — раздраженно крикнула массовичка и ткнула в портрет пальцем.

Из-под плаща Кастанье выглядывал мундир министерства просвещения с выпущками и блестящими орлеными пуговицами, а на груди белел тщательно вырисованный ретушером значок школы правоведения.

— Ну и что? — повторил я, действительно ничего не понимая.

— Снимайте, снимайте, Петя, не стойте! — вдруг закричала массовичка и подняла обе руки. — Только осторожней, ради бога, а то как бы опять не прорвалось.

Я раздраженно пожал плечами. Заведующая отделом хранения Клара — красивая, тонкая, черноволосая, смуглая казашка, похожая и на индуску и на черкешенку, — отошла от лестницы и осторожно дотронулась до моего локтя. Я нетерпеливо брыкнулся.

— А Чапаева вы зачем снимаете, — спросил я грубо, — его-то вам кто велел?..

Тут Клара снова дернула меня за рукав и певуче сказала:

— А я вас все время искала. Нужно расписаться в книге за экспонаты, идемте.

Я машинально пошел за ней.

— А портрет положите, — продолжала она, — потом я приму его у вас.

— Да я его сейчас опять повешу, — крикнул я злобно и снова вырвал у нее локоть.

— Да вы сначала к директору сходите, — мирно посоветовала мне массовичка. — И не кричите. Ведь публика ходит.

Когда мы сошли вниз, Клара сказала:

— Конечно, Зоя Михайловна перехлестывает. Сняла вчера свыше ста фотографий: «Уборка урожая», «Свиноферма», «Швейная фабрика», портреты ударников, нескольких ученых.

— Зачем?

Клара улыбнулась и пожала плечами.

— Говорит, так безопаснее, мало ли кого тогда фотографировали. Присваивали им звания, а потом они оказались врагами народа. Осторожная она очень.

— Сволочь она! — сказал я крепко и так сжал Кастанье, что он хрустнул. — Сволочь, и все.

Когда мы вместе зашли в кабинет к директору, он, лежа грудью на столе, говорил по телефону. Увидев нас, он улыбнулся, протянул мне руку и очень ловко, с армейским шиком поцеловал руку у Клары, потом махнул нам рукой («Садитесь»), сказал еще несколько слов в трубку, опустил ее и сел.

— Так где ж твой Корнилов? — спросил он меня. — Что за волынка? А? Я уж и резолюцию положил, и приказ отпечатали, а его все нет. То целый день вертелся, а то пропал.

— Придет, — сказал я. — Слушайте...

— Сначала ты меня послушай. а я тебя потом,— скороговоркой сказал директор.— Так вот, прежде всего найди Корнилова и отдай ему приказ. Пусть сдает в канцелярию трудкнижку и сейчас же собирается в горы. За ним заедет завхоз на машине. Понял?

— Понял,— ответил я,— но я хотел...

Директор безнадежно посмотрел на меня, вздохнул, покачал головой и обернулся к Кларе.

— Кларочка,— сказал он ласково,— я сейчас уезжаю и больше сегодня тут не буду. Так вы проследите, пожалуйста, за всем этим делом, а то я с ученым говорю, а он вон там где-то с воробышками...— Он махнул рукой на окно и снова развеселился и подобрел.— Ну как, состоялся ваш разговор с Аюповой?

Я кивнул головой.

— Ну и что?

— Да ничего...

Директор слегка ударил ладонью по столу и расхохотался.

— То-то, что ничего! Вояка! «Эти проклятые чистые руки!» Она тебе покажет, какие у нее руки! — Он опять вдруг стал серьезно серьезным.— Так вот, пусть Корнилов немедленно берет приказ и едет. Если что, рабочих выделит бригадир Потапов. Я с ним уже сговорился. Он и квартиру отведет. Кларочка, надо будет дать ему под отчет эдак рублей двести пятьдесят, что ли. Так я дал команду бухгалтеру, а вы, дорогая, проследите. Не забудете, хорошо? Дед к четырем часам должен подойти, я к нему человека посылал. А что это ты вертишь?

— Кастанье,— сказал я и положил портрет директору на стол.— Вот посмотрите.

— Ну, смотрю.— Директор осмотрел портрет со всех сторон и положил его опять.— Ну, так что в нем такого особенного? Какой-то гробокопатель, то есть археолог! — Директор с великим удовольствием выговорил это слово.— Интересный этот ученый мир. Вот он череп взял — зачем взял? Кларочка, вы не видели в кино «Человек в футляре»? Народный артист Хмелев играет. Ну, точь-в-точь такой же тип: и борода и мундир. Только вот черепа нет. Ну, зачем же ты мне его принес? Тащи его к себе и вешай на стенке, пусть люди смотрят, удивляются.

— Он у меня и висел, а массовичка сняла, сказала, что вы ей приказали,— ответил я.

— Я приказал? Вот этого? — Директор снова поглядел на портрет.— Ничего я не приказывал. А как ты его назвал? Кас... Квас... француз, что ли?

— Преподаватель французского языка Оренбургской гимназии Кастанье.

— Я же говорю — Беликов,— засмеялся директор.— Тот хотя латынь преподавал. Нет, я ничего не приказывал. Это вы уж с ней разбирайтесь сами.

— Так вы же директор. Она на вас ссылается,— сказал я резко.— «Директор, мол, приказал...» Вы посмотрите, что она в музее-то надделала! Все стены ободраны, вот при мне Чапаева стаскивала, уж не знаю, за кого еще она примется.

Директор нахмурился и сел в кресло.

— А если не знаешь, так и не говори,— сказал он резко.— Это не Чапаева снимают, а тех, кто с ним сняты. Советский музей не должен превращаться в галерею врагов народа, а на этой фотографии враги есть. Чапаев не мог их знать, а мы знаем. И ты вместо того, чтоб кричать да размахивать, подошел бы ко мне и все сразу узнал.

Я взглянул на Клару, она делала мне знак глазами. Но я сейчас же отвернулся.

— Ладно,— сказал я,— пускай вместе с Чапаевым сидели враги, но чабаны-то при чем? Их-то зачем срывать со стены? Мы вот пишем о наших лучших людях, что они строители социализма, так за что же их так с гвоздя да об пол? Строителей-то!

— Ну, ты говори, да не заговаривайся,— грозно поднялся директор и так стиснул пресс-папье, что у него позеленели пальцы.— Ты отдаешь себе отчет, что говоришь?

— Я-то отдаю,— сказал я, тоже зажигаясь,— а вот те, кто по вашему приказанию обдирает стены, вот те-то... Вот Клара знает, что она там науродовала. Клара, ну...

— Бога ради,— быстро сказала Клара своим мягким, певучим голосом.— Бога ради...

Директор секунду гневно смотрел на меня, потом снял телефонную трубку, вызвал дежурную и приказал ей немедленно разыскать и послать к нему Зою Михайловну. Потом снова опустился в кресло и принялся читать какую-то бумагу. На меня он уже не смотрел. В кабинете наступило неловкое молчание. Я подошел к дивану и сел рядом с Кларой. Она взглянула на меня и чуть укоризненно качнула головой. И тут вошла массовичка. Она была красная, распаренная, пыльная. Белая узкая блузка (она всегда носила такие, что у нее все выпирало) потемнела под мышками.

— А я только что собиралась идти к вам,— сказала она.— Ну, в основном наверху кончили. Сейчас звонили из двенадцатой школы. Заведующий учебной частью просит нас...

— Пойдите.— Директор взял со стола портрет Кастанье.— Кто это такой?

— Царский чиновник,— ответила массовичка.

— А какой именно?

Она замешкалась.

— Не знаете?

— Нет, но...

— Так зачем же вы его сняли? — Директор положил портрет на стол.— Надо будет сейчас же повесить на прежнее место.

Массовичка быстро взглянула на меня. Я молчал и глядел на пол. Клара за моей спиной протянула тонкую сильную руку и сильно жала мне запястье.

— Товарищ директор,— вдруг горячо взмолилась массовичка,— ведь я отвечаю за идеологическую работу в музее. Так?

— Ну?

— И вы меня сами рекомендовали в ряды сочувствующих, так? Так как же я могу допустить, чтоб в музее, где я провожу экскурсии, на видном месте торчал царский сатрап во всех своих регалиях? Ведь это реакционный ученый, шовинист, черносотенец. Его не знает никто, кроме нашего ученого сотрудника, он откопал его неизвестно у кого и где и ввел в экспозицию. Вот спрашивают меня школьники: что это за генерал? Зачем он здесь? Что я должна отвечать?

— А до сих пор что отвечали? — спросил я.

— Ничего. Я молчала,— горестно улыбнулась массовичка и развела руками.

— Ну, и молчите,— сказал я.— Кто грамотный, тот прочтет текстовку, там все написано — кто такой этот Кастанье, что он сделал, какие у него книги и даже откуда взята фотография.

Опять наступило молчание.

— Так вот, Зоя Михайловна, фотографию нужно сейчас же повесить обратно,— приказал директор.— И вот мне говорят, что вы и в других отделах что-то тоже снимали. Кого вы там сняли?

— Товарищ директор!

Массовичка расстроено взглянула на директора. Он молчал, она перевела глаза на меня, я улыбнулся, и тут она вдруг вскинула голову и сказала величественно:

— Да, я сняла! Сняла на свою ответственность несколько подозрительных мне фотографий. Я считаю: мы должны быть бдительны, товарищ директор! Вы знаете, сколько в наших хозяйственных органах разоблачено за последнее время вредителей? Разве мы их всех знаем в лицо? К нам приезжают люди со всего Казахстана. Что ж они скажут, когда увидят у нас в экспозиции какого-нибудь националиста или вредителя? Он хлеб клещом заражал, а мы его рядом с Лысенко повесили. Вот недавно был такой случай... Клара Фазулаевна присутствовала...

Тут уж я сжал руку Клары, и она молча отвернулась.

— Ну, Клара Фазулаевна тут, положим, ни при чем,— сказал директор, проследив за мной глазами.— Случаи, конечно, могут быть всякие, всех их все равно не предусмотреть. Но вот одно я уж предвижу. Позвонят мне, скажем, завтра из крайкома и скажут: «Вот сидит сейчас у меня знатный стахановец, жалуется на то, что ты, директор, его портрет сорвал да в помойку отправил. Ты что ж, друг хороший, хочешь в музее одни голые стены оставить, так тебе спокойнее? Что ты врагов повыкидывал, скажут мне, это ты хорошо сделал, но зачем же ты, дундук, и героев на одну свалку с врагами отправляешь? Что я ответчу на это? Что у меня завелась такая сверхбдительная массовичка, что решила уже никому не верить? Покойники, мол, это дело твердое, а вот живые-то... кто их там знает... Так, что ли?»

Она молчала.

— Так вот я вас очень прошу — восстановите все, как было! И сделайте это сейчас же.

Она молчала.

— Сейчас же, Зоя Михайловна, очень вас прошу. Вот Клара Фазулаевна вам поможет.

— Сделаем,— коротко ответила Клара и поднялась с дивана.

— Хорошо, если это приказ,— начала массовичка.

— Да, да, я это вам приказываю, Зоя Михайловна,— коротко оборвал ее директор.— Я в ответе.

Выходя из кабинета, массовичка взглянула на меня.

— Когда у человека нет дел,— сказала она улыбаясь,— он разводит кляузы. Ну, знаете, если я уж начну кляузничать...

И только что она прикрыла свою дверь, как зазвонил телефон. Директор взял трубку, послушал и вдруг заулыбался, закивал головой. Около его глаз появилось множество мелких, хитрых морщинок.

— Да, да, товарищ Аюпова,— сказал он радостно.— Слушаю, слушаю вас, товарищ Аюпова. Как фамилия-то, говорите? — Он быстро взглянул на меня.— Да, да, есть у нас такой артист. Да нет, пока что никаких особых замечаний за ним нет. Да, работает! А что такое? Ага, ага... Да что вы говорите? О, этим надо будет заняться, заняться! Вот наша беззаботность-то, а? Товарищ Аюпова, у меня сейчас маленькое заседание, сидят люди, так, если разрешите, я вас побеспокою через полчаса. Это очень, очень важно все, что вы говорите. Большое, большое спасибо. Ну, конечно! Как партиец партийцу...— Он положил трубку и скверно выругался.— И ведь воображаешь, что спасаешь страну,— сказал он задумчиво и поднялся из-за стола.— Пойдем, сейчас за мной заедут.

Он взял фуражку, вышел в коридор и вдруг остановился и взглянул на меня так, как будто видел впервые.

— Слушай! — сказал он. — А может, тебя послать на месяц в Москву, а? Слышал, что тебе сейчас массовичка высказала, а тут еще Аюпова звонит, предупреждает. Работы сейчас все равно нет, так ехал бы, а? Ты ведь чувствуешь, какое время наступает.

— Какое же? — спросил я тупо.

— Очень строгое время наступает, — сказал директор и вдруг рассердился. — Да ты что, ребенок, что ли? Газет не читаешь? Ну, очень плохо делаешь, если не читаешь. Ведь мы живем на линии фронта. Наши летчики сбивают немецкие самолеты уже около Мадрида. Так это пока только около Мадрида, а скоро они будут их сбивать и около Парижа, и около Варшавы, и около Праги, а может, и еще где поближе. И от этого, заметь, как ни пьются, никуда не уйдешь. Неужели ты об этом не думаешь?

Я молчал.

— А что значит, что мы живем на линии фронта? — продолжал директор. — Это значит, что штабы — и их и наш — не спят ни днем, ни ночью. Засылают друг к другу шпионов и диверсантов. Кого могут — покупают, кого могут — запугивают. Денег на это всегда хватает, а страха — еще больше. Ты читал, что товарищ Сталин сказал о капиталистическом окружении? Что это очень неприятная вещь, читал ты это? Ну вот! Но окружение это, как бы тебе сказать... — Он повертел пальцами. — Это хроническая язва в желудке, сосет и сосет, а жить все-таки можно, только надо помнить, что она есть. А вот еще такая вещь, как линия огня — это уж много хуже. А мы вот на этой линии живем. А если это так, то обязательно должны быть и перебежчики туда и сюда. Это-то тебе понятно?

Я кивнул головой.

— А перебежчики разные бывают: один просто бросил ружье и побежал, а другие никуда не бегут, а сидят в наших штабах и работают. Вот на них работают. — Он махнул рукой на запад. — Понятно? Один враг в штабе, и целая наша армия снимается и идет на минные поля. А как ты такого откроешь, если все свои и подозревать некого? Если каждый тебе, как брат или сын, если ты с ним под одной шинелью спал, осьмушку хлеба делил? — Теперь уж директор говорил тихо, горячо и просто. — Если он лучший из лучших — в прошлом у него победы, а сейчас он день и ночь на работе? Как ты его, я спрашиваю, узнаешь? Как? Как? Вот в том-то и дело, что никак не узнаешь. А надо узнать, надо! Потому что иначе смерть... Миллион смертей. И мы узнаём! Не сразу, а лет через десять, через двадцать... И тогда уж не шадим! Расстреливаем живого, разжалуем мертвого, портреты снимаем, жену ссылаем, друзей-приятелей под ноготь берем.

— А друзья-то чем виноваты?

— А тем, — директор сурово взглянул мне в глаза, — что черт знает, кто он такой. Этот друг-то. Резидент сам по себе ничего сделать не может. Он ноль без палочки. Окружение его — вот что важно. Вот мы и выжигаем все окружение, как у тебя мать когда-то выжигала клопные гнезда. А затем и ту самую почву выжигаем, на которой это предательство выросло. Всех неустойчивых, сомневающихся, связанных с той стороной, готовящихся к измене, врагов настоящих, прошлых и будущих, всю эту нечисть мы заранее уничтожаем. Понял? Заранее!

— Понять-то понял, — сказал я, — чего ж тут не понять... Но разве можно казнить за преступление до преступления? Это значит — карать не за что-то, а во имя чего-то. Так ведь эдак жертву Молоху приносят, а не государство укрепляют. Молоху-то что? Он бронзовый! А вот Советскому-то государству не поздоровится от такой защиты.



— А мы вот уничтожаем во имя нашей революции,— негромко крикнул директор и топнул сапогом.— И будем уничтожать. Поэтому не спрашивай другой раз, почему снимают портреты и кого именно снимают. Знай: сняли врага. Еще одного скрытого врага разоблачили и сняли. И ты вот эти самые свои вопросики поганые оставь при себе. И язык! Язык держи-ка подальше за зубами. А то оторвут вместе с умной головой. Некогда сейчас разбираться. Понимай, какое время наступает.

Он ушел, а я так и остался в коридоре. «Время наступает»,— сказал он. Я еще не знал, какое это время наступает и зачем ему надо наступать именно на меня, но вдруг ощутил такой холод, такую жуть, что у меня даже мурашки побежали по коже и заломило под ногтями. Подобное чувство я испытал до того только однажды, когда забрался на колокольню, перегнулся и повис над пятидесятипятиметровой пропастью. Этот страх и тоска налетели на меня и сожгли всего. И, не в силах больше ни стоять, ни рассуждать, ни оставаться здесь, я сорвался и побежал. Но побежал не туда, куда направлялся с портретом Кастанье, не к своим черепкам, надгробьям и каменным бабам, а просто прислонил Кастанье к стене и сбежал вниз в парк, под открытое небо.

Стояло чистое, розовое, прозрачное, чуть ветренное утро. Шумели тополя, но горы были такие ясные и близкие, что казалось, они начинаются прямо за парком. Голубые леса карабкались по их склонам. Я стоял, смотрел на них и думал, что, если мне быстро попалась бы попутная машина, я через полчаса мог бы быть там среди этого холода и чистоты.

Так и застал меня Корнилов. Он шел через парковую площадь, размахивая серой трудовой книжкой.

— Слушайте,— воскликнул он удивленно,— у меня уже полный порядок. Принят! Это вас надо благодарить?

— Я тут ни при чем,— ответил я, не двигаясь.— Зайдете завтра к директору — сегодня он уже уехал.

Он удивленно взглянул на меня и спросил:

— Так, может, вы мне покажете нашу комнату?

Я покачал головой.

— Некогда.

Он постоял, посмотрел и тронул меня за локоть.

— Что с вами такое? Вам нехорошо?

— Нет,— ответил я,— мне ничего...

Он постоял, помялся и робко попросил:

— Тогда вы, быть может, покажете мне мое место?..

— Не сейчас,— сказал я,— сейчас вы идите к Кларе Фазулаевне. Ей директор велел заняться с вами. Я еду в горы, в колхоз «Горный гигант». Вот видите, стою жду машину. Сейчас она придет. До свиданья! Идите!

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### *Глава первая*

Случайная машина подбросила меня почти до самого колхоза «Горный гигант». Шофер попался свойский, из хороших здешних парней, и минут через десять я уже знал все о шестой бригаде и о бригадире Потапове. Так я узнал, что Иван Семенович — мужик серьезный, авторитетный, любит, правда, выпить, но без этого тоже нельзя. Что будто бы в прошлом году выкопали здесь где-то три горшка и один, говорят, был полон червонцами. Ну, а правда это или нет, кто же его

знает? Сейчас они все пустыми стоят в сарае — если любопытно, можно поглядеть.

Потом мы въехали в гору, и пошли сады; шофер мне объяснил, что урожай на яблоки в этом году «выдающийся», кое-где даже ветки приходится подпирать рогатками. Вот какой урожай! Он сказал: если я хочу достать яблочек, то лучше всего мне говорить со сторожихой, тетей Дашей. Вон-вон ее дом на отшибе! Только не рано ли я еду? Апорт-то ведь еще не снимали. Тогда я спросил его: а почему апорт? Апорта и в Московской области много. Вот, говорят, лимонка какая-то особенная есть. Тут шофер обернулся ко мне и спросил:

— А вы что, командировочный? — И горячо заговорил: — Так вы слушайте, что я говорю: вы апорт спрашивайте! Только его, только его! Как вы в Москве чемодан с ним раскроете, так все рты поразевают, там и яблочек таких сроду не видели. Каждое с килограмм! Потому и город называется Алма-Ата, что — отец яблочек. А лимонка что ж? Оно яблочко маленькое, желтое, не выдающееся. — И прибавил решительно: — Нет, апорт! Только апорт!

Я пожал плечами — опять то же самое, Алма-Ата — отец яблочек.

Испокон веков славились на Руси нежинские огурцы, чарджуйские дыни, владимирская вишня, камышинские арбузы и верненский апорт. Это действительно почти невероятное яблоко — огромное, блестящее, ярко-красное. Когда я впервые увидел его, то не поверил своим глазам. Оно лежало на черном жестяном подносе, исписанном огромными трактирными розами, и розы не казались уже огромными, яблочек было всего три, но они занимали весь поднос — лучистые, лакированные, как ярмарочные матрешки, расписанные мазками, пятнами, какими-то вихрями света и зелени. Они были так хороши, что я побоялся их тронуть. А вечером я все-таки разломил одно. Оно сухо треснуло, едва я прикоснулся к нему, и мне в лицо брызнул искристый, игольчатый сок. Я поднес половину яблока к лампе, и оно вдруг сверкнуло, как кремь, льдистыми кристаллами и хрусталиками, кусок какой-то благородной породы — не мрамор, не алебастр, а что-то совсем другое — легкое, хрусткое, звонкое, не мертвое, а живое лежало у меня на ладони.

Алма-атинский апорт! Никто никогда не занимался его историей. Родилось это яблоко внезапно и легко. Вдруг в столичных газетах и отдельных листовках появилось объявление. Мне очень хотелось бы поместить его так, как оно было напечатано, с лихой разбивкой строк, залихватскими большими буквами, с красными строками и восклицательными знаками. Напечатанный в строку текст мертв, а ведь он рожден для того, чтобы кричать, зазывать и хвастать.

«Из города Верного привезли еще небывалый сорт Гранд-Александр, замечательный по красоте, вкусу и величине.

От 7 до 8 вершков в обороте!

Подобных яблочек Петербург еще не видел.

Да нет таких не только у нас, но и за границей!

Приблизительно такой же сорт получается из Бельгии, но по своим качествам он ниже Гранд-Александра в три раза, а по цене дороже в пять раз!»

Так надрывался фруктовый склад Русакова.

Это было внезапное и победоносное рождение алма-атинского апорта.

Его взрастили в тишине садов и прилавков, и он попробовал алма-атинскую землю и воду и полюбил их так, что остался им верен навек; он хирел и гиб, если его с ней разлучали. И мир тоже не знал о нем очень долго.

«До 1910 года мы не знали, что делать с нашими фруктами, — пишут «Семиреченские областные ведомости», — а особенно с яблоками и грушами. Целый воз фруктов продавался за 50 копеек. С 1910 года картина резко меняется. С. Т. Тихонов, небезызвестный верненцам общественный деятель, захватив с собой несколько сортов различных яблок и груш, поехал в Петербург и там заключил контракт с торговцами фруктов».

С этого все и пошло. И недаром, конечно, пошло. По имени этого яблока не стыдно назвать не только город, но и целый край. Если бы Вильгельму Теллю пришлось целиться в такое яблоко, он бы не был героем. Да, но ведь не с такими яблоками пришлось иметь дело обитателям этих древних долин и предгорий. Алма-Ата — отец совсем иных яблок. Они растут по холмам и предгорьям. Есть среди них и низкорослые карлики, изогнутые по ветру и изгибу круч, есть и высокие, стройные, ветвистые деревья, есть и просто чем-то очень похожие на ивняк — цепкие, горькие, зеленые, как змеи, лозы. Из долины они карабкаются на склон горы и притыкаются на таком клочке земли, где и ногу-то, пожалуй, негде поставить. И тут они приобретают цепкость и гибкость горных растений. Карабкаются они долго, целыми десятилетиями, ползут шаг за шагом, метр за метром, то поодиночке, то компанией, а когда наконец выползают на темя холма, то какой дружной семьей зацветают они там! Обнимаются сучьями, сплетаются стволами и ветвями, иногда даже врезаются, вырастают друг в друга. А плоды на этих деревьях растут все-таки маленькие, твердые и кислые, с голубиное яйцо. Но древнему обитателю гор и они казались гигантскими. И не зря, конечно, казались. Подобных дичков не встретишь больше нигде. Есть яблони, усыпанные плодами ярко-красного, почти карминного цвета (даже мякоть у них нежно-розовая, цвета алого мрамора), есть яблоко с желтыми продолговатыми плодами, похожими на крошечный лимон (вот откуда, наверно, пошла лимонка), есть яблоки белые и круглые с терпким и вязким вкусом, есть наконец и просто дички — зеленые и горькие. Вот именно под этими яблонями и происходило то историческое сражение, о котором однажды упоминает академик Бартольд в монографии, посвященной истории этих мест. Но ведь города этого так и не нашли. Может, потому, что не искали, а может быть, оттого, что древняя Алма-Ата была на совсем другом месте и совсем не эти прихотливые дички дали ей название. А может, и вообще это название никакого отношения ни к яблокам, ни к яблоням не имеет, а значит что-то совсем иное. Мало ли кто здесь побывал за последние двадцать веков — и усунь, и саки, и монголы, и все они оставили свои визитные карточки — то курганы, то камни, то медь и бронзу. Одних курганов в городе было сколько!

«Курганами средней и малой величины покрыта вся территория и все окрестности города Верного и прилегающих к ним алма-атинских станиц и выселок, — писал Кастанье в 1889 году и прибавлял: — В городе и станицах курганы эти большей частью уже скрыты, так как они мешали усадьбным постройкам. Все они тянутся более или менее правильными линиями с запада на север, от гор к степи, по течению рек».

Значит, кочевье здесь, безусловно, было, но кто и как может доказать, что именно здесь следует искать древний город? Вот и те древние горшки, за которыми я сейчас еду, разве они что-нибудь доказывают?

— Стой, стой, — сказал я шоферу, — вот вывеска: «Правление». Останови машину.

Маленький, жукастый, толстоносый человек в черной рубахе без пояса и в галошах на босу ногу вышел из избы на шум мотора и остановился на пороге, сердито и недоуменно глядя на нас. Я сразу почему-то понял, кто это, и спросил:

— Бригадир Потапов?

— Он самый, — ответил человек пасмурно. — А вы из горземотдела?

— Пройдемте в правление, — сказал я. — Нет, я не из горземотдела. Горшки все еще у вас?

— Так забираете у нас эти макитры? — (Бригадир говорил по-южному — «макитры», а не горшки). — Забирайте, забирайте! Вон всю кладовку завалили, не повернешься даже! Берите, пожалуйста...

— Ладно, — сказал я. — Завтра же заберем.

— Берите, берите. — Он так толкнул ногой ближнюю макитру, что она загудела, как улей. — Хотел я их приспособить под капусту, вымыл, вычистил золой, так тут ваш счетовод налетел. — Он сердито усмехнулся. — «Как же так можно! Великая историческая ценность! Ей только в музее место!» Ну, берите, берите, ставьте в музей.

В кладовой было темновато, пахло сухой рогожей и соленой рыбой. Темнота здесь стояла особая, такая, какая бывает в яркий, солнечный день в забытой даче. На полу и на стенах лежали белые и желтые полосы света. Валялись грабли, широкие деревянные лопаты, лейки, стояли белые оцинкованные ведра, одно в другом; всю середину занимала какая-то громадина на зеленых колесах, не то сеялка, не то веялка, не то еще что-то сельскохозяйственное, и бригадир как только вошел, так и опустился на ее подножку.

— Их у вас четыре? — спросил я о макитрах.

— Шесть, — усмехнулся бригадир. — Еще две в душе стоят, я завтра вам и те сюда притащу. Ну, посмотрели? Пошли!

Мы вышли в сад. Блеск был разлит повсюду. Сверкали раскаленные черепицы крыш и стволы яблонь, обмазанных известкой. Ветерок ходил по высокой, некошеной траве, и пахло сырой землей и табаками. А за яблонями, где-то на просторе, громко хохотала женщина. Хохотала и выговаривала: «Ой, боженька же мой, ой, не могу, не могу!» — и снова хохотала.

— Слышите? — кивнул головой бригадир и крикнул: — Коршунова! Коршунова, дьявол! Вот я тебе порепетирую!

Хохот смолк, а потом тот же голос вызывающе произнес: «Ой, боже ты мой, не могу, не могу, не могу!» — и опять захохотал.

— Тьфу, окаянная!.. Ты ей хоть кол на голове теши, — злобно плюнул бригадир. — Совсем девка с панталыку сбилась. Артистка!

— А кто у вас руководит драмкружком? — спросил я.

Он махнул рукой.

— Тут не кружок, тут поднимай выше, — сказал он. — В Алма-Ате занимается. В какой-то театральной высшей школе... На лето приехала матери помочь. И вот слышите, как помогает? Ну, хорошо, только до собрания, там я ей покажу «ха-ха-ха!».— И он быстро пошел по просеке, бормоча под нос что-то сердитое.

— Так, может, у нее талант? — спросил я, догоняя его.

Он остановился и взглянул на меня.

— То не было никакого таланта, а то вдруг он объявился? — спросил он насмешливо. — Конечно, талант! Туда без таланта и не суйся! Там талант перее всего. — Он значительно посмотрел на меня и усмехнулся.

Я хотел ему что-то ответить, но он вдруг остановился, взглянул на солнце, полез в боковой карман пиджака, вынул старинные часы из черного серебра, звонко щелкнул крышечкой с кудрявым вензелем, посмотрел и сказал:

— О! Ну, однако, уже и обед. Милости просим ко мне. Закусим чем бог пошлет.

— Да нет, нет, — сказал я, — мне ведь...

— Прошу, прошу, — повторил он настойчиво, — макитрами сыт не будешь, — и взял меня под локоть.

Мы прошли между двумя рядами яблонь, пересекли по тропинке густой темный вишеник и спустились к Алма-Атинке. Она кипела между узкими берегами и была зелеными фонтанами. У больших камней вскипали водяные воронки и мелкие буруны, а на самой середине ее около огромной глыбины, гладкой и черной, как бегемот, опустившийся на колени, крутились клочья сердитой пены, листья и какой-то сор. Мельчайшая водяная пыль висела над кустами, и большие, сердитые, почти серые лопахи с лиловыми черенками все время дрожали от гула. А гул был такой, что казалось — это по дну катятся огромные пустые бочки. На самой спине каменного бегемота лицом вниз, так что была видна только загорелая спина да острые крылья лопаток, лежал человек в черных трусиках.

— Смотри — опять он здесь! — удивился бригадир. — Когда же это он приехал? Я его что-то с утра не видел.

— Кто это? — спросил я.

— Да так, один, — ответил неопределенно бригадир и опять усмехнулся. — Геройский человек, ничего не боится, прямо с камня в этот кипяток прыгает, а когда-нибудь его обязательно утащит. Вы слышите, как гудит, это ведь она глыбы с гор катит, вот как даст такой глыбиной по ногам...

Он стал осторожно спускаться, держась за кусты.

— Можно бы дальше пройти, — сказал он. — Там лесенка деревянная есть. Не свалитесь?

Через реку от берега до берега была проложена гряда больших камней.

— Пройду, — сказал я и сейчас же чуть не полетел с обрыва, ботинок по каблук ушел в глину.

Где-то сверху бил родник, и по тропинке катилась прозрачная тонкая струйка.

— Тише, тише! — крикнул бригадир. — Тут, знаешь, как нужно осторожно? Сразу полетишь... Один на прошлой неделе так грохнулся, что в город свезли. Дайте-ка я вас... — Он взял меня под руку. — Из зоопарка приехал, змея ловить. Петли, сети принес, мешок большой брезентовый, чтоб, значит, змея сажать.

«Ага, сам заговорил», — подумал я и спросил:

— Ну, и поймал?

— Поймал... В первый день, говорю, увезли еле живого. Потом через неделю приехал уже без мешка и сетей. Полазил-полазил по холмам с аппаратом, а потом заявился в правление, как раз я за председателя оставался, и командировку мне на стол — подписывайте. «Подписать-то, говорю, недолго, товарищ ученый, но со змеем-то, между прочим, как? Где он?» А он по аппарату хлопает. «Здесь, — говорит. — В кассете, я его сорок раз шелкнул, во всех видах: и как спит, и как воду лакает, и как яблоки ваши лопаает». — «Ну, а ловить, говорю, кто же будет?» — «А ловить, говорит, специалиста вызывают, я, говорит, не охотник. Мое дело — выяснить, есть он или нет». Ну, вот теперь и вы приехали. Как он там, показывал кому эти снимки или врет?

— Врет, конечно, — ответил я, — змеи яблоки не едят.

— Ну, это уж вы, пожалуйста, не говорите, — поднял ладони бригадир. — Что змей яблоки лопал, это я сам видел.

— А как вы это видели? — спросил я.

— А вот так. Встаю я ведь рано, часов в шесть я уже на ногах. Так вот, встал я и иду к речке с дробовичком, а мне навстречу пастушонок

Степка бежит, задохнулся, орет: «Дядя Вань, дядя Вань, идиге скорее, там у яблони...» Как он называется-то? Ну, змей-то, как он называется?

— Удав.

— Нет, как-то не так. Он по-научному его как-то. Последнее-то слово — «конструктор», а вот первое имя — короткое, а все из головы вылетает.

— Боа-констриктор? — спросил я.

— Вот-вот, совершенно точно сказали — Бова-конструктор. «Где? — кричу. — Идемте!» Добежали мы вот до этого обрыва. Только не с этой стороны, а с другой стороны заходили. Степка мне на крайнюю яблоньку тычет, она на самом-самом обрыве. «Вон-вон, он под ней лежал, теперь снова вниз сполз». А тут видите какой грунт? Каждую весну обвалы. А внизу-то дичь: оскарь, лопухи, дудки! И ни коса их, ни огонь — никакой дьявол не берет. Как железные стоят. Да тут, по правде сказать, и косить-то неспособно. Откос! Чуть не так махнул — и полетел вместе с косой в реку. Так что тут у нас лет пять не кошено и не хожено. Вот тут он и лежал.

— Свернувшись? — спросил я.

— Так точно, свернувшись. Там бугор сухой, глинистый выдавался, так вот он на нем и лежал, видно отогревался с ночи. Такой черный-черный, только не блестящий, а матовый, как шина. Я Степке говорю: «А ну, отойди!» — да как лупану резаным свинцом. Как он шархнется, блеснет — и нет его! И все скрозь, скрозь зашумело, задрожало, посыпалось: только что он тут лежал, а смотрю — уже вон где, на другом конце лопухи шевелятся. Весь склон, можно сказать, зашевелился. А ведь это, чтоб не соврать, метров десять, а то и того больше. Я говорю: «Стой, Степка, я пойду посмотрю». Ну где ж тут. Пока спустился, уже на том краю шумят. Признаться, я совсем-то поглубже зайти побоялся — вдруг он где притаился? Послал Степку в правление за людьми. Те прибежали с топорами, с баграми, пожарную бочку привезли — змея из норы выливать, топотят, кричат, смеются. Ну, колхоз, конечно, где ж тут. Все прощупали, нигде его нет, только яблоки откусанные валяются. А дерево с тех пор стало желтеть, сохнуть. Нет, вы не сомневайтесь, он и в самом деле яблоки лопает. В священном писании читали? У вас ведь в музее оно обязательно должно быть. Чем там змей Еву соблазнул, не помните?

— Яблоком, — ответил я и засмеялся.

— А, вот, значит, знаете, — засмеялся и он, — это хорошо, что знаете, сейчас из молодых это никто не знает. Нет, это точно, точно, мы потом все боялись, как бы он нам все яблоки не перетравил.

— Да он же не ядовитый, — сказал я, — он кольцами давит.

В это время бригадир вдруг остановился, оглянулся и приветливо заулыбался. К нам шел высокий, стройный человек, на нем был легкий серый костюм, желтые туфли, голубое мохнатое полотенце он перевесил через плечо.

— Кто такой? — спросил я.

— А вот тот, что купался, — ответил бригадир и крикнул: — Михаил Степанович, что сегодня так скоро?

— Да вот вас увидел, — ответил Михаил Степанович приятным голосом, — побоялся, что без меня за стол сядете. — И он постукал по оттопыренным карманам.

— Умные речи приятно и слышать, — улыбнулся бригадир. — Знаете пословицу: «Садись за стол — гостем будешь, водку поставишь — хозяином будешь». Только вот выпивать-то сейчас мне... — Он опять поглядел на солнце.

— Ничего, у меня охотничья, от нее валерьяновой каплей шибает,— сказал Михаил Степанович.

Голос был молодой, звучный, и лицо у него тоже было молодое, розовое. Подойдя, он улыбнулся и протянул мне руку.

Фамилии мы почему-то друг другу не назвали.

Втроем мы сидели за столом, покрытым белой скатертью, под большой старой яблоней с черно-сизыми листьями и обедали. Уже выпили по стопке.

— Интересные эти люди — ученые,— сказал бригадир.— Кто их поймет, тот, наверно, еще тысячу лет проживет...— Он перегнулся через стол и налил мою стопку до краев.

— А все люди, хозяин, интересные, — сказал мирно Михаил Степанович и потянулся ко мне чокнуться, — неинтересных людей, дорогой Иван Семенович, на свете не бывает. За ваше здоровье.

— Будемте здоровеньки. — Бригадир поставил пустую стопку на стол. — Ну вот, например, вашу науку взять, — сказал он и повернулся ко мне.— Вот вы приехали к нам. Копать землю будете? У председателя рабочих будете просить, так ведь? Ну, выделим мы вам инвалидов, какие поплоче, покопаетесь вы неделю, раскопаете черепки, кости, пятаки и выставите их в музей. Вот, мол, наша находка. Хорошо! А вот у меня лежат два пятока в сундучке. Екатерина Вторая. Хотите — пожертвую на науку?

— Нет, спасибо, — сказал я. — Не надо.

— Ага, не надо, — обрадовался он. — А вот если бы вы их сами выкопали, тогда нужны они были бы вам или нет?

— А вот тогда нужны.

— Нужны! — Он даже ударил ладонью по столу. — Видишь, какое дело: даю готовые — не надо, а сами откопают — нужны. Почему же так? Ведь пятаки-то все одинаковые — что мои, что ваши, только мои почище, конечно.

Я поглядел на него и засмеялся.

— Да нет, тут смеяться нечего, — сказал он сердито. — Я правду говорю. И все хитрят, и все хитрят, — повернулся он к Михаилу Степановичу. — Все выгоду какую-то ищут. Вот вы сколько жалованья получаете?

— Стой, стой, к чему тебе это? — перебил его Михаил Степанович.

Бригадир сердито махнул рукой, налил себе еще стопку, опорожнил ее одним глотком и обтер ладонью рот.

— Тут все к чему, — сказал он хмуро. — А вот война? — спросил он меня в упор.— Вот вы пришли сейчас домой, а утром в семь часов повестка. Явиться на призывной пункт с вещами. Тогда что?

— Да ничего, встану, соберусь и пойду, — сказал я.

— Да ты чего-то уж не туда загибаешь, Иван Семенович, — сказал мой новый знакомый. — Война войной, а наука наукой, пятаки тут ни при чем.

— Опять пятаки ни при чем? Очень они при чем! Вот вы сказали: позовут — пойду. А что такое пойти на фронт, вы знаете? Стойте, стойте, я уж свое доскажу. Вот в пятнадцатом году нас из Большой станицы двенадцать человек пошло воевать. С музыкой провожали, с попами... И парни все были — во! А вернулось нас с фронта всего двое — я да Петька Карасев. И вот еще, видишь. сижу и водку пью с учеными, а Петька покашлял, покашлял, да через год его в Порт-Артур и стащили, легкое у него отвалилось. В болоте ночь просидел. Значит, было нас двенадцать, а остался один я, а над темидесятерыми, наверно, и до сих

пор кресты в Польше торчат, сам тесины прибивал, знаю. А теперь вот и креста не поставят, одни столбы.

— Иван Семенович, ты больше не пей,— нахмурился мой новый знакомый.— Как это понимать — одни столбы... Добрая память останется, она что? Ничего тебе, что ли?

— А вот так — столбы! — ударил кулаком по столу бригадир.— А добрая память — это вот! Фу! — Он дунул и засмеялся.— Вот она, добрая память, полетела — вот-вот! Видишь ты ее? Где она? — И вдруг ожесточенно заговорил: — Мы ведь все на свете превзошли, и религии уж не придерживаемся, и открыли, что не бог в небе, а пар. Ну, ладно, пускай пар, а не бог, я не против. Но я ведь вот про что... — Он остановился, собираясь с мыслями.— Вот ученые приезжают, — продолжал он уже медленно и вдумчиво, — мы уважаем науку, хорошо... Ну, а вот если верно — завтра война? К чему эти кости и черепки, а? Вот я газеты читаю. Каждый день пишут: такую-то речь Гитлер грохнул, такую-то границу его войска перешли, и все ближе, ближе к нам война подбирается. Стали уже учить, как маски надевать, а вы все черепки собираете. Как же это понимать, а?

— Да что это ты, хозяин, больно развоевался? — сказал мой новый знакомый недовольно.— Заладил как сорока: война, война, война... Без тебя это каждый день слышим и читаем. Позовут — соберемся и пойдем. Но только война-то ведь не на целый век. Вот ученые сосчитали, что в старом мире, при царизме, на каждые десять лет мира приходилось одиннадцать лет войны. Так люди-то воевали, а пятаки-то лежали. И эта война пройдет, а все равно пятаки останутся. Наши внуки еще будут ими интересоваться.

— А останется кому интересоваться пятаками? — покачал головой хозяин.— Вот газ у них, говорят, особый есть, от него даже железо сыплется. Так вот, если они его на меня или на вас пустят, так что от нас тогда останется, а? А то еще есть такие прожектора — как поведут лучом, так и города нет!

— Лучи смерти,— засмеялся мой новый знакомый.— Ну-ну, читай «Вокруг света», читай, еще не то вычитаешь. Но вот что, хозяин, — он постучал пальцем по столу, — ты все-таки поменьше бы звонил. Ведь это пораженческая агитация называется, понимаешь? Что же — у них все есть, а мы голенькие! Нет, что у них, то и у нас есть, а может, есть и что похлеще. Очень может быть! И победить мы его победим. За него никто не пойдет — ни француз, ни англичанин, ты в этом не сомневайся.

— Да я не сомневаюсь,— сказал бригадир,— я ведь к тому, что... — Он вдруг сразу как-то сник и замолчал, взял стопку, налил ее доверху, но пить не стал, а отставил и вдруг заговорил, возбуждаясь все больше и больше: — Вот вы говорите «не пойдет». За столом-то все, конечно, можно сказать — и про ту войну тоже говорили, что ни за что никуда не пойдут. А нет — пошли, да еще как пошли-то, с песенками: «Соловей, соловей-пташечка», — запел он вдруг и рассмеялся.— Да и как было не пойти? Впереди пулемет и сзади пулемет. Не пойдут? Нет, как еще пойдут-то.

— Вы историк? — спросил меня мой новый знакомый.

Я кивнул головой.

— Я вот почему спрашиваю: вот этот пулемет в лоб, про который он сказал, ну что ж говорить, средство действительно очень сильное. Но скажите, могут войска под этими пулеметами выиграть войну? Ну, не только пулемет, конечно, а вообще одна жестокость сама по себе. Деревни жечь, дезертиров вешать, солдат пулеметами гнать. Вот это может выиграть войну?



— Ну, это смотря кто с кем воюет, — сказал я. — Но одно только можно сказать с уверенностью: армия свободных всегда побьет армию рабов. Это еще Эсхил отлично понимал. В «Персах», например, престарелая царица Атосса спрашивает предводителя Хора о греках: «Кто гонит это войско в бой? Кто их царь?» И тот отвечает: «Никто их не гонит, нет у них царя, они свободны!» — «Так каковы же они в битве?» — спрашивает царица. «А каковы они в битве, — отвечает Хор, — что все войско твоего сына полегло под их мечами». И в заключение, после гибели персидского ополчения, Хор поет: «Персы, не идите против эллинов, сама земля им союзница». Земля — союзница! Подумайте, огромная армия, состоящая из двенадцати пленных народов — тут были и сирийцы, и египтяне, и финикийцы, — была разбита в прах одним свободным народом.

— Вот, отец, — повернулся к бригадиру Михаил Степанович. — Слышишь, что историк сказал, а ты говоришь: зачем история? Чтоб нас, дурней, учить. Из-под палки никто не побеждает. И твои пулеметы сзади — они тоже очень свободно могут лишний раз повернуться да так дать по тем, кто их поставил...

— Это так, конечно, — тускло сказал хозяин, его уже утомил этот разговор. — Но все-таки и то надо сказать...

— Софа! — вдруг крикнул мой новый знакомый. — А я вас ждал, ведь на целый час запаздываете.

Я оглянулся. К нашему столу шла незнакомая мне женщина.

— Ну, так уж вышло, — сказала она, подходя. — Так уж вышло, Михаил Степанович, никак не могла раньше.

Я поглядел на нее. Волосы у нее были мягкие, золотистые (тогда в моде был пергидроль), а лицо удлинненное, худощавое, с тонкой белой кожей. И так не шел к этому нежному, чистому лицу, к волосам этим высокий, выпуклый, почти мужской лоб. Его даже и прическа не могла скрыть. Поэтому впечатление от нее у меня осталось двойственное и какое-то тревожное. Как будто из-под одного лица — красивого и спокойного — вдруг выглянуло совсем другое — пыливое, затаенное. Был на ней английский костюм из светлого коверкота песчаного цвета, очень тонко и четко облегающий фигуру. А через плечо фотоаппарат в кожаном чехле. Она шла к нам улыбаясь, но глядела только на Михаила Степановича. Он встал, забрал ее пальцы в свои руки и потом, не отпуская их, обернулся ко мне.

— Знакомьтесь, — сказал он, — аспирант института права, Софа Якушева, отбывает у нас практику. — Он взглянул на нее и засмеялся. — С утра до вечера бродит по горам и снимает виды Тянь-Шаня. Раз около нашей школы погранохраны ее задержал патруль, пришлось ездить выручать. Так вот, Софа, это — наш хозяин, — он назвал фамилию бригадира, — а это, — он обнял меня за талию, — наш археолог. Тот самый, статью которого в газете вы так хвалили, — он назвал и мою фамилию.

— Очень рада познакомиться, — ровным голосом сказала Софа и протянула мне руку. Рука была холодная, как из потока.

— Садитесь, Софа, с нами, — пригласил Михаил Степанович. — Хозяин, а ну-ка еще стопочку, Софа тоже выпьет с холода.

Она кивнула головой и села. Хозяин побежал вниз.

— Вы сегодня никуда уж не торопитесь? — спросил Михаил Степанович бегло, но значительно.

Она слегка пожала одним плечом.

— Особенно нет, но к восьми мне надо быть уже в городе, хочу пойти в кино.

— Что-нибудь интересное? — спросил он быстро.

— Да, — отвечала она.

Он поглядел на часы-браслетку.

— Ну отлично, пойдем вместе. Вот выпьем и пойдем, ладно?

Она кивнула головой.

Это был короткий, быстрый и понятный только для них обоих разговор.

Потом Михаил Степанович снова повернулся ко мне, и лицо его стало по-прежнему ясным, добродушным и ироническим.

— Тут у нас о войне разговор был, — сказал он, глядя на меня, — такого страху нам хозяин нагнал, спасибо вот историк выручил.

— Я страху никакого не нагонял, — хмуро ответил хозяин, появляясь в дверях с тарелкой соленых огурцов. — Я говорил, что знаю. Ну, а врать, конечно...

Тут я увидел, что он уже здорово пьян.

— Вот вы говорите, — продолжал он задиристо, — что ничего не будет, а в писании не то ведь сказано. Там сказано: будет последний бой и налетят железные птицы и истребят всех живущих. Так что — это тоже дурачок писал?

Михаил Степанович быстро взглянул на Софу, она сидела молча.

— Ну вот, — сказал он весело. — Мы уже и до писания дошли. Да ты что, сектант, что ли, Иван Семенович?

Тот хмуро покачал головой и аккуратно начал расставлять по столу посуду.

— Тут не в писании совсем дело, — сказал он. — Писание это только так, к слову пришлось.

— Ну, хорошие же у тебя тогда слова! — воскликнул Михаил Степанович. — А еще сознательный человек, колхозник, бригадир.

Тут вдруг наш хозяин поднял лицо и посмотрел на нас. Мне показалось, что он даже покраснел от раздражения.

— Ну вот вы все ученые люди, — сказал он громко и насмешливо, — политики, а я, верно, как вы говорите, дурак, колхозник. Ну так как вы считаете, вот это писание — оно что? Его дурак какой-нибудь сочинял, Сергей-поп, Сергей-поп какой или еще кто?

— Ну, не дурак, конечно, — ответил Михаил Степанович. — Но...

— Ага! Значит, не дурак, — усмехнулся хозяин. — Так! Хорошо... Так значит оно что-нибудь или нет? Ну вот как вы скажете — значит?

Софа вздохнула и отвернулась, а Михаил Степанович скучно ответил:

— Ну, значит, конечно, кое-что отражает — фанатизм, темноту, забитость, настроение масс того времени, ну и прочие социально-исторические штуки. Так, значит, налетят эти железные птицы и всех нас перебьют? Ну, а может, это наши птицы будут, а не его?

— Оставьте, — сказала тихо и досадливо Софа. — Ну что вам?

— А ну-ка, историк, — сказал Михаил Степанович, — разложите его опять на лопатки.

— Ну-ка, ну-ка, разложи, — повернулся ко мне бригадир, — попробуй.

— Никаких железных птиц в писании нет, — сказал я твердо. — Есть, верно, в апокалипсисе железная саранча, вот о ней, наверно, идет и речь.

— Ну, хорошо, саранча. Так вот к чему она? — вкрадчиво спросил хозяин. — Как эту саранчу понимать-то надо? Ведь саранча эта гак, букашка, что она особенно сделать-то может? Ну, сад оголить, хлеб

пожрет, а тут ведь пишется — всех уничтожат! Вот ведь как. Неужели тот, кто писал, никогда и саранчу в жизни не видел?

— Ох, как еще видел, — сказал я. — Потому так и писал, что видел. В тех местах, в Малой Азии, саранча как смерть, от нее ничего не спасет — ни река, ни гора, ни расстояние, садится туча ее в несколько десятков миллиардов тварей и начинает жевать. И что с ней ни делай — дави, жги, выпускай стада быков, она все равно будет жевать. Ее давят, а она жует, жгут, она жует, ее ничто не трогает — ни смерть, ни боль — ничего, только бы оголить всю землю дотла.

— Вот как эту ладонь, — сказал бригадир тихо и подавленно и выставил над столом большую, крупную загорелую ладонь, — точно! Мне и отец это рассказывал.

— Вот и думает человек: знать, и смерть такая. И хорошо, что она, смерть эта, землю еще не лопает, а то и от земли ничего бы не осталось. Бригадир сидел и молча смотрел на меня.

— Так вот оно что, — сказал он наконец тихо. — Это вы правильно сказали. — У него был вид человека, неожиданно набредшего на истину. — Это так! Бактерия! Виброн!

Тут уж я растерялся. О бактериальной войне в то время уже поговаривали. Говорили, что в Германии, в Японии и даже в Италии идет работа по выращиванию смертоносных бактерий. Что-то с чем-то скрещивают, высевают какие-то культуры на питательные среды, подкармливают их питательными бульонами, высевают на агар-агар, снова пересевают, снова скрещивают, и в результате появляется уже что-то такое чудовищное, что не берет ни огонь, ни мороз. Человек погибает через несколько часов. Говорили, что где-то в Японии уже выращен чудовищный гибрид смертельных тропических лихорадок, скрещенных с бактериями столбняка, сапа и проказы. Достаточно вылить такую пробирку в водопровод, чтоб город превратился в покойницкую. В газетах об этом писали еще мало и общо. Зато о чем-то очень схожем и говорили и читали лекции. Лекции читали о том, что органами Наркомвнудела было обнаружено гигантское вредительство. Агентам враждебных разведок удалось завербовать многие сотни работников элеваторов и складов. Миллиарды пудов зерна по вражескому заданию были заражены каким-то особым клещом. Хлеб этот пришлось весь сжечь. Арестована масса ответственных работников, и с каждым днем арестованных становилось все больше и больше. После людей с именами пошли уже совсем простые люди — рабочие, экспедиторы, бухгалтеры, лаборанты. Судили их при закрытых дверях и военным судом. Приговоры выносились самые суровые — бывали и расстрелы. Арестованные признавались во всем, и скоро прокуратура и органы следствия объявили о том, что они до самого конца распутали весь огромный клубок измен и предательств. Враги рассчитывали, писали газеты, на благодушие советского народа, но они снова просчитались: железная рука советской разведки (я видел эту руку — «ежовые рукавицы» — на плакатах, ими был оклеен весь город) схватила врагов за горло, задушила и выбросила из советского общества. Итак, враги, безусловно, просчитались. Но глупо думать, что они успокоятся. Наоборот, сейчас в борьбу вводятся все новые и новые силы. И этого надо было ожидать, ибо, как указал товарищ Сталин, чем больше наши успехи, тем ожесточеннее сопротивление врагов и тем более на крайние средства они идут. А отсюда вывод, который сейчас и сделал бригадир: если можно заразить искусственно клещом элеваторы, то почему ж нельзя вырастить где-нибудь в Марокко многомиллиардные стаи саранчи особой породы, да и пустить ее на колхозные поля? Вот тебе и апокалипсис...

Я смотрел на бригадира — и не знаю, как это выходило, но отлично понимал все, что он думает.

— Это чепуха, отец, — сказал я. — Никаких таких бактерий на свете нет.

Он печально, но решительно покачал головой.

— Нет, есть они, есть! Так и про клеща сначала говорили, что это одна агитация, а, видишь, сколько его под конец оказалось.

— Ну, сравнил клеща с саранчой, — сказал Михаил Степанович. — Это, брат, совершенно разное дело, саранчу, как клеща, в пробирке не принесешь и не выпустишь.

И тут из меня вдруг выскочило то, что я уж месяцы думал в себе, о чем думал и так и сяк, но с полной определенностью решил только сейчас.

Я сказал:

— И с клещами тоже чепуха. Никто ими элеваторы не заражал.

Но тут Михаил Степанович поднял стопку и весело воскликнул:

— Э, хозяин, хозяин! Что ж ты за стопками не смотришь? Ведь вот все пустые. Ну-ка давай по последней.

Слов моих он как будто не расслышал.

Только Софа Якушева поглядела на меня и отвернулась.

— Нет, есть клещ, — сказал бригадир, не двигаясь. — Обязательно он есть... Это я точно знаю! — Он взял со стола бутылку и стал наполнять стопки. — Точно знаю... — повторил он. — У меня брата за него расстреляли. Завербовал его Модест Ипполитович, заведующий нашим элеватором. Так неужели же человек ни за что девять грамм получил? Нет, нет, этого я никак не могу допустить. Есть он, обязательно есть! Это уж точнее точного.

О том, что надо ехать, уже не говорили. Софа пила наравне со всеми и, когда думала, что я не вижу, украдкой косила на меня большими светлыми глазами. Раза два или три я почувствовал и то, как кто-то из них двоих по ходу разговора толкнул ногами друг друга. А мне уже было досадно, что я наговорил лишнего. Я налил себе две стопки и, не угощая никого, опрокинул их раз за разом.

— Вот это по-нашему, молодец! — сказал Михаил Степанович. — Ну что же, выпьем и мы, Софа, а?

Она отрицательно покачала головой и тихо сказала:

— Пора.

Уже вечерело. Откуда-то вдруг тонко потянуло розами. Но я знал, что это не розы пахнут, а это несет из ям прелым прошлогодним листом. Хозяин сидел на табуретке печальный, серьезный и, слегка покачиваясь, задумчиво смотрел на свои руки. Вдруг прямо над нами закричала иволга. Крик у нее противный, резкий, кошачий. Я вздрогнул.

— Ну и пугливый же вы, — усмехнулся Михаил Степанович. И только он это сказал, как где-то далеко за садом закуковала кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить? — крикнул он ей.

Кукушка крикнула три раза и замолкла.

— Недолго же, — усмехнулся Михаил Степанович и взглянул на часы.

— Пойдем? — тихо спросила Софа Якушева и встала.

— Ну, а вы как? — спросил меня Михаил Степанович, поднимаясь. — Может, вас подбросить до города?

Я поблагодарил и отказался. Ехать мне с ними почему-то не хотелось. Он протянул мне руку.

— Ну, тогда позвольте пожелать вам всего хорошего, еще, надеюсь, встретимся.

— Встретимся, — сказал я. — Мы теперь здесь часто будем.

И тут опять, и уже ближе, закуковала кукушка.

— Ну, может, мне больше повезет, — сказал я. — Кукушка, кукушка, сколько мне?..

Она вдруг замолкла.

— Обоим сегодня не везет, — засмеялась Софа Якушева. — Наверно, за страшные разговоры. Так до скорого?

Они ушли, и, переждав минут десять, я поднялся было тоже. Но хозяин сурово сказал мне:

— Пойдите-ка, — и снова налил по полной.

— Не буду, — сказал я, отодвигая стопку, — я уже и так совсем пьян.

Он усмехнулся одним углом рта.

— Пейте, ничего. Язык не заплетается, вот в мыслях, может быть, немного?

Я молчал.

— В голове, может быть, говорю, не того? — повторил он настойчиво.

Я опять смолчал.

Тогда он сказал:

— Вот вы насчет клеща высказывались, что это все чепуха.

— Вы этих людей хорошо знаете? — спросил я.

Он усмехнулся, помолчал, подумал.

— Этого Михаила Степановича, — сказал он, — я месяца два, наверно, знаю, что-то часто он стал сюда ходить, целый день иногда лежит, загорает, а вот ту, что с ним, я только второй раз вижу.

— А кто она такая? — спросил я.

— Она-то? А кто ж ее знает, юрисконсул, что ли, а там не знаю. Разве женщину узнаешь? А за Михаилом этим, — продолжал он, подумав, — раз машина из города приезжала, он там на камне лежал, а шофер подогнал машину к самой речке и подал ему записку. Он прочел, сразу оделся и уехал вместе с ним. Да вы его не бойтесь.

— Я не боюсь, — сказал я быстро.

— И не бойтесь, не бойтесь. Тут много всяких разговоров было, он всегда на них ноль внимания... Да, так вот насчет этого клеща. Вы говорите — нет его, а я ведь этого Модеста Ипполитовича, которого вместе с братом расстреляли, вот с таких лет знаю.

Опять закуковала кукушка, куковала долго, звонко, не переставая, может быть, потому, что никто из нас уже ее не спрашивал, сколько нам осталось жить. Бригадир рассказал мне все про Модеста Ипполитовича и начал рассказывать про своего брата.

Однажды прибежала в слезах невестка и сказала, что с мужем творится что-то неладное: стал он пропадать неизвестно где, приходит поздно ночью и — вот беда-то! — не пьяным. А однажды вернулся только утром, сел за стол и сказал: «Катя, я вчера ездил на Иссык, перевел все мои сбережения на твое имя, так вот если со мной что случится, то за ними сразу не ходи, а подожди месяца два, а потом вынь все и поезжай к моему брату, он тебя в колхоз устроит, колхоз у них богатый, плодоягодный, заработки там хорошие, будешь сортировщицей». Она заплакала, а он ей сказал: «Не плачь, теперь уж не поможешь». А вчера, продолжала невестка, не было его целые сутки, пришел пьяный и сразу же завалился в сапогах на кровать. «Приходи, — попросила невестка, — узнай, в чем там дело, может, правда, за ним что есть». — «Хорошо, — ответил бригадир, — завтра же приду узнаю». Но удалось ему прийти только через неделю. Застал он брата веселого, выпившего, праздничного. На нем была блестящая синяя рубаша под шелковый пояс с махрами и желтые полуботинки. Увидев брата, он засмеялся и полез цело-

ваться. Потом сели за стол, а невестку послали за водкой. Выпили и повторили сразу же. Жена, радостная, раскрасневшаяся, в одном платке, то и дело летала на угол в ларек. Брат рассказал, что собиралась на него беда, да, слава богу, прошла стороной, умные люди все поняли, все рассудили. Он ни в чем не виноват, через неделю ему отдадут большую комнату в бывшей квартире Модеста Ипполитовича, и какая там есть обстановка — вся она его. Будет выплачивать понемножку из жалования. «Ну, а все-таки что с тобой такое было?» — тихонько спросил бригадир брата. Тот махнул рукой и ответил: «Со мной все окончательно решено! Я не обижаюсь, нашего брата тоже нужно иногда припугнуть, а то от нас, баранов, разве что-нибудь узнаешь? Вот и я дурак был, надо было сразу же все выложить». — «Что выложить-то?» — спросил бригадир брата. «А вот что замечал я за моим директором неладное. Часто он в лабораторию входил, когда никого там не было, и дверь закрывал, потом вдруг портфель новый завел на замочке, говорил, что он какие-то диетические бутерброды из дома таскает, а может, там клещи в банке сидели? Кто это знает. Вот я все это показал, от меня и отстали». Они выпили еще, и брат заснул прямо за столом. Уехал бригадир рано утром с попутной машиной, а через два дня за ним приехали и отвезли в городское отделение НКВД. Там его сразу же ввели в кабинет и стали допрашивать о брате. Допрашивали двое начальников: один с двумя шпалами, другой с тремя кубарями; начальник со шпалами — пожилой, важный, больше молчал. Зато с кубарями — молоденький, беленький, совсем мальчишка — все смеялся, предлагал закурить и спрашивал: зачем он ездил к брату за день до его ареста и какой у них вышел там разговор. Не наказывал ли брат кому-нибудь что-нибудь передать на случай ареста? Не говорила ли что невестка? Разговаривали хорошо, вежливо, обходительно, улыбались, шутили, предлагали чаю, бутерброды с семгой, а потом сказали, что пока хватит, он может идти. Но пусть подумает, может, и еще что вспомнит. А невестке, правда, лучше будет переехать к нему. Избу же пусть продает и мужа не ждет. Муж ее уличен в том, что он выполнял задания иностранной разведки. Он во всем уже признался и назвал своих сообщников. «Как так признался? — воскликнул бригадир. — Он же мне совсем не то говорил». — «Они советским людям всегда не то говорят», — улыбнулся молоденький. А тот, что носил две шпалы (он все время стоял около открытого окна, курил и пускал шуточки), сказал ему: «Ну, расскажите ему все, я разрешаю». Тогда молодой сказал, что брат его сначала от всего отрекался и даже кричал на них, но потом, когда ему показали расписку, которую он выдал в прошлом году в Новосибирске резиденту одной иностранной державы, заплакал и сказал: «Ну, раз вы уж до Новосибирска докопались — значит, все», — и во всем признался. К сожалению, назвать фамилию этого резидента невозможно. Имена дипломатических представителей называются только при закрытых дверях. Но пусть он не думает — советская разведка не ошибается... А потом ему подписали пропуск, и он ушел. Больше про брата вот уж сколько месяцев ничего не слышно. Невестка сейчас живет с другим и мужа не ждет. Если бы он и вернулся, то добра не было бы.

Я сидел, слушал эту историю и уж совершенно точно знал, что я ни на грош не верю ни в иностранного клеща, ни в расписку, выданную дяволу, ни в слова тех двух людей — того, что с тремя кубиками, того, что с двумя шпалами, ни во все то, что они рассказали. Но точно так же совершенно ясно и четко я понимал, что мой собеседник, человек трезвый и бывалый, свято верит каждому их слову и его никак не переубедить. Есть расписка, есть сознание, есть виновный, есть кара виновного, о чем же можно еще говорить?

— Но я посомневался,— сказал вдруг бригадир,— я вот почему посомневался. Ни в какой Новосибирск брат не ездил, это мы тогда с ним нарочно такой фокус выкинули. Он от жены хотел уйти к бухгалтерше со свинцового завода; познакомились они на курорте, вот мы и ездили к ней в Чимкент, а тут слушок распустили, что это он едет в Новосибирск на месячные курсы складских работников, телеграмму даже такую отбили, а сами в это время у ней в Чимкенте сидели, вот почему я им не поверил.

Вскоре я почувствовал, что меня клонит ко сну, я встал, хотел идти, но покачнулся и, верно, упал бы, если бы меня под спину не подхватил хозяин. Он меня обнял за плечи и, что-то говоря, повел в избу. Это я еще помню. Помню и то, как я вырвался от него, увидел лестницу, прислоненную к стене, и вдруг полез на сеновал. Отлично помню полумрак, запах сена и яблок и небольшой стожок посередине. Но вот как я добрался до этого стожка, как лег и как заснул — не помню совершенно.

Проснулся я уже ночью. Было совсем темно и еще сильнее пахло яблоками и сеном. Через открытую дверь сеновала мне было видно лавочку, а на ней трех человек. Они сидели и о чем-то разговаривали. И вдруг мне показалось, что я ясно различаю голос Корнилова.

— И во время допроса она предала всех своих сподвижников, и в том числе великого философа Лонгина,— сказал Корнилов.

— Ну и что ж с этим философом сделали? — спросил второй голос, хрипловатый и старческий.

— Казнили.

— Вот стерва,— выругался старик и закашлялся,— и все ведь... все ведь эти бабы такого рода,— продолжал он, отдышавшись.— Поэтому я и не женился второй раз. Так, значит, его казнили, а ее что?

— А ее Аврелиан заставил пройти в золотых цепях во время триумфа. Потом, правда, он ей пожаловал роскошную виллу в предместье, и она так на всю жизнь и осталась в Риме. Жила хорошо, в почете, растила внуков.

— Вот, наверно, хулиганье было без отца при больших деньгах,— злорадно сказал тот же старческий голос.— Есть за что чтить сучку! Войну проиграла, столицу свою разрушила, от друзей отеклась, а сама, как какая-то позорница, пошла в цепях, и за это ей почет.

— А царицам всегда почет,— ответил кто-то третий, и я узнал голос бригадира.— Это простого человека чуть что под ноготь, а царям всегда полная привилегия. Вот Вильгельм до сих пор живет в Голландии.

— Зато Николашку-то разбахали,— сказал старик.

— Да ведь это мы. Мы бы и эту Зиновью разбахали, не пощадили бы,— сказал бригадир.— А какой она, скажите, нации была — еврейка?

— Нет, вероятно, арабка,— ответил Корнилов.

— И, поди, еще красавица! — усмехнулся старик.— Они все такие, красавицы: Клеопатра, Соломея, которая скакала, плясала, наша Катенька.

— Да, говорят, была изумительно красива,— ответил Корнилов.— И очень образованна. Говорила на четырех языках. Муж ее брал с собой в походы, и она участвовала в походах вместе с мужчинами.

— Ну, вы этого мне не говорите. Где уж им, таким, воевать по-настоящему,— презрительно усмехнулся старик, и я почувствовал, что он махнул рукой.— Это все хворс, а не война. Пока она на коне — она и хороша, а как стащишь за вихры, так она и папу и маму продаст. Вот Маруська такой герой была, что не подходит, а как до расправы дошло, так тоже начала задом вилить, но, однако же, мы не Аврелианы, мы ее тут же израсходовали.

— Так ту Маруську, кажется, в сражении убили,— несмело сказал бригадир.

— Это не нашу,— категорически ответил старик.— Я знаю, что ты думаешь: их несколько было, самую главную-то я лично израсходовал.

— То есть как вы лично? — спросил Корнилов.— То есть собственно-ручно?

Ответа я не услышал — очевидно, старик кивнул головой. Я осторожно заглянул вниз.

На скамеечке сидели, курили, разговаривали; рядом с Корниловым расселся тот самый старик, которого звали Родионов.

— Так как же это дело случилось, расскажите, Семен Лукич,— попросил Корнилов,— если это не составляет секрета, конечно.

Родионов затянулся и далеко отбросил от себя папиросу. Бригадир сейчас же пошел, затер ее сапогом и вернулся.

— Секрета тут, положим, никакого нету,— сказал Родионов важно,— но только я про все это вспоминать не люблю.— Он подумал и вздохнул.— Да, не люблю. Да и делов-то не было — просто вызывает меня комиссар и говорит: на совете решили Маруську израсходовать, транспорт нет и народ отрывать нельзя, а кончать с ней надо. Иди и выполняй. Ну, пошел и выполнил. Только и дела!

— Да, дела! — покачал головой бригадир.— Эх-эх! — Он вздохнул.

— Да, дела,— с вызовом подтвердил Родионов.— В то время мы этих расстрелов за большое дело тоже не считали, потому что война. Тут раз ошибешься — и голова долой. И весь разговор, потому что разбираться было некогда, да и некому... Мы не юристы-специалисты. Тут не в этом дело, а вот в чем. Все равно она мне и после смерти свой бабий хворс выказала. Я ее сам своими глазами мертвой видел, еще оттащить подсобил, а недели через две после того, как мы уже верст за триста были от этого места, призывает меня к себе комиссар, улыбается, подает бумагу: «Прочитай-ка, тебе». Посмотрел я на подпись, так у меня ноги и дрогнули: «Твоя Маруська». «Плохо вы меня расстреляли, пишет, все равно живехонькая. И еще не одну сотню вас, голодранцев, в штаб генерала Духонина отправлю. А тебя, босяканта, за то, что ты меня сам расстреливать на поле водил, я, говорит, живьем на тысячу и один кусок разрежу». Вот ведь какая гадюка!

— Да,— сказал Корнилов неопределенно,— бывает.

— Да нет, что же это такое! — чуть не со слезами вскопчил бригадир.— Раз вы же ее сами мертвую видели, то как же, значит, как вы ее ни стреляли, а она... Так что это — чудо, что ли?

— Вот рассуждай, что и как,— строго ответил Родионов.— Тогда таким чудесам конца-краю не было. Сам же сказал, что Марусек целый десяток ходил.

— История,— сказал бригадир подавленно.— Вот так история.

Тут мне что-то попало в нос, я громко чихнул и спрыгнул на землю.

— О, вот и наш ученый,— радостно воскликнул бригадир, увидев меня, и пошел ко мне навстречу.— Ну, как спали-то? Я смолоду любил на сеновале ночевать.

Тут я увидел: на траве лежат две пустые бутылки, краюха хлеба и стоит глубокая тарелка с огурцами. Ночь выпала теплая, сырая, без звезд и луны. Все небо было обложено пухлыми войлочными тучами. Вот-вот, наверно, должен был хлынуть теплый крупный летний дождик. Когда я спрыгнул на землю, Корнилов тоже встал с места и пошел ко мне.

— А я вас искал,— сказал он мне тихо.— Это очень здорово, что вы приехали.

Мы пожали друг другу руки.



— Мыши-то, мыши-то не тревожили? — весело крикнул бригадир. — Там мышей тьма! Что они там жрут — не пойму, и кошку уж туда заперали, и ловушки ставили, нет! Все равно не переводятся, проклятые.

Я что-то ответил. Родионов сидел молча. А я и сам не знал — верить мне ему или нет. Бог его знает, что он за человек и много ли правды в том, что он рассказал хотя бы про эту записку. Такие повести с убийствами, расстрелами, красавицами часто можно услышать от неудачников. В течение ряда лет и даже десятилетий таскает такой тип в голове что-нибудь эдакое, лезет с ним к любому встречному-поперечному, рассказывает и пересказывает — над ним смеются, ему не верят, но после всех доделок, переделок и отсеивов у него в конце концов складывается что-то действительно похожее на правду. Вот, вероятно, что-то подобное я сейчас и услышал.

Вдобавок ко всему старик Родионов оказался и партизаном. Я теперь постоянно имел с ними дело. С тех самых пор, как по инициативе директора отдел советской истории через газету обратился ко всем участникам гражданской войны с просьбой поделиться воспоминаниями, его кабинет был постоянно полон. Всех воспоминателей, которых мне довелось опрашивать, можно было разделить на несколько четких категорий: одни приходили шумно и задористо: «Ну, здравствуйте! А кто у вас тут занимается героями?» На них были красноармейские фуражки, кубанки с малиновым верхом, зеленые поддевки, а на груди бант и какая-то покорябанная медяшка. Курили они при нас только махорку и только из кисета. Они притаскивали номера газет двадцатилетней давности (желтая шершавая бумага; проведешь вгладь — занозишь руку, слепая печать, маленький формат); какие-то приказы, набранные крупными вертлявыми буквами (так в провинции печаталась афиша). Рассказывали они много и охотно, но слушать их было трудно. Это были какие-то скачки с препятствиями по замкнутому кругу. Они все время кипели и все путали. Сначала я старался еще извлечь из этого хаоса хоть что-то, несколько достоверных имен, дат, характеристик, а потом махнул на все рукой и просто-напросто стал их посылать к стенографистке. Тут они уже договаривались до полной хрипоты, а мы отправляли их записи в архив и писали: «Фонд хранения такой-то, единица хранения такая-то».

С посетителями другого рода разговаривать было значительно легче, у них как будто все было в порядке — речь, одежда, воспоминания; им можно было задавать вопросы любой сложности, и они отвечали спокойно, толково и деловито. Но нас-то они интересовали меньше всего, мы их почти никогда не отсылали к стенографистке. Это были не герои, а земляки героев. Никогда они ни в чем по-настоящему не участвовали и ничего как следует не видели. А если что и видели, то давным-давно перемешали с прочитанным и услышанным от других.

Третья категория была самая трудная, но и самая для нас ценная. Эти люди не приходили сами, их нам разыскивали и приводили. Приведут к тебе такого старика, посадят его в огромное кожаное кресло, поставят перед ним стакан чаю с сухариком, и вот сидит он, тихонечко позванивает ложечкой, улыбается и говорит. Называет фамилии и места, известные тебе с детства по кинс, портретам и учебникам. Все идет скучно, медленно, спокойно, вполне академично; не спеша говорит он, не спеша строчит стенографистка. ты сам что-то записываешь в блокнот, заходят и уходят сотрудники, звонит телефон. Но вот в ответ на какой-то вопрос он нагибается («Постойте-ка») и вытаскивает из маленького ученического портфельчика что-то хрупкое, завернутое в бумагу и все время норовящее свернуться в трубочку. Он придавливает это «что-то» двумя большими ногтями к столу, и ты видишь снимок тех лет, очень

плохой снимок — желтый, слепой, в разноцветных пятнах. Много вооруженных людей в шинелях и кожанках с бантами. Все они сгрудились где-то у забора, на крошечном пространстве. Каждый лезет в объектив. Кто сел повыше, кто встал повиднее, кто выгнулся пофасонистее. И вдруг через мутноватую светло-желтую дымку эмульсии среди папах, шлемов и фуражек выплывает знакомое и странно молодое лицо тех лет: брови сдвинуты, лоб нахмурен, одна рука на шашке, другая уперлась в бок, нога слегка отставлена вперед. Переводишь глаза на своего собеседника: «Неужели же?» А он улыбается. «Что, можно еще узнать?» Да, узнать-то можно — это ты, конечно! И вот ты сидишь передо мной в неуклюжем музейном кресле, тычешь толстым ногтем в снимок и стараешься что-то рассказать и объяснить. Но трудно тебе рассказать мне сейчас про того молодого и беспощадного, что, прищурясь, смотрит на нас обоих? Еще несколько вопросов, еще два-три ответа — и посетитель уходит — высокий сухой человек, бухгалтер или вагонновожатый с маленьким ученическим портфельчиком под мышкой. А у меня прибавляется еще несколько проверенных дат, еще один или два маршрута на карте и странное ощущение на сердце. Я кого-то очень-очень жалею, но кого же? Его, себя? Вообще людской род, подверженный старости, утомлению и болезням?

Были люди и четвертой категории. С одним из таких — старым казахом — мне пришлось проговорить несколько часов...

Странная слава была у этого человека — громкая и глуховатая в одно и то же время. И даже, вернее, не глуховатая, а приглушенная. В ту пору, о которой я веду рассказ, он ведал областью, тесно соприкасающейся с нашим музеем. Поэтому мы и встретились. Подвиг, который он совершил двадцать лет тому назад, вернее, который он заставил совершить своих людей, был прост и так же прост и легендарен, как переход Суворова через Чертов мост. Только идти приходилось не через горные ледники, а через раскаленные пустыни и степи. Как-то для большого наступления надо было доставить оружие за много сотен верст. Тогда вызвали этого человека и сказали ему: вот винтовки, вот пулеметы, вот патроны — умри, но доставь! И он собрал своих людей и двинул их через степь. Шли два месяца. Оружие везли на верблюдах, сами шли около. Сколько погибло провожающих — неизвестно. Но оружие все-таки доставили в срок. Повторяю, подвиг этот (а он, кажется, далеко-далеко превосходит человеческие возможности) был совершен благодаря воле и упорству именно этого человека. Очень странного человека, по правде сказать. До этого он — казах — учился в русской семинарии в Казани, кончил ее и мог стать батюшкой, но не стал, а вдруг почему-то пешком пошел вокруг света. Не так давно мне показали один интересный экспонат — его записную книжку тех лет. На красном сафьяновом переплете золотом вытиснен его псевдоним и надпись: «Кругосветное путешествие пешком», а все страницы заляпаны печатями — простыми, сургучными, радужными наклейками, гербовыми марками, ярлычками гостиниц, подписями губернаторов и консулов. Был он и в Африке, и в Индии, и в Китае, и в Европе. Где проходил бродячим фотографом, где заклинал змей, где просто копал землю. Память у него была отличная, все свои профессии он помнил и про все мне рассказывал. Рассказывал про степь, какая жара стояла тогда (земля была сухой и звонкой, как глиняный горшок, и гудела телеграфным столбом, а белая тонкая трава, когда к ней подносили спичку, вспыхивала и догорала до самой земли).

Я смотрел на него и думал: что же делает этот неумный человек в том тишайшем учреждении по охране заповедников, в которое его засунули? Мазары глиняные штукатурит? Утверждает отчеты лесничих? Увольняет и принимает на работу пасечников из бежавших кулаков и

сектантов? Подписывает лицензии на отстрел джейранов? Какие пасеки его интересуют, какие джейраны ему важны? А к концу разговора я понял: все интересует, все важно — и пасеки и джейраны. Он кончил рассказывать о верблюжьем переходе, точно ответил на все вопросы, кое о чем обещал навести еще справки, потом кивком головы отпустил стенографистку, вынул из кармана толстую записную книжку в кожаном переплете («Участнику... съезда») и сказал совершенно иным тоном:

— Теперь вот о чем — о сайгаках...

И стал нас ругать. Очень плохо сайгаки отражены у нас в музее, нет ни одного стенда, посвященного им. Это не годится. Ведь сайгак — реликт ледникового периода. Он современник мамонта. По существу эту породу лет десять назад можно было считать уже вымершей, но тут вовремя спохватились. Организовали заповедник. И за пятнадцать лет его существования... Да, вот некоторые цифры для экспозиции. И снимок надо! Главное, надо, чтобы был хороший, четкий снимок — вполстены, а то и больше; и надпись: «Стада сайгаков в заповеднике» — «Барсакельмес».

Другим человеком этой же категории был мой директор, но о нем я уже писал. Ему было у нас и душно, и скучно, и нудно. Но он работал. Работал как черт — рьяно, сжав кулаки, закусив губу, шалея от бешенства и нелепости своего положения. Работал неуклюже, тяжело, по-вольи, вытаскивал наперекор всему и всем наше тихое, политпросветское учреждение из того болота, куда его затащили предшественники — знающие и любящие свое дело специалисты, археологи, искусствоведы, ученые-доктора.

С такими партизанами мне приходилось встречаться. Этот же старик был какой-то совершенно новой разновидности, таких партизан я никогда не видел. А впрочем, какое мне дело? Пусть мелет сколько ему угодно. Я ж его стенографировать не собираюсь.

— Слушайте, — сказал я, — тут вы о царице Зиновии говорили, это к чему?

— Да это все о монете, — объяснил Корнилов, — пришел ответ из Эрмитажа, надпись-то на ней самая простая. Никакого там Санабара, конечно, нет, просто это одна из монет Аврелиана.

— Из незначащихся в каталогах, — быстро и горячо сказал Родионов.

— Да, не значится, я смотрел, — подтвердил Корнилов. — Ее даже в каталоге монет Британского музея нет. Так что очень может быть — это уникум.

— И никогда римские монеты не заходили так далеко на Восток, — снова так же горячо сказал Родионов.

— Да-да, — подтвердил Корнилов. — После этой находки Алма-Ата становится самым восточным ареалом распространения римских монет в Средней Азии. Я уже заказал снимок, чтоб послать его в Эрмитаж.

— Значит, все-таки находка Семена Лукича имеет научное значение? — спросил я.

— Безусловно, — сказал Корнилов. — Конечно, ни о каком римском городе говорить не приходится, но холмы копать надо. Надпись читается просто. Это динарий императора Аврелиана. Может быть, даже вообще есть смысл произвести небольшую разведывательную раскопку. Директор говорит, что деньги на это как будто есть.

— Деньги-то есть, — сказал я, — да ведь знаете, какая это волокита: надо просить разрешения, выправлять открытый лист, а это очень долгое дело.

— Мы это скоро сделаем, — сказал Родионов решительно. — Я за пару часов этот лист вам доставлю. У меня начальник по этим делам — друг

хороший, мы с ним вместе служили, он для меня, если попрошу, все сделает. Я про него сейчас рассказывал — это он мне Маруську приказывал расходовать.

На другой день Корнилов повел меня на место своих будущих работ. Везде были яблони, яблони, яблони, и, взглянув на них, я сразу понял, что много мы здесь не накопеем. То есть, конечно, совершенно не исключено, что средневековый город Алма-Ата находился именно здесь. Ведь эти холмы как раз то, что было нужно древнему обитателю Семиречья. Они высоки, отлоги, расположены над самой речкой, сверху донизу покрыты деревьями и чудесной травой. С этих высот и врага издали заметить, и осаду отразить очень удобно. Все это так. Но, во-первых, на априорных суждениях в археологии далеко не уедешь: кто знает, какой логике подчинялись древние усунь; во-вторых, в исторической литературе о месте древней Алма-Аты встречается только одно совершенно точное упоминание. Оно находится в труде академика Бартольда «История Семиречья». В 1508 году при Алма-Ате (около Верного), пишет он, Мансур сразился с братьями и разбил их. Вот и все. Значит, в XVI веке действительно был такой большой город Алма-Ата, околом которого могли происходить решающие сражения и гибнуть армии. Но от него не осталось ни развалин, ни воспоминаний, ни легенд. Где он находился — неизвестно. Ведь и Бартольд написал тоже очень уклончиво — «около Верного». А это значит — ищи свищи, лазь по прилавкам, копайся в долинах. Есть, конечно, и другие, куда более обильные сведения. Но достоверно только одно, ибо в других речь идет об Алмалыке, а не Алма-Ате. Правда, советский тюрколог Бернштам думает, что это одно и то же. Алма-Ата в XIV веке носит порой название Алмалык, пишет он. Последнее зафиксировано еще у Джувейни — персидского ученого XIII века. Так называется это поселение в дневниках Тимура. Но точное название города было Алма-Ата.

Так ли это? О, если Алма-Ата и Алмалык — одно и то же, то об алматинском средневековье можно писать исторические романы. Вот слушайте хотя бы это: «Дженкши жил преимущественно в Алмалыке, францисканец Николай был хорошо принят при его дворе. Вельможи Карасмон и Юханан (очевидно, нестерианцы) пожертвовали в пользу назначенного папой епископа большое имение около Алмалыка, где была построена прекрасная церковь. Вскоре после этого сюда прибыли епископ Ричард из Бургундии, монах Франциск и Раймунд Руфа из Александрии, священник Пасхалис из Испании, братья-миряне Петр из Прованса и Лаврентий из Александрии. Им удалось вылечить хана, за что получили разрешение крестить его семилетнего сына, названного Иоанном» (Бартольд).

Епископы, братья-миряне, монахи-францисканцы, патер Пасхалис, нестерианцы, монгольский царевич Иоанн, Испания, Прованс, Бургундия, Александрия, латинский собор у подножья Ала-Тау, сутаны черные и лиловые, тонзуры, копы и распятия, латы и луки, верблюды и арабские кони — какими ярчайшими красками переливаются эти строчки Бартольда! И как обидно, как страшно обидно, что Алмалык — это столица орды Джагатая и расположен он где-то очень далеко отсюда, на южном берегу Или, и что про древнюю Алма-Ату ничего больше не известно<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Есть и третье предположение, высказанное совсем недавно: «Речь идет о двух городах, названия которых происходят от изобилия яблок... Один из них располагался на правой стороне реки Или... другой находился на левой стороне реки Или на месте современной Алма-Аты... Монголы оба города называли одинаково «Алмалык»...» (Г. Мартынов, «Двухэтажный город». «Простор», № 7, 1962).

Но самое-то главное вот что: ну, положим, действительно мы установили, что древний город Алма-Ата был тут. Так кто же нам позволит губить сад? Ведь здесь и копать-то негде, везде яблоки — апорт, лимонка, боровинка. Спустишься ниже — вишня, урюк, абрикосы.

— Пойдемте лучше посмотрим склоны, — сказал я, обдумав все. — На них-то ничего не растет. Кстати, и меня проводите до шоссе.

Но Корнилов стоял на поляне над каким-то холмиком и рассматривал план (синяя лента на нем была Алма-Атинкой, бурая — дорогой, а кучевые облака — кустами и яблонями).

— «Копать здесь», — прочел он громко и пнул холмик ногой. — Родионов говорит, что здесь лет пять тому назад копали глину и выкопали бронзовый котел. Он недели две валялся на траве, пока его кто-то не забрал.

— Здорово, — сказал я. — У Родионова вечно клады. А сам-то он где?

Корнилов махнул рукой по направлению дороги.

— В своем кооперативе. Ушел чуть свет. Он ведь там счетовод.

— Ах, — сказал я. — Ну, и был бы он счетоводом. А то вот директору голову дурит, меня от работы отрывает. Он кладоискатель, понимаете: он — искатель кладов. От таких никогда толку не бывает. Ничего мы тут не найдем.

— Ладно, — решил вдруг Корнилов. — Попробую все-таки! Попытка не пытка! Потапов обещал дать сегодня рабочих. «Пусть ради науки поломают спину». Надо зайти за ними в правление. Пойдемте!

— Нет, — сказал я решительно, — орудуйте уж один, мне надо в город. Я и так приехал без разрешения. Будет мне от директора, он таких штучек терпеть не может...

## *Глава вторая*

Весь следующий день я проработал в архиве музея — просматривал инвентарные книги поступлений за прошлые года; мне хотелось выявить все случайные находки, поступившие из района колхоза «Горный гигант», но учет велся из рук вон плохо и ничего установить я не смог. Записи в книге были такие: «Бронзовый котел на козких ножках — около дачи есаула Селивестрова», «Бронзовый предмет неизвестного назначения серповидной формы (ритуальный нож?) на 25 версте, под столбом». Где сейчас этот столб, откуда считались эти версты? Где находилась дача есаула Селивестрова? Ничего не выяснишь и не поймешь по записям. Я просидел дотемна, но так ничего путного и не сделал, хотя выписок у меня накопилось изрядно. Пошел к себе и лег спать, а в три часа меня разбудили и предложили пройти в соседнюю комнату.

— Зачем? — спросил я.

— Будете понятым, — ответили мне.

Я пошел, и первое, что увидел, войдя в комнату, была наша бывшая машинистка. Она уволилась в прошлом году, и с тех пор я ее не видел. Звали мы ее «мадам Смерть», такая она была сухая, прямая и желтая. Сейчас она сидела на стуле, высоко подняв голову, и смотрела в какую-то точку на обоях. Увидела меня и чуть повела головой — это значит, поздоровалась. Меня усадили рядом с ней и повторили, что я понятой. Я сел и начал смотреть.

Арестовали нашего завхоза. Это был казах средних лет — скуластый, крепкий, лысый, кривоногий (кавалерист). Директор считал его пройдой, ловкачом, подозревал, что он крадет у Клары экспонаты и пьет наш спирт — наверно, так оно и было. Но арестовывало его НКВД. Когда мы

вошли, обыск уж кончился. Орудовали двое — штатский и военный. Штатский сидел и писал, военный рылся в сундуке и вытаскивал какие-то тряпки и коробки. Арестованный сидел в углу, и лица я его не видел, только слышал, как иногда поскрипывал его стул. Один раз он еще спросил:

— Слушайте, в чем же дело?

И штатский ответил:

— Да вы сами, наверно, знаете.

Тот, кто меня привел, тоже военный, куда-то ушел и возвратился со второй женщиной. Было темно, и я не сразу узнал Зою Михайловну. Увидев меня, массовичка дернулась назад и хотела что-то сказать, но штатский приказал: «Садитесь». Она села, и тут стул под завхозом прямо-таки взвизгнул по-собачьи.

— Зоя Михайловна, — крикнул он, — но вы же знаете, я вам ведь все...

Штатский поднял голову и спокойно сказал:

— А ну замолчать!

И опять застрочил. Кончил писать, вынул портсигар, закурил, откинулся было на спинку кресла, но сейчас же встряхнулся и спросил военного:

— Ну, что там у тебя?

Тот сгреб с пола тряпки, обеими руками зачихал их кое-как в сундук и встал. Штатский кивнул ему на стену, военный подошел и стал снимать фотографии. Штатский докурил папиросу и взялся за стопку книг. На столе лежал роман «Страшный Тегеран», фотосправочник и попавшие неизвестно откуда и как к завхозу «Вопросы ленинизма» — пухлый, растрепанный том в красном переплете. Фотосправочник штатский пустил веером, а зато в «Вопросы» он так и впился. Книга была старая, читанная-перечитанная, с массой подчеркиваний, восклицательных и вопросительных знаков на полях, с какими-то отметками. Очевидно, кто-то, готовясь к зачету или к докладу, много дней штудировал это издание. Мне показалось, что у штатского даже пальцы дрогнули и глаза загорелись охотничьим огнем, когда он увидел, что такое ему попало.

— А ну-ка, — сказал он мне тихо и взволнованно, протягивая ручку, — пишите на обложке: «Изьято при обыске». Дата и ваша подпись.

Я взял ручку и понял, что кто бы эту книжку ни читал, что бы он здесь ни отчеркивал или ни подчеркивал, а отвечать за все и на все придется только завхозу. «А что вы хотели сказать, — спросят его, — подчеркивая вот именно это место? А почему именно здесь у вас восклицательный знак? Объясните следствию». И попробуй-ка объясни! Понял это и завхоз. Когда я взял ручку, он заскрипел и закричал:

— Да это не моя, не моя. Это я на чердаке нашел. Здесь раньше студенты жили. Вот и Зоя Михайловна...

— Отстаньте, — сухо отрезала Зоя Михайловна и отвернулась.

Я расписался и положил книгу на стол. Вдруг все сразу задвигались и обернулись к двери: вошел седой румяный военный в плаще. Я сразу же понял, что вот это и есть главный обыскивающий. Понял это и завхоз. Он вскочил и закричал:

— Товарищ начальник, за что же?

Но ему надавили на плечи, и он послушно сел. А начальник не спеша прошелся по комнате, подошел к столу, заглянул через плечо штатского в акт, о чем-то спросил его вполголоса, кивнул головой и подошел ко мне.

— Ну как, товарищ ученый, — спросил он весело. — Что у вас в музее новенького? — Он засмеялся. — Ну, как же ничего? А змей-то? Весь город теперь к ним валит, — повернулся он к Зое Михайловне. — Моя дочка вчера целый день покою не давала: пойдем в музей да пой-

дем в музей, ты скажешь, тебе его покажут. Да никакого там змея нет, говорю. Плачет, не верит.

— Я тоже музейный работник,— обворожительно улыбнулась ему Зоя Михайловна.

— А-а! — быстро взглянул на нее начальник, вдруг повернулся к обыскивающим и спросил: — Ну, как у вас, все?

Штатский ему что-то ответил и что-то спросил.

— Обязательно! — сказал начальник.— И вот товарища с собой пригласите, он в этом доме живет, он вам покажет.

Военный положил последнюю фотографию на край стола и сказал мне:

— Пошли на чердак.

Мы вышли из комнаты, прошли по длинному коридору и остановились около стены. Отсюда поднималась узкая деревянная лестница на чердак. В коридоре было темно и сыро, по крыше звенел дождик. Военный засветил фонарик — и стали видны узкие грязные ступеньки и поломанные зеленые перила.

— Я пойду первый,— сказал он мне и бойко вбежал на первые ступеньки.

Но вдруг зашипел и куда-то ухнул. Что-то треснуло.

— Ччерт...— выругался он.

Я вбежал на ступеньки, подал ему руку и помог подняться: оказалось, что он провалился по колено между ступеньками. Когда я подымал его, он посмотрел на коленку, потряс рукой — гвоздем порвало мякоть — и вдруг к превеликому моему удивлению пустил меня матом.

— Что же вы, мать вашу...— спросил он свирепо,— не предупреждаете?

Я пожал плечами.

— А откуда я знал?

— Откуда ты знал,— передразнил он и облизал большой палец.— Все притворяетесь!

Я молча сунул ему фонарик. Он взял его, захромал вверх, я за ним. Влезли на чердак.

— Ну,— сказал он, останавливаясь на пороге,— где тут что? Показывайте.

В лиловом пятне света навстречу нам выплывали какие-то рогатые тени, показался, как будто вынырнул из глубины океана, огромный черный сундук с металлическими затворами и зелеными пятнами плесени. Навстречу качнулось разбитое трюмо, и я увидел в его туманном свете наши отражения и тьму сзади.

— Ну, где тут его вещи? — спросил он меня.

Я ответил, что не знаю.

— Тут живете и не знаете? — выругался он и взмахнул рукой.

Необычайное спокойствие овладело мной, я как-то свысока даже поглядел на него и сказал:

— Осторожно, дурак, опять провалишься.

Он дико посмотрел на меня, открыл было рот, но вдруг, хромя, резко отошел от меня и подошел к комоду. С великим трудом вырвал верхний ящик, набитый тряпками, и чуть не рухнул вместе с ним.

— Его это? — спросил он, морщась.

Я ответил, что нет.

Он слегка покопался в тряпках, рванул было второй ящик, но тот не поддался. Тогда он вдруг попросил:

— Слушайте, а ну-ка тот чемодан?

И так как в его голосе уже не было угрозы, а кроме того, он хромял и кровсточил, я подошел к рогатой пирамиде из сломанных стульев, вы-

рвал из-под низу чемодан и подал ему. Все, конечно, рухнуло, и поднялась такая пыль, что мы оба сразу же задохнулись.

— Мать вашу,— сказал я.

— Да не тащите сюда, откройте там,— крикнул он мне, кашляя.

Я рванул замок чемодана, он не поддавался, я рванул еще, потом стал коленкой (пропадай мои брюки!), начал выворачивать запор, но тут он мне сказал:

— Да ладно, бросьте к черту.

Потом постоял еще немного, поиграл фонариком по углам и уныло сказал:

— Идем.

Когда мы вернулись, штатский на полу увязывал книги. Кипу фотографий без рамок и с десятков писем он вложил в какую-то плоскую жестянку с пальмой и верблюдом. Зоя Михайловна стояла около начальника и о чем-то ему тихо рассказывала.

— Ну что? — спросил седой.

Мой спутник только махнул рукой. Штатский подал мне протокол и ручку и сказал:

— Вот, пожалуйста, здесь.

Я расписался. Штатский засунул протокол обыска в планшет, кивнул красноармейцам на связки книг и приказал завхозу:

— Пошли.

Я посмотрел на завхоза. Лицо у него было зеленовато-бледное, худое, глаза провалились. И зелень и худоба эта были заметны даже при дрянной электрической лампочке. Это был не особенно хороший человек — хвастун, дешевка, пижон, и я, как и все, не любил его. Но, пришло мне в голову, вот он сейчас шагнет за порог, и этим шагом окончится его жизнь. Мне было не жаль его, и если бы он заплакал, я бы, вероятно, почувствовал только отвращение. Но эта покорная обреченность, молчанье это — они были попросту ужасны. И вдруг завхоз поднял голову, посмотрел на меня и слегка улыбнулся одной щекой.

— Ну что ж, ничего не поделаешь,— решил он печально и твердо.— Не ругайте меня, хранитель с директором.

— Ну, пошли, пошли,— негромко и благодушно сказал седой и хлопал его по спине.

Они ушли. Остались четверо — я, Зоя Михайловна, седой военный и мадам Смерть.

— Так,— сказал военный и прошелся по комнате.— Так! Я вас очень попрошу — вас и вас,— он строго ткнул в меня пальцем,— никому ничего не рассказывать, понятно? А лучше вообще не говорите, что были здесь, понятно?

— Понятно,— ответил я.

— Ну, конечно, конечно же,— воскликнула Зоя Михайловна и, перепутав нас, одарила меня нежно восторженным, чутким взглядом.

Мадам Смерть молчала, за все время обыска она не произнесла ни слова.

— Все, что относится к нашей работе, является государственной тайной,— продолжал военный.— И разглашение ее карается очень строго. Понятно?

— Так точно,— ответил я.— Все понятно.

Он недоверчиво покосился на меня, открыл портфель, вынул палочку сургуча, веревку, печать, спички и сказал:

— Идемте.

Я пришел к себе и бухнулся в кресло. Подумал, что надо бы хоть согреть чаю. но вдруг как-то разом перестал чувствовать, думать, существовать. Разбудил меня только телефонный звонок.



Я посмотрел — солнце уже затопило всю комнату, по вишням в саду веял теплый ветерок, было полное утро.

Я встал и снял трубку. Говорил директор.

— Приходи сейчас же, — сказал он мне.

— Знаю, — ответил я.

— Откуда? — удивился он.

— Присутствовал.

Последовала небольшая пауза, а потом он приказал:

— Ну, иди.

Когда я вошел в кабинет, директор сидел за письменным столом и о чем-то тихо разговаривал с Кларой. Увидев меня, они оба замолчали.

— Так как же это вышло? — спросил директор хмуро.

Я стал рассказывать, и, когда дошел до того, что поругался с военным, директор усмехнулся и покачал головой.

— Все паргизанишь? — сказал он горько. — Ну-ну!

А Клара пропела:

— И надо вам было связываться.

— Ну, а в чем дело, не знаешь? — спросил директор. — За что его?

Я пожал плечами и улыбнулся.

Он поймал мой взгляд и снова нахмурился.

— Как это для тебя просто, — сказал он, вздыхая, — ну до чего же все просто!

— Да не знает он, ничего не знает, — быстро сказала Клара и взглянула на меня: «Молчи».

Директор тоже посмотрел на меня и нахмурился, потом отвернулся, снял трубку и начал куда-то звонить.

— Пошли, — шепнула мне Клара.

Мы вышли. На лестнице она вдруг остановилась и взглянула на меня. Это был открытый, ясный, вопросительный взгляд.

— Ну что, Клара? — спросил я. — Что, дорогая?

— Ничего, — ответила она громко и вдруг тихо спросила: — Мало вам было, мало? Для чего вы их дразните, зачем это вам?

— Я их... — начал я, да так и не окончил.

Ведь и в самом деле получается, что дразню. Я-то стараюсь пройти тихо-тихо, незаметно-незаметно, никого не толкнуть, не задеть, не рассердить, а выходит, что задеваю всех — и Аюпову, и массовичку, и того военного. И все они на меня кричат, хотят что-то мне доказать, что-то показать. А что мне доказывать, что мне показывать, меня просто нужно оставить в покое! «Товарищи, — говорю я всем своим тихим существованием, — я археолог, я забрался на колокольню и сижу на ней, перебираю палеолит, бронзу, керамику, определяю черепки, пью изредка водку с дедом и совсем не суюсь к вам вниз. Пятьдесят пять метров от земли — это же не шутка! Что же вы от меня хотите?» А мне отвечают: «История — твое личное дело, дурак ты этакий. Шкура, кровь и плоть твоя, ты сам! И никуда тебе не уйти от этого — ни в башню, ни в разбашню, ни в бронзовый век, ни в железный, ни в шкуру археолога». — «Я хранитель древностей, — говорю я, — древностей — и всё! Доходит до вас это слово — древ-но-стей?» — «Доходит, — отвечают они. — Мы давно уже поняли, зачем ты сюда забрался! Только бросай эту муру, ни к чему она! Слезай-ка со своей колокольни! Чем вздумал отгородиться — пятьдесят пять метров, подумаешь!»

Конечно, я сейчас здорово упрощаю весь ход моих мыслей: делаю все ясным и четким. Тогда ничего этого, понятно, не было и не могло быть. Но вот то, что я крошечная лужица в песке на берегу океана, это я чувствовал почти физически. Вот огромная, тяжело дышащая, медленно катящаяся живая безграничность, а вот я — ямка, следок на

мокром песке, глоток холодной соленой воды. Но сколько ты его ни вычерпывай, а не вычерпашь, ведь океан тоже здесь.

Я стоял против Клары и не знал, что сказать, молча смотрел на нее. А она вдруг улыбнулась, дотронулась до моей руки и очень певуче, медленно произнесла:

— А что, если я влюблюсь в вас, хранитель? — хохотнула и убежала.

«Да, — подумал я, — не надо было мне приезжать сюда с раскопок, ведь чувствую, чувствую, что этот день так не кончится, что-то еще обязательно произойдет».

Так оно и вышло.

Прибежала вдруг старуха казашка.

— Иди, иди, пожалуйста, вниз, — сказала она, — иди канцеляр.

— Да в чем дело, — спросил я, — что такое?

— Иди, пожалуйста, — повторила сторожиха.

Я пошел. Дверь канцелярии была заперта, пришлось стучаться. Отперла массовичка. В комнате были люди: Клара, кассир — молодой, крепкий казах в своей постоянной кожаной куртке и крагах, контролерша, крошечная старуха татарка, еще кто-то из obsługi музея. Все они столпились вокруг большого епископского кресла. На кресле сидела девочка. Была она худенькая, русенькая, с тощими, острыми косичками, в старом, линялом, стираном-перестиранном розовом платье. Она сидела и теребила платочек. Все молчали. В комнате царил тяжелая, отвратительная тишина. Я взглянул на Клару.

— В чем дело? — спросил я.

Никто не ответил.

— Вот эта девочка, — вдруг громко сказала массовичка, — выдает себя за племянницу товарища Сталина.

Этого я, конечно, никак не ожидал.

— То есть как? — спросил я ошалело и посмотрел на девочку.

Она не шелохнулась, только крепче стиснула узелок.

— Прошла без билета, — объяснила мне массовичка. — И когда контролерша ее остановила, она сказала, что она племянница товарища Сталина и он разрешил ей ходить во все музеи и театры бесплатно.

«Только этой идиотской петрушки мне и не хватало», — подумал я и наклонился над племянницей Сталина.

— А у вас есть какой-нибудь документ, девочка?

Она не ответила, только платочек в ее кулачке хрустнул — в нем была какая-то твердая бумажка (судя по размеру, чуть мелочишки — десятка, на неделю, может быть, хватит).

— А когда ее спросили документы, — вдруг прогремела массовичка, — она ответила: «Мы наши документы не всем показываем».

Я даже рассмеялся, настолько это было хорошо. Молодец девчонка! Нашла правильные позывные.

В кабинете наступило молчание. Я стоял и думал, что же мне делать, потом снова наклонился над девочкой.

— Вы сами-то не алма-атинка? — спросил я.

Она молчала.

— Учитесь где-нибудь? Приехали к кому-нибудь? Ищете работу? — осторожно спрашивал я.

— Да что вы... — начала Зоя Михайловна, но Клара вдруг повернулась и так взглянула на нее, что она не договорила.

— У одних служила, — ответила девочка, — но они мне ничего не давали, не одевали, я ушла.

И только она сказала это, как лицо у нее стало сразу мокрым от слез.

— Ну, ладно, ладно,— сказал я сурово. Подошел к столу, налил ей полный стакан воды и сунул под нос.— Пей!

Она покачала головой.

— Пей, пей! — повторил я и вдруг увидел, как затряслись ее тоненькие, перевязанные красными тряпочками косички, как заходили ее острые лопаточки.— Пей и иди,— сказал я.— Вон сколько людей собрала!

И тут она вдруг заревела во все горло. Кто-то громко вздохнул. Я встал и отворил ей дверь.

— Иди!

— То есть как? — громко заговорила массовичка.— Как?.. Послали уже за милиционером. Товарищи, что же вы молчите? Что же такое делается? Девочка, а ну-ка, ну-ка...

— Да замолчите вы,— сказал я тихо,— Клара Фазулаевна...

Но их обеих уже не было. В окно я видел, как Клара вывела девочку на крыльцо, раскрыла свою сумочку из серебряных колец, сунула девочке что-то в руку. Девочка взяла, взглянула на нее каким-то быстрым, зверушечьим взглядом и вдруг скатилась со ступенек. Я отошел от окна.

— Хорошо,— сказала массовичка.— Вот сейчас придет милиционер, что мы ему будем говорить? Вот что вы ему скажете?

— Ничего, как придет, так и уйдет.

— Так все просто? — спросила она меня иронически.

— А как же,— ответил я.— Простее простого.

— А она?

— Ну, что же она? Большой ребенок, и все.

— И все?

— И все, Зоя Михайловна,— ответил я очень твердо.— Все, до грошика! И ничего больше тут нет.

— Пслушайте же вы,— с каким-то даже горечным вдохновением взмолилась Зоя Михайловна.— Да она, может, из семьи врага, у нее, может быть, вся семья сидит. Вы слышали? Она служила там где-то в домработницах. Почему? Она не похожа на домработницу. Судя по ее внешности, она... А как она себя там держала?

Пришел милиционер — пожилой, усталый, простой человек в запотевающей гимнастерке. Пришел и ушел, ничего не поняв и ничего не записав. Просто неодобрительно покачал головой и ушел.

— Второй холостой вызов сегодня,— сказал он,— прямо с ума люди, от жары, что ли?

*(Окончание следует)*



---

---

## ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ЛИРИКИ

ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

### *Слава*

Не торопи до срока славу,  
Она внезапно — ей видней —  
Сама является по праву  
К тем, кто не думает о ней.

Лишь на работу трать усилия.  
А слава все тебе воздаст.  
Но знай: она для умных — крылья,  
Для глупых — гибельный балласт.

Не путай с подлинным признаньем  
Шумок скандала, гул молвы.  
Недолго держится сиянье  
Вокруг тщеславной головы.

Признанью золота не надо,  
Ему враждебен фимиам.  
Оно не в праздничных нарядах,  
А в будничных приходит к нам.

Но славы истинной рожденье  
Преображает все вокруг.  
Ее живое отраженье  
В глазах друзей, в пожатых рук.

\*.\*.\*

Мой шар земной! Ты, не старея,  
Свершаешь вековечный бег.  
Я связан с почвою твоею,  
Тобой рожденный человек.

Земля! В твоих глубинах щедрых  
Лежит необозримый клад.  
Мои владенья — нивы, недра,  
И свет, и воздух. Я богат.

Но жизнь одна. Я существую  
И каждым часом дорожу.

Не отзывай меня, прошу я.  
Продли мой срок. Я отслужу.

Ты под бессонным небосклоном  
Плывешь среди чужих светил.  
Хочу, чтоб шар земной, зеленый  
Все мирозданье восхитил.

Ум человеческий всесилен.  
Мне все свершенья по плечу.  
Тебя я сделаю красивой,  
К мирам далеким приобшчу.

Земля! Обороняя счастье,  
Я шел наперез огню.  
Я от угрозы, от напасти  
Тебя надежно заслоню.

Я отстою тебя, живую.  
Ты вся открыта предо мной.  
Не отзывай меня, прошу я.  
Земля, продли мой путь земной!

\* \* \*

Люблю, прибрав свой стол рабочий,  
Сидеть в раздумье у окна.  
Палитру дня в преддверье ночи  
Сменили серые тона.

И в сумеречный час покоя,  
Когда нелегкий день истек,  
Тому, что сделано тобою,  
Приятно подвести итог.

Теней не замечая серых,  
Сидишь, не засветив огня,  
А в мыслях видишь новый берег,  
Причалы завтрашнего дня.

Ты видишь мир в рассветных вспышках,  
Зеленый, алый, голубой.  
А ночь бесцветная неслышно  
Смыкает крылья над тобой.

## ПИМЕН ПАНЧЕНКО

★

### *В родных местах*

В родных местах, где век нелегкий прожит,  
Мы любим все —  
Свой дом, свой бор, свой луг.  
Я видел земли  
Радостей и мук,  
Судьба далеких стран  
Меня тревожит.

И сенегалок вижу я во сне —  
Стройнее женщин не сыскать на свете.  
...Вновь моря Минского  
Вдыхаю пресный ветер  
И придорожной кланяюсь сосне.

Воскресный пляж.  
Фруктовые лотки.  
Здесь виноград, и яблоки, и сливы.  
И вспыхивают пенные приливы,  
Докатываясь до моей строки.

Порою катер прогудит в тиши,  
Неслышно дуют местные пассаты.  
А на лотке в тельняшках полосатых  
Арбузы, как матросы-крепыши.

Пути морские вспоминать не грех.  
Но что с прибором?  
Вижу спозаранок:  
Он выплеснул на берег негритьянок —  
Их станы гибкие,  
Их белозубый смех.

— Откуда, африканки? Из Дакара?  
— Мы с Кубы все. Мы в Минске третий год!  
...Чудак, ты прозевал событий ход  
И нынче  
Смехом девичьим  
Покаран.

А все ж судьба прощает чудаков  
И одаряет их не только снами.  
Кружатся чайки белые над нами,  
Как трепетные стайки облаков.

## МАКСИМ ТАНК

★

### *Письмо, найденное плугом*

В этот утренний час  
Мимо хат и плетеных оград  
Ведро, полное солнца,  
Несешь ты от нашей криницы.  
Если б этой воды  
Мне сейчас, как бывало, напиться,  
Может, зажили б раны,  
Что так под бинтами горят.

Безымянный пригорок.  
Один я с последней гранатой.  
Не успел я по-братски  
Обнять на прощанье солдат,

Тех, которые, руки раскинув,  
Недвижно лежат.  
Рожь дымится.  
И воров опять подползает,  
Проклятый.

Я письмо дописал,  
Погибая, надеясь, любя.  
Я не в ящик почтовый кладу его —  
В гильзу патрона.  
Вдруг найдет его плуг,  
В борозде ненароком затронув?  
Прочитаешь. Прощай.  
Вызываю огонь на себя.

\* \* \*

Шторм начинался резким натиском,  
Вздувал плащи, платки и блузы,  
Ломая мачты в Чазанатико,  
Врывался в ресторан «Медуза».

Врывался, порывался искренне  
С гостями выпить дружбы чару,  
Адриатическими брызгами  
Стучался в окна: «Чао! Чао!»

Он с нами пел про травы росные,  
Про сосны, как на море Минском.  
И песня вместе с альбатросами  
Плыла над парусом латинским.

*Перевел с белорусского Яков Хелемский.*



---

---

ВЕРА ПАНОВА

★

## ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ВСТРЕЧ

### У старого художника

**В** городе небоскребов и лифтов мы входим в невысокий дом, этажей в пять-шесть, и поднимаемся на самый верх по лестнице — лифта нет.

Лестница деревянная, края ступенек стертые: много по ним прошло ног, дом старый. И она такая узкая, что всходим мы гуськом, длинной вереницей, и идущему навстречу приходится жаться к стенке, а нам — к перилам, чтобы разминуться.

В крохотной передней нас встречает жена художника. У нее темные морщины, сгорбленная спина, узловатые руки висят тяжело и покорно. Удручающая смесь высокомерия и приниженности: пытается принять гордую осанку и цедит слова, и вдруг эти руки суетливо вскидываются — помочь нам снять пальто. Мы в смущении отклоняем помощь и в комнату, тесную от картин, вступаем смущенные. Я, впрочем, всегда цепенею, когда случается так вот входить в мастерскую, где чей-то созидательный дух уединился для труда. Всегда кажется, что пригласили нас только из вежливости и что каблуки наши слишком стучат.

Нам сказали, что человек, к которому мы идем, — ищущий, горящий, полвека отдавший искусству, и вот он к нам выходит, театрально отодвинув портьеру и приостановившись на миг. Худой, с впалыми щеками, легкий. Серебряные и тонкие, как паутинки, волосы разлетаются от его быстрых движений. Брови черные, мефистофельские, и под ними блеск черных глаз.

— Я рад. Прошу садиться.

Нет, это не только вежливость. Он взволнован. Приготовил картины, завалил этюдами большой стол. Вдыхает короткими нервными вздохами.

Картины — куда ни глянь. По стенам, на спинке дивана, буфете, подоконниках. Жилая комната, в ней едят, тут на диване спят, спали и плед оставили. И тут же мастерская — завешенный мольберт против окна, и табуретка измазана красками, и краской перепачканные тряпки. Когда он отодвинул портьеру, мелькнула кухонная полка с кастрюлями. Должно быть, квартира состоит из этой комнаты, кухни и передней.

— Пойдем от истоков, не правда ли? От того, что я писал еще будучи птенцом, мои первые шаги, это было тому назад... Эмили!

Жена подает ему маленькое полотно в золоченой почерневшей раме. Мы рассматриваем озеро с лодочкой и скалистый берег.

— Вы, может быть, скажете: банально? Если можно природе предъ-  
явить обвинение в банальности, то можно и мне... Это самое начало, моя



заря еле брезжила, мы с Эмили были тогда в Швейцарии... Другие опыты того же периода. Лунная ночь. Наш дом. Мы снимали,— Эмили!

Жена подает полотна.

— ...снимали маленький дом. Вот он в фас, вот он в профиль.

Черные глаза вопросительно бегают по нашим лицам, он хочет видеть наше впечатление, угадать наши вкусы.

— При внешней непритязательности этого наброска — воздушность красок, не правда ли, эта вздувшаяся занавеска... Рука моя крепла с каждым днем. На этом склоне, усеянном луговыми цветами, я устанавливал мой мольберт и писал. Я принимался за работу рано, трава была осыпана росой. А по этой дорожке мы поднимались к вершине. Впрочем, скоро я бросил пейзаж.

На пороге маленького дома стоит женщина. Корсаж со шнуровкой, чепец, молодое лицо. То же лицо без чепца, длинные волосы распущены.

— Этюд называется «Волосы Эмили». У нее были необыкновенные волосы...

Действительно необыкновенные. Изобильные, бурные — каскад живой жаркой силы. Достойные увековечения и любви.

Художник читает наши мысли.

— Да,— откликается он,— было время...

Было время. Его называют чистыми радостными словами: заря, исток. Было время, они жили в этом домике. Он писал, пристроившись на зеленом склоне. Она подходила по траве, осыпанной росой, взглянуть, что у него получается. То надевала чепец, то распускала волосы, чтоб радовать его и вдохновлять. И полна была веры и надежды.

— Мы вернулись в Штаты, я оставил пейзаж и перешел на ню. Лет пятнадцать я продержался почти исключительно на ню,— Эмили!.. Купальщица. Серия купальщиц. После ночи любви. Меняющая рубашку. Нимфа. Нимфа. Еще одна нимфа. Вот очень строгая нагота — Эллада. А эта серия называется «Если бы ты никогда не носила одежды». Обнаженная за шитьем. Обнаженная чистит картофель. Обнаженная под зонтиком на прогулке. И так далее, сюжеты ясны. Это копии, оригиналы проданы, они продавались еще теплыми, из-под кисти, вы не представляете, какой успех, каждый магазин стремился выставить в витрине хоть один рисунок из серии «Если бы ты никогда...». Мы с Эмили снова предприняли тогда путешествие, мы были в Испании, вот испанский мотив — обнаженная с веером...

Обнаженные, строгие и не строгие, писаны давно. Нынче наготу пишут иначе. Пятнадцать, он сказал. За пятнадцать лет женщина, несчетно раз здесь написанная, менялась. Еще не старилась, но становилась шире, грузней, словно ширококостней. Не раз это тело было испытано материнством. Эта грудь вскармливала детей. Грубели черты лица. Уже не распознать той нежной, с тонкими розовыми руками, но это она, на всех рисунках одна бесменно, и нимфа и Сафо, и картошку чистит она, и купается она, любовь, нянька, друг-товарищ и даровая натурщица.

Она подает мужу свои изображения и взглядывает на них равнодушно — привыкла? Или жестокое произошло счуждение, разверзлась пропасть между той всё могущей и этой согбенной? Или просто усталость, наморилась с кастрюлями за день, прилечь бы, а тут посетители?.. Среди банок и скрюченных тюбиков на табуретке пузырьки с лекарствами. Старость — это ведь в том числе и сердце, и сосуды, и поясница, и то, и се...

А художник все показывает, все говорит. И как бы его ни терзали волнения самолюбия,— слова сходят с губ без запинки: заучены. Так же заучены движения жены. Известно, что сейчас понадобится, что заранее

нужно вытащить из кипы. Выработано практикой. Мир все больше жаждет духовной пищи. В поисках питательного продукта люди шуруют всюду, топают по выставочным залам и тесным чердакам.

Где дети? Они были. Почему нет их следа в ворохах картин, картинок, набросков? Может быть, воспоминание о них слишком болезненно? Убиты на войне? Умерли в детстве? Выросли, вырвались прочь, борются с жизнью вдаль от родителей? А то — бывает — преуспели, зажирили и голова у них не болит, как говорится? Дети, если вы преуспели, будьте людьми, у отца на старости лет рабочего места нету, разве может художник писать у этого окна, на которое соседний домина навалился своими пятьюдесятью этажами?

— ...После Испании была мертвая натура, я в нее ушел, как в монастырь, на много лет, — мой бог, сколько сил, нервов... И что же?! Вы не скажете, что это хуже Сезанна!

Он поднимает натюрморт, яблоки.

— Это темпераментней Сезанна! Такого мнения профессор Мальтра, посетивший меня, — в каком году, Эмили, он нас посетил?

— В сорок девятом.

Натюрмортов еще больше, чем обнаженных Эмили. Когда он в них ушел, пылала ли в ней прежняя вера? Или, став мускулистой и ширококостной, она усомнилась?

«Не слишком ли много, — возможно, подумала она, — яблок и груш, и гитарных дек, и посуды, целой и в черепках, и нет чего-то, чего-то главного...»

Экспонаты в рамках исчезли. Рамы были золоченые, потом деревянные. Эмили под зонтиком была в широкой бархатной раме. И не стало рам. Не напасть.

— Эту композицию профессор Мальтра считает шедевром. Эффект достигнут тенью кувшина, разрезающей стол по диагонали...

«Вдруг таланта нет и не было никогда? Что же, призраку отдана жизнь? Мы умрем, и это никому не понадобится?»

А он что думает в свои бессонные ночи? Старость художника — это не сосуды, не поясница, бог с ними, — это беспощадное стояние лицом к лицу с несвершенными замыслами; с сознанием, как непохоже то, что сделал, на то, что хотел сделать. Замахивался на одно, получилось почему-то другое. И уже нельзя начать сначала, некогда доделывать, переделывать. Что написал, то написал, что есть, то и останется... Сколько стариковских кряхтений, обид, бессилия, покаянных слез вобрал в себя ветхий плед, брошенный на диване?

Но об этом не говорят никому. Даже Эмили.

— ...дань импрессионизму. Мы в интерьере, он подразумевается, и смотрим в окно. Верхние огни — отражение люстр, висящих в подразумеваемом интерьере. Огни внизу — огни улицы, видимые нами сквозь оконное стекло.

«Есть, есть талант, — думает она. — Ужасно подозревать, будто его нет и не было. Вы, пришедшие соприкоснуться, могли бы написать эти огни? Вы их даже увидеть не сумели бы, если б он вам их не показал! Ты мой гениальный, не зря мы с тобой голубым утром пошли за руку к вершине по той дорожке!»

Она надменно поднимает на нас увядшие глаза.

А художник положил руку на грудь рисунков торжественно, как бы приносит присягу:

— Вы видели! А теперь я говорю вам: то, что вы видели, — давно прошедшее, несовершенное! Я демонстрировал это все, чтобы показать, как несовершенно я писал, прежде чем... Эмили!

И он возносит перед нами пестрые четырехугольники один за другим. Потоки цветных пятен. Толчея цветных пятен. Толчея за толчеей! Желтое, серое, красное, синее, блики, блики, блики, текучие тела, взболтанные яйца, взорванные шары. Почва уходит из-под ног. Хочется ухватиться за ручки кресла. Минутку! Хоть отделить одну толчею от другой толчеи! Что-нибудь закрепить в памяти! Хоть на мгновение, если больше нельзя!.. Художник гневается. Накаляется яростью. Каждый взмах его руки полон ярости, взлетают волосы, сейчас он обрушит весь этот хаос на наши головы.

— Скажете — хуже Кандинского?! Повесьте рядом с Кандинским — и увидите!

«Но успех был только раз, — так, возможно, думает она, — один раз, очень давно, у нас был успех и были деньги, и принесла их моя нагота, только соблазн моей наготы и больше ничего».

Художник обращает на нее сверкающий взгляд и говорит, еще повышая голос:

— А кто был признан при жизни? Кто? Кто?! Несколько избранных счастья, которых можно сосчитать на пальцах!

Потом он говорит:

— Все:

И плечи у него опускаются.

И весь он — выдохшийся, изнеможенный.

Все.

Мы поблагодарили, тихо оделись в передней и сошли по узкой стертой лестнице.

Вышли на улицу. Американское небо мчало над нами свои сумасшедшие зарева. Взрывалось, кувыркалось, взбалтывалось, текло желтое, красное, синее. Как Петрушка из-за ширмы, выскакивал — а я вот он! — и исчезал электрический крест, реклама молитвенного дома.

Мы шли и молчали...

### США, Нью-Орлеан, улица Бурбонов

Еще светит солнце, но на улице Бурбонов уже стоят зазывалы, хватают прохожих за рукава, гнут в узкие двери. По обе стороны улицы эти двери, за каждой дверью бар, в каждом баре джаз. Улица Бурбонов — улица джаза.

Некоторые бары держат танцовщиц. Фотография у входа изображает девушек в испанских костюмах и балетных юбочках. Зазывала вскрикивает резким голосом:

— Эй! Дружище! К нам! Новые герлс, ты ими еще не любовался, дружище!

Во второй половине ноября в Нью-Орлеане тепло, люди одеты в пиджаки и легкие платья. Южный вечер сваливается сразу, без подготовки, без сумерек на старинные дома с решетчатыми балконами, похожими на черные кружева.

Мы входим в бар, четверо иностранцев, русских. Нас проводят в глубину длинной комнаты, узкой, как кегельбан. Во всю ее длину — барьер, слева, за барьером, столики для посетителей, справа эстрада в глубокой нише. Ниша обита красным и ярко освещена. В баре полутемно, еле горят тусклые лампочки в виде звездочек, в табачном дыму оплывают на столиках свечи. В полумраке посетители потягивают коктейли, и проворными тенями движутся официантки, и только раковина эстрады пылает, как красный вертеп.

Герлс нет в этом баре. В красном вертепе трудятся четыре музыканта. Их инструменты — кларнет, саксофон, рояль и какой-то сложный агрегат, я не знаю названия, он обладает способностью воспроизводить самые различные шумы — от адского визга до грохота, напоминающего о космических катастрофах. Четыре музыканта трудятся в поте лица, красный пот течет по их немолодым озабоченным лицам, они не актеры, не лицедеи, они просто музыканты и не стараются прикрыть улыбками свою озабоченность. Конкуренция тяжкая, — сколько таких крохотных музыкальных коллективов шумит сейчас на улице Бурбонов, а сколько музыкантов не у дел, без работы, согласных играть где угодно и что угодно... Четыре музыканта в пылающей нише стараются изо всех сил. Время от времени кто-нибудь из них выходит вперед, к микрофону, и исполняет песенку. Именно исполняет, а не поет: так старательно он это проделявает и так мало у него голоса. Голоса, собственно, вовсе нет, но остальные трое дружно аплодируют, восклицая:

— Да, вот это пение! О, молодчина, как он спел! — и этим поощряют слушателей к аплодисментам.

«Я хотел бы умчаться на край света», — поет один. «Я чувствую грусть, когда не вижу тебя», — поет другой. «Нет границ моей любви», — усердно поет третий, приблизив рот к микрофону. После каждой такой песенки, почти неотличимо похожей на предыдущую, — новый взрыв грохота, скрежета, лягга, разрывы бомб и вой обезумевших пил.

Dream goot — называется бар. Dream goot? Мы переводим этак и так. Комната сновидений. Комната грез... Выходит пятый — негр в красном пиджаке. Он танцует. Не понятно, как он устроен, его конечности гнутся во все стороны, подошвы не касаются пола, для него не существует закон притяжения, это скорее фокус, чем танец. Ему хлопают — он не кланяется, не улыбается, продолжает танцевать. Музыканты ускоряют темп, и негр ускоряет темп. Музыка все бешеней, и негр пляшет бешеней, ему это словно бы ничего не стоит, он врос в музыку, он одно целое с этой бешеной музыкой, — он, и его колени, и его подошвы, — и кто скажет, что когда-нибудь он умрет во время пляски от разрыва сердца, — и лицо у него скорбное и надменное.

И пришла та, которая в высочайшей степени сумела это все оценить, пережить сполна, восхититься каждой клеточкой своего естества. Это была рослая девушка с белокурой завитой головой, в черном платье и дешевых украшениях. Она стала у столика и горделиво оглянулась кругом, как бы спрашивая: да вы замечаете или нет, какая я нарядная? Что-то сельское, неискушенное было в ней, несмотря на завивку и все эти цапки. Они сели рядом с нами, за соседний столик, — она и ее спутник, скромный молодой человек в темном галстуке и гладкой прическе. Им подали коктейль, но девушка не стала пить. Положив на стол большие рабочие руки в копеечных браслетах и кольцах, она обратила к эстраде свое доброе простое лицо. Так и написана была на ней вся ее жизнь: как она работала целый день этими вот большими, сильными руками, так же старательно и озабоченно трудилась, как эти музыканты, — а вечером надела выходное платье, купленное на заработанные деньги, разукрасилась, как могла, и пошла веселиться. И такая доверчивая готовность ко всякой радости, какую ей предложат, была на ее лице.

— О, Томми, смотри! Смотри, Томми! — вскрикивала она и хлопала отчаянно, уверенная, что ей предлагают самое отменное...

Молодой человек стеснялся; тихим голосом он говорил ей что-то, пытаясь утишить ее восторги, — она не слушала.

— О, похлопай ему! Смотри, что он делает... Bravo! — закричала она вне себя, подняв руки над головой. Багровое зарево эстрады красило ее

руки и волосы в розовый цвет. Конечно же, для нее это была комната грез, вместилище райских снов! Они знали, что делали, когда называли так свое заведение и вешали эти звездочки.

И понимая, что здесь присутствует самое главное лицо, почитающее их искусство как никто другой,— музыканты пришли в раж и превзошли себя в стараниях и грохоте, и негр превзошел себя: он у нас на глазах стал буквально разламываться на куски.

Он разламывался на куски, а губы у него стали синими, и он танцевал, танцевал, танцевал, и уже у зрителей болело сердце от того, что он танцует так долго и не перестает, а он и музыканты, все они впятером, надрывались, чтобы доставить как можно больше ликования девушке в цацках. И уже другие зрители совсем изнемогли, а она все ликовала и ликовала.

Только когда она устала кричать и хлопать, и ее озаренная голова опустилась на руку, те пятеро прекратили свое безумство. Негр ушел, а тот, что с кларнетом, подошел к микрофону и спел песенку. «Спокойной ночи,— спел он,— помоги тебе бог!» И девушка, усталая, сонно хлопнула в ладоши и улыбнулась, и молодой человек в темном галстуке увел ее из бара.

Мы тоже вышли на неширокую, освещенную цветными рекламами улицу Бурбонов. Из всех ее дверей гремел, визжал, мяукал джаз. Зазывалы в клетчатых ковбойках стояли у дверей. Мы обогнали ту девушку. Она шла, тяжело ступая на каблуках-шпильках. У нее была широкая спина и стриженный крепкий затылок, ее Томми казался мальчиком рядом с ней. Она шла и напевала. «Спокойной ночи,— напевала она бездумно,— спокойной ночи, помоги тебе бог».

### Перемещенное лицо

Прощай, дивчина, карие очи!  
Еду в чужую стороню.

*Песня.*

— Доброе утро! Вы уже завтракали?

— Доброе утро! Я позавтракал, иду за аппаратом, выходите на улицу, будем сниматься!

Это мы с товарищем перебросились словом, разминувшись в коридоре чикагской гостиницы.

Очень старая женщина, катившая мне навстречу тележку с бельем, остановилась.

— Боже ж мий! — сказала она. — Русские!

— Так,— ответила я.— А вы украинка.

— Сердце мое, с Полгавщины! — вздохнула она тихо-горестно.— Советские. Бачу. Бывали на Полтавщине?

— Бывала...

Передо мной проплыли, дыша и светясь на солнце, цветущие вишни. Цветущие вишни прежде всего увидела я. Потом белые хаты, аиста на соломенной крыше и в мокрой траве левяды кринуцу с черной глубокой водой.

— С Полтавщины я. Вот куда занесло меня лихо...

Она облокотилась на столик. Белоснежными стопками лежало белье на полочках столика. А руки у старой женщины были темные, как земля.

— И не приснилось бы никогда, что придется доживать — где? В Чикаго! Вы подумайте, ну що мени оце Чикаго?

— Как же так, бабуся, получилось, почему?..

И стоя со мной в этом длинном, как проспект, коридоре, освещенном лампами дневного света, она рассказала, как это получилось.

Может, я передам ее коротенький рассказ не очень связно. Да и она о связности не заботилась. Просто жалоба пролилась из сердца — обязательно ли жалобе быть связной?

...Была ночь — давно, в сорок третьем году. Не то в конце августа, не то в первых числах сентября, — черная жаркая ночь без звезд, без зарниц. Накануне очень странный был случай в селе: вдруг среди бела дня в туче пыли прикатила машина, остановилась на площади, где был магазин, полиция и управа, и с машины радио заиграло «Катюшу». Услышав родную музыку, из дворов побежали на площадь жинки, и дети, и самые старые старики, спрашивая на бегу друг у друга: «Це вже наши прийшли?» Потому что со дня на день ждали, что немец уйдет, и гадали, как это будет; ложились на землю и прижимались к ней ухом, слушая, как гремит где-то битва; и агрономша Ганна Борисовна пешком ходила в Харьков и принесла за лифчиком советские газеты, там напечатано было, что скоро всему этому край... Когда на площади заиграли «Катюшу», все подумали: вот оно, слава богу, сделалось дело! — с легкостью, без стрельбы, и новый хлеб не успел немец вывезти, — с музыкой возвращается жизнь, так подумали.

Пока бежали к машине, музыка замолкла. Радио прокричало, что немцы выгнаны из Курска и Орла — это уже известно было из агрономшинных газет, — что Муссолини бежал и итальянцы немцам больше не союзники — а вот этого в селе не знали. Прокричав, машина зарычала и унеслась в пыльной туче. Что за машина, почему полицаи ее не задержали, даже не высунули носа из полиции, — не понял никто. Посмотрели вслед и разошлись, веруя в близкое избавление. Тот день как праздник был.

А после него наступила черная ночь. Спало село, и та спала, что рассказала мне это. И сквозь сон слышалось ей — кто-то едет мимо хаты. Едет, едет, никак не проедет. Медленно ворочаются, поскрипывая, колеса, колеса... Села, прислушалась, — окна были ставнями закрыты крепко: так и есть, едут. Набросила юбку, кофту, босиком вышла во двор, подошла к тыну. На улицу после десяти часов запрещалось выходить, она глядела через тын. Сначала ничего не видела, только слышала: катятся колеса, дышат лошади; кашлянул кто-то; дитя заплакало; стрелочка по-пулеметному, мотоцикл проехал, немецкий раздался окрик...

Потом пригляделись очи к черноте, на черном небе различила движущиеся черные горы клади и черные фигуры людей, сидящих на кладях, безмолвно куда-то едущих. Воз за возом, воз за возом... Когда разрывалась их вереница, было видно, как по ту сторону широкой улицы попыхивают папиросные огоньки: там тоже стояли за тынами, курили, смотрели.

— И такая у меня была тоска, мов то судьба моя черная ехала.

Так одни стояли всю ночь, не вправе выйти и спросить ни о чем, а другие ехали всю ночь, не вправе ни вернуться, ни остановиться, ни возвестить о своей беде.

Кто его знает, как секреты известны становятся, — когда проехали возы и стало развидняться, в каждой хате уже знали твердо, что это Сумскую область погнажи немцы, отступая, с собой в Неметчину.

Увидели люди, что ничего им с легкостью не будет. Стали закапывать имущество в землю и обсуждать между собой, где лучше сховаться, в лесу или в кукурузе, она еще стояла необрунная, — чтоб их не угнали.

Но были робкие и смиренные, боявшиеся поступать по своей воле, — крикнули на них, они поседали на возы и поехали плача.

И эта женщина поехала с двенадцатилетней дочкой. Дочка была рожденная поздно, между молодостью и старостью, от короткого печального супружества, единственная, голубочка.

Немного их выехало из села. Большая часть ушла в лес или в кукурузу. А пустое село немцы подожгли.

Соломенные крыши пылали красно, жарко... Ехали робкие и, оглядываясь, видели, как вся их жизнь за ними сгорает огнем.

Многие из них в дороге ожесточились и осмелели и побежали обратно на свои пепелища, пользуясь тем, что у немцев в отступлении началась сумятица и хваленой ихней организованности пришел капут.

А женщина с двенадцатилетней дочкой так и не переборолла свою робость и продолжала ехать.

С воза пересадили ее на грузовик, с грузовика — в железнодорожный вагон. Из страны в страну ехала, попадала и под бомбежки, и в крушения, но из всего вышла невредимой.

В каждой стране были нужны ее терпеливые сильные руки, и она этими руками работала.

В Германии развалины прибирала.

Во Франции развалины прибирала.

Опять ехала на пароходе, долго, по громадным, ужасным волнам. В Америку приехала.

Из страны в страну. Только домой вернуться не смела. В газетах писали здешних: советская власть страшно на нее сердится за отъезд; как вернется — в тот же час в тюрьму вместе с дочкой.

После узналось — брехали газеты. Да узналось поздно: дочка замужем за американцем, двое детей, третий будет, — бросить их?..

— Бросила бы. Бо немає мени тут життя. Чужое оно все, на что б ни подивилась!

— О боже, рождество скоро и Новый год, а снега и не было... Санта-Клаусы по улицам ходят в червонных колпаках... Елки из нейлона зроблены... У нас хлопцы и дивчата колядовать пойдут... Знаете, как колядуют?

Как же: чуть, бывало, начнет смеркаться, уж слышно — хрустит снег под окнами, стучится маленькая озябшая рука, просят голоса:

— Пустить колядовать!

Коляд, коляд, колядница,

Добра з медом паляница,

А без меда не така,—

Дайте, дядько, пятака!

И давали ребятам — кто пирогов, кто кусок колбасы, кто сала. А не пустит хозяйка в дом и гостинцев не вынесет — ей в отместку поют под дверью:

У дядьки-дядька

Дядина гладка,

Не хоче вставать,

Колядки давать!

И с счастливым звоном улепетывают по визжащему серебряному снегу...

Сейчас, возможно, вывелись колядки, не знаю. Как вывелись многие другие обычаи, христианские и языческие. Как старинная одежда вывелась. Много перемен в наших селах, что украинских, что русских. Но пусть в памяти старой женщины живет все до капли, что ей дорого.

— А в богатый сочельник мы варили борщ, и чтоб он не был вдовец — готовили ще жареную рыбу, або кисель добрый из вишен, из слив... А на рождество бывала у нас свинина с капустой, и холодец свиной, и коржики слобные, и пироги с маком... А когда я молодая была, всегда мы, дивчата, под Новый год гадали: бросали за ворота сапог або валенок, клали гребешок под подушку, бумагу жгли на сковородци и на тень дивились... А тут хйба рождество, хйба тут Новый год!

Это не очень справедливо: зимние праздники празднуются в США многошумно, капитально. Мы прилетели в середине ноября, до рождества оставалось почти полтора месяца, но подготовка к нему уже началась. Через месяц она достигла высшей своей точки. Мне понравились иллюминированные деревья на чикагских улицах: обнаженные осенние деревья были унизаны тысячами маленьких, неярких электрических огней и в бледных нимбах шеренгами убегали в даль улиц. Но не деревьям принадлежит главная роль в этих делах.

Главная роль принадлежит магазинам. Рождество в США — триумф галантерейной, игрушечной и всякой иной дребедени, стандарта, хлама, грошотого блеска, живущего один день. Ни в какой другой сезон так не нажиться на хламе, потому что традиция велит американцам делать на рождество подарки. Все дарят всем. Члены семьи преподносят друг другу подарки. Знакомые преподносят друг другу подарки. Реклама в журнале: муж и жена с радостными лицами сидят за столом, в руке у мужа пачка долларов, доллары улетають прочь длинной стаей, муж и жена улыбаются, показывая зубы: «Мы не жалеем денег на рождественские подарки!»

Уважающие себя магазины держат специально рождественских зазывал. Куда ни пойдешь, всюду вдоль небоскребов похаживають санта-клаусы, по-нашему деды-морозы. Среди занятых, торопливо идущих людей, одетых в скромные цвета — в серое, черное, коричневое, людей, гладко бритых и однообразно подстриженных, эти деды-морозы, или санта-клаусы, бросаются в глаза своей неприкаянностью, своими петушино-красными колпаками и белыми вспененными бородами из пакуи. В руке у деда колокольчик. Позванивая им, дед напоминает прохожим об их обязанностях. Позаботился ли ты, прохожий, о рождественских подарках для родственников? Для друзей? Для добрых соседей?.. Кадры санта-клаусов черпаются из безработных и студентов, желающих подкормиться на этом пире коммерции. Работа не тяжелая, но противная.

Сотни тысяч мужей и жен толкуются в гудящих универмагах. В небесах и на земле сияют слова:

«Спешите купить подарки! Скорей! Позаботьтесь о вашем завтрашнем дне: все дешевое будет раскуплено!»

«Дорогая леди, если вы купите у нас дюжину чулок, тринадцатую пару вы получите бесплатно».

«Покупайте подарки в магазинах Лернера!»

Что ж, кто-то так привык, и душа его лежит к этой жизни.

Но что здесь полюбить старой женщине, пришедшей из великих просторов нашей страны? «Що мени оце Чикаго?» Сквозь грохот чужого мира несет она в себе другую любовь.

— ...А белье у нас прали в речке. Пойду на Псел, и гуси мои за мной: га-га-га!.. Выполоскаю и на траве расстелю, в хату внесешь — оно сонечком пахнет и воздухом...

О, старое дерево, пересаженное в Чикаго с Полтавщины, все твои корни остались там...



— ...Что вы думаете, не могу научиться по-американски. Внуки как начали говорить, то сразу на американском языке. Дочка выучилась. А я — ну что: ну, гуд найт; гуд монин; тэнк ю вери мач — то значит мерси, спасибо вам, дякую; плиз — будь ласка, пожалуйста. И все почти. Они балакают, а я как глухонемая...

— Ни, бросила бы! Так вот моя доля: зять, американец, пьет дуже. Совершенно как мой покойный чоловік, никакой разницы. Як бы я на них не зарабатывала гроши, они б пропали, дочка с внуками. Мне семьдесят четвертый год; уже до смерти работать и на себя и на них.

— Еще спасибо, тэнк ю вам вери мач, что лифт. Нажмешь кнопку и едешь. Вот только коридоры эти ногами вышагивать...

По коридору шла молодая негритянка в передничке и наколке. С любопытством осматривая нас быстрыми круглыми глазами, сказала старой женщине:

— Гуд монин, мэм.

— Монин, монин,— устало отозвалась украинка.— Ну, дай вам бог всего, заговорила я...— сказала она мне и покатила дальше свою тележку.



---

---

ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

★

## НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

### *Третья память*

У всех такой бывает час:  
тоска липучая пристанет  
и, догола разоблачась,  
вся жизнь бессмысленной предстанет.

Подступит мертвый хлад к нутру,  
И, чтоб себя переупрямить,  
как милосердную сестру,  
зовем, почти бессильно, память.

Но в нас порой такая ночь,  
такая в нас порой разруха,  
когда не могут нам помочь  
ни память сердца, ни рассудка.

Уходит блеск живой из глаз.  
Движенья, речь — все помертвело.  
Но третья память есть у нас,  
и эта память — память тела.

Пусть ноги вспомнят наяву  
и теплоту дорожной пыли,  
и холодящую траву,  
когда они босыми были.

Пусть вспомнит бережно щека,  
как утешала после драки  
доброшершавость языка  
вспонимающей собаки.

Пусть виновато вспомнит лоб,  
как на него, благословляя,  
лег поцелуй, чуть слышно лег,  
всю нежность матери являя.

Пусть вспомнит сладостно спина,  
какая дремлющая нега  
в душе земли затаена,  
когда лежишь — глазами в небо.

Пусть вспомнят пальцы — хвою, рожь,  
и дождь, почти неощутимый,  
и дрожь воробышка, и дрожь  
по нервной холке лошадиной.

Пусть вспомнят губы о губах.  
В них лед и огонь. В них мрак со светом.  
В них целый мир. Он весь пропах  
и апельсинами и снегом...

Припомнишь — и проснется стыд.  
Поймешь — порочить жизнь преступно.  
И память тела возвратит  
и память сердца, и рассудка.

И жизни скажешь ты: — Прости.  
Я обвинял тебя вслепую.  
Как тяжкий грех, мне отпусти  
мою озлобленность тупую.

И если надобно платить  
за то, что этот мир прекрасен,  
ценой жестокой — так и быть,  
на эту плату я согласен.

Но и превратности в судьбе,  
но и удары и утраты,  
жизнь, за прекрасное в тебе —  
такая ли большая плата?!

\* \* \*

Что имелось в эту ночь  
Кое-что существенное...  
Был поселок Нельмин Нос,  
и была общественность.  
Был наш стол уже хорош.  
Был большой галдеж.  
Был у нас консервный нож  
и консервы — тож.  
Был и спирт как таковой —  
наш товарищ путевой  
с выразительным эпитетом  
и кратким:

«Питьевой».

Но попался мне сосед  
до того скулежный —  
на себя, на белый свет, —  
просто невозможный.

Он всю ночь крутил мне пуговицу.  
Он вносил мне в душу путаницу.

«Понимаешь, бляха-муха,—  
невезение в крови.  
У меня такая мука,  
хоть коровою реви.

Все нескладно, все неловко.  
В жизни форменный затор.  
Я мотор купил на лодку —  
в реку плюхнулся мотор.

Надо мной смеются дети.  
От меня страдает план.  
Я в Печоре ставлю сети —  
их уносит в океан.

Бляха-муха, чуть не плачу  
от себя, как от стыда.  
Я в снегу капканы прячу —  
попадаю сам туда.

Может, я не вышел рылом?  
Может, просто обормот?  
Но ни карта, и ни рыба,  
и ни баба не идет...»

Ну и странный сосед —  
наказанье божье!  
И немного ему лет —  
тридцать пять, не больше,  
и лицом не урод,  
да и рост могучий...  
Что же он рубаху рвет  
на груди мохнучей?  
Что же может его грызть?  
Что шумит свирепственно:  
«Бляха-муха,  
эта жисть  
неусовершенствована!»

А наутро вышел я  
на берег Печоры,  
где галдела ребятня,  
фыркали моторы.  
Стояли с коромыслами,  
светясь,  
молодки.

За семужкой-кормилицей  
уходили  
лодки.

А в ушанке набочок,  
в залосненной стеганке  
вновь тот самый рыбачок,  
резвенький,  
как стеклышко.



## *Экскаваторщик*

*А. Марчуку.*

Ах, как работал экскаваторщик!  
Зеваки вздрагивали страстно.  
От зубьев, землю искорябавших,  
им было празднично и страшно.

Вселяя трепет, онемение,  
в ковше из грозного металла  
земля с корнями и камнями  
над головами их взлетала.

И экскаваторщик, гаранвший  
отвал у самого обрыва,  
не замечал, что для товарищей  
настало время перерыва.

С тяжелыми от пыли веками,  
он был неистов, как в атаке,  
и что творилось в нем, не ведали  
все эти праздные зеваки.

Кто знал, что с дальней-дальней Ржевщины  
пришла сегодня телеграмма?  
Кто слышал в грохоте скрежещущем,  
как парень шепчет: «Мама... Мама...»?

Случилось горе неминуемое.  
Но только это ли случилось?  
Все то, что раньше порознь мучило,  
сегодня вместе вдруг сложилось.

В нем воскресились все страдания.  
В нем, великане этом крохотном,  
была невысказанность давняя,  
и он высказывался грохотом!

С глазами странными, незрячими  
он, бормоча, летел в кабине  
над ивами, еще прозрачными,  
над льдами бледно-голубыми,  
над голубями, кем-то выпущенными,  
над пестротой крыш бессчетных  
и над собой, с глазами выпученными  
застывшим на Доске почета.

Как будто бы гармошке в клапаны,  
когда околица томила,  
он в рычаги и кнопки вкладывал  
свою тоску, летя над миром!

Летел он... Прядь упрямо выбилась...  
Летел он...

Зубы сжал до боли.  
Ну, а зевакам это виделось  
красивым зрелищем — не боле.

## *На Печоре*

За ухой, до слез перчѐнной,  
сочиненной в котелке,  
спирт, разбавленный Печорой,  
пили мы на катерке.

Катерок плясал по волнам  
без гармошки трепака  
и о льды на самом полном  
обдирал себе бока.

И плясали мысли наши,  
как стаканы на столе,  
то о Даше, то о Маше,  
то о каше на земле.

Я был вроде и не пьяный,  
ничего не упускал,  
как олень под снегом ягель —  
под словами суть искал.

Но в разброе гомонившем  
не добрался я до дна,  
ибо суть и говорившим  
не совсем была ясна.

Люди все куда-то плыли  
по работе, по судьбе.  
Люди пили. Люди были  
неясны самим себе.

Оглядел я, вздрогнув, кубрик.  
Понимает ли рыбак  
тот, что мрачно пьет и курит,  
отчего он мрачен так?

Понимает ли завскладом,  
продовольственный колосс,  
что он спрашивает взглядом  
из-под слипшихся волос?

Понимает ли, сжимая  
локоть мой, товаровед,  
что он выяснить желает?  
Понимает или нет?

Кулаком старпом грохочет.  
Шерсть дымится на груди.  
Ну а что сказать он хочет —  
разбери его поди.

Все кричат — предсельсовета,  
из рыбкопа чей-то зам.  
Каждый требует ответа,  
а на что — не знает сам.

Я из кубрика — на волю,  
но, суденышко креня,  
вопрошающие волны  
навалились на меня.

Вопрошали что-то искры  
из трубы у катерка.  
Вопрошали ивы, избы,  
птицы, звери, облака.

Я прийти в себя пытался,  
и под крики птичьих стай  
я по палубе метался,  
как по льдине горностаи.

А потом увидел ненца...  
Он, как будто на холме,  
восседал надменно, немо,  
словно вечность, на корме.

Тучи шли над ним, нависнув,  
ветер бил в лицо, свистя,  
ну а он молчал недвижно —  
тундры мудрое дитя.

Я застыл, воображая:  
вот кто знает все про нас!  
Но взгляделся: вопрошали  
шелки узенькие глаз!

«Неужели,— как в тумане,  
крикнул я сквозь рев и гик,—  
все себя не понимают  
и тем более — других?!»

Мои щеки повлажнели.  
Вихорь брызг меня шатал.  
«Неужели? Неужели?  
Неужели? — я шептал.—

Может быть, я мыслю грубо?  
Может быть, я слеп и глух?  
Может, все не так уж глупо,  
просто сам я мал и глуп?»



Катерок то погружался,  
то взлетал, седым-седой.  
Грудью к тросам я прижался,  
наклонился над водой.

Ждал ответа в криках чаек,  
но ревела у борта,  
ничего не отвечая,  
голубая глубота.

\* \* \*

Хочу я стать немножко старомодным —  
не то я буду временностью смыт! —  
чтоб стыдно за меня не стало мертвым,  
познавшим жизни старый добрый смысл.

Хочу быть щепетильным, чуть нескладным  
и вежливым — на старый добрый лад,  
но, оставаясь чутким, деликатным,  
иметь на подлость старый добрый взгляд.

Хочу я быть начитанным и тонким  
и жить, не веря в лоск фальшивых фраз,  
а внемля гласу совести — и только! —  
не подведет он, старый добрый глас.

Хочу быть вечным юношей зеленым,  
но помнящим уроки прежних лет,  
и юношам, еще не отрезвленным,  
советовать, как старый добрый дед.

Так я пишу, в раздумья погруженный,  
и, чтобы сообщить все это вам,  
приходит ямб. уже преображенный.  
но тот же самый старый добрый ямб...

### *Любимая, спи...*

Соленые брызги блестят на заборе.  
Калитка уже на запоре.

И море,  
дымясь. и вздымаясь, и дамбы долбя,  
соленое солнце всосало в себя.  
Любимая, спи...

Мою душу не мучай.  
Уже засыпают и горы и степь.  
И пес наш хромучий,  
лохмато-дремучий,  
ложится и лижет соленую цепь.

И море — всем топотом,  
и ветви — всем ропотом,  
и всем своим опытом —  
пес на цепи,  
и я тебе — шепотом,  
потом — полусшепотом,  
потом — уже молча:  
«Любимая, спи...»  
Любимая, спи...  
Позабудь, что мы в ссоре.  
Представь:  
просыпаемся.  
Свежесть во всем.  
Мы в сене.  
Мы сони.  
И пахнет мацони  
откуда-то снизу, из погреба —  
в сон.  
О, как мне заставить  
все это представить  
тебя, недоверу?  
Любимая, спи...  
Во сне улыбайся  
(все слезы — отставить!),  
цветы собирай и гадай, где поставить,  
и в них, задыхаясь, лицо утопи.  
Бормочется?  
Видно, устала ворочаться?  
Ты в сон завернись и окутайся им.  
Во сне можно делать все то, что захочется,  
все то, что бормочется,  
если не спим.  
Не спать — безрассудно  
и даже подсудно —  
ведь все, что подспудно,  
кричит в глубине.  
Глазам твоим трудно.  
В них так многолюдно.  
Под веками легче им будет во сне.  
Любимая, спи...  
Что причина бессонницы?  
Ревущее море?  
Деревьев мольба?  
Дурные предчувствия?  
Чья-то бессовестность?  
А может, не чья-то,  
а просто моя?  
Любимая, спи...  
Ничего не попишешь.  
Но знай, что невинен я в этой вине.  
Прости меня — слышишь!  
Люби меня — слышишь!  
Хотя бы во сне!  
Хотя бы во сне!  
Любимая, спи...  
Мы на шаре земном,



---

---

ВАДИМ ЕМЕЛЬЯНОВ

★

## ЗВЕРУШКА

*Рассказ*

**З**ина смотрела в окно. За окном пышными клубами цвела сирень. Хромой Ефим на школьном дворике строгал доску. Стружки приставали к заплатанному холщовому фартуку, застревали в волосах плотника. Постукивала деревяшка, когда он переступал с ноги на ногу.

Шорох рубанка мешал учительнице. Она закрыла окна. В классе сразу стало душно.

За двориком — река. Тяжело глядя волнующуюся воду, по реке медленно плыл паром. На нем стояла телега, груженная мешками. Возчик Степан крепко держал лошадь за уздечку и разговаривал с паромщицей Лукерьей, которую на селе звали Бочкой. Учительница советовала ребятам не встречаться с этой женщиной, и Зина относилась к Лукерье с непонятым ей самой любопытством.

На другом берегу — лес. В нем живет егерь Петров, похожий на медведя. Зина, вспомнив о нем, поежилась: она боялась Петрова.

Весна, весна! Как воздух чист!  
Как ясен небосклон!  
Своей лазурию живой  
Слепит мне очи он...

Прочитав стихотворение, учительница спросила, нет ли непонятных слов. Непонятных слов не было.

— К следующему уроку, ребята, вы должны знать стихотворение наизусть. Давайте прочитаем его хором. Оно очень красивое.

«Что Степан сказал Лукерье? — подумала Зина, глядя в окно. — Почему она махнула рукой, отвернулась и закурила? Ведь Степаң — человек заслуженный, имеет медаль и в юбилейный день обязательно приходит рассказать о войне. К этому дню учительница украшает класс».

— Зина Зверева не слушает и не повторяет. Открою, ребята, одну тайну: позавчера девочка обещала исправиться, обещала не нарушить слова и не подвести сестру, известную всему району... А теперь она не слушает и не повторяет. Неужели ставить еще одну двойку? — мягко спросила Вера Петровна.

Витя, сидящий за первой партой, хихикнул.

— Я больше не буду, — встав, сказала Зина. — Стихотворение мне очень нравится. — На Витю она не обратила внимания.

Сестра Валя, подумала Зина, действительно известна в районе: ей удалось выполнить обязательство, и с ней, как говорит мать, будут носиться.

— Поверим Зиночке,— сказала учительница.— Сидеть столько лет в одном классе...

Это ясно: кому захочется сидеть третий год?

Весна, весна! Как высоко  
На крыльях ветерка,  
Ласкаясь к солнечным лучам,  
Летают облака,—

повторяли ребята.

А паром уже причалил. Гнедой мерин стронул телегу, вывел ее наизволок к коровнику, где мучилась Милка. Лукерья погрозила Степану кулаком и сказала что-то, после чего возчик долго смотрел на паромщицу, а потом захохотал.

— Зина, повтори, пожалуйста!

— Вот честное слово, я больше не буду! — Девочка приложила к груди поцарапанный кулачок и взглянула на учительницу.

Учительница четким, аккуратным почерком написала на доске домашнее задание и сказала:

— Сядь, Зина. Я не могу обманывать себя, других, директора, твою мать и сестер. Завтра я спрошу тебя. Мы каждый день занимаемся с тобой дополнительно, но ты по-прежнему тянешь класс назад. Неужели не стыдно?.. Такое чудесное, красивое стихотворение. Я помню его с детства. И ты тоже должна выучить его навсегда...

— Вот честное слово...

Витя осуждающе взглянул на нее, поправил аккуратно отутюженный галстук.

— Дурак,— шепнула Зина и показала ему кулак.— Подлиза.

Шумят ручьи, блестят ручьи!  
Взревев, река несет  
На торжествующем хребте  
Разбитый солнцем лед,—

повторяли ребята.

Что Лукерья крикнула Степану? Закрыли окна — и ничего не слышно. Скорее бы звонок.

Вот когда сажали картошку на дальнем поле — было хорошо. Учителя сидели в холодке. Показали, как сажать, и отошли. Будто это сложно — посадить картошку. Нет человека, который бы не умел. Картошку сажать интересно. В земле жуки, личинки, корешки, похожие на нитки. Скоро опять пужно работать — полоть кукурузу; это потруднее.

Костер тогда жгли каждый вечер. Не для чего-нибудь, а просто так: хотелось смотреть на огонь. Петров напрасно прибежал из леса: все правила учтены, Витька не зря читал «Спутник туриста». Однажды Зина разожгла свой костер. Вот тот костер был костер! Правда, пришлось спастись от егеря. Но ему крикнули: «За нами следишь? Не за это тебе зарплату платят. Корми зверей!» И он разозлился, даже лоб покраснел. Так и надо.

Еще надо срочно узнать, что с Милкой. Вчера ей было плохо, фельдшер развел руками. Только позавчера Милка бегала по лугу, а сегодня она мучилась и стонала. Наверное, опоили. Почему все так получается?

Степан выехал на дорогу, подобрал гимнастерку под ремень. Он всегда носит военные рубашки с подворотничком, и каждая пуговка нарядно и празднично блестит. Слушать, как он рассказывает о войне, интересно. Вера Петровна всегда с благодарностью пожимает его руку. «Ну, что вы,— говорит возчик.— Все это пустяки...»

Степан повернул мерина в ивняк. «Поехал на мельницу, больше некуда,— решила Зина.— «Крепость» мою не заметит. Ее еще никто не замечал: знают о ней только два человека во всем мире...»

Паром уже плыл к противоположному берегу. Лукерья стояла на пароме одна — только утром явилась на работу: она иногда ненадолго уходила из села, а когда возвращалась, лицо у нее было худым, замкнутым, злым, несчастным. Такое же, наверное, и сегодня. Вера Петровна, узнав, что паромщица опять появилась у реки, всегда огорчалась и говорила директору, что, «когда столько влияний действует на детей, трудно рассчитывать на успех воспитательной работы, тем более что общественность бездействует».

Господи, когда кончится урок?

«Господи, шепчут старухи в церкви»,— вдруг вспоминает Зина.

В церковь ходят только старухи, дурачки и больные — так объясняли на воспитательном часе. Доклад о вреде религии делал Витя.

— И ничего хорошего в нашей церкви нет. Позолота да стекло. Все это вообще ложь.— Он потерял строчку конспекта, и Вера Петровна подсажала, сложив пальцы колючком; он сразу вспомнил: — Разве это сравнишь с нашими кружками — художественный, фотографический, исторический, авиамодельный, кружок рукоделия, кулинарный, курсы домоводства...

«Ну, домоводство и кулинария,— продолжала размышлять Зина,— не интересно. Это любит только старшая сестра Валентина, которую отвезли в больницу рожать».

А как хорошо сейчас в поле! Кукурузные рядки протянулись на несколько километров. Выполнить норму не просто, но зато как интересно работать! А ночью так хорошо спалось! Сквозь сон слышалась тихая песня Лукерьи, брэнчанье балалайки, голоса девушек на заливном лугу.

Наконец сторож, помогавший Ефиму, вынул часы, положил топор, поднялся на крыльцо и, улыбаясь, взял колокольчик.

Звонок!

— Зина, сядь. Дисциплина! Я ведь не разрешила встать! — сказала Вера Петровна.— Дети, урок окончен, можете идти. И учите как следует.

Зина открыла окно и вскочила на подоконник.

— Зина, люди изобрели для выхода двери! Ты ведь все-таки девочка, как не стыдно! — Учительница, не выдержав, повысила голос.

Над цветами, растущими под окном, висели пчелы, речной ветерок перебирал листья, мычали коровы, доносился острый запах овчарни.

— Вот так сиганула! — сказал Ефим, с силой выдувая стружки из рубанка.

«Интересно, от кого у Вальки ребенок?» — думала между тем Зина.

\* \* \*

Милка лежала на чистой соломе и стонала. На белках ее карих глаз появилась красная паутинка, кожа потемнела от пота, на животе выступили жилы. Они походили на веревки. Казалось, еще минута — и жилы лопнут.

Зина знала о Милке почти все. Корова любила прятаться и, раздвигнув ветки орешника, спокойно следила за переполохом, вызванным ее исчезновением. В речке она не стояла: оглядываясь на пастуха, медленно, незаметно приближалась к перекату и, когда пастух отворачивался, стремительно, радостно замычав, бросалась к другому берегу. Там она, отбиваясь от слепней, неторопливо присоединялась к стаду и, покачивая налитым выменем, не спеша, как ни в чем не бывало возвращалась домой...

Теперь к ней никого не подпускали, и егеря Петров, посоветовавшись с фельдшером, проговорил мудреное название болезни.

— Ничего не поделаешь,— сказал он и закурил вонючую сигарету.

Что он мог знать о Милке!

Наверное, никогда не видел, как она, выставив черные рога, пугала чужих, а потом, улыбаясь, глядела на убегающих людей. И колокольчик, повешенный на ее шее, был особенный: Валя сделала его из золотистой консервной банки. Банка, по которой ударяла гайка, звякала нежно, красиво, и, когда утреннюю тишину разрывал этот звук, сразу хотелось вставать с постели...

Кроме того, Милка, если ее держали на привязи, любила закручиваться. Веревка крепко цеплялась за куст боярышника, корова начинала валить его, запутывалась все сильнее, а потом, довольно мыча, ждала, когда освободят, и, почувствовав волю, радостно бежала по лугу. Когда поняли, что Милка не любит веревок, ее перестали привязывать. Спокойней от этого корова не стала: она придумала новые развлечения.

Однажды корова пропала. Прочесали лес, осмотрели кукурузный клин, луга, кустарник, болотце, наорали на пастуха, позвонили в соседний колхоз, обошли все дворы. А Милка преспокойно стояла в коровнике и, нажимая носом рычаг автопоилки, смотрела на людей веселыми глазами.

Доить она разрешала только Вале, иначе ведрко и скамеечка летели в сторону.

— Хлопот с ней было достаточно,— сказал фельдшер, снимая халат.— Честь и хвала терпению Вали. Экземпляры, подобные Милке, встречаются не так уж часто... — Он закрыл чемоданчик.

— Вот именно,— сказал Петров.

«А случай с сеном?» — вспомнила Зина. Кто растащил стог, так и не узнали. Люди молча смотрели на ругающегося председателя, и никому не пришло в голову, что во всем повинна та же Милка.

— Плачем? — улыбаясь, спросила тетя Груня; она закрыла магазин и шла обедать.— Подумаешь, одной бодливой коровой стало меньше.

«Что значит меньше? Милку вылечат, как же иначе,— подумала Зина.— Второй вишневой коровы не будет. И таких ровных телят — тоже. Конечно, вылечат».

Фельдшер, задумчиво посмотрев на всех, снова надел халат, вынул из чемоданчика какой-то предмет, пошел к корове, плотно прикрыв за собой воротца, и, скоро вернувшись, принялся деловито распоряжаться. Зину охватило беспокойство.

— Кшшш! — махнул на нее фельдшер.

Скоро приехала обитая железом, пахнущая лизолом телега. Милку погрузили на отполированную поверхность, и возчик ударил по лошади. Скотомогильник находился далеко за селом. Землю вокруг новой могилы облили едкой жидкостью и засыпали вонючим порошком. Зина внимательно глядела на людей, на телегу и насыпь. Когда телега, дребезжа, покатила обратно, фельдшер рассерженно закричал:

— Что тебе было сказано? Делать нечего? А ну, живо уходи!

Зина побродила возле изгороди, заросшей татарником, а потом отправилась на луг. На нем паслись две спутанные лошади. Их тяжелые прыжки не пугали слепней, возле глаз вились мушки.

«Милка была бы уже вон где!» — подумала Зина и свистнула.

Утомленные кони не обратили внимания на свист. Луг накрыла тень пузатого облака, на минуту стало прохладно, сильнее запахла трава. Возле ивняка цвели розовые олени рожки; дорога, покрытая тенями, казалась, покачивалась.

По дороге она не пошла — двинулась лазом, под скрюченными, переплетенными ветками. В глубине ивняка находилось ее заветное местечко, «крепость».

В «крепости» на ящике из-под помидоров сидел Василий Иванович, прозванный Контуженым. Бульдожье, изрытое морщинами, все в складках лицо его было напряжено, точно он долго ждал кого-то.

— Гляди, к-какой ножик.— Он вытащил его из заднего кармана полосатых брюк, заправленных в сапоги.— Складной, ручка отполированная. Как обещал.— Он посмотрел в глаза Зины и торопливо сунул руку в другой карман.— А ну, посмотри на камеру. Покрышка за мной.

У детей Василия Ивановича не имелось такой камеры и ножа.

— И вытри глаза,— сказал Василий Иванович.

До войны он работал радистом, а теперь показывал в школе кино и выполнял мелкие поручения завхоза. Василия Ивановича считали чудачком. Он сам оборудовал кинокласс, за новыми фильмами готов был ехать в город когда угодно и — ребята знали — вместе с картинками, положенными по программе, обязательно привезет несколько жестяных коробок, выбранных по своему вкусу. Зина очень доверяла Контуженому...

— Моя лодка в твоём распоряжении — плавай,— продолжал он.— Сегодня вечером освобожусь — подсмолю. Вытирай слезы.

В сыром воздухе тонко позванивали комары. На нижних ветках висела сухая тина. Вольно растущая трава походила на густые волосы.

— А теперь — жевать. Что у меня припасено? — Он достал кусок хлеба, посыпанный сахарным песком.

— Какую будете показывать картину? — поинтересовалась Зина.

— Опять об удивительных местах. Удивительного в жизни сколько угодно.— Он обрадовался вопросу и, вытерев губы рукавом, продолжал: — Иные точно в каморке без окон сидят. А один и один не всегда два. Проверено.

Это было открытие. Зина поколупала ссадину на колене. Вспомнила, что врач строго-настрого запретил трогать ранку, и снова принялась царапать ее.

— Об этом, между прочим, я сам догадался. Ночью иногда идут мысли...

Начиналась обычная история: киномеханик любил поговорить.

— Что говоришь — сам не знаешь,— Зина повторила слова тети Груни.

Василий Иванович обрадовался:

— Грунькины слова? Только неверно: кое-что знаю. Столько миров в кино увидеть — чему-нибудь научишься...

Зина положила за пазуху камеру и нож; за пазухой у нее уже лежала свернутая трубочкой тетрадка, исчерканная красным карандашом.

Василий Иванович тихо засмеялся. Смех у него был хриплый, дребезжащий. Посмотрев на траву, механик сорвал сине-фиолетовый цветок.

— Что это? Горошек. Паводки переносит хорошо, зимостоек, засухоустойчив.— Перечисляя качества цветка, он загибал пальцы.— Медонос. Отличное зеленое удобрение.

— Сорняк это,— сказала Зина.— Я знаю.

— Сорняк! — усмехнулся Василий Иванович.— Золотая кормовая трава. Сено питательное дает — множество белка. Превосходное сырье для силосования. Картину об этом еще не сняли.— Он выразительно посмотрел на Зину.— Поняла?

Девочка кивнула. Она ничего не поняла. Ее больше заинтересовало мастерство, с которым Василий Иванович делал папиросы: ни крошки



табаку не падало на землю. Почти никто не давал себе труда следить за полетом мыслей Контуженого.

Василий Иванович говорил не останавливаясь. Зина устала сидеть на одном месте.

— Пойду! — сказала она и встала.

— Только глаза вытри...

Она пошла на мельницу. Замшелая плотина, выпучившаяся посредине, удерживала малахитовую воду. В воде плавали листья кувшинок.

Возле мельницы стоял мерин, привязанный к пряслу. Телуга была не разгружена. Степан, сидя рядом с мельником, держал речь:

— И ничего это тебе, кроме пользы, не даст. Ты вычисли. Ну, кто узнает?

— Умный ты малый... — проговорил мельник, закусывая водку луком и укачивая руку: на большом пальце был нарыв.

Зина остановилась за кустом.

— Вот и договорились. Погуляем на славу. Что первый сорт, что второй — какая разница? — Лицо у Степана было красное, а мельника хмель не брал. — Ударим по рукам — и пускай по́став. Не рупь какой-нибудь получишь.

— Нормально — давай. Под следствие — не хочу. Будем здоровы.

— Бывай, — вяло отозвался Степан, скидывая парусиновые полуботинки с мокрых от пота ног. — Уговорю.

— Не уговоришь, — добродушно, лениво отозвался хозяин. — Будем здоровы.

— Бывай.

— Зачем тебе деньги-то? Жениться задумал? — захохотал мельник.

Степан промолчал.

— Давай, давай, — незаинтересованно поощрил хозяин, почесав шею. — Плодись, как говорится, и размножайся, только никого не касайся. Будем здоровы.

— Уговорю.

— Не уговоришь...

Зине надоело стоять за кустом, и она вышла на берег.

Мельник, укачивая большую руку, ушел в дом.

— Ну, тогда пускай свое хозяйство, черт с тобой. Ждут меня, — озлобившись, проговорил Степан. — А тебе, второгодница, тут делать нечего. Мала еще!

— Сам дурак! — ответила Зина.

Жар лился на землю. От пруда несся лихорадочный холодок, воняли протухающие ракушки, журчала, убегая через запруды, зеленоватая вода, покрывавшая гнилые бревна плотин. Ее давно пора было менять: каждый год ожидали, что вода прорвет обветшавшее сооружение. Однако средств в правлении пока не было...

Мельница задрожала. Зина внимательно глядела на Степана, на его волосатые ноги, на слипшиеся волосы под мышками, на полнеющее, крупитчатое тело.

— Брысь отсюда! — перехватил он ее взгляд.

— Тащи, тащи, — огрызнулась Зина и побежала к селу.

Возле села густо пахло сиренью. Мальчишки бесцельно гоняли пыльный мяч. Вити с ними не было. Окна его дома закрывали занавески.

— Ребята! — закричала Зина. — Нечего валять дурака. А ну, отправляйтесь на луг играть в баскет!

Утомленные зноем мальчишки встретили предложение без энтузиазма.

— А ну! — повторила она. — Нечего тут пылить!

Мальчишки послушно подняли мяч и вышли на луг. Василий Ивано-

вич возвращался домой. Увидев девочку, он позвал ее к себе. Жена встретила его неприятливо, но он не обратил на это внимания. Посадив возле себя Зину и своих ребят, Контуженый начал рассказ:

— Такая однажды началась метель — жить нельзя...

Ребята слушали, открыв рты.

— Когда-нибудь сбегу от тебя! — Тетка Евгения в сердцах стукнула тарелкой. — Ну тебя к лешему. Извелась я, слышишь ты, черт глухой?! Только и сумел детей занять. Вы лучше ешьте. А ты, Зина, не слушай, он наговорит, черт рыжий.

Щи были не особенно наваристые, но вкусные. Евгения брала умением.

В углу, возле окна, на полочке стояли книги. Главную ценность составляло собрание сочинений Жюль Верна. Книги были в бумажных коричневых обложках. Зина была уверена, что эти книги интересней, чем библиотечные, одетые в одинаковые переплеты стального цвета...

Неторопливо прожевывая волокна консервированного мяса, Василий Иванович продолжал рассказ:

— Эги не видать. Дома занесло по крыши, дороги непроезжие, весь районный транспорт стоит, скоту выйти невозможно, до колодца не доберешься. До дров и то не докопаешься. Писем и газет на почте — гора: никак не доставишь. «Газик» исполкомовский неделю никуда выехать не мог. Словом, катастрофа. В Голландии бы об этом все газеты кричали. Бедствие!..

Он помогал себе ушами, глазами, пальцами. Ребята замерли, Зина забыла проглотить картофелину.

— А люди понимающие — старики или, скажем, агроном — радовались. Как же! Урожай огромный будет.

Евгения захохотала:

— Что ты им мозги дуришь? Смотри, своротишь набок, спасибо не скажут.

— Подложи-ка еще нашей дочке, — произнес хозяин. — Поджаристой. Она любит.

— Уйду! — весело закричала жена...

После обеда Василий Иванович собрался на работу. До вечернего сеанса ему нужно было починить что-то в своей киноподкладке.

— А об уроках не забывай, — сказал он девочке. — Это твоя обязанность.

— Выучила, — сказала Зина.

Механик недоверчиво посмотрел на нее.

— Вот честное слово. Весна, весна! Как воздух чист! Как ясен небосклон! Своей лазурию живой слепит мне очи он.

— А по арифметике? — спросила Евгения.

— Разрезать бумажную фигуру на пять частей и сложить из них квадрат. Просто!..

Василий Иванович надел парусиновую кепочку и двинулся к школе. Зина пошла по его участку.

Забор давно упал. Хозяин не обращал на это внимания: двор казался обширней. Кроме того, говорил механик, не надо огибать кусок улицы, чтобы принести воду, не надо заботиться о столбах, подпорках и краске, не надо держать в порядке калитку, ворота и мостик через канаву.

На участке, в углу, помещалась душевая. Зина не удержалась и бросила в ржавую бочку несколько горстей земли. Потом, швырнув камешек в Витино окно, отправилась смотреть, как копают новый колодец.

Рабочие спали под вязом. Ботинки и сапоги стояли возле их голов. Зина тихонько собрала обувь и бросила ее в яму. Шум и удар о песчаное дно не разбудил грабарей. Тогда она подошла к старшему и свистнула ему в ухо.

Догнать Зину не удалось. За обувью полезли в колодец.

— Привыкли на дармовщинку, да? — крикнула Зина.

— Чума! — огрызнулся старший, берясь за лопату...

Зина направилась к своему дому. Кровля его, покрытая дранкой, виднелась из-за деревьев.

Из соседнего дома медленно вышла тетя Груня. Перейдя улицу, она уселась на лавочке и крикнула:

— Вот такое мое слово. А то больше не приду к тебе. Съезжу за товаром, закрою вечером магазин — и все! Найду где жить. Обманщик ты, Петька, и больше ничего.

— Людей постыдитесь. Чего на всю улицу кричите? — высунувшись из окна, сказал худой старик. Лицо у него было синюшного цвета, рот жалко кривился.

Презрительно оглядев мужиков, стариков и старух, Аграфена встала, поправила лифчик и спокойно отправилась открывать магазин.

Вспомнив о Валентине, Зина побежала к больнице.

Нянечка сказала, что Валентина уже разродилась. К больной она Зину не пустила, и, чтобы посмотреть на старшую, пришлось тайком пробраться к палате и заглянуть в дверь.

В палате было светло. На желтом полу вздрагивали солнечные лужицы, блестели белые стены, сверкали никелированные кровати. Только на одной лежал человек.

Волосы Валентины были заплетены в косички, глаза походили на голубые чашки с синим ободком, губы свежо адели. Зина не сразу узнала сестру. Если бы теперь выяснить, кто муж, — все было бы в порядке.

Возле Валентины лежал сверток. Зина догадалась, что это и есть ее племянник или племянница, о которых она столько уже слышала. Больше ничего особенного в палате не было. Палата как палата.

Из соседней комнаты вошла нянечка.

— Девочка родилась славная у тебя, Валентина... Все по мерке. Даже доктор радовался. Он любит принимать... Э, волноваться тебе, милая, нельзя, это, знаешь, последнее дело, — сказала нянечка.

Валентина заплакала:

— Значит, не пришел узнать?

— Сама понимала, на что идешь. Да и что в них, в мужиках-то? Одна маята с ними всю жизнь.

— Сколько со своим живешь?

— Э, мой особенный, — ответила нянечка.

Валентина опять заплакала:

— Послать бы его к дьяволу — а не могу, нет мочи! Даже не справился о здоровье. Мне от него ничего не надо: только бы справился. А ведь добрый... И видный. Видный? Чего молчишь?.. Расти девке без отца. Заобижают.

— Сама-то выросла. Ничего.

— Так разве я похожа на мать?

— Э, глупости: баба ты сильная. Ляльку-то получила все-таки. Теперь веселее: не одной жить.

Валентина заплакала.

— Э, молоко испортишь.

Зина вышла на улицу. Никогда еще Валентина не плакала. За что же ее обидели? Кто? Узнать не у кого. Говорят, что муж старшей в отъезде:

мол, занят какими-то большими, важными делами. А теперь оказывается, что он и не думал уезжать. Что значит — веселее жить? И почему он не пришел навестить?

Из-за угла показался доктор. Озабоченно глядя под ноги, он спешил к больным. Ручка блестящего кожаного баульчика поскрипывала. Колечки курчавых седых волос прилипли к выпуклому красному лбу, на котором шелушилась сожженная солнцем кожа.

— Как же это племянница осталась без отца? — спросила Зина.

Доктор пятерней поправил пенсне, взял Зину за руку, повел за собой. И рассказал, какой у Зины был замечательный отец, как уважал и любил он мать.

— Однако, — сказал доктор, — надо смотреть на вещи прямо. Вы умная и уже не маленькая. Люди бывают разные. Неужели вам не разъясняли? Не разъясняли? Как доктор согласиться с этим не могу. Что же, поколение войдет в жизнь незрячим? Повторять такие ошибки мне кажется неразумным. Жизнь — вещь петлистая, и к этому следует привыкать. Иначе люди будут совершать бесконечные ошибки.

Девочка выдернула руку и побежала с горки. Зину привлекло стадо гусей. Она разогнала их и снова подошла к доктору.

— Таким образом, — выразительно продолжал он, — становится ясно: нужно возможно раньше посвящать людей в законы бытия. Вы согласны?..

Доктор был веселый, ребят считал взрослыми и произносил много интересных, новых, непонятных слов! На селе его очень уважали. Впрочем, девочка не собиралась хвастать беседой и прогулкой. Она никогда не хвасталась.

— Так почему же племянница осталась без отца? — спросила Зина.

Доктор засмеялся.

— Жизнь, жизнь, — сказал он потом серьезно. — А племянница у вас чудесная. И сестра — тоже. — Он посмотрел на Зину, хотел что-то добавить, но, махнув рукой, вошел в дом, куда его вызвали...

Куры сидели в пыльных ямках под кустами сирени. Протяжно закричал черный петух Степана. Степан ездил за петухом в соседний район и отдал за птицу большие деньги.

Петух набрасывался на прохожих и норовил клюнуть в лицо. Когда он едва не заклевал младшего сынишку Василия Ивановича, Степан стал привязывать петуха, а потом решил держать его во дворе, выпуская только на зады.

Сейчас петух перелетел через забор и, поглядывая по сторонам, гордо шел по улице. Мальчишки спрятались в домах. Девочка двинулась прямо на Черного.

Петух отбежал, удивленно посмотрел на Зину и, подняв крыльями пыль, взлетел. Зина отбросила его. Петух повторил нападение, клюнул девочку в локоть. Она отшвырнула петуха еще дальше. При следующем нападении Черный порвал девочке ухо. Она изо всех сил ударила по тяжелому телу. Минутку полежав в пыли, Черный взлетел и клюнул Зину в темя. Она отдрала петуха и, оцарапавшись о когти, швырнула его на землю. Черный пришел в исступление, глаза стали походить на ягоды красной смородины. Теперь он налетел с коротким клетотом, на кончике желтого клюва дрожала капля крови и висел лоскуток. Зина дотронулась до затылка, пальцы стали красными; у нее вспотели ладони. Можно было поднять палку, но девочка знала, что ребята следят за сражением, и решила справиться без оружия.

Черный бросился сбоку. От него пахло пометом и горячим, потным пером. Зина почувствовала острый укол в бровь; шею и грудь оцарапали когти. Она прикрыла глаза и изо всех сил трахнула петуха. Он

упал в канаву и, отдохнув минутку, погнал, растопырив крылья, очередную пеструшку.

— Опять балует? — прибежав, спросил Степан.

Зина не показала и виду, что ранки болели. Голос Степана действовал успокаивающе. Вообще возчик нравился Зине. Он набивал чучела для биологического кабинета и умел ремонтировать часы, собирая вокруг себя кучу ребят. Было видно, что набивать чучела ему не доставляло удовольствия, занимался он этим только по просьбе учительницы биологии, и берясь за опилки и ножик, закуривал и морщился. Вообще-то курить он бросил...

— Вот то-то,— подмигнул Степан. Русые усы его были аккуратно подстрижены. Усы он привез с фронта, теперь в них блестели седые волосы, а под глазами и на висках пролегли ласковые белые морщинки. Он всегда улыбался, и кожа не успевала загореть.— Ничего больше не болит?

Зина презрительно дернула плечом.

— Тогда пойду.— Степан плотнее прикрыл калитку и торопливо пошел по улице...

Зина принялась нюхать сирень. Ей захотелось перенюхать всю сирень на селе. После этого нужно было идти домой.

Она взялась за цветы крайнего дома, украшенного табличкой с изображением ведра. В глубине теплой грозди было прохладно, на холодных упругих лепестках виднелись капельки.

Сирень следующего дома напоминала слабо разведенную синьку, матово блестела на солнце и слегка припахивала пудрой.

Возле седьмого дома росла белая сирень, похожая на взбитую мыльную пену. Солнце не нагрело лепестки. «Пять звездочек, пять звездочек»,— запела Зина, обнаружив редкие цветки, приносящие счастье. В этом доме жил Ефим.

Рядом находился дом, на табличке которого нарисовали топор. Сирень, здесь, казалось, почти развалила палисадник; только кое-где торчали черные колья. Цветы розовели, как изнанка речных раковин, но Зине уже надоело нюхать сирень.

Она села на лавку. По улице, держа сверток и несколько замасленных коробок, шел егерь Петров. Лицо у него, как обычно, было недоброе. В свертке и коробках лежали порох и патроны. Зина знала, что егерь пришел в село пополнить запасы: в охотничий сезон выстрелы так и гремели в лесу. Петров — как не жалко зверей! — давал Степану материал для чучел. Даже бурундуков не щадил. А какие же они хищники? Безобидные зверушки...

— Отдыхаем? — спросил Петров.— Что с бровью?

Презрительно фыркнув, Зина промолчала.

— Тоже дело,— сказал Петров. Голос у него был жесткий.

Он сел рядом. Девочка отодвинулась: даже одежда егеря, казалось, пропахла шкурами и мездрой. Из крючковатого носа торчали черные волосы. Они росли и на пальцах, и на тыльной стороне ладоней, и на запястьях. Под желтыми от курева, сбитыми ногтями было черно, кожа на руках задубела. Когда Витя выступал с докладом об охране природы, он рассказывал, что Петров задушил голодного волка.

Он расстегнул рубашку, откинул ворот. Грудь его покрывали черные сплошные волосы. Девочка сплунула и поднялась.

— А в лесу сейчас прохлада,— проскрипел егерь.

Ни за что она не призналась бы, что из-за Петрова страшится леса. Поэтому чаще всех и гуляла в лесу, пытаясь пройти его весь, насквозь. Это, однако, не удавалось. Уже за ручьем начиналась такая ча-

щоба, что продраться через нее можно было только ползком. Зина выходила к озеру, а потом шла темным бором до дальнего оврага. Дальше она пока не забиралась, но этим летом — было решено твердо! — она обязательно посмотрит, какая страна за тенистым оврагом, полным комаров, жужелиц и ржавой воды.

Только в молоденьком кедраче ей было хорошо, спокойно и весело.

— Ну и что? — спросила она. — Знаю. Невидаль: лес как лес.

Зине еще не приходилось близко встречаться с мрачным егерем. Пока ничего особенного не происходило. Она тайком потрогала ухо и ранку над глазом.

— Кедрач опять вырос на двадцать пять сантиметров, — сообщил Петров.

Деревья были еще маленькие. Они походили на девочек в зеленых пушистых пальтишках. Между деревьями, наклоня траву и цветы, всегда носился ветер и осенью вставали отборные пахучие грибы. Всем, однако, было известно, что кедр в этих местах не может расти. Об этом писали даже в газете.

— Считал? — недоверчиво спросила Зина.

Деревья посадили по шnurку. Когда она увидела их впервые, кедровые были не выше мятлика. Теперь они выпустили мягкие и прохладные нежно-зеленые веточки, пахнущие скипидаром. Запах в роще был крепкий, душистый, от него иногда кружилась голова. Когда снег засыпал деревья, становилось грустно, но весной снова показывались ежики-макушки.

Петров засучил рукава. На левой руке блестел глубокий розовый шрам.

— От волка? — заинтересовалась Зина.

— Все врут про волка, — сказал Петров. — Это мне браконьер удружил. Знаешь, что такое браконьер?

Она кивнула.

— С ними надо бороться: зря истребляют зверей. — Она внимательно поглядела на Петрова: что он ответит? Ведь тоже не чистенький.

— Значит, понимаешь, — ответил егерь.

— Зверя не обижай — и он не тронет, — твердо произнесла она.

— Не всякий! — Егерь поднял палец. — Не всякий. Но, в общем, правильно...

— А за волков скажут спасибо.

— Все понимаешь.

— Не дура, — подтвердила Зина. — Милку жалеешь?

— Не вспоминай, — поморщился егерь.

— А чем бурундуки вредные? — прямо спросила девочка.

— Дай волю — весь кедрач уничтожат. А так зверек красивый.

Полосатенький.

— Слышал про племянницу? Я тетя уже, — с гордостью сообщила Зина.

У егеря, точно от боли, чуть сузились глаза. Зина удивилась.

— Только не знаю, кто отец. Доктор тоже не знает.

— Не сокрушайся.

— А ты зачем в больницу ходил?

Петров отвернулся и смущенно сказал:

— Мармелад пластовый принес.

— Молоко не испортится?

— Там народ грамотный. Так что с бровью и с ухом-то?

— Петух. Я ему тоже наподдала. Взятся ребят мучить... А кто кедрач посадил?

Егерь пожал плечами:

— Нашелся чудак...

Затоптав сигарету, он пошел в правление...

— Ребята! Купаться! — крикнула Зина. Ей стало весело: Петров, оказывается, дельный мужик.

Вспотевшие мальчишки немедленно прекратили игру и, дождавшись, когда Зина напрямки сбежала с откоса, устремились за ней.

В пойме поддувало. Земля совсем высохла, комки рассыпались под ногами.

На дне реки дрожали холодные камешки.

— Айда! — Вытащив вещи, лежащие за пазухой, Зина скинула платье.

— Нам не жарко, — сказали мальчишки.

— Айда!

Мальчишки медленно разделись, потрогали воду красными ступнями, посмотрели друг на друга.

— Меня за это выпорют, — шепотом признался один.

Другой кивнул. Остальные были согласны с товарищами.

— Маменькины сынки? — спросила Зина.

Мальчишки по щиколотки вошли в воду.

— Кто трусит — может оставаться, — сказала Зина.

Мальчишки по колени вошли в воду.

— Тёпло, — сказала она.

Младший сын Василия Ивановича первым вошел по пупок. Синие трусы надулись, как пузыри.

— Эх вы, мальчишки. — Она окунулась с головой. — Малютки.

На этот раз слова не подействовали: мальчишки стояли, положив ладони на воду.

— Малютки, — повторила Зина, нырнула, доплыла до противоположного берега и, возвратившись, засмеялась: она в самом деле чувствовала себя взрослой.

Мальчишки опустили головы.

— Главное — намочить спину! — Девочка ударила ладонями по воде.

Брызги накрыли мальчишек. Охнув, они окунулись и, поводя животики, выскочили на берег. Зина снова переплыла реку и, возвратившись, вышла на гравий. Мальчишки немедленно убежали. Вытираться она не стала, выжала майку и трусы, дождалась, когда ветер высушил тело, и, заметив, что пропала последняя капелька на острой косточке плеча, надела наконец платье...

К берегу плыл паром, вода шлепала по зеленым бревнам, Лукерья перебирала канат. В песенке, которую она пела, были стыдные слова. Бабы, стоящие на пароме, качали головами, мужики ухмылялись и толкали женщин под бока.

— Сколько же это будет продолжаться? Когда же ты войдешь в ум? Как же ты не поймешь-то? А слушать срамно, — произнесла тетя Груня, возвращавшаяся с товаром.

— Запричитала, гладкая. Твоего интересу тут нет. — Лукерья запела громче. Глаза у нее были утомленные, но озорные, веселые. Тяжелые веки прикрывали их до половины.

Тетя Груня поправила модную кофту и поджала губы. Притопывая тонкими ногами, обутыми в галоши, Лукерья нарочно выговорила несколько слов из песни. Отряхнув выглаженную юбку, тетя Груня вытерла губы беленьким платочком и ушла на другой край парома. Лукерья повисла на канате, паром ударился о берег, всех качнуло, тетя Груня выпачкала кофту, о перила и злобно зашипела. Потом, подобрав юбку, обходя Лукерью, уточкой сошла на берег. Мужики захохотали.

Продавщица погрозила им кулаком и, не выдержав, выругалась. Лукерья ответила.

— Будет! — сказал один из пассажиров, конюх, вытирая слезы, от смеха набежавшие на глаза. — Дите слушает. Просто, скажу вам, непорядок. Вера Петровна при них выражаться не велит и желает, чтобы все было гладко и благородно, — я согласен. И вы тоже извольте это уважить.

Зина, независимо отвернувшись, подняла плоский голыш и бросила его в реку.

— Что девчонка понимает, глупый? — крикнула тетя Груня. Она уже шла возле телеги, нагруженной ящиками.

— Откуда я знаю? — ответил конюх. — Может, и понимает. К ней в голову не залезешь. А ругаться вообще не резон. Некультурность одна...

Когда все ушли, Лукерья достала из кармана круглое зеркальце. Увидев себя, сразу же принялась мыть лицо, шумно дую в ладони. Зина подошла к ней: Лукерья ее всегда интересовала. Лукерья, вздрогнув, спрятала зеркальце, а потом, обернувшись, увидела, кто подошел, и сказала, вытирая лицо подолом:

— А, зверушка.

— Добрый день, — вежливо сказала Зина. — Сегодня хорошая погода. Тепло и ясно.

Лукерья улыбнулась. Зубы у нее неровные и зеленоватые по краям. Платье пахло потом. Кожа под подбородком уже помялась.

— Здорово ты тетю Груню отделала, — сказала Зина.

— Не стоит разговора.

— Она мне позавчера халвы дала. Первый сорт, — сообщила Зина: она не могла чего-то понять.

— Не стоит разговора, — махнув рукой, повторила Лукерья и взглянула на село.

Возле Лукерьи было беспокойно, сердце билось тревожно и часто, хотелось заглянуть в ее глаза, разгадать тайну. О перевозчице чаще есего говорили шепотом...

— Ой! — сказала Зина.

— Ты чего?

— Волос седой.

— Вырви, — вздохнула Лукерья. — Хотя не надо, шут с ним.

Лицо ее сегодня казалось необычным: ноздри вздрагивали, а глаза были мечтательными. Зину тянуло к ней все сильнее.

— Ты где была? — спросила Зина.

Лукерья нахмурилась, зачерпнула воду, потеряла лицо, точно стараясь отмыть его.

— За морями, за долами, за высокими горами... Косичка у тебя расплелась. Дай заплету.

Зина подставила голову. Пальцы у Лукерьи оказались легкие и умелые.

— А что за долами?

— За моими? Ничего не было хорошего... А вообще за долами много интересного: хорошие люди, новые слова. Услышишь, будь уверена.

— Знаю, — сказала Зина.

Волны ударялись о бревна. Течение в реке было сильное, непрерывно кланялся камыш, растущий у берега, а ряска вообще не держалась, ее уносило.

Лукерья улыбнулась («Почему она сегодня особенная?» — подумала Зина), на минутку опустила голову и, опять крикнула людям, собравшимся у перевоза:

— Поторапливайтесь!



Когда все разместились, она изо всех сил налегла на канат. Плот двинулся ходко. Лукерья крикнула:

— С умом плавай! — и погрозила пальцем.

— Ладно! — недовольно ответила девочка.

Лукерья тоже учит. Сколько можно? Правда, таких слов, которые Зина узнала за сегодняшний день, в школе не услышишь. Там слова ровненькие, отборные, одно к одному. Существительному, глаголу, наречию отведено определенное место, им никак не выскочить из предложения. Вера Петровна любит язык. Ее статья была недавно напечатана в районной газете. Учительница писала об успехах ребят.

— Написано чисто,— говорила мать,— и о Витьке пропечатали. А ты дурища! Кабы о тебе — как бы радовалась-то!

Если кто-нибудь неверно произносил слово, Вера Петровна, мягко и доброжелательно улыбаясь, поправляла и указывала, как нужно сказать. Фраза становилась сразу другой: ровной и прямой, даже, наверное, лучше, чем в книжках, потому что там иногда встречались слова корявые, будто выскакивающие из фраз.

Вера Петровна каждый год читала лекцию в клубе. Лекция называлась «Будем любить русский язык». Ефим после лекции говорил:

— Эх, кабы все толковали правильно. Настоящая была бы житуха!

— Жизнь,— поправляла учительница.

\* \* \*

Постепенно село начало наполняться людьми. Только хозяева, весь день тюкавшие топорами на своих участках, продолжали работать. Аромат сирени доносился до амбара, перебивал остальные запахи. Зина легла на траву, принялась смотреть на небо. У некоторых облаков были голубые животы и фиолетовые спины; облака были бокастые, толстые, ленивые. Верхние напоминали золотых рыбок, а те, что лежали на горизонте, походили на горы лимонов. Облака непрерывно выпучивались из-за окоема, медленно проходили над Зиной и снова исчезали.

— Валяйте, валяйте,— произнесла она.

В траве работали муравьи. Перебираясь через стебли, они тащили соломинки. Зина расчистила дорогу, но муравьи не пожелали пользоваться ею.

— Дураки,— сказала девочка.

Потом ей захотелось полакомиться листьями липы, растущей возле амбара. Проведя сжатой ладонью по ветке, Зина собрала целый пучок жирных, молодых, мясистых, питательных листьев. Но слаще всего, конечно, была мездра, взятая из-под коры молоденькой сосенки. Что твой сахар! Глупый, кто не пробовал, подумала девочка. Потом она съела кусочек жмыха, а после всего полизала белый голыш: он тоже был вкусный.

Она снова легла на спину. Сон пришел сразу...

Разбудил ее звон. Мишка Дурачок и Савка Больной, конечно, были уже в церкви. И она пошла поглядеть, что там. В недавно отремонтированной церкви, как всегда, было чисто и прохладно. Сладко пахло ладаном. В алтаре горела лампа дневного света. Красивый священник бархатным голосом произносил диковинные слова. На его одежде переливались и лучились нитки. Разноцветные фигуры были нарисованы на стенах. Около входа продавали иконки, позолоченные крестики разнообразной формы и собирали деньги на таинственную общую свечу. Девочке было интересно.

«Витька, получается, говорил неправду: он утверждал, что сюда хо-

дят только отжившие старухи,— подумала Зина.— Почему Вера Петровна не поправила его?»

Савка Больной неожиданно упал на пол и завыл, дергаясь всем телом, извиваясь, стуча коленками, локтями и лбом о доски.

Ее пошатнуло. Она оперлась плечом о стену. Мишка Дурачок стукнул девочку по затылку.

— Ты чего это? — злобно прошептала Зина; пальцы у нее вздрагивали.

Мишка как ни в чем не бывало продолжал петь и креститься, редкая бородка его двигалась.

— Людей бить?

Мишка стукнулся лбом о пол.

— Участкового вызову! — сказала Зина.

Она подобралась, точно приготовившись к прыжку, на щеках выступили красные пятна, нос побелел. Крепкие пальцы дурачка схватили ее за плечи, она вывернулась и крикнула с порога:

— Пятнадцать суток захотелось? Сейчас пойду в правление!

Жаловаться она не любила и в правление не пошла — подобрала кусок угля и, оповещая всех о случившемся, написала на дверях, на камнях паперти, на кирпичных столбах ограды и на калитках близлежащих домов: «Мишка балбес». Этого показалось мало. Она подняла палку и, выйдя на пыльную дорогу, трижды повторила надпись. Потом проверила работу, подправила некоторые буквы, удовлетворенно засмеялась и, подойдя к девочкам, принялась играть «в классики»...

Прыгать и бросать осколок кирпича скоро надоело. Игра в крестики-нолики тоже не увлекла. Скакать на пруте не хотелось.

Степан выкатил велосипед, дал ребятам прокатиться. Зина поехала первой.

С велосипеда село не казалось очень большим: пожарный сарай, службы, быстро заваливающиеся назад дома, и вот под колесами уже пылит дорога, уходящая в лес. Надо поворачивать и вести счет в обратном порядке: коровник, парники, дом Ефима (крыша вот-вот упадет), палисадники.

— Теперь моя очередь! — закричал кто-то из мальчишек.

Зина трижды повторила поездку и, спрыгнув на землю, сказала:

— Ничего интересного. Только ветер,— и принялась думать, чем бы еще заняться.

Еще сильнее запахла сирень. Звякали ведра, хлопали куры, почувствовав прохладу. Длинно, переливчато, безостановочно меняя тон и растягивая колена, закричал петух Степана. Отозвались другие петухи. По улице проехал трактор, стекла в окнах зазвенели. Потянулся запах парного молока, хлеба, шей. Заблеяли валушки, отправляющиеся на покой. Они были аккуратные, гладкие и послушные. Зина иногда дразнила их, чтобы раззадорить, но валушки не поддавались. Девочка их не любила.

В конце улицы показались жеребята, которых гнали от реки. Среди жеребят у Зины был приятель Мишка, походивший на шоколадную лошадку. Он весь блестел, худая голова покачивалась в такт шагам, сухие ноги ступали ловко, припечатывая пыль.

— Дяденька, разреши,— Зина подбежала к конюху.— Ну, разреши, дяденька!

— Не по правилам,— ответил конюх.— Попадет мне... Когда же ты бегать-то перестанешь попусту?

— Ну, дяденька. Мы никому не скажем. А если председатель узнает, скажи, что я виновата. Дяденька!

— Быть посему,— ответил конюх.— Только по улице ни-ни.

— Если когда понадобится, я за тебя хоть две ночи отдежурю.— Зина приложила ладони к груди...

Мишку еще не обучили аллюрам. Он бежал неровным, но вольным и ходким размахом, уверенно выбрасывая тонкие ноги. Зина легла на его шею, вцепилась в гривку, отвела руку и полувыпрямилась. Потом отвела вторую руку и, делая вид, будто не обращает внимания на ребята, высыпавших за околицу, легонько поддала пятками в Мишкины ребра.

Теплый ветер сильнее зашевелил ее волосы, жучок шелкнул в лоб, справа и слева закружились зеленя, запрыгал горизонт и рыжие облака.

Она пересела лицом к хвосту. Это получилось не особенно ловко, но такой фокус ни у кого из сельских не выходил.

— Мишенька, дорогой! — сказала Зина, чувствуя, как нежность к жеребенку переполняет сердце.— Веселый.

Она опять пересела. Повлажневший лесной воздух охлаждал лицо. Он пахнул далью, в которой стояли синие леса и зеленоватые озера. Зина засмеялась. Смех был гортанный, дикий; у Мишки дрогнули уши.

Жеребенок поскакал без дороги. Мимо пролетали кусты, над головой пронеслись ветки. Сосны были разноцветные. Рыжие от заходящего солнца стволы стояли на опушке, чуть поглубже остывали красные сосны, за ними виднелись лиловатые, а в темной глубине леса, откуда несло сладкой прелью, росли синие деревья.

Когда жеребенку надоело бежать, он вернулся на дорогу и, почуяв запах стога и конюшни, повернул к селу.

— Ну, как? — набросились ребята.

— Нормально,— спокойно ответила она и, обратившись к конюху, добавила: — Мишку сразу не пой. Пусть остынет... А дежурство за мной запиши.— Протянув руку, она пожала жесткие пальцы конюха.

Клава, средняя сестра, вышла в огород и, развешивая выстиранное белье, начала петь про любовь.

«Сохнет по Петрову, горемычная»,— подумала Зина. Фразу эту она слышала в учительской. Мать, извиняясь, стояла перед Верой Петровой и рассказывала, чтобы оправдать младшую, разные тяжелые случаи из жизни семьи. «Я знаю. Наверное, и к нему можно привыкнуть. Клава не глупая»,— сказала учительница... После этого мать дернула Зину за руку: «Эта в кого такая — не пойму. Родня у нас правильная...»

Зина внимательно присматривалась к сестре. Щеки у Клавдии были налитые, плечи полные, юбка трещала, аппетит тоже не уменьшался. На Петрова она всегда глядела с удивлением. Но если все говорят — значит, сохнет. Только слово «горемычная» было непонятно. Зина ни у кого не хотела узнавать, что оно значит: «Сама догадаюсь. Не такая уж дура!»

Клава пела удивительно нежно, ласково выговаривая каждое слово. Получалось лучше, чем в кружке самодеятельности: в огороде ведь ее никто не слышал, нечего смущаться. На сцене Клава так краснела, что Зине становилось стыдно: кого испугалась, глупая? Все свои! После выступлений Клава плакала. Тут уж Зина терялась и находила только одно слово. «Психованная!» — кричала она сестре...

А Клава все пела.

— Вот врзалась.— Зина поковыряла в зубах.— По ушки. Смех!

Потом она увидела Петрова. Быстро, будто на что решившись, он шагал к больнице. Зина побежала за ним и залезла на дерево, растущее под окнами палаты.

Валентина лежала на прежнем месте. На тумбочке стояла нераспечатанная коробка мармелада. «Чудная, почему не ест?» — подумала Зина.

В палату вошел Петров. Волосы его были намочены и причесаны. Сапоги он вытер еще в коридоре. Робко кашлянув, егерь сел на белую табуретку.

— Добрый вечер, Валентина Сергеевна,— несмело, еле слышно сказал он.— Как самочувствие?

— Ваше какое дело? — спросила Валентина.— И почему вы знаете, что вечер — добрый?

«Ого!» — подумала Зина.

— Вот всегда так. А ведь вы ласковая,— произнес егерь, хрустнув пальцами.

— И опять же вас не касается.

— Мне завтра уходить,— еще тише сказал егерь.— Так я уж все скажу прямо. Да вы и сами знаете... Девочку буду больше себя любить. Нет мне без вас жизни. Сколько лет уж прощу. И нет мне жизни, Валентина Сергеевна.

— Думаешь, дождался своего? — сказала Валентина и сбросила коробку на пол.— Ничего похожего! Мне только один надобен. А с маленькой теперь и одна проживу. Ишь ты, какой умный.

Петров подсел ближе.

Валентина неожиданно зашлась плачем.

— Вообще мне никого не нужно!

— Все равно буду ходить возле вас, как привязанный. Вы же знаете,— сказал Петров.

— Глупый ты, что ли? — сквозь слезы спросила Валентина.— Мужик с положением, на окладе, даже простудой никогда не болел. Любую бабу позови — бегом побежит... А я... Все лицо оспа побилла, болею часто. После операции рука плохо гнется. Жизнь-то свою зачем калечишь?

Егерь поставил локти на колени, подсел еще ближе.

— Знать ничего не хочу, Валенька.

— Отойди! Ничего не получится. Не буду я без любви жить. Уйди. А то ударю!

— Ударь,— покорно произнес он.

«Вот это да! — подумала Зина.— Такого я еще не встречала. А как же теперь Клавка?.. Только Петров дурак: Валька пилить любит».

С Валентиной всегда было так скучно... Зина осторожно спустилась с дерева. Сердце билось горячими толчками. Она медленно, тихо обошла больницу, пытаясь заглянуть в окна. В операционной доктор рассматривал руку мельника, мужик морщился от боли. Зина презрительно фыркнула...

За забором играли в карты. Степан, чего-то дожидаясь, стоял возле игроков. Пуговицы и пряжка ремня блестели. Запряженная в телегу лошадь хрупала сеном.

— Садись,— предложили парни.

— В азартные не играю,— сказал Степан.

— Ефим не научил?

— С такими не знаемся.

— Соблюдаем себя?

Степан промолчал. Волосы его были прохвачены ровным пробором, шея побрита.

— Тебе подскажу,— предложил Степан.

— Давай.

Степан быстро выиграл.

— А в любви везет?

— Когда-то не жаловался,— засмеялся Степан.

Из противоположного дома вышла Аграфена. Она положила узел на подводу, потом принесла два чемодана. Степан зашел в дом, вынес

швейную машину и патефон. Когда подвода наполнилась, Аграфена уселась, свесив ноги с грядки, а Степан стронул лошадь.

В окне показался дядя Петя. Держась за грудь, он глядел вслед отъезжающим.

— Видать, хозяйство-то побоялся перевести. Да и правильно. Только ведь она — добьется. Степан и она — два сапога пара, — сказали парни.

Карты снова захлопали по земле...

Думать о том, что произошло, Зине было некогда: она торопилась в клуб.

Василий Иванович стоял возле старой избы, отведенной под клуб, и вел длинный разговор с ребятами.

— Читаю сейчас интересную книгу, — говорил он. — Обо всем там трактуют. Называется книга — «Энциклопедия». Сколочусь с деньгами и обязательно куплю такую же... Так вот, там и о цветах много пишут.

— Поехал, — сказала Зина.

— Интересный народ — цветы, — продолжал киномеханик. — Прямо как живые, честное слово. Росой приударит — закрываются и даже не пахнут. Иные перед дождиком закрываются. А есть такие, что только ночью и цветут. Красивый цветок лилия. В томе двадцать пятом о ней говорится. Лилия только днем показывает красоту. А наступит ночь — сложится вся и станет невзрачная и даже, если честно говорить, противная... А есть цветы незаметные и гордые. Есть застенчивые. Стыдливые. Всякие. Даже хищники.

— Росянка! — сплюнула Зина. — Знаю. Мух жрет.

— Вот какие дела. А цветочек красивый. Затежливо все устроено.

Подошел Витя. Глаза у него были усталые, под ними лежали синие тени.

— Вперед тоже все выучил? — дернув его за рукав, спросила Зина. — Ребята, быть ему на доске почета?

Он уселся в пятом ряду. Большая голова с гладко причесанными светлыми волосами клонилась к плечу. Торчали бледные уши. Зина щелкнула его по кончику уха и засмеялась.

Постукивая деревяшкой, пришел Ефим. Лицо у него, как обыкновенно, было злое и недовольное. Он сел сзади, прислонившись к голой, плохо оштукатуренной, шелестящей стене. Зина устроилась неподалеку.

Петрова не было. У Степана, который слыл кинолюбителем, нашлись дела поважнее.

Свет погас, в зал вошла Лукерья. Когда застрекотал аппарат и все начали разговаривать, она под села к Ефиму.

— Директор подписал приказ. Послезавтра дадут расчет, — прошептал Ефим. — В тот же день уедем.

— Я такая счастливая, — тихо сказала Лукерья. — Весь ты — как муж убитый. Кабы не ты — сожгла бы себя.

Зина делала вид, будто не слушает. Сегодня все перепуталось, как во сне, смешалось, расплылось. Она еще не могла во всем разобраться.

— Брось ты, — сказал Ефим. — Еще детей разведем: не старые. Всегда мне хотелось дочку, с войны мечтал. Все поломалось. В обозе ведь, как Степан, не состоял: все на передовой, в огне, грязный.

Зина наморщила лоб. В зале грызли семечки и смеялись: картина была веселая, причудливые недоразумения разъяснились просто, легко и быстро. Когда лента рвалась, шум в зале становился сильнее.

— На той неделе интересней картину видели. Умный мужик Контуженый, а сейчас просчитался, — сказал Ефим. — «Чистое небо» называлась.

— Та картина прямо про тебя, — прошептала Лукерья.

— Не все так. Брось ты,— хрипло, с болью сказал Ефим.— Какой я герой?..

Зина еще сильнее наморщила брови. В зале опять засмеялись. Вера Петровна вытирала веселые слезы розовым платочком.

Зине надоело думать. Чтобы не скучать, она принялась пересаживаться с места на место...

Картина кончилась. Пора была идти домой.

— Господи! — посмотрев на Зину, закричала мать.— И это — новое платье?! Иродка ты! А кто по глазу ударил? И ухо в кровище. Дашь ты мне пожить спокойно? Горькая моя доля!

— Хватит,— ответила Зина.— Неужели не надоело?

— Десять рублей платье стоит,— тихо заплакала мать.— Сколько мне за них земле кланяться?

— Ладно,— сказала дочь.— Запиши за мной.

— Будет вам.— Клава вздохнула.— Книгу дайте дочитать.

Зина взглянула на сестру. Лицо у Клавы было спокойное, глаза не налитые. Про Петрова она, наверное, ничего еще не знала.

— Егерь перед Валькой на коленях стоял,— сообщила девочка.

— Врешь! — Сестра резко отложила книгу.

— Сама видела. И нянечка подтвердит.

Клава встала, прошла по горнице, потом, отодвинув герани, села на подоконник. Зина внимательно следила за ней.

— Умойся! — приказала мать.— И быстро на печку! Сейчас свет погашу.

Для вида погрелась рукой на печке, Зина юркнула на печь и задвинула занавески.

Сразу же начал петь знакомый сверчок. Голова немного кружилась, глаза начали закрываться.



---

Д. САМОЙЛОВ

★

## НАБРОСОК ПОРТРЕТА

Фотографирует себя  
С девицей, с другом и соседом,  
С гармоникой, с велосипедом,  
За ужином и за обедом,  
Себя — за праздничным столом,  
Себя — по окончании школы,  
На фоне дома и стены,  
Забора, бора и собора,  
Себя — на фоне скакуна,  
Царь-пушки, башни, колоннады,  
На фоне Пушкина — себя,  
На фоне грота и фонтана,  
Ворот, гробницы Тамерлана,  
В компании и одного —  
Себя, себя. А для чего?

Он пишет, бедный человек,  
Свою историю простую.  
Без замысла, почти впустую,  
Он запечатлевает век.

А сам живет — на фоне звезд,  
На фоне снега и дождей,  
На фоне слов, на фоне страхов,  
На фоне снов, на фоне ахов!  
Ах! — миг один — и нет его.

Запечатлел, потом — истлел,  
Тот самый, что неприхотливо  
Посредством линз и негатива  
Познать бессмертье захотел.

А он ведь жил на фоне звезд.  
И сам был маленькой вселенной,  
Божественной и совершенной!  
Одно беда — был слишком прост!

И стал он капелькой дождя...  
Кто научил его томиться,  
К бессмертью громкому стремиться,  
В бессмертье скромное входя?..



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Анатолий ЗЛОБИН

★

## ДОРОГА НА ТАЙШЕТ

**П**утевой дневник начнется прямо с середины, за тысячи километров от дома. Сидим на чемоданах и никак не можем сговориться.

— Тайшет? Никогда! Только от Абакана.

— Не понимаю, почему вы так горячитесь? Пароходы не ходят, придется лететь.

— Вчера ни один самолет не вышел.

— Все равно. Я за то, чтобы начинать с Абакана.

— Понимаю — вы просто хотите начать с «А». Коль с Абакана начинается список городов Советского Союза — значит, и мы должны начинать с Абакана — так?..

Электроход стоял у дебаркадера пристани Красноярск, и спорщиков в каюте было трое.

А ведь это очень важно — с какого конца начать путешествие. Несколько лет назад в день открытия очередной линии московского метро я прочитал в книге отзывов запись: «Проехал всю линию. Каждая новая станция оказывалась лучше предыдущей, хотя всякий раз казалось, что это уже невозможно. Инженер Шестеркин».

Кто-то ответил двумя строчками ниже: «Чудак № 6! Что было бы, если бы ты ехал в обратном направлении?»

Откуда же нам начать путешествие — от Абакана или от Тайшета?

— В Абакане есть хорошая гостиница, — поддержал меня третий спутник, державший до этого нейтралитет.

— А разве в Тайшете нет?

Сведений о гостинице в Тайшете не имелось, и мой противник заколебался.

### День первый

Конечно же, мы просчитались. Сидим на чемоданах в прихожей и разглядываем знакомое объявление: «Мест нет».

— Ну? Что я вам говорил? — торжественно заявляет сторонник тайшетского варианта.

Объявление написано от руки на клочке бумаги — не то что в иных шикарных гостиницах, там подобные объявления выполняют со вкусом, в современном материале — алюминий и пластмасса. В иркутской, например, гостинице такая табличка выставлена прямо на улице у парадной двери. Можно не заходить в вестибюль, не тратить время на беспомощные вопросы.

Но тут наш товарищ вспомнил, что у него записан телефон Дмитрия Ивановича Коротчаева, к которому мы должны явиться по приезду в Абакан.

Коротчаева в кабинете не оказывается. Но зато оставлена команда: встретить нас. Секретарша берется за телефоны, и спустя полчаса машина выносит нас на



окраину Абакана, выезжает на переезд, поворачивает и, громко хрустя гравием, катится прямо по путям.

Мы — в тупике. Останавливаемся у пассажирских вагонов.

Чудо совершается на глазах. Каждый получает по отдельному купе, а добрая чародейка, она же проводница Галя, приветствует нас неожиданными словами:

— Наконец-то приехали! Третий день вас ждем! Надоело в тупике стоять: аккумуляторы сели!

Переглядываемся. Кажется, нас принимают не за тех, кто мы есть. Сейчас ошибка обнаружится и нас попросят освободить вагон.

Необходимо выяснить у Гали — кто же мы. Диалог происходит примерно такой:

— Погода у вас, кажется, так себе, — осторожно начинаю я, поглядывая в окно на пасмурное небо.

— В Москве-то, наверное, получше?

Ага, значит, мы из Москвы — это уже легче.

— Раньше никак не могли вырваться — дела. — Пока все хорошо: мы еще не соврали ни слова.

— Да уж конечно, — соглашается Галя, — мы вас еще в августе ждали.

— Хм-м...

— Говорили, что сам Савельев приедет трассу посмотреть...

«Сейчас погонят», — с тоской думаю я, но бодро спрашиваю:

— А еще кого вы ждали?

— Иван Иванович Подчуфаров у нас уже был; потом по снабжению прилетали; теперь, значит, ваша комиссия на нашу голову свалилась. Команду дали по всей трассе — приготовиться.

«Погонят. Сию минуту». И я решаю покончить с невыносимым состоянием страха.

— Что вы — как можно? — восклицает добрая чародейка, узнав, что мы всего-навсего бригада московских корреспондентов и к высокой комиссии не имеем никакого отношения. — Живите себе на здоровье. Места всем хватит. А не хватит, еще вагон прицепим. Кушать будете в салоне: у нас кухня своя. Может, чайку желаете с дороги?

Сидим в салоне, пьем чай. Билет до Абакана оказался счастливым. Мы ни в коем случае не должны отрываться от московской комиссии. Ведь это комиссия партийно-государственного контроля, да к тому же еще по проверке качества строительства.

А пока — пора на пресс-конференцию к Дмитрию Ивановичу Коротчаеву, начальнику треста «Абаканстройпуть».

Дмитрий Иванович предложил:

— Прошу задавать вопросы.

— Какова протяженность трассы?

— Шестьсот сорок семь километров девяносто четыре метра.

— Сколько осталось до стыка?

— Двести двадцать три километра.

Больше вопросов у нас нет.

Тогда спрашивает Коротчаев: он понял, что мы ничего не знаем.

— Бывал ли кто-нибудь из вас на дорогах, которые строятся?

Увы, на строящихся дорогах никто из нас не бывал.

— В таком случае придется начать с азов. Абакан — Тайшет — одна из самых сложных дорог в Советском Союзе. Горные перевалы, тоннели, мосты, виадуки — все необычно на этой трассе. По общему объему земляных и скальных работ трасса Абакан — Тайшет, пожалуй, не уступит такой всемирно известной стройке, как Братская ГЭС. Естественно, у вас может возникнуть вопрос: зачем надо было проектировать и строить такую гужевую трассу? Чтобы ответить на этот вопрос, придется немного вспомнить историю. Транссибирская магистраль

вступила в строй в начале нынешнего века. С тех пор прошло немало лет, переменялась Сибирь, Дальний Восток, а дорога по-прежнему одна. Правда, и сибирская магистраль идет в ногу с веком: сделан второй путь, осуществлен перевод на электрическую тягу, пока до Байкала. Пропускная и провозная способность магистрали возросла в десятки раз, но это по-прежнему все-таки одна магистраль: весь Дальний Восток «висит» на этой единственной линии. Вопрос о второй сибирской трассе стоял еще до войны, теперь мы присутствуем при его завершении. Именно Абакан — Тайшет является завершающим звеном Южсиба. С окончанием этой магистрали далекая Лена соединится с Москвой по линии Куйбышев — Магнитогорск — Карталы — Акмолинск — Павлодар — Кулунда — Барнаул — Новокузнецк — Абакан — Тайшет — Братск — Осетрово. Южсиб примет на себя значительную часть грузооборота старой сибирской магистрали.

— Изыскательские работы на трассе Абакан — Тайшет, — продолжает Дмитрий Иванович, — начались еще во время войны, в тысяча девятьсот сорок втором году... Раскачивались долго, а потом сразу загорелось — давай, давай. В ноябре тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года пришли мы сюда без денег, без проекта. Помню, станцию Минусинск мерили прямо шагами по снегу, и я все время боялся, как бы дома не налезли на будущее полотно. Теперь, возможно, комиссия спросит: почему это здание стоит не в соответствии с проектом? Придется промолчать. Случаются накладки и посерьезнее. Сначала было решено строить Абакан — Тайшет на паровой тяге. Потом передумали на тепловозы. Теперь решили сразу вести электрическую тягу — а проекта нет! Так что проблем хватает. Трасса оказалась настолько сложной, что пришлось разбить ее на три плеча — западное, центральное и восточное. Вот посмотрите схему. — Коротчаев достал из папки несколько экземпляров синьки и протянул нам.

Я развернул схему и ахнул: ну прямо фронтовая карта с боевой обстановкой. Названия станций — Курагино, Кошурниково, Жебь, Сисим... Над станциями красные флажки, только указатели другие.

СМП-241 — это вовсе не стрелковый моторизованный полк, а строительно-монтажный поезд.

МК-48 — не моторизованный корпус, а механическая колонна.

ТО № 1 — тоннельный отряд.

МО-5 — мостовой отряд.

— А что такое КПП?

— Наверное, вы думаете: контрольно-пропускной пункт, как во время войны? Но это всего-навсего комбинат производственных предприятий. Наше плечо доходит до двухсотпятидесятого километра, и надо сказать, что наш участок самый трудный. Смотрите, у нас самые высокие перевалы — Козинский и Крольский, мы строим восемь тоннелей из девяти, почти все крупные мосты, виадуки. Наверное, именно поэтому к нам чаще всего наезжают корреспонденты. Вы не первые...

Мы дружно вздохнули. Коротчаев улыбнулся.

— Впрочем, если вам удастся дойти до Тайшета через все три плеча, вы будете первыми корреспондентами, которые пройдут всю трассу насквозь. Когда думаете отправляться?

— Готовы хоть сейчас!

Сегодняшний маршрут: Красноярск — Абакан, триста километров. До Тайшета остается каких-нибудь шестьсот сорок семь километров и девяносто четыре метра.

## День второй

Со скоростью сто километров в час машина уносит нас прочь от трассы Абакан — Тайшет.

Пересекаем знаменитую минусинскую котловину, которую часто называют сибирской Италией за ее теплый и мягкий климат. Хотя здесь совершенно оче-

видная Сибирь, климат минусинской котловины совсем не сибирский. Северная гряда Саяна надежно прикрывает котловину от арктических циклонов, минусинское лето продолжительнее и теплее, чем всякое другое сибирское...

Сегодняшняя поездка началась неожиданно. За завтраком раздался телефонный звонок, и мы узнали, что комиссия партгосконтроля в полном составе выехала в Шушенское.

Решаем догнать комиссию, побывать в Шушенском, а заодно договориться с председателем комиссии о совместной поездке по трассе.

И вот мы — у дома, в котором провел годы ссылки Владимир Ильич. Стоит вереница легковых машин, экскурсионный автобус.

В далекое село, куда Макар телят не гонял и почта доходила на семнадцатый день, пролегла теперь широкая народная тропа — до ста тысяч экскурсантов отмечают работники музея ежегодно. Шушенское стало районным центром с гостиницей, аэропортом, телефонной станцией.

Пока смотрели музей, комиссия уже укатила. А потом мы, позабыв обо всех комиссиях, провели еще три часа в минусинском музее и поздно вечером вернулись к нашему вагону. Проводница Галя о комиссии ничего не знает. Звонить куда-либо уже поздно.

Проехали двести двадцать километров. До Тайшета по-прежнему шестьсот сорок семь километров девяносто четыре метра.

### День третий

Проснулся оттого, что дом наш пришел в движение. Колеса слабо застучали на стыках, столб в окне сдвинулся и уполз.

Некоторое время маневрируем на путях. Между вагонами вставляется платформа, на ней два вездехода.

В салоне шумно и многолюдно. Дмитрий Иванович Коротчаев знакомит нас с членами комиссии. Разговор, прерванный нашим появлением, возобновляется.

— Сколько вы сказали — сто восемьдесят?

— Первые пробеги уже проведены. Я считаю, что такая скорость вполне реальна для будущего года.

— В Японии готовят опытный участок на двести пятьдесят километров.

— Интересная скорость.

— Как же они будут укреплять полотно?

— В основном тяжелые рельсы, железобетонные шпалы.

— Если мы доведем линию Москва — Ленинград до двухсот километров, то вполне сможем конкурировать с самолетом.

— По-моему, ТУ-104 летит пятьдесят минут.

— Эх, батенька, так нехорошо спорить. Полагается брать фактическое время — от квартиры до квартиры. До Внукова добираться час, и по правилам вы обязаны приехать туда за час до вылета. И там до города не менее часа, и еще полчаса вы потратите на отторгнутый от вас багаж. Вот и посчитайте — четыре часа с лишним. А на поезд вы можете прийти за две минуты до отхода. Через три часа вы в Ленинграде.

— Все равно двести километров вы без железобетонных шпал не возьмете.

— В ближайшие годы будем давать до семи миллионов штук.

— Не много ли?

— Сомневаетесь? Цифра уже записана. А ведь это не так просто — цифру записать.

— Товарищи, вышли на перегон.

По этой команде члены комиссии раскрывают блокноты и бросаются к задним окнам.

Салон-вагон идет последним. В задней стене вагона сделаны окна. Они открывают обзор на полотно. Мы видим дорогу не так, как видят ее пассажиры, кото-

рые могут любоваться лишь мелькающими в окнах столбами да окрестностями. Мы смотрим на дорогу, как смотрит на нее хвостовой кондуктор, сидящий с флажками на задней площадке тормозного вагона.

— Вы наблюдаете железную дорогу за два года до ввода в эксплуатацию, — говорит Дмитрий Иванович Коротчаев.

Да, до сдачи железной дороги еще два года, но уже сейчас ставится вопрос о качестве строительства, чтобы потом второпях не пришлось исправлять ошибки и недоделки. С этой целью и приехала из Москвы комиссия партийно-государственного контроля. Поезд идет довольно ходко, но у членов комиссии глаз острый, тотчас заметят малейшую оплошность, на которую мы, заезжие корреспонденты, не обратили бы внимания: незасеянные откосы, плохо уложенную щебенку, слабый балласт... Как только увидят что-нибудь сомнительное, поезд тут же останавливается.

Рядом с Коротчаевым сидит пожилой мужчина в дешевом брезентовом плаще. Это Георгий Михайлович Моченов, научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Он и является председателем комиссии. Дмитрий Иванович Коротчаев дает пояснения:

— Тут действительно большое полотно. Сильные ветры преимущественно поперечного направления. С пашни наносит чернозем...

Коротчаев опытный строитель, тридцать пять лет провел на стройках железных дорог, и все-таки немного нервничает — это заметно.

— Как же вы собираетесь лечить его? — такой вопрос задает Коротчаеву представительный седовласый мужчина Федор Иванович Антонов, член комиссии. Коротчаев объясняет.

Напротив сидит еще один член комиссии. Говорит мало, смотрит строго. Как его зовут, я еще не слышал, но про себя окрестил так: «ученый малый, но педант».

С нами едут несколько инженеров из управления стройки: заместитель главного инженера, начальники планового и технического отделов, главный взрывник и еще ряд товарищей. Все с папками и портфелями, готовы тут же отвечать на любой вопрос членов комиссии.

Всего в вагоне семнадцать человек.

С Алексеем Артемьевичем Пауком, начальником строительно-монтажного поезда № 237, мы познакомились вчера во время выступления в клубе строителей и потому сегодня встретились как старые знакомые. Среди членов высокой комиссии он чувствует себя явно напряженно: то нервно засмеется, то сосредоточенно нахмурит брови, то согласно закивает головой. Дело в том, что первые километры трассы, по которым мы сейчас едем, строил как раз поезд № 237. Паук был здесь с самого начала.

Первые километры — самые главные: от того, как оценит комиссия качество первых километров, зависит не только настроение Паука, но и настроение самих членов комиссии, их взгляд на все последующие километры — или доброжелательно снисходительный, или же настороженный, придирчивый. Паук понимает всю ответственность, которая ложится на первые километры (и на него самого!). Стоит посреди салона, и на добром его лице отражаются все состояния человеческой души.

Проезжаем мост над Абаканом. Ритмичные сплетения металла уходят в глубину перспективу, все время усложняясь и наслаиваясь друг на друга. Мост сверкает белой краской, резко выделяется на фоне неба и воды. Вот он уже уплыл назад, оставив нам для восторгов четкий высокий прямоугольник.

— Прекрасная отделка, — говорит председатель, щелкая стареньким фотоаппаратом.

Паук сияет.

— Самая широкая река в мире была Абакан, — проникновенно говорит он, — по три дня переправлялись...

На енисейском мосту история повторяется. Грохочут колеса, выбегает четкий ажурный рисунок. На лице Паука тревога и надежда.

Мост позади. Вагон катится по живописной долине с покатыми склонами. Четкая линия насыпи ровно тянется поперек поля.

— Ширина полотна явно завышена, — говорит председатель.

Паук согласно кивает головой — ну конечно, завышена, в самом деле завышена. Если так считает Георгий Михайлович, значит так и есть.

На помощь Пауку приходит Коротчаев:

— Никак нет, Георгий Михайлович. Тут двусторонняя заливная пойма, это и полотно и дамба одновременно.

— Понятно, — говорит Георгий Михайлович.

— Минусинская протока. Бурные паводки, — бросает из глубины салона Алексей.

На лице Паука облегчение.

Минусинск проходим без остановки. Проплыло белое здание вокзала, мелькнула фигура дежурного в красной фуражке, очередь пассажиров у кассы. Широкая, залитая асфальтом полоса перрона долго бежит вслед за вагоном, отделяя полотно дороги от соснового леса.

Поезд выходит на подъем и замедляет ход.

Будем смотреть двухчковую трубу.

Не то скатываюсь, не то сползаю с высоченной насыпи. Члены комиссии уже там, у трубы.

Вот что такое труба: в основании насыпи уложен тоннель, имеющий прямоугольное сечение, рядом с первым — точно такой же второй. Тоннель довольно просторен — можно пройти сквозь него полусогнувшись. Это и есть двухчковая труба для пропуска весенних вод. Сейчас в трубе сухо.

Когда-то я мечтал о таких трубах. На войне из них получались самые хорошие командные пункты. Сидеть было в такой трубе — одно удовольствие, особенно когда вокруг сыплются снаряды. За всю войну мне встретилось две такие трубы.

Члены комиссии стоят на том конце, голоса их гудят в трубе, а полусогнутые фигуры и головы, заглядывающие в тоннель, четко выделяются в небесном прямоугольнике.

— Хорошая отделка... ро-оша-а...де-ел... — гудит голос в трубе.

— Могучая труба. У-уча...ба-а, — гудит второй тоннель.

Рядом стоит Алексей Артемьевич Паук. Он заглядывает в трубу с таким видом, будто видит ее впервые.

— Прекрасная труба, — заключает председатель Моченов. — Поехали дальше.

Сияющий Паук заглядывает в трубу и, убедившись еще раз, что труба действительно прекрасна, быстро карабкается по откосу к вагонам.

— Вот вам человеческие противоположности. Водоснабженцы строят свои расчеты, исходя из всемирной засухи, а мы проектируем трубы и мосты, исходя из предполагаемого всемирного потопа.

— Кто вы? — спрашиваю в упор говорящего.

— Любопытный пассажир, — отвечает молодой человек в свитере и быстро взбегаем по откосу.

Молодой человек в свитере — Николай Николаевич Большаков, главный инженер проекта восточной части трассы, примыкающей к Тайшету. Его участок начинается от станции Саянская; до тех пор, пока мы туда не приехали, он считает себя любопытным пассажиром. Ну что ж, придется подождать, пока он выйдет из резерва на четырехсотом километре.

Новая остановка. Осмогр путепровода.

Происходит забавная сценка, не лишенная смысла. В этом месте насыпь железной дороги встречается с неглубокой выемкой шоссе. Таким образом, дорога и шоссе имеют собственные откосы.

Ограда путепровода сверкает свежей краской, откосы насыпи аккуратно выложены дерном. А на шоссе, где часто проносятся машины, следы осенней грязи, откосы вытоптаны. На эти откосы и обращает внимание представитель комиссии.

— Откосы не соответствуют. Надо засеять.

— Позвольте,— возражает представитель дороги.— Откосы относятся к шоссе. Они принадлежат автодорожникам. Пусть автодорожники и засевают их.

— Дорогу проложили вы. Следовательно, и откосы ваши.

— Нет. Это старый тракт, и выемка всегда была здесь. Мы только воспользовались этой выемкой и тем самым сократили объем работ по насыпи...

Вчера мы проехали под этим путепроводом по дороге в Шушенское, никто из нас и не догадывался, какие страсти может вызвать этот путепровод.

А страсти разгораются вовсю.

— Видите грязь на шоссе? — доказывает представитель дороги.— Там могут быть даже рытвины, колдобины. Так что же, мы должны заделывать и эти колдобины?

— Нет, не должны.

— Следовательно, и откосы должны засеивать автодорожники.

— Хотя откосы и находятся в выемке, но ведь они одновременно служат укреплением для насыпи — так?

— Предположим.

— В таком случае спрашивается: почему автодорожники должны укреплять вашу насыпь?

— Не понимаю, почему вы так рьяно защищаете интересы автодорожников.

— Потому что я знаю: они не станут засеивать эти откосы. Я защищаю не автодорожников. Я защищаю откосы.

Станция Жерлык возникает среди тайги как сказочное видение.

В Минусинском музее есть фотография: выдавший виды строительный вагон, на крыше доска с криво написанными буквами — «Жерлык». А ныне четкий рисунок построек, путей, столбов наложен на тайгу, будто никогда здесь не было глухомани, будто рельсы лежат здесь от века.

Председатель стоит в плотном кольце строителей.

— Хорошую станцию построили вы, товарищи,— говорит он.— С такой станцией не стыдно выходить и перед государственной комиссией, и перед пассажирами.

Снова перестук колес, оживленные разговоры в салоне. Бегут километровые столбы. Стук колес переходит в грохот — внизу река, сплетение моста убегает в перспективу.

Паук подсаживается рядом.

— Все. Гора с плеч.

— Что все?

— Свободен,— продолжает он.

— Как свободен? — не понимаю я.

— Река Туба — девяносто девятый километр. Как вы думаете: спросить у них?

Я все еще не понимаю.

— Кончился мой участок. Ну и вот, хочу спросить, как им понравилось... качество... и вообще. Все-таки много замечаний было. Как вы советуете? Может, неудобно?

— По-моему, ничего неудобного нет.

— Пойду спрошу.— Паук поднимается, доброе лицо его изображает сложнейшую гамму — тревогу и облегчение, нерешительность и решимость, ожидание и страх, надежду и отчаяние — все вместе. Вся жизнь Паука — в этой дороге!

Наблюдаю, как Паук пробирается к председателю. Пробрался, перевел дух.

— Разрешите спросить. Как вам наша работа?

Георгий Михайлович встает.

— Должен сказать вам открыто, товарищ Паук, редко можно встретить такое качество работ у строителей. Вы уже подошли к уровню эксплуатационников, но это вовсе не значит, что вам некуда двигаться дальше. Обратите внимание на большое полотно на одиннадцатом километре, на откосы...

Паук счастлив. Председатель кончил похвальное слово. Жест Коротчаева возвращает Паука на землю.

— При такой скорости движения многие недоделки выпадают из поля зрения. Недоделок у нас еще много, мы ведь строящаяся дорога, а не Министерство путей... Учтите, Алексей Артемьевич, у вас все еще начерно, набело еще ничего не сделано.

Паук согласно кивает. Коротчаев заканчивает свою педагогическую речь и обращается к членам комиссии:

— Скоро вы увидите, что такое строящаяся дорога.

Поезд стучит на стрелках. Станция Курагино. Паук подходит ко мне.

— Эх, жалко, быстро проехали. Сколько можно рассказать. О каждом километре — роман.

— Давайте начнем с первого километра.

— Конечно, с самого первого, — живо подхватывает Паук. — С моста через Абакан. Это же такая река — по три дня через нее переправлялись во время уборочной. Машины стоят в очереди, а паром только один. Попробовал проскочить прямо к переправе — шоферы чуть «газик» в реку не спихнули. Я говорю: я же строитель, мост еду строить... У входа в город выемка была перед мостом. Стали рвать, окна в домах сыплются. Пришлось уменьшить заряды в три раза — тогда пошло на лад.

— А мост через Енисей? — продолжал Паук. — Мы пришли в апреле пятьдесят восьмого, весна на носу, а нам надо технику на тот берег забросить, иначе год пропадет. Два экскаватора, как водится, прибыли с недельным опозданием. Бегу на Енисей, а милиция пост на берегу выставила: вот-вот ледоход начнется. Ну, все, думаю, загорай Паук на все лето на этом берегу. Тут ребята прибежали: «У них пост дневной только, ночью никого нет». — «Кто со мной пойдет? Записывайтесь!». К вечеру подобрался тайком к берегу, а как милиционер ушел, двинулись на лед. Трещит, качается, ночка выдалась памятная. Пятьсот метров два часа шли...

Салон опустел. По соседней колее с тархтеньем проехала дрезина. Паук поднялся.

— А что же дальше?

— Да вот бежать надо. Это за мной. Поеду на дрезине обратно: дела ждут. Жалко, жалко, казалось все — ох, медленно едем. А теперь вижу — быстро проехали.

Путешествие только началось, а уже подошло первое расставание...

Появился, если можно так выразиться, «сменщик» Алексея Артемьевича, руководитель следующего участка, на который мы ступили.

Поджарый, сухолицый, в грубом брезентовом плаще, он подошел ко входу в столовую, где я стоял, покуривая, и спросил:

— Как пообедали? Есть можно?

Отвечаю, что можно.

— Я-то сам дома питаюсь, а вот столовая, говорят, у нас неважная. Никак руки не дойдут. Но я до них доберусь...

И вдруг — второй вопрос:

— А трубы они смотрят?

— Трубы смотрят.

— Это хуже. — Он вздохнул.

— Не успели?

— Когда же тут успеешь? Вот во флоте действительно порядок. Там официально уведомляют: придет адмирал, приготовиться, надраить. Начинается

аврал, все блестит, сверкает — полный марафет. А у нас темнят. Непорядок. Теперь вот опять морока — вас сопровождать. А у меня дел невпроворот.

Так я познакомился с нашим новым спутником, Виктором Пантелеевичем Фроловым.

С комиссией он держится независимо, подчеркнуто-официально. Сидит в глубине салона, отвечает только на вопросы, причем скупно и точно: обстановку знает назубок.

Саян подступает все ближе. Кажется, горы вот-вот сомкнутся, встанут на пути, но нет, колея разрубает их выемкой, снова стремится вперед, карабкается по склонам. А горы не сдаются, встают все выше и ближе...

Вагон остановили. Свисаю на поручнях с площадки. Глубокая выемка с поворотом врывается в распадок и уходит в черный провал, а над ним, над этим провалом, московской знакомицей стоит уверенно на крепких приземистых ногах буква «М».

На откосе выемки уже в разгаре оперативное совещание — что делать с грунтовыми водами? Вдоль полотна вырублены глубокие бетонные лотки для стока подпочвенных вод — есть опасение, что зимой они будут замерзать и образуется наледь...

Поезд медленно входит в тоннель. Председатель просит не зажигать света в вагоне. Темнота горы плотно окутывает нас, лишь серебристый овал светится позади и две серебряные нити тянутся от него к вагону. Рельсы долго блестят, потом гаснут. Овал превратился в серпик, пожелтел и сделался похожим на луну, висящую над самым горизонтом.

Вокруг крошечная тьма. Над нами восемьдесят метров скалы. Тоннель называется Кордонским.

Стены снова медленно проступают из мрака, наконец подземный ход обрывается, черная глубина, только что окутывавшая нас, оборачивается удаляющимся овальным пятном, которое чернеет на сверкающем склоне горы.

А под горой бежит река. Снова раскрылись широкие дали. Тайга взбирается по косогорам, ершистая гребенка светится там, где склон сливается с небом.

Отмечаю галочкой на схеме — Кизир, так называется река, которая бежит вниз.

По старой фронтовой привычке я сложил схему, как боевую карту — гармошкой. Галочка ложится на сто сорок втором километре, одну четвертушку схемы уже проехали.

Председатель Моченов весь день просидел на главном председательском месте — у раскрытой двери. И лишь когда голубые сумерки сползли с гор, когда синяя дымка застлала убегающую ленту, Моченов с сожалением поднялся и объявил остановку до утра.

Расходимся по своим купе. Сегодня проехали сто пятьдесят восемь километров, от Абакана до Журавлево. До Тайшета остается четыреста восемьдесят девять километров.

### День четвертый

Бьет в окна солнце.

Сутки совместного путешествия заметно сблизили нас, все называют друг друга по именам, разговоры становятся непринужденными, хотя и не уходят далеко от дорожной темы.

— Укладка кончается на двести четырнадцатом километре, у Козинского тоннеля. Будем выбрасывать рельсы в обход горы.

— А чего медлят тоннельщики?

— Доедем до Богородского, выясним на месте.

— У них недавно вывал породы был. Десять дней тоннель находился в аварийном положении. Поэтому и задержка.

— В Джебском тоннеле тоже был вывал, на три тысячи кубов. Но сдали в срок.



— Мы на них психологический нажим осуществляли. Навезем к порталу рельсы, горы шпал — вот видите, вы нас держите, не можем укладку дальше тянуть. Действовало безотказно. А на Козе они третий раз срывают сроки.

— Надо довести до ума.

— Вот-вот. Приедете и немедленно дадите ОЦУ.

— Что это такое?

— Особо ценные указания.

— Конечно, с паровозами было бы проще. Тоннель плачет — не беда. А напряжение — как протянуть, если тоннель плачет?

— Нужна изоляция.

— Так наледь как раз по гирлянде и образуется — как сталактит.

— Люди в космос забираются, а мы с подземными проблемами копаемся...

По обе стороны дороги, по краям прорубленной просеки лежит поваленный лес. Деревья высохли, почернели, стволы торчат вверх корневищами. Черные кучи лесоповала виднеются там и тут.

Думалось, при виде такого хаоса члены комиссии застрочат карандашами, начнут возмущаться. Но председатель увидел лесоповал и спокойно, почти равнодушно спросил:

— Как думаете поступать с лесом?

Коротчаев столь же спокойно пожал плечами.

— Что мы можем?

— Сколько вам дают на гектар?

— Девяносто семь рублей.

— Понятно.

Это любимое словечко председателя — «понятно». А мне — вот ничего не понятно. Что за девяносто семь рублей? Почему погибает лес? Почему люди спокойно смотрят на то, как лес погибает? Придется набраться терпения и подождать, что будет, — не может же комиссия все время спокойно смотреть на гибнущий лес.

В салоне происходит движение.

— Подходим к сто семьдесят второму километру, — говорит Дмитрий Иванович Коротчаев.

— Там что — выемка или насыпь?

— Выемка. Та самая...

В окне проплывает небольшой обелиск, сделанный из жести и окрашенный в голубой цвет. Обелиск стоит рядом с полотном на невысоком холмике: строчек не разобрать. Голубой обелиск быстро уходит, уменьшается. За ним видна неглубокая пологая выемка. Над выемкой сияет ослепительное солнце.

Тридцать тонн взрывчатки были заложены здесь в косогор. Взрыв назначен на 16.00. Бригада взрывников с утра отправилась к шурфам закончить работу.

До взрыва оставалось два часа. Сигнальщики с красными флажками вышли на границу зоны, чтобы не пустить людей к косогору.

В это время из-за горы выползла тяжелая низкая туча: в горах Саяна часто случается так. Туча повисла над косогором, где работали взрывники. молния ударила отвесно в землю, и земля ответила ослепительной вспышкой, грохотом взрыва. Взрывники погибли.

— То ли сеть нарушена была, то ли молния прямо в шурф вошла — теперь никто не узнает.

Мы молчим. Выемка все еще виднеется вдалеке. Обелиск превратился в точку.

На месте временного обелиска будет поставлен у дороги памятник: живые не забудут погибших.

Вагоны замедляют ход. Еще одна зарубка на человеческой памяти — станция Кошурниково.

В Минусинском музее висят на стене три фотографии.

«Александр Михайлович Кошурников, начальник экспедиции по изысканию трассы, погиб 3 ноября 1942 года в районе реки Казыр».

«Стофато Константин Аристович — инженер экспедиции, погиб 2 ноября 1942 года в районе реки Казыр».

«Журавлев Александр Диомидович, старший инженер экспедиции, погиб 2 ноября 1942 года в районе реки Казыр».

Я обратился с вопросом к Евгению Павловичу Алексееву, главному инженеру проекта.

— Далеко ли отсюда до места гибели Кошурникова? По-моему, мы недавно ехали вдоль Казыра?

В Саяне есть две реки с похожим названием — Кизир и Казыр. Мы ехали вдоль Кизира. Казыр остался южнее. От станции Кошурниково до могилы более ста километров.

— Сто километров? Другая река, другая трасса...

— Сейчас объясню. Во всякой работе существует свой коэффициент полезного действия. У нас, железнодорожных изыскателей, он равен примерно десяти процентам. Чтобы проложить трассу в семьсот километров, пришлось обследовать и разработать в вариантах десятикратную длину — семь тысяч километров. Когда в тысяча девятьсот сорок втором году, несмотря на войну, было решено продолжить изыскания Южно-Сибирской магистрали и изыскателям дали так называемое сокращенное проектное задание, Кошурников, который хорошо знал горы Саяна, решил в первую очередь проверить Казырский вариант. Этот вариант был короче на восемьдесят километров, все время шел по долине Казыра, имел, как мы говорим, параллельный долинный ход. Минусами варианта были — высокий, на полторы тысячи метров, перевал, огромный, на семь километров, тоннель на седле. Места там дикие, необжитые, кроме мха, ничего не растет, населенных пунктов почти нет. Им оставалось дойти до жилья всего пятьдесят километров...

— Как же узнали о их гибели?

— Местные охотники Степовы — муж и жена — Анна и Иннокентий нашли тела, документы, дневник.

Во время войны, в годину суровых бедствий, трагическая смерть трех изыскателей смешалась с народным горем, растворилась в нем. Но погибших геологов не забыли.

Они были вместе в поиске, и теперь их имена навечно соединили две стальные полосы рельсов — разъезд Журавлево, станция Кошурниково, разъезд Стофато.

Председатель объявил в Кошурникове остановку на четыре часа. Члены комиссии будут совещаться с тоннельщиками. Мы собрались тем временем в путешествие по поселку.

В Кошурникове живет и работает Володя Стофато, сын погибшего изыскателя.

Находим Володю в одной из комнат строительной конторы. Он смотрит на нас с доброй улыбкой, а глаза у него пронзительно-голубые и печальные. Каждый корреспондентский визит понуждает юношу вспоминать о трагической смерти отца.

Я так и не осмелился задать ни одного вопроса. Я знал, что Володе было два года, когда случилась казырская трагедия, отца он, следовательно, не помнит. На трассу он приехал, отслужив армейскую службу моряком на Балтике — об этом говорят его бушлат и тельняшка. Я знал также, что он приехал на трассу по доброму побуждению вместе со своей матерью, женой Константина Аристовича Стофато, и, когда ехал сюда, не представлял, верно, всех сложностей, которые могут возникнуть здесь в его жизни. Посмертная слава отца перешла к сыну, и вдруг Володя понял, как трудно жить на уровне такой славы. Он работает прорабом на стройке домов; но план идет туго, недавно сделали начет за брак, а корреспонденты рвут Володю на части. В Красноярске был слет молодых строителей, его послали туда делегатом, и он знал, что посылают не его, начинающего прораба Володю, а сына изыскателя Стофато. Я знал стороной об одном эпизоде. Володю просили выступить с речью. Он отказался, считал, что недостойн выступать

с высокой трибуны. «Так ты Расскажи об отце», — просили Володю. «Об отце и так все знают». — «Тогда Расскажи о себе, о своей работе». — «Вот этого я и не заслужил. Будет второй слет строителей, тогда, может быть, заслужу»...

Идем в поселок.

Кошурниково живописно лежит на косогоре. Поселок строится, кругом штабеля бревен, досок, шлакоблоков. Двухэтажные, прочные на вид дома стоят по обе стороны улицы. Во дворах у сарайчиков аккуратно сложены поленницы. Молодые матери стоят с младенцами на руках и задумчиво глядят вдаль.

На обочине прилепился мотоцикл с коляской. Крепкий парень укладывает в коляску мешок, уминая его большими, узловатыми руками. Ему помогает молодая женщина.

— Магнето проверил? — спрашивает женщина.

— Барахлит что-то.

— Канистру я тебе доверху налила.

— Должно хватить — не знаю, как дорога.

— Кланяйся там от нас...

Мотоцикл мощно тарахтит, переваливаясь, катится по дороге. Женщина одиноко стоит на обочине, глядя вслед машине.

Спускаемся на осиновый распадок. Внизу мостик через ручей, рядом жердяная стлань для полоскания белья. Вросши колесами в мох, стоит строительный вагон. На боковине мелом написано: «Баня».

Две женщины возятся у вагона, налаживая свое немудрое банное хозяйство. Нынче в бане женский день, мужчины смогут прийти завтра...

Над бараком, где расположена контора строительно-монтажного поезда, густо поднимаются антенны, сплетения проводов...

Отдыхаем на скамейке у спортивной площадки. Улица уходит вниз, к станции. По склонам далекой котловины раскинулось селение Артемовск — центр золотодобывающей промышленности Саяна. С приходом железной дороги рост города ускорится, там уже видны многие начатые постройки.

Наш поезд стоит внизу: два игрушечных тепловоза, три крохотных вагона, платформа с автомашинами. На соседний путь со стороны Абакана выходит другой игрушечный поезд — вагоны с углем.

Тепловоз дает гудок. Пора двигаться.

Проехали немного... Сидел в купе, писал. Вагон резко трянуло, поезд стал в тишине: сразу почувствовалось, что вагон накренился. За окном послышались громкие голоса.

Тепловоз стоял прямо на земле, и было видно, как колеса сошли с рельсов, прочертили на их глянцевой поверхности темную полосу, оставили глубокую борозду на шпалах и уткнулись в балласт. Машинист еще не пришел в себя от пережитого волнения и торопливо, радостно объяснял:

— Рука-то у меня как раз на тормозе лежала. Хотел сигнал на повороте давать и за тормоз взялся. Я сразу и затормозил, а то бы...

Падать было куда. Вагоны остановились на высоченной насыпи, которая пересекала по дуге глубокую крутую падину.

— И как это меня угоразило, в аккурат руку на тормоз положил. — продолжал радоваться машинист.

Подшли Коротчаев, Моченов, члены комиссии.

— Сейчас дадим связь, вызовем бригаду.

— Часа на три придется задержаться.

— Полотно, видно, не в порядке, — придирался чей-то голос. — За качеством плохо следите, просадка получилась.

— Полотно молодое, необкатанное, вот и весь сказ.

Очевидно, больше всех переживает случившееся Дмитрий Иванович Коротчаев. Такой конфуз перед лицом комиссии! Однако держится он невозмутимо,

отдал несколько кратких распоряжений начальнику участка Долгских, который сменил Фролова, и ушел в вагон.

Подходит Евгений Павлович Алексеев.

— Шестой раз,— говорит он.

— Что шестой раз?

— Шестой раз в этом году схожу с рельсов. Однако все на небольшой скорости...— И тут же он замечает: — Уже началась Джебская петля — самое трудное место на трассе.

— И потому, наверное, самое красивое?

— Скорее, наоборот. Красота горного пейзажа прямо пропорциональна количеству вертикалей, а всякая вертикаль — враг проектировщика железных дорог. Нам нужны горизонталы, тогда мы поведем трассу вольным ходом... А вертикаль диктует нам руководящий уклон... Видите там, внизу,— Алексеев показал рукой вбок от насыпи,— это тоже наша дорога. Разъезд Стофато.

В далекой нижней седловине, закрытая наполовину ближним косогором, виднелась широкая площадка, вырубленная в скале; несколько товарных вагонов стояло там в одиночестве.

— А что такое руководящий уклон?

— Это сегодняшний предел наших технических возможностей. На Абакан — Тайшете, как и на главном сибирском ходе, установлен уклон девять тысячных. Это значит, что мы имеем право поднимать полотно не более чем девять метров на километр трассы. От разъезда Стофато мы должны подняться на Козинский перевал. По прямой тут восемь километров, а перепад высоты около двухсот метров. Как же быть? Пришлось делать петлю, своеобразный серпантин в горах, чтобы удлинить трассу до двадцати километров. И все равно пришлось пойти на некоторое превышение уклона, чтобы набрать двести метров высоты и подойти к перевалу,— завтра вы его увидите...

Мы медленно шагали по шпалам, удаляясь от тепловоза. Трасса огибала склон, шла по высокой насыпи напрямик через лог, затем снова входила в гору, раздвигала ее глубокой выемкой.

— В этом месте интересный, почти хрестоматийный рельеф,— говорил Алексеев.— Насыпь сразу же переходит в выемку. Причем высота насыпи — критическая: около тридцати метров. Будь эта насыпь выше хотя бы на несколько метров, сыпать ее было бы уже невыгодно — пришлось бы ставить над логом виадук. Колее-то все равно, как она перемахнет через лог, по насыпи или по виадуку, а вот экономическая сторона... Словом, приходилось считать. То же и с выемкой. Последний критический метр — двадцать девятый. Было бы хоть на два метра больше — пришлось бы врезать в гору тоннель.

— Но тоннель, наверное, гораздо дороже в строительстве?

— Дело в том, что дорога строится один раз, а работает сотни лет. Если мы проигрываем на стоимости строительства, то выгадываем на эксплуатации: тоннель в эксплуатации проще и удобнее. Тут ведь Сибирь, бураны, выемку будут забивать такие снега, что придется все время держать тут снегоочистители. Я и сейчас не уверен, что мы в данном случае выгадали. На строительстве, правда, сэкономили, но если пересчитать на двадцать лет эксплуатации...

Выемка была образована гигантским взрывом, одним из самых больших на трассе. Сотни тонн аммонита разорвали скалу, воздушная волна прошла по косогору, опалила и разнесла тайгу на десятки метров вокруг. Макушки сосен, кедров снесены, деревья стоят, открыв расщепленные стволы, ветви их сплелись, перепутались — такой лес можно было видеть только на фронте. Гигантская выемка была образована за десять секунд.

Подходит паровоз, облепленный людьми, спешащими на помощь. Тотчас все ожило, задвигалось. Машинист тепловоза рад, что у него появились новые слушатели, и продолжает свою тему: «Рука-то как раз на тормозе лежала...»

Люди тащат шпалы, кувалды, железные накладки.

Звонкий перестук кувалд отдается эхом в горах. Шпала сочится под костылем черной, смолистой кровью.

Накладки готовы. Паровоз и тепловоз сцепились. Задвигались шатуны, забуксовали колеса. Тепловоз тяжело стронулся с места, раздавливая подложенные шпалы, въехал на рельсы, еще, еще, под общие крики восторга еще немного и — ах! — вторая пара колес закатилась на рельсы, прошла по ним и вновь соскочила на шпалы.

— Давай горбушу.

Эта штука и впрямь горбуша от черного каравая, темная, маслянистая, словно бы поджаристая. Если положить ее мякишем на шпалы, выпуклой стороной к рельсам, да еще сделать две вмятины на корочке, чтобы она плотнее прижалась к рельсам, — как раз получится то, что надо. Сделана такая горбуша из стали и весит пуда три.

Снова паровоз дергает тепловоз. Колеса натужно въезжают по горбуше, прокатываются по рельсам метр-другой и опять соскальзывают на шпалы. Горбуши выдирают, снова крепят впереди колес. Так повторяется три или четыре раза, и каждый раз надежда сменяется разочарованием.

Стало уже темно, работа идет под яркими перекальными лампами. Над сопками взошла луна. Морозит. Никто не покидает поля битвы. Начальник строительства Коротчаев стоит, подняв воротник пальто. За все время он не произнес ни слова, ни разу не вмешался, не сделал ни одного замечания. Крепкую поддержку надо иметь, чтобы стоять вот так и не крикнуть, не поправить, когда дело не ладится. Коротчаев изредка переходит на другую сторону насыпи, чтобы посмотреть, как там крепят горбуши. Колеса срываются снова. Начальник молчит. Его зовут ужинать. Он не отвечает.

Председатель тоже наблюдает молча и чуть в стороне.

Но вот еще один рывок паровоза, тепловоз вкатился, встал на рельсы всеми шестью колесами. Дизели его загудели натруженно и покорно, торжествующие крики людей разносились над облитыми лунным светом горами.

Тепловоз послушно катит нас на ночлег в Кошурниково.

Проехали сегодня немного. До Тайшета осталось четыреста шестьдесят девять километров.

### День пятый

Утром по вагону разносится истошный крик:

— Виадук!

Выскакиваю из купе. Все население вагона прильнуло к окнам. Поезд выходит на кривую, и виадук медленно разворачивается перед нами на той стороне косогора.

В самом центре Саяна возникло чудо конструкторской мысли и строительного искусства. Огромные железобетонные пилоны прорастают на дне ущелья, карабкаются в обе стороны по косогору, становятся короче — и весь этот легкий, стремительный железобетонный взлет завершается трехсотметровой горизонталью. Я не специалист по мостам, но, верно, такому виадуку позавидовал бы сам Передерий, известный мостостроитель. Автором виадука является инженер Борис Михайлович Черепков.

Между тем виадук двести одиннадцатого километра величаво проплывает над нами. Вагон идет параллельно виадуку, и его верхний горизонтальный срез значительно выше нас — подъем по Джебской петле продолжается.

Скала закрывает виадук. Мы в тоннеле. Рваные серые глыбины смотрятся в окно: стены тоннеля еще не заделаны бетоном. Выходим на солнце. Виадук видится под углом. Внизу головокружительный провал. На ближней горе видна колея, по которой мы только что проезжали, правее и ниже — поселок с игрушечными домиками, с высокой башней бетонного завода, еще ниже и дальше, в ту-

манной дымке, виднеется разъезд Стофато. Вот и взобрались на Козинский перевал по Джебской петле.

Поезд проехал по виадуку и резко встал.

Снова сошли с рельсов. Однако на сей раз никого не интересуют подробности: все устремляются к виадуку.

Прекрасное сооружение смотрится со всех точек, особенно снизу, в летний день, когда на небе облака и кажется, что виадук плывет.

Параллельно полотну идет второй ряд опор, однако без пролетов. Это сделано для второй колеи.

— Мы ведь всю трассу проектировали с таким расчетом, чтобы можно было построить вторую колею, — напоминает Алексеев.

Члены комиссии ходят по виадуку, никак не налюбуются. Самая большая средняя опора имеет высоту пятьдесят шесть метров, всего опор — девять. Расстояние между ними по сорок метров.

Поезд дальше не пойдет. Тепловоз закатят на рельсы без нас. Мы не доехали до конца несколько сот метров.

После завтрака отправляемся к Козинскому тоннелю. На портале нас снова встречает знакомое «М» — видно, оно хорошо прижилось в Саяне, — девять тоннелей, восемнадцать порталов. Гляжу на черный срез портала, и только тут до меня доходит смысл того, что сказал Алексеев на виадуке: портал-то один, для одной колеи. В ответ на мое недоумение Алексей Павлович объясняет:

— Как вам известно, транссибирская магистраль является в настоящее время двухпутной магистралью. Однако до сих пор и на ней имеются участки с одной колеей, например, мост через Обь под Новосибирском. Там установлен блокпост, своеобразная противоположность разъезду, он-то и пропускает поезда в оба направления. Так и у тоннеля можно установить блокпост — задержки в движении не будет: для того и составляются расписания поездов. Просто тоннели будут работать с большей нагрузкой. А лет через тридцать, если случится такая неприятность, что нагрузка движения слишком возрастет и наши уважаемые потомки не смогут придумать ничего более остроумного, то им самим придется прорубать вторую нитку. Может, они еще успеют и меня пригласить для консультации. Тогда я приеду сюда в якутском экспрессе и скажу: рубите справа. И правее этого портала появится второй — только и всего.

Давненько я не имел дела с портянками. Нет, не разучился, живо намотал, как положено. Но еще быстрее намотал свои портянки председатель — бывалый, видно, человек. Он уже пританцовывает в резиновых сапогах, а я только докручиваю вторую ногу.

Надеваем брезентовые робы до пят, пластмассовые каски.

Портал Козинского туннеля встречает нас гулкой тишиной. Тоннель не круглый, как в московском метро, а овальный, со срезом понизу. Над головой образуются восьмиметровый свод —ходишь в тоннель, как в храм. Такое сечение тоннеля продиктовано технической необходимостью: дугой электровоза, нитью контактного провода, который будет свисать сверху.

Дневной свет остался за спиной, но отблески дня все еще угадываются на стенах.

Бетонные стены кончились, пошла серая рванина скалы. Голос за спиной говорит: «Гора у нас старая, мягкая».

Недоуменно останавливаюсь: под ногами одни шпалы — рельсов нет. Позади два торца поблескивают в свете ламп. Это конец пути, двести четырнадцатый километр.

Из глубины тоннеля движутся люди: в забое готовится взрыв. Инженер Богородский предлагает пройти по боковой штольне, так называемой «рассечне».

Штольня низкая, кривая, в острых нарезках скалы. Звонко гудит труба вентиляции, над самой головой тянется провод, светятся желтые табло. Под ногами хлюпает вода. Мимо проходит электровоз, за ним вагонетки с породой. Грубая

дуга ползет по проводу, просыпая тяжелые искры, наполняя штольню острым запахом перегорелого металла.

Гора тяжело вздрагивает, потом по штольне доходит до нас приглушенный звук взрыва.

— Сейчас выйдем на участок невзятого ядра.

— С востока идут коротким профилем. По нему мы уже соединились.

— Когда же вы дадите тоннель под укладку? Полотно за Козой захлебывается.

— По ядру осталось четыреста метров. Много рассечек приходится делать. Боремся с геологией.

Штольня поворачивает. Над головой снова высокий свод. Шаткая лесенка ведет наверх, на полку «короткого профиля». Дело в том, что тоннель прорезается в горе в два приема. Сначала проходят так называемый короткий профиль — сводчатую часть тоннеля, и уж затем, когда свод забетонируют, убирается «ядро», нижняя и основная часть тоннеля. Работы идут одновременно на двух горизонтах (на двух полках, как говорят проходчики).

Взбираемся по лесенке, идем «коротким профилем». В стене стоит дощатый стол, на столе телефон. К бетонной стене приклеен листок с социалистическими обязательствами работающих здесь бригад.

По лесенке спускаюсь вниз, на участок «взятого ядра». Наши уже стоят у того места, откуда мы свернули в штольню, проделав внутри горы довольно обширный круг, больше километра.

— Впервые работал под землей на шахте номер двенадцать, как раз напротив Большого театра, только чуть пониже. Вели тоннель к площади Дзержинского, — это говорит Марк Борисович Рывин, начальник колонны.

— А я шел под Красными воротами, — продолжает Алексей Петрович Богородский, главный инженер отряда. — Как сейчас помню, шахта двадцать два-бис.

— А у нас был номер тридцать восемь — сорок, — говорит начальник участка Александр Семенович Клычков. — Спустился впервые в ту шахту в тысяча девятьсот тридцать втором году. Шли от Арбата к Смоленской. Далеко мы нынче забрались.

Москвичи. Метростроевцы.

Рослый, плечистый Клычков рассказывает:

— Как-то летом в субботу смена ушла из тоннеля. Я уже домой пришел, жена билет в кино взяла. В это время звонит мастер Зимин: «Забой себя плохо ведет». Я на рысях обратно в гору, дорога тут одна, под виадуком. Забежал под свод, отдышался малость: вроде пока все цело, не рухнет. На пятнадцатом пикете смотрю — левая сторона себя показывает. Крепь трещит, даже арки тяжелого профиля выгнулись. Мы через это место недавно прошли — все в порядке было. И вдруг скала поползла в забой. Тут уж думать нечего — срочный аврал. Всех людей со лба забоя сразу вывел на поверхность. Вызвал из поселка лучшую бригаду Романа Штукайло — он недавно на слете был. Нам, главное, укрепить распорки, чтобы скала пришла в спокойствие. Поставили трубы понизу — выгибаются. Стали шпалы под трубы подкладывать. Потом второй горизонт труб с лесов ставим. Сутки не выходили — поставили двадцать семь распорок. Все сечение этими самыми трубами перекрыли. — Мы уже вышли на поверхность, и Клычков показал на толстые шестидюймовые трубы, лежавшие у входа в тоннель. — Тут же, у портала, и резали их. Сильно я волновался, однако успокоили скалу. Сынишка мне обед приносил: мать присылала. Сын у меня тоже метростроевец, крепильщиком работает. Два брата тоже метростроевцы. Молодая вроде профессия наша, а уже династия образовалась. Сыну куда же деваться, если отец под землей работает? А я привык под землей. Тридцать лет с гаком... Ну, с Козой мы, как говорится, предотвратили. А вот на Джебском тоннеле вывал был настоящий, на полторы тысячи кубов. Весь профиль завалило, еле людей успели вывести — и пошло трещать.

— Я слышал, что в Джебском тоннеле был вывал на три тысячи кубометров.

Клычков посмотрел с хитрецей:

— У кого как. Я давал сводку на полторы тысячи. Нам вполне хватило...

Уже председатель открыл дверцу кабины, смотрит нетерпеливо.

— Жаль, скоро уезжаете, — говорит Клычков, протягивая на прощанье руку. — Зашли бы в гости, посидели, рассказали бы нам про Москву...

Увы, мы должны спешить.

Нас ждет Сисим.

Проезжаем мимо станции. Собственно, самой станции нет, есть широкая ровная площадка, расчищенная и спланированная для будущих путей, станционных построек. Дорога кажется похожей на чертеж.

— Станция Щетинкино, — говорит Большаков, который сидит рядом со мной. — Слышали про Щетинкина, Петра Ефимовича? Его в Сибири все знают.

Мне вспоминается стенд в Минусинском музее, рассказывающий о действиях партизанской армии, которой руководили Щегинкин и Кравченко. Партизаны вели бой с армией Колчака как раз в этих местах.

Дорога поворачивает, уходит от просеки, вокруг нас — первозданная стихия, лишенная какого-либо намека на гармонию. Деревья выворочены, раскиданы как попало, стоят торчком корневища, стволы и ветви елей, сосен, осин сплелись в неразборчивый клубок.

— Чем же это их?

— А бульдозерами, — невозмутимо отвечает Большаков.

— Но ведь этот лес погибнет?!

— Погибнет, — соглашается Большаков.

Проходит километр, второй, пятый — картина не меняется, по обе стороны дороги невообразимые лесные завалы.

— До каких пор?..

— До самого Тайшета. — Большаков по-прежнему невозмутим.

— Но в чем дело? Почему?

— Десяносто семь рублей на гектар, — бросает Большаков, давая тем самым понять, что дело тут ясное и разговор на эту тему бесполезен.

Снова злополучные девяносто семь рублей, о которых говорилось еще в вагоне, когда мы увидели первые поваленные и брошенные деревья.

— Хотели вы проблем? — неожиданно резко бросает Большаков. — Вот и получайте. Готовый участок проехали в мягком вагоне, теперь пошла всамделишная стройка — тут проблемы на каждом шагу валяются, подбирай только. Вот под колесами — разве это не проблема?

Эх, дорога! Колдыбань да трясуха. Автобус то заваливается на ухабах, то медленно волочится по глубокой колее, то утопает по ступицу в лужах. Хорошо, хоть косогоров нет — дальше кювета не свалимся. Впрочем, кюветов тоже не видно, дорога насытана как попало.

— Думаете, строители не умеют дорог строить? — спрашивает Большаков.

— В чем же тогда дело?

И тут закавыка в цифре. Четырнадцать рублей за метр дороги, ни копейки больше. Сумеете вы построить хорошую дорогу, если вам дадут четырнадцать рублей на метр?

Вдоволь накачавшись на дорожной колдыбани, приезжаем в поселок Сисим. Расположенный в живописной местности на двухсот тридцатом километре трассы, поселок Сисим по первому взгляду кажется похожим на туристский лагерь. В два ряда стоят аккуратные домики, выкрашенные в красный цвет. Одна улица спускается по пологому косогору, другая идет вдоль шоссе — улицы Гагарина и Изыскательская. Внизу, под поселком, бежит Сисим — небольшая и норовистая река.

Поднимаемся по улице, выходим к станции — опять раскрываются контрасты. Полотно железной дороги тщательно огделано, вылизано — ни соринки, а на ули-



це, вокруг домов непролазная грязь, кучи мусора, начатые и брошенные котлованы.

— Полотно готово под укладку,— говорит Моченов.— Будем горопить тоннельщиков, чтобы они пропустили путеукладчик.

Начальник сисимского строительного поезда Хачатурян не очень доволен похвалой председателя.

— А это? — Хачатурян порывисто обводит рукой вокруг себя.— Это вас интересует?

— Что это?

— Вы комиссия по качеству работ. А это благоустройство...

— Благоустройство поселка — это качество жизни людей. Нашу комиссию не могут не волновать такие вопросы,— отвечает председатель.— Вы думаете, я не вижу?

— Благоустройство нам срезали. Рельсы не срезали, не могут срезать, а экономить надо. На чем экономить? Режут благоустройство, места для мусора, бытовки. В поселке нет ни одной бытовки — все срезали.

— Сто сорок рублей,— бросает кто-то.

— Понятно,— отвечает председатель.

— Слышали? — спрашивает меня Большаков, когда мы несколько отходим в сторонку.— Сто сорок рублей... Госстрой берет за эталон европейские условия, а ведь у нас не Черемушки, а Сибирь — мерзлота, оторванность от промбаз. У нас пятьдесят процентов ручных работ, а все равно сто сорок рублей. Что же делать? Ведь речь идет о постоянном жилье, которое будет стоять и служить дороге многие годы. Вот и остается один выход. Не достраиваем клубы, амбулатории. Пускаем на жилье деньги культбыта. Придут потом эксплуатационники, они как-нибудь выкроют денежки, достроят. Подойдите к любому руководителю — у каждого выговор за превышение сметной стоимости.

— Наверное, комиссия заинтересуется этим?

— Смотря какая комиссия. Есть такие, которые только докладные пишут, потому что у них прав никаких нет. А эта комиссия с правами. Паргосконтроль! Надеюсь, помогут. Такие комиссии нам как воздух нужны...

Вечер.

Сегодня сделали восемьдесят километров. До Тайшета — четыреста сорок один километр.

### День шестой

Вчера, побывав в Сисиме, мы вернулись на станцию Джебь, где стоял наш вагон, чтобы в последний раз переночевать под его гостеприимной крышей.

Прощай, вагон. Впереди четыреста километров пути на перекладных.

У автобуса прощаемся с Дмитрием Ивановичем Коротчаевым — западное плечо закончилось, за Кролом идет центральный участок, там другие строители и начальники. Мне кажется, Коротчаев расстается с нами с облегчением: мы были для него нелегкой обузой на протяжении всей недели. Тем не менее прощаемся трогательно: долго трясем друг другу руки, обмениваемся адресами, телефонами.

Автобус трогается, пробегает под виадуком, трясется на ухабистой дороге. Не останавливаясь, проезжаем Сисим, Джетку, подходим к самой высокой точке трассы — Крольскому перевалу. Высота над уровнем моря девятьсот метров, километр двести пятьдесят второй.

С Крольского перевала открывается захватывающий вид.

На десятки километров разлилась тайга. Она лежит во многих плоскостях, причудливо сходится и расходится по диагоналям. Плоскости насаиваются друг на друга, дальние затянута синеватой дымкой, ближние широко и щедро сбегают к подножьям. Две ломаные диагонали выделяются из общего скопления линий; круто поднимаясь, оставив под собой тайгу, они идут навстречу, соединяются в

вышине — так образуется Аргиджек, самая высокая вершина Манского Белогорья.

Раз Белогорье — значит, пошли гольцы. По волнистой таежной шири тут и там раскинулись островерхие белые шапки. Алексеев называет горы — вот Аргиджек, правее гора по имени Тихон, а эта кем-то названа на иноземный лад: Пьера.

Следующий после горного перевала пункт — подземный.

Уже сейчас, задолго до пуска дороги, ясно, что Крольский тоннель — самое узкое место на трассе. Здесь даже не прошли гору коротким профилем; чистой проходки еще девятьсот метров, а «геология» тяжелее, чем в Козинском тоннеле. Со лба забоя, где работают проходчики, хлещут потоки воды, бурные ручьи бегут под ногами к порталным выходам. Проходчики бурят шпур в воде, заряды часто отмокают, взрывы получаются неполными.

Члены комиссии бурно реагируют на «геологию». У каждого имеется свой план своевременной проходки тоннеля.

— Проходки еще на год.

— Кто же так считает? Съедят тоннель за полгода.

— Интересно, а как вы считаете?

— По шестьдесят метров в месяц. С двух сторон — это уже сто двадцать. Вот вам и полгода...

— А обслуживающие процессы вы учитываете? Им же выгодно сидеть на обслуживающих процессах.

— Разрешите вопрос. Едва мы попадаем в тоннель, только и слышно: обслуживающий процесс, обслуживающий процесс. Задерживает, помогает. В чем тут тайна?

— Никакой тайны нет, — отвечает мне Антонов. — Все дело в том, что тоннельщики не заинтересованы в том, чтобы быстрее окончить тоннель и сдать его под укладку. Обслуживающий процесс — это откачка воды, вентиляция, обогрев тоннеля... Вот и получается парадокс — чем больше воды в тоннеле, тем это лучше для плана...

— Так ведь кончатся пора с этим!

— Вот тут и начинается работа партийно-государственного контроля. Будем ставить эти вопросы в общесоюзном комитете.

— Почему же их раньше не ставили?

— Партийно-государственный контроль — дело молодое. Он еще только начинает осознать свои возможности и обязанности. Все дело в массовости контроля. Что может сделать комиссия из пяти-шести человек? Но вот мы встречаемся с десятками, сотнями людей — и наши силы как бы удесятерятся.

Я вспомнил разговор с начальником смены Зинятом Азизовым. Азизов молод, ему всего тридцать два, но это не мешает ему быть старым метростроевцем. Мы встретились наверху, в Чистых Ключах.

Азизов говорил с жаром:

— Чем крепче порода, тем легче ее бурить. Монолит бурится легче, чем трещиноватая скала. А платят нам по шаблону: за монолит — дороже, за трещиноватую скалу, на которую уходит больше сил и времени, — дешевле. Неправильно это придумали. Который год идут разговоры — и все попусту.

Я пересказал это Федору Ивановичу Антонову. Он ответил:

— Я знаю. Наш председатель тоже разговаривал с Азизовым. Будем ставить и этот вопрос. Надо менять сами принципы учета. Сколько лет уже мы говорим, пишем: учет продукции по валу тормозит работу, не отвечает современным условиям. Говорить-то говорим, предлагаем, но никак не отовариваем эти предложения. Это очень большие и сложные вопросы, они назревают все острее с каждым годом — видите, даже сами тоннельщики понимают, что существующее положение вещей тормозит их работу. А решать эти проблемы надо в масштабах всей страны...

Подходит председатель комиссии. У него сердитое лицо. Я еще ни разу не видел председателя таким сердитым.

— Вы только посмотрите, — гневно говорит Георгий Михайлович. — Мне дали справку. Накладные расходы к основным дают соотношение один к одному. Это же дикость, варварство! Это больше, чем варварство. Это моральный разврат! Рабочим выгодно давать брак: за переделку брака они получают больше, чем за основную работу. Выруби кусок бетона и снова забетонируй — никто не спросит! А и спросит — так ответ готов: была, дескать, опасность вывала, геология виновата. Вот как рождается иждивенческая психология. Так развращается трудовое сознание.

У входа в портал, там, где стоит наверху буква «М», видны следы старой, сделанной углем надписи: «Даешь Крол!» Конечно, Крол дадут — и даже в срок. Когда, как говорится, подопрет невоготу, объявят аврал, откроют новые забои — начнется на Кроле жаркая пора. Никакие обслуживающие процессы не задержат стремительный ход тепловоза, который должен пройти по трассе в назначенный срок — осенью 1965 года. Но ведь без аврала-то лучше?

Нас передают, как эстафету, по этапам. Начальник очередного участка выезжает на свою границу, чтобы встретить и принять комиссию из рук предыдущего начальника. Из вагона — в автобус, из автобуса — в «газики», а впереди, говорят, ждет такой участок, где вообще нет никакой дороги.

Кавалькада «газиков» трогается из Чистого Ключа.

За перевалом, естественно, начинается спуск. Дорога проходит по живописным изломам речной долины. Изредка мелькает и сам Крол — быстрая, порожистая река.

Но что-то давненько не вижу я полотна железной дороги. Недоуменно оглядываюсь по сторонам. Неужто оно вон там, на косогоре, где пробита неширокая, то и дело прерывающаяся полка?

— Да, — отвечает Алексеев, — здесь мы повисли на косогоре. Помните о руководящем уклоне — девять тысячных? А у реки Крол, которая ведет за собой долину, уклон больше — одиннадцать тысячных. На каждом километре мы отстаем от Крола на два метра и вынуждены висеть на косогоре. Сейчас будет разъезд Жайма, повиснем еще выше. Непонятно? Сейчас объясню. Ведь разъезд нельзя проектировать с уклоном, а длина его полторы тысячи метров. Значит, на разъезде мы теряем двенадцать метров высоты, затем опять начинаем догонять реку.

Широкая полка, вырубленная на косогоре для разъезда, делает плавный поворот вдоль склона, потом почти незаметно для глаза ломается, снова выходит на уклон, следуя за рекой, за нашей машиной.

Слушаю лекцию о правилах изыскания железных дорог и тут же знакомлюсь с наглядным пособием, расположенным на местности.

— Конечно, по долине Крола было бы легче идти, но тогда пришлось бы нарушить руководящий уклон, переходить на двойную тягу. А ведь по километражу двойной тяги судят о качестве проекта. Хватит с нас того, что на Джебской петле двойная тяга.

— Тут раньше ничего не было, — продолжает Алексеев. — Перед войной в этих местах старатели золото мыли, от них и остались тропы. Лошадям особенно неудобно было, то и дело проваливались на жердяных стланях.

— Когда же вы пришли сюда?

— С сорок третьего года хожу. Как только вышел на поиски Кошурникова...

— Вы же говорили, что на поиски Кошурникова была послана экспедиция?

— Разумеется. Я эту экспедицию и вел. Я уже тогда был начальником партии.

— Почему же вы не сказали про себя?

— По-моему, на такой вопрос можно не отвечать. Я вам рассказывал о сути дела, а то, что и сам был при этом, — другая статья.

Дорога круто повернула, и я прямо ахнул от удивления. Перед нами лежала гигантская гарь. Сколько хватало глаз, все косогоры, вершины, тянувшиеся по обе стороны долины, были утыканы черным частоколом, сквозь него лишь изредка пробивался молодой поросняк до кривулины, потом снова тянулась гарь — бесконечная, унылая, однообразная.

— Вот это действительно была эпопея, — начал Алексеев, — об этом еще никто как следует не написал. Партизанская армия Щетинкина отступала здесь в тысяча девятьсот девятнадцатом году от Тайшета. Колчак шел за ними по пятам. У партизан было мало сил, и армия могла погибнуть, если бы белые догнали их. Тогда на совете было решено — оставить заслон, поджечь лес и оторваться. Колчаковцы были вынуждены повернуть обратно, многие сгорели. Тайга горела несколько недель. Щетинкин вышел к Минусинску, но не смог захватить город: семисоткилометровый поход измотал армию. Пришлось партизанам уходить по Кызылскому тракту в Урянхайский край, так он тогда назывался. Там они собрали людей, запаслись продовольствием, а в сентябре тысяча девятьсот девятнадцатого года пошли на Минусинск и освободили его. Петр Ефимович Щетинкин был вообще замечательным человеком, во время первой мировой войны получил полного Георгия — четыре креста, дослужился до штабс-капитана. Когда разбили Колчака, он воевал в Крыму против Врангеля, уничтожил банды Унгерна в Монголии. Там он и умер в тысяча девятьсот двадцать седьмом году от болезни. Кстати, интересная деталь. Выбирая трассу на Тайшет, мы учитывали и этот поход Щетинкина. Свыше десяти тысяч человек прошли по этим местам, они ведь все сибиряки, старики — знали, где легче пройти, по каким перевалам, долинам рек.

А гарь все тянется по долине. Сквозь далекую седловину с черной порослью гари видится белый Аргиджек; он все время плывет за нами, поворачиваясь разными сторонами.

— А на Аргиджеке вам приходилось бывать? — спрашиваю я.

— Подъем на Аргиджек не составляет особого труда. За день вполне можно обернуться. Все Белогорье оттуда как на ладони. Мы закладывали там топографические знаки. В этих местах даже карт хороших не было. Пришлось самим делать аэрофотосъемку.

— Вы и летали здесь?

— Много раз. Вот сейчас я покажу вам замечательное место — курумы на косогоре.

— Помнится, Кошурников писал про курумники?

— Да, на Казыре их особенно много. Курумы — это ползучие скалы. Мы провели ход по косогору и ничего не знали. Геологической разведки там не было, визуально эти курумы никак не обнаруживались. Проект был утвержден. Неожиданно геологи, которые вели проработку трассы, дают телеграмму в Новосибирск: идти по косогору нельзя. Они сделали пробный взрыв, и курумы поползли. Остановить их мы не в силах. Пришлось слезать с косогора и Крол поворачивать...

Стоп! Человек стоит на дороге. В поднятой руке красный флажок. Выходим размять ноги.

На скалистой полке вырастает пухлое белое облако. Взрыв гулко отдается в горах. Дым стелется по склону, затягивается в ущелье, редет.

От Абанана до Тайшета гудит потрясенная тайга. Каждый день вот уже пятый год совершаются десятки больших и малых взрывов. В выемку за Манским перевалом была заложена враз одна тысяча сто тонн аммонита. А бывает, в тоннеле нужно убрать остаток глыбы, торчащий в стене, — тогда забуривается почти аптекарская доза в пятьдесят граммов взрывчатки, и камень неслышно разваливается, не задев стены.

Раскатывается второй взрыв. Рвут так называемый «негабарит» — куски скалы, которые остались на полке после большого взрыва. Взрыв «маленький» — всего двести килограммов.

Расходится дым, дорога свободна.

Проезжаем мимо огромного сооружения. Горизонтальный электроконсольный кран стоит на насыпи у реки, ждет работы. Скоро подойдут платформы, груженные тяжелыми, на восемьдесят тонн, мостовыми пролетами. Кран захватит их, протащит под своим широким порталом и бережно опустит на опоры, которые уже поднялись со дна реки.

Кавалькада машин снова останавливается. Замечаю, что в нашей группе появился новый человек — суровый мужчина в форме железнодорожника. Это высокое лицо — заказчик, представитель Министерства путей сообщения. Заказчик платит деньги строителям за принятую работу, заказчик принимает дорогу, пускает ее в эксплуатацию. Поэтому заказчик строг и непререкаем. Он замечает самые малейшие ошибки.

— Откосы круче, чем следует. А тут грунтовые воды.

Или:

— А кюветы? Посмотрите, какие у вас кюветы. Кто у вас возьмет такие кюветы? Думаете, на простачка напали? Как бы не так.

— Кюветы в норме.

— Нет. Придется делать дренажи. Откос наползет, завалит кюветы. Что вы тогда будете делать?

— Мы тогда будем строить другую дорогу. Этот кювет двадцать лет прослужит.

— Придется резать дренажи. Иначе мы не примем.

Последние слова заказчика обладают магической силой. Строители уныло соглашаются.

Машины стоят на краю широкой долины. Поперек долины тянется высокая насыпь.

— Вы даже не представляете, что тут весной было, — рассказывает, обращаясь к председателю, руководитель здешнего участка Матвейков. — Такие объемы заложили в проект...

— Видите, — поясняет Алексеев, — не успели мы слезть с косогора, пришлось делать искусственный косогор — насыпь высотой двадцать метров.

В этом месте Крол круто поворачивал к югу, к дальнему краю долины, где начинались курумы. Трасса должна была идти за рекой, однако ползучие косогоры были неожиданно забракованы. Пришлось пойти через долину напрямик, чтобы выйти на противоположный склон. — при этом трасса два раза пересекала Крол. Делать два мостовых перехода? Проектировщики избрали более решительный путь: наглухо закрыли Крол насыпью и пустили его по новому пути — в узком проходе между насыпью и скалой, ограждающей долину с севера. Теперь он бежит по новому руслу вдоль насыпи, будто так и было всегда.

Насыпь пересекает долину, плавно сливается с косогором. Излучина реки срезана. Следовательно, сократилась и длина трассы?

— Совершенно верно, — говорит Алексеев. — На несколько сот метров. Для дороги, разумеется, это обстоятельство имеет значение, но высоты мы потеряли не так уж много. Снова влезает на косогор. Вон там. Меняли трассу прямо в рабочем проекте. Случай почти чрезвычайный. Из Москвы начальство понаехало смотреть эти курумы. Сам Савельев приезжал, начальник экспертизы... Почему-то повелось считать, будто в работе изыскателей самое главное — это приключения: тайга, медведи. А наши главные приключения — уклоны и кривые.

Он продолжал рассказывать:

— Вот шли мы по Мане вольным ходом всего пятьдесят километров, и уже пора прощаться с ней, река уходит на северо-запад, к Енисею, а нам — на северо-восток, к Тайшету. Снова надо искать седло, повисать на косогоре. Значит, снова рассчитывать задачу на много ходов вперед. С подъемом к Манскому тоннелю у нас было около двадцати вариантов, был вообще вариант без тоннеля — Манский тоннель самый длинный на трассе, две тысячи пятьсот шестьдесят метров, и казалось очень заманчивым пройти прямо по седлу. Однако в этом случае при-

шлось бы подниматься на шестьдесят метров выше, и по склонам мы хватали семь маленьких тоннелей: иначе не вписывались кривые. Семь маленьких тоннелей хуже, чем один большой, — отказались от этого варианта. Из двадцати надо было выбрать один. А теперь этот единственно правильный вариант перед вами в натуре. Когда я шел тут на плоту, мне уже виделись его грубые черты. Этот манский ход мне сразу по душе пришелся. Надо только убрать все лишнее... Помните, как Роден говорил о скульптуре: «Берется кусок мрамора и отсекается все лишнее». Очень точные слова. Я и на трассу нашу смотрю как на скульптуру, вырубленную в Саяне.

В самом деле, резец проектировщика прошелся по камню, вырезал в скалах полки, тоннели, отсек все лишние прижимы, глыбы, а там, где полотно провисло вдруг, подставил под него колоннаду виадука, прочертил над реками мосты, над дорогами путепроводы — ничего лишнего, все целенаправленно, предельно целесообразно.

— Говорят, что сапер ошибается один раз в жизни, — заключает свой рассказ Алексеев. — Это верно. Но в жизни каждого человека приходит такой срок, когда исправлять ошибку уже поздно. Когда ошибка проектировщика лежит в полотне, тут уж ничего не поделаешь. Никто об этой ошибке не знает, никто меня за нее не ругает, а все равно больно и стыдно: ошибка лежит в полотне и будет там лежать до скончания века. Моя ошибка — немой укор моей минутной слабости, когда я поспешил, поддался на облегченное решение, не додумал. Нет, таких ошибок немного. Однако есть на трассе одно-два места, мимо которых я тороплюсь проехать. Зачем о них рассказывать? Конкретные примеры в данном случае ни к чему. Может, я и сам ошибаюсь относительно своей ошибки...

Мы подъезжали к Манскому тоннелю — триста сорок пятый километр. Уже чувствовалось приближение вечера. Мана круто поворачивала влево, пропадала за склоном горы, а трасса, висевшая на косогоре, шла напрямик, черной дырой входила в скалу.

Машины взбираются по серпантину на перевал. Лучи света выдергивают из темноты куски скал, стволы сосен.

Удивительный язык у изыскателей! «Висим на косогоре», «пошел вольным ходом», «пересек седло» — точные, чеканные слова. Железнодорожное дело вообще очень молодо, ему от роду сто лет с небольшим — и за это время так глубоко и точно разработан профессиональный язык. Вот есть два слова — «подъем» и «спуск». Они явно неудобны и могут запутать дело: если в одну сторону подъем, то в обратную — непременно спуск. Тогда рождается специальный термин, заменяющий оба слова, — «уклон». Точно так же заменяются одним термином «полотно» два слова — «насыпь» и «выемка». Полотно имеет дефекты — значит, оно «большое» полотно.

Поздно вечером приехали в Саянскую, остановились в уютной гостинице. Пройдено за день сто девяносто четыре километра: Джебь — Сисим — Чистый Ключ — Мана — Саянская. До Тайшета осталось двести сорок семь километров.

### День седьмой

На станцию Саянская строители вырвались как тоннельщики Крола, которые вошли прямо в середину горы и открыли забой в обе стороны. Только идти строителям пришлось не шахтой, а веткой. На Восточно-Сибирской магистрали есть станция Клюквенная. От нее до Саянской пятьдесят километров. Строители протянули ветку от Клюквенной, построили в степи поселок и пошли укладывать трассу в обе стороны: на запад, чтобы соединиться на Крольском перевале, на восток — к Абакумовке (мы туда приедем). Саянская ветка позволила года на два сократить срок строительства Абакан — Тайшета.

Комиссия отправляется в Ману. Вчера мы ехали от Маны в темное: комиссия

собирается за день обследовать участок Мапа — Саянская и к вечеру вернуться обратно.

Мы решаем остаться в гостинице: надо привести в порядок записи, подготовиться к выступлению, которое назначено на вечер в клубе строителей.

Так мы и делаем.

Сегодня пройдено за день ноль километров. До Тайшета по-прежнему двести сорок семь.

### День восьмой

Утром пришла телефонограмма — через двое суток комиссия должна быть в Красноярске, где уже назначено бюро крайкома партии.

За завтраком председатель прикидывает так и сяк. Получается, что комиссия не успевает доехать до Тайшета. Дорога доходит до Абакумовки. Между Абакумовкой и Саранчетом — разрыв: несколько километров не начали даже сыпать — болото.

— А если кругом? — спрашивает председатель.

— Только на Клюквенную. Там поездом до Тайшета, потом по трассе на Саранчет. Километров четыреста натянется.

— Какая интересная трасса, — сокрушается Георгий Михайлович. — В жизни не видел такой трассы. Жаль, не хватает времени насквозь пройти...

— Пойдем вперед, пока будет возможность, — заявляет Ф. И. Антонов. — До границы Красноярского края дойдем во всех случаях.

— Надо подумать и о докладе. Что будем докладывать на крайкоме? Как укладывать шпалы, строители лучше нас знают. Мы должны обратить внимание на кардинальные проблемы, которые нельзя решить местными силами. Проблема номер один: автодороги и другие временные сооружения. Может быть, она и не самая важная, но начинать надо с нее. Прежде чем закладывать железную дорогу, надо строить вдоль будущей трассы автодорогу. И не временки по четырнадцать рублей за метр, на которых мы били бока, а постоянные капитальные дороги, чтобы они служили много лет.

— Абакан — Тайшет уже кончается.

— Вопрос не только в Абакан — Тайшете, — возражает Георгий Михайлович. — Надо так поставить дело, чтобы строительство всякой железной дороги в Советском Союзе начиналось с прокладки автомобильной дороги. Без этого нельзя вести никакое грамотное строительство.

— Проблема номер два, — продолжал председатель, — авторский надзор за строительством. Считается, что автор — фигура чистоплотная вполне. Он наиболее объективное лицо как в вопросах качества, так и стоимости. С этим все соглашаются, а доверия к автору нет. Надзор отменен, и автор проекта фактически лишен возможности влиять на ход строительства.

— Проблема номер три: лес. На стройках гибнет огромное количество леса. Ширина просеки сто метров, это значит — десять гектаров леса на километр трассы. Нельзя допускать, чтобы этот лес пропадал втуне.

— Пока дорога строится, вы леса не вывезете — это факт!

— Правильно. Нельзя вывезти, но можно сохранить. Ошкурить его, сложить в штабели, чтобы лес не гнил, а, наоборот, высушал. А когда подойдут рельсы, вывезти его и пустить в народное хозяйство.

— Девяносто семь рублей для этого не хватит, необходимы дополнительные фонды. Где их взять?

— Надо выяснить точку зрения лесников. Согласны ли они, чтобы этот лес не погибал?

Но где же погибающий лес? Вот уже два часа, как мы выехали из Саянской. Машина катится по широкой чистой просеке, пересекающей сосновый бор. Не видать ни брошенных стволов, ни порубочных остатков. Подстилка аккуратно расчищена, виднеются редкие, низко срезанные пни.

— Смотрите-ка, — с оживлением говорит Георгий Михайлович. — А тут лес убрали!

— Здесь лесная дача, — отвечает Николай Большаков. — Населенный район, порубки запрещены. Колхозники окрестных сел воспользовались тем, что строители рубили просеку, убрали и вывезли деревья до последнего сучка. Строители отдали им лес бесплатно да еще спасибо сказали.

Едем в машине втроем: Большаков, председатель и я. Большаков перестал быть любознательным пассажиром: начался его участок, и он дает необходимые пояснения. Моченов, как всегда, спокоен, нетороплив. Быстро, почти мгновенно схватывает мысль собеседника, в его присутствии люди становятся внимательными, искренними.

Машина бежит по накатанной дороге, идущей вдоль полотна. Мелькнул полосатый шлагбаум, надпись на столбе: «Берегись поезда».

— Специально для комиссии выставили, — смеется Георгий Михайлович. — До поезда еще два года, а уже «берегись!» — вот мы какие!

Навстречу ползет трактор с прицепом. Председатель дает знак водителю. Машина останавливается.

— Что везете? — спрашивает председатель.

Тракторист глушит мотор, отвечает из кабины:

— Хлеб.

— Много?

— Шестьдесят килограммов.

— Куда?

— Для своих везу.

— Для каких своих?

— В мостовой отряд.

— Счастливого пути, — говорит председатель, и трактор остается позади.

Проехали километров восемь, миновали лес, поселок, ручей. На дороге, закрывая путь, идет еще один трактор. Водитель обгоняет медленно ползущую машину, однако председатель снова дает команду остановиться. Диалог повторяется почти слово в слово: везу хлеб, восемьдесят килограммов, в мехколонну.

— Счастливого пути, — говорит председатель и поворачивается к нам. — Ну? Что вы скажете, молодые люди? Что сие значит?

Я что-то не понимаю повышенного интереса нашего председателя к тракторам и хлебу.

— По-моему, большой недогруз, — отвечает Большаков. — На таком прицепе тонны везти можно, а он тянет восемьдесят килограммов.

— И как тянет! — восхищается председатель. — Устарел бедняга Крылов. У него были примитивные лебедь, рак да щука, а тут в разные стороны тянут мощные современные машины. И тянут не какой-нибудь воз, а весь Абакан — Тайшет.

Я вспомнил остановку на путепроводе, откосы на шоссе и спор о том, кому их засеять. Ведомственные перегородки, оказывается, могут существовать в большом и в малом. Трактор везет хлеб только «для своих»; школы в Сисиме и Джетке не могут объединиться, потому что каждое строительное подразделение хочет иметь свои собственные классы; дома и здания в поселке и на станции Кошурниково проектировали двадцать два проектных института, каждый со своей колокольни, каждый со своими типоразмерами. Тут и там половина (а то и четверть!) пользы: тракторы работают чуть ли не вхолостую, строители тратят уйму сил и времени, чтобы разобраться в проектной путанице и все-таки построить станцию — всюду ведомственные перегородки...

Вздых председателя прервал мои мысли.

— Эхма, нет на дороге хозяина.

— Как нет? — удивился Большаков. — Дорогу строит Государственный комитет по транспортному строительству.



— Вот-вот,— возбужденно начал председатель.— Комитет! Да еще московский. А дорога идет по Саяну. Сколько тут разных главков, генеральных подрядчиков, субподрядчиков! Не менее двух десятков. Тоннельщиками, мостовниками руководит Москва, как землю лучше класть — командуют из Новосибирска. Только на коллегии министерства можно собрать всех подрядчиков, выяснить претензии, но ведь коллегия дорог не строит и не может строить, коллегия решает общие вопросы, дает направление в работе. А тут, в тайге, каждый сам себе хозяин. Каждый подрядчик сам себя обслуживает, сам себе строит склады, мастерские. Каждый везет для себя дома аж из-под самой Воркуты, а под ногами лес гибнет...

— Но это же специализация? — восклицаю я, не удержавшись.— Разве можно строить без специализации?

— Запишете меня в консерваторы? — смеется председатель.— Специализация всегда существовала и будет существовать. Но ведь существует и такое еще понятие — кооперация. Штукатур всегда был штукатуром, каменщик — каменщиком, но между каменщиком и штукатуром всегда была согласованность в работе, они кооперировались. Теперь же случается так, что их зачисляют по разным ведомствам, каждому дают самостоятельный проект, — каждый работает как бы в воздухе, без учета того, что делает сосед. Такая структура обезличивает дело, усложняет работу, развивает безответственность.

От столба «482» идут две дороги. Одна через переезд и назад, другая вдоль насыпи и вперед.

У столба «482» — разлука. Комиссия едет назад в Саянскую, оттуда поездом до Красноярска. Мы продолжаем идти по трассе. Николай Большаков — с нами.

Подхожу к Алексееву. Обмениваемся адресами. Благодарю его за науку, за рассказ о Манском перевале.

— Манский? — удивляется Алексей.— Манское седло далось нам сравнительно легко. Вот на Джебской петле, там пришлось поломать голову. Сотни вариантов разбирали. Из Москвы приезжали крупнейшие эксперты... Уже строители пришли, а окончательного варианта еще нет. Все-таки мы отстояли свое решение.

Так всегда бывает — самые интересные вещи узнаются в последний момент. Впрочем, наверное, так и надо — иначе жить было бы нелюбопытно.

Машины исчезают сразу же, едва проехав переезд. По ту сторону насыпи слышен уходящий шум моторов.

Трогается и наша машина.

После равнинного Канского района снова началась гористая местность — в строящейся трассе опять проступает скульптурность: крутые откосы выемок, скалистые полки, поросшие лесом косогоры.

И снова на просеках лежит поваленный лес...

— Внимание! — восклицает Большаков.— Начался новый участок. Четыреста восемьдесят шестой километр, граница между востоком и центром. Знаменитый четыреста восемьдесят шестой километр. О нем роман написать можно.

— Как мы его назовем?

— Четыреста восемьдесят шестой километр,— не задумываясь, отвечает Большаков.— Эх, умел бы я писать — изобразил бы в деталях.

— Вот смотрите — дорога в гору пошла. Трасса на перевал выходит, руководящий уклон. В лоб седло не возьмешь. Кто-то до меня и дал эту петельку, чтобы взять подъем. А петлю с умом делать надо. Я приехал, смотрю — можно переиграть. Но что сделаешь, все согласовано, утверждено.

— Пока никакого романа не видно,— говорит один из нас.— Одна голая техника.

— Не торопитесь. Это, так сказать, техническая экспозиция. Действие романа начинается в Москве. Мы с Алексеевым защищаем дополнительные объекты. Алексей смотрит схему и спрашивает: «Почему такая петля на четыреста восемьдесят шестом?» Я говорю: «Сам удивляюсь». Он спрашивает: «Почему не заме-

тил?» — «А вы почему не заметили? Ведь по вашему заданию делали». Но что толку от наших препирательств? Алексеев говорит: «Надо подготовить обоснование». Пошел в экспертизу МПС, дали мне комнатку на втором этаже. Карты на полу растелил, разлегся на газетах и начал трассировать. А там седло было впереди, с подъемом. Кто-то и придумал петлю, чтобы подъем брать. Прикинул — можно прямоком на подъем идти, по девять метров на километр. Трасса на семьсот метров короче и как раз на седло выскакивает. А семьсот метров — это сотни тысяч рублей. Пошел к начальнику экспертизы Алексею Васильевичу Савельеву — золотая голова. Раскинул карту у него на столе, объясняю. Савельев сразу схватывает: «Верно. Хорошая мысль. Давай спрямлять». Алексеев тоже «за». Лечу на крыльях в Томск. Начинается вторая глава — борьба в институте. Главный инженер Владимиров говорит: «Строителям надо разворачивать стройку, отсыпать полотно, а ты под носом меняешь трассу». Не косный он вроде человек, родоначальник нашего института, сам молодым начинал смело, а тут оробел малость.

— Назревает конфликт, — комментируем мы рассказ Большакова. — Притом весьма актуальный — с консерватором.

— А вы что думаете? Страсти кипят. Это я для беглости вам рассказываю, а на самом деле... Знаете, как было — ночи не спал, надо принимать решение: вступать или не вступать. Принял — вступать. В обход мнения института согласовал спрямление прямо с министерством. Москва дает добро, но тут Соломатин, начальник отдела изыскателей, выступает: «Не успеем рабочие чертежи выдать, строители насыдут, потом всю жизнь на нас грехи будут валить». Я обстановку хорошо знал, мехколонна туда еще не пришла, было время успеть. Соломатина я все-таки уломал, ребята по пояс в снегу начали прокладывать трассу...

— Вы тоже на трассу выехали?

— Нет. Я в институте сидел, готовил материалы для сравнения вариантов. Вдруг получаю телеграмму. Обратный адрес — четыреста восемьдесят шестой километр: строители сыплют насыпь по старому ходу. В чем дело? Оказывается, начальник стройки уперся, не хочет новую просеку рубить и дал команду сыпать: старая просека прорублена была. Я тут же телеграмму на сто слов в Москву, сам за нею на самолете. Прилетел, заместитель минисгра с меня стружку снимает: «Какое ты, говорит, имел право стройку задерживать?» От строителей тоже пришла телеграмма, на меня капают. Пока я ходил из кабинета в кабинет, правоту доказывал — строители землю сыпали. Сорок тысяч кубов уложили — это уже цифра. Теперь уж никому неудобно чисто психологически в это дело вступать. Остался один-одинешенек. Тут и роману конец.

— Почему же все-таки получается так?

— Все потому, что авторский надзор отменен. Это было в шестьдесят первом. Сейчас бы я иначе поступил. Использовал бы до конца те кузьи права, которые у меня есть, задержал бы проект и работу на две недели. Мне бы выговор, а я прочие чертежи на стол — и пошла бы насыпь, как мне угодно. А то все ходил по проторенным каналам, согласовывал. Теперь председатель Георгий Михайлович говорит: «Ты мне представь документы». А что документы, если все насыпано?

— Насыпь отсыпана, но проблема осталась<sup>1</sup>.

Машина бежит по волнистой песчаной дороге. Мы уже на пятьсот десятом километре. Дорога петляет по распадкам и логам, а трасса идет почти ровно: то поднимется на насыпь, то спрячется в выемку, потом опять на насыпь, опять сквозь выемку. Большаков рассказывает, в чем состояла хитрость этого участка. На такой сильно пересеченной местности надо было найти некое среднее решение, чтобы земля из выемки ложилась в соседнюю насыпь — для этого объемы соседних насыпей и выемок должны быть одинаковыми.

<sup>1</sup> Материал был уже сдан в редакцию, когда я узнал, что авторский надзор на стройках восстановлен специальным решением Госстроя. Одна проблема решена. (Прим. автора.)

— Это здорово снижает стоимость, — заключает Большаков. — Вынутая земля тоже идет в дело, получается двойная кубатура.

— А Туманшетский косогор далеко? Что там такое?

— Еще порядочно. Это такой косогор, что его вся Москва знает, постановления пишет.

Нам стыдно, что мы ничего не знаем о Туманшетском косогоре.

— Приедем на него — тогда и расскажу, — обещает Большаков.

— Еще один роман?

— А что? Дело за романистами.

В шесть часов вечера приехали в Абакумовку (пятьсот двадцатый километр). Располагаемся в вагоне. Вагон невелик — на два окошка, между окнами дверь с приставной лесенкой. Колеса подперты деревянными колодками.

Такие вросшие в землю вагоны то и дело попадают на трассе. Все, что хочешь, можно разместить в строительном вагончике: общежитие, гостиницу, лавку, столовую, библиотеку-читальню, баню.

Кстати, справились о бане. Опять говорят: «Женский день, а завтра выходной».

Направляешься в контору, чтобы позвонить в Саранчет, предупредить о приезде.

Телефонный разговор с Саранчетом осуществляется вкруговую таким образом — Большаков снимает трубку и говорит:

— Абакумовка? Дайте мне Иланскую. Иланская? Соедините с Тайшетом. Тайшет? Дайте Бирюсу. Бирюса, Бирюса... Бирюса? Почему не отвечаешь? Бирюса?.. Прощу Саранчет. Да, да. Саранчет. Саранчет, Саранчет, Саранчет...

С трудом дозвонившись, Большаков узнает: рабочий день кончился, все ушли по домам.

Напротив конторы клуб строителей. Афиша обещает немецкий кинофильм «Танцы в субботу». Берем билеты. В запасе час, идем в столовую. Неожиданно останавливаемся, с удивлением глядим под ноги.

— Смотрите, товарищи. Тротуар!

Под ногами — тротуар! Мы, московские жители, настолько привыкли к этому предмету, что просто не замечаем, когда он есть под ногами. Но вот — удивительное дело: в саянской тайге, в медвежьем углу — тротуар под ногами. Сшит из крепких половых досок, прочно вделан в землю на толстых лагах.

Обращаемся за разъяснениями к Большакову:

— Как же так? Или тут смета другая?

— Тут же Скригин начальник поезда, Александр Федорович. Хозяин замечательный. Он всегда сначала для людей строит, а потом уже объекты. Ему выговоры сыплют, а он свою линию гнет.

В Абакумовке живут десантники. Так называют строителей, которые зимой пробиваются первыми в глубь тайги, выходят в назначенной точке на ось трассы, начинают рубить просеку, ставить дома.

Десант в Абакумовку был выброшен зимой 1962 года. Десантники шли санным поездом, состоящим из строительных вагончиков. Зимой зацепились за тайгу, а летом построили поселок — и сразу с тротуарами.

Двое рослых парней шагают по тротуару. На рукавах — красные повязки.

— Кто вы?

— Мы безработные, — смеются дружинники.

За два последних месяца в Абакумовке был один-единственный случай пьянства, да и тот пресекали в зародыше. Парень выпил, начал приставать к девушкам на танцах. Его вежливо взяли за шиворот, и парень сразу сдался. «Пойдем с нами». — «А вы меня в Иланскую милицию не сдадите?» — «Пойдем, пойдем, там поговорим». — «Только вы меня в Иланскую не сдавайте».

Это еще лучше, чем тротуары.

Сегодня проехали (вместе с объездами) сто тридцать пять километров! Саянская — Кан — Агул — Абакумовка. До Тайшета еще сто двадцать семь километров.

### День девятый

Всю ночь шел дождь. К утру он кончился, но едва мы отошли от вагона, как ноги сами собой заскользили, будто мы двигались по свежему льду. Впрочем, по льду идти легче, так как он не пристает к сапогам. А у нас на каждой ноге — по пуду грязи.

Заходим в кабинет начальника поезда Александра Федоровича Скрягина, рассказываем о цели своего путешествия, просим помочь с машиной. Скрягин с сомнением качает головой.

— Даже не представляю, как вы сегодня доедете до Саранчета. Там и пешком придется, по болоту. И машины хорошей под рукой нет. Оставайтесь. Просохнет — поедете.

— А вдруг снова пойдет дождь? Еще хуже развезет дорогу.

— Похоже, что зарядило, — соглашается Скрягин.

Решаем ехать. Большаков принимается вытягивать из трубки трехсоткилометровую цепочку: Иланская — Тайшет — Бирюса — Саранчет... Александр Федорович тем временем рассказывает, как строители мечтали о дожде. На Абакан — Тайшет приезжал заместитель министра. Вся трасса мечтала, чтобы в эти дни грянул ливень. Дождь сразу развезет дороги, московский гость своими глазами увидит, как тяжело приходится строителям на таких дорогах, и глядишь — отвалит миллион-другой на благоустройство. Это было в августе. Конечно же, все дни, пока Подчуфаров ехал по трассе, светило солнце. Даже по болоту заместитель министра прошел в полуботинках, не замочив ног. Доехал до Тайшета и сказал с укоризной: «Напрасно вы жаловались. У вас отличные дороги. Вам еще срезать можно, а вы просите». Едва он сел в вагон, полил дождь на неделю. Стройка остановилась...

Большаков дозвонился до Саранчета, но там по-прежнему никого нет на месте. Передаем телефонограмму. Скрягин опять качает головой.

Дело в том, что на машине, которую даст нам Скрягин, мы можем доехать только до пятисот пятидесяти второго километра, где начинается болото. А на том конце болота нас должна встретить другая машина. Об этом мы и беспокоимся.

Телефонограмму передали — а вдруг машина не придет?

— Едем, — говорит Большаков. — Все будет, как надо.

У крыльца стоит открытый бортовой грузовик марки ГАЗ-61. На сиденьях — два цветастых матраца.

— А матрацы для чего? — удивляемся мы. — К чему такое беспокойство?

— Падать мягче будет... — Большаков весело смеется.

Заваливаемся в кювет на первом же километре. Тащат трактором. Дорога ужасная...

### День десятый

Не так уж много человеку надо — но и не так уж мало! Сегодня утром получаю больше средней нормы, получаю сполна за вчерашний день.

Спасла нас сибирская баня. Кто не парился в сибирской бане, тот многое потерял в жизни. Уже в предбаннике вас охватывает тревожный трепет. Оставив на прохладных чистых досках одежду, вы вступаете в преддверие рая. Чтобы рай получился полным и поистине волшебным, надо поддать его кипяточком. Вот как это делается. В шайку с горячей водой выливается полбутылки жигулевского пива — и черпаком по огнедышащим камням. Еще черпачок, еще поддай. Плающий пар хватает за уши, а по бане расходится небывалый грибной дух, какого вы в жизни не нюхали — райский запах.

Теперь на уши старую войлочную шляпу и смелее на полоч. Ах, жарко! Жарко? Голову в шайку с холодной водой, дыши сквозь холодную воду — хорошо? Не жарко? То-то же...

Теперь вымочим свежий березовый веник в соленой воде (неприменно в соле-

ной!), погуляем по телу. Веник то нежно пройдет вдоль позвоночника, то пощечет лопатки, то в мякоть вопьется.

Потом вы погружаетесь в мягкую белоснежную пену и забываете обо всем на свете. Эх, жаль снега на дворе мало, а то бы выскочить в сугроб — и снова на полок, под веник...

Размокшие, блаженные сидим в избе и попиваем брусничный сок с фамильным секретом. Мы еще в раю, и все, что было с нами вчера, кажется сном.

— А помнишь, как мы на самосвал чуть не напоззли? Вот потеха.

— На болоте еще смешнее было. Придет машина или не придет?

— А Николай Николаевич говорит: «Падать мягче будет». Как в воду глядел. Отныне будем вспоминать наше путешествие по трассе так: «это было до бани», а то — «после бани».

Вот что было «до бани».

Рыжая чавкающая дорога наплывает, спускается в распадки, взбегаёт на косяги. Поверхность ее густо покрыта шоколадным маслом, а масло смазано сверху мылом. По этому маслу с мылом ползет навстречу самосвал. Машину заносит. Водитель дает тормоз. Колеса не крутятся, но самосвал заносит еще больше, он стал поперек дороги и продолжает скользить по шоколадной пленке. Вот уже идет задом и медленно, будто бы лениво, сползает в кювет.

Начинаем и мы медленно сползать в ложину. Самое главное при этом, чтобы передние колеса были впереди. Едем как по маслу.

— Аргиллиты, — говорит Большаков.

Он сидит рядом со мной на матраце и беспечно поглядывает кругом. Так я узнаю, что у этой жидкой масляной грязи есть вполне приличное ученое название.

Спустились в лог. Водитель включает мотор. Колеса бешено вращаются, но дорога на них никак не реагирует: машина поднялась чуток, начинает ползти назад. Кузов высокий, сверху мне хорошо видно, как мы все ближе сползаем к правой обочине, а там, за обочиной, крутизна — дна не видеть.

Заднее колесо повисло над обрывом. Решительно встаю, примериваюсь для прыжка.

— Только вы ни в коем случае не прыгайте, — говорит Большаков. — Вас сразу зацепит.

— А как же быть?

— Надо ложиться вдоль кузова и крепко держаться. Грузовик опрокинется, перевернется через вас и покатится вниз по откосу, а вы останетесь на земле в целости и сохранности, с легкими ушибами.

Получив такое исчерпывающее наставление, сразу чувствую себя бодрее.

Грузовик тяжело выбрался на гору, стоит, булькая радиатором.

Проехали еще километра два. Снова впереди крутой лог. Машину заносит на этот раз на левую сторону, к косягу.

Сидим в кювете, ждем трактора. Сидеть в кювете приятно и покойно: отсюда уж никуда не вывалишься.

Передышка продолжается недолго. Трактор живо нас вытаскивает.

Проезжаем мимо самосвала с досками. Прижавшись к косягу, машина лежит на боку, будто отдыхает.

— Седьмая, — сообщает Большаков.

— Что седьмая?

— Седьмая машина в кювете за сегодняшний день.

Эх, дороги, дороги! Красиво вьются по холмам, стелются по долинам. Дешевые, наспех отсыпанные, неубранные, неухоженные — вся красота их до первого дождика. Зато всегда прекрасно выглядят они в отчетах. Четырнадцать рублей за метр — какая дешевизна, какая прекрасная экономичная дорога! Опрокидываются, бьются машины, летят мосты, трещат рамы — машины не служат и половины того, что могли бы служить. Ну и что же? Пусть их бьются. Зато цифра «четырнадцать» ласкает глаз и нежит слух, разбитые машины никак на нее не влияют — они бьются по другому ведомству.

Эх, дороги, эх, ведомственные перегородки!

— Как же все-таки быть с дорогами?

Большаков попивает брусничный сок. После райской бани вряд ли хочется думать о всяких неприятных проблемах, но глаза Большакова тотчас загораются охотничьим блеском.

— Я, конечно, молодой проектировщик, но сколько работаю, столько и слышу о дорогах. Грабарям автодорога была не нужна. А сейчас кругом сплошные машины — экскаваторы, автокраны, бурильные машины, дозаторы, погрузчики, откосники, кюветокопатели, трамбовщики. Дорога нужна и железной дороге, нужна и после нее, потому что трасса быстро обрастает леспромхозами, рудниками, заводами.

— А выход какой?

— Выход есть. Строить автодорогу в кооперации с местными властями. Им дорога тоже нужна. Вот пусть и дадут деньги из своего бюджета. За двадцать восемь рублей можно построить вполне приличную дорогу, с покрытием даже. Между прочим, это не я предлагаю, председатель Моченов говорил. Собираются ставить вопрос в Москве.

Разнесчастная четырнадцатирублевая дорога, ей ведь тоже несладко приходится — нелегко выносить на себе такое движение. Машины не только бьются сами, но и дорогу бьют. Автомобиль — бич автодороги, старая известная истина.

Последние километры перед болотом были самыми тяжкими. Раз пять нас тащили из кюветов, тянули на буксире. С трепетом ждал, когда же она кончится, эта дорога, хотя дальше вообще никакой дороги нет.

Все же пришел он, счастливый конец. Желтая насыпь упирается прямо в черное болото.

Взваливаем на плечи чемоданы. В чехлах из глины у них получается вполне таежный вид, а когда-то они были разных колеров.

По просеке недавно прошел гусеничный вездеход: две черные колес петляют по болоту. Сочно чавкает под ногами вода, сапоги то и дело проваливаются по щиколотку в черную гущу, но все равно в болоте мы чувствуем себя спокойнее, чем в кузове грузовика.

А грузовик уходит обратно. Все глуше шум мотора. Все звонче тишина на просеке.

— Вперед, болотопроходцы!

Почему же здесь нет дороги? Задаю вопрос Большакову. Оказывается, через болото проходит стык двух участков. Сосед кивает на соседа, и ни один не желает сыпать дорогу...

Над просекой, над болотом проносится гулкий взрыв. Из-за старой сваленной ели выходит женщина. В руках знакомый красный флажок.

Рассаживаемся на спиленных пнях — привал выходит кстати.

— Сколько? — спрашивает Большаков.

— Двадцать один, — отвечает женщина.

Белые щепки взлетают над елями, описывают дугу, падают в болото. Даже издали видно, как они белы и свежи, — рвут пни на просеке. Под каждый пень надо заложить килограмма полтора взрывчатки, отвести в сторону запал. Работа дорогая, нелегкая, но иначе ее не сделаешь. Основание полотна должно быть чистым, а на тракторе по болоту не проедешь.

Взлетает пневая щепка. Дружно считаем взрывы. Я насчитал девятнадцать. Ждем еще.

— Больше не будет, — говорит женщина. — Два взрыва двойных было.

И тут нужна привычка, чтобы расслышать два взрыва в одном.

Идем и гадаем — придет машина или не придет? Если не придет — будет худо: мы мокрые, голодные. А моросной дождь сыплется по-прежнему.

— Не беда, — говорит Большаков. — Заночуем на болоте, палатка тут стоит неподалеку. Спички есть, консервы будут.

Сидел я в кузове, дожидаться не мог, когда же кончится дорога и я вылезу из машины. А сейчас прошел по болоту — снова тянет в грузовик. Придет или не придет?

Вот он! Коричневая насыпь с глубокой колеей начинается прямо на кочках. На насыпи стоит грузовик. Все-таки дошел наш телефонный вызов в обход за триста километров.

С нежностью смотрю на новые ребристые протекторы, надетые на всех четырех колесах.

— Со мной не пропадете, — говорит невысокий быстроглазый водитель. — На каждом километре тракторы стоят. Время, однако, позднее.

На часах половина пятого.

— А у нас полшестого, — бойко отвечает водитель.

— Где это у вас?

— Саранчет, столица Тайшет — Абакана. Столица как столица, только дома пониже да асфальт пожире.

Мог бы и сам сообразить. Пока мы шли по болоту, прибавился час. Где-то у поваленной ели мы перешагнули невидимый часовой пояс.

Поменялось и название трассы. До сих пор мы ехали по Абакан — Тайшету, теперь поедem по Тайшет — Абакану.

Десять часов утра. День ясный, морозный. Все, что случится с нами теперь, будет уже после бани.

После бани идем искать Геннадия Сороковикова. Собственно, я искал Геннадия еще в Красноярске, на молодежном слете. Сороковиков выступал с речью и говорил как раз о том, как гибнет лес на стройках. Сороковиков предлагал, чтобы впереди строителей шли леспромхозы которые расчищали бы просеку и убирали лес. Когда мы ехали в мягком вагоне, я спросил Евгения Павловича Алексеева, почему не проводится в жизнь такое простое, казалось бы, дело. Алексеев улыбнулся.

— Этот юноша, видимо, строитель. Поэтому он хочет, чтобы самая трудная часть работы была свалена с плеч строителей на другие плечи. Леспромхозы никогда не пойдут на это. И не могут пойти. Леспромхозы рубят лес квадратами, они не в состоянии рубить просеку в десятки километров длиной.

Мы видели Сороковикова лишь на трибуне. Надо теперь посмотреть на него поближе, послушать, что он скажет.

Стоя у здания конторы, рассматриваю рисунки на фанерной доске. Любопытная доска; на ней показано, как соревнуются меж собой участки: один ползет на черепахе, другой едет по ухабистой дороге на грузовике, третий несется на поезде. Оформление в духе первых пятилеток, но и примета семилетки здесь есть — ракета.

Ищу на доске участок Сороковикова. Естественно, начинаю с ракеты, иду по нисходящей. Нигде не видно. Но вот я добираюсь до черепахи и не могу удержаться от взгласа:

— Смотрите, Сороковиков!

Что за наваждение! Передовой инженер, делегат молодежного слета — и вдруг на черепахе. Толстый коротконогий человечек неуклюже уселся на панцире, сидеть верхом на черепахе ему явно неудобно и стыдно, но тем не менее он сидит.

Может, это другой Сороковиков? Листаю тетрадь. Нет, все сходится — Сороковиков Геннадий Михайлович. И номер колонны тот же, что записан в тетради красноярским числом.

Из конторы выходит Слава Соколов, начальник комсомольского штаба стройки. Мы познакомились вчера (ехали вместе в машине). Слава устраивал нас в гостинице, а нынче водит по Саранчету.

— Вообще-то неудобно получилось, — говорит он. — Начальник вывесил Генку, не согласовав с треугольником. Мы на слете были, он вызвал художника и посадил Генку на черепахе. А Генка не виноват — его со снабжением подвели.

Надо же считаться с объективными причинами. Вот мы соберемся, проголосуем — как всегда делаем. Я думаю, товарищи исправят этот позор.

— А где Сороковиков сейчас?

— Мотается по трассе. У него участок — пятьдесят километров. Поехал на Туманшетский косогор. Там сейчас заваруха.

— Тогда поедем и мы. Нам по пути.

— А на чем поедем?

— Сейчас наше такси вызову, — говорит Соколов. — Поеду с вами.

Догнали Сороковикова на пятьсот девяносто пятом километре. Стоим на полотно, а разговор никак не клеится.

— Какой лес? — удивляется Геннадий, когда я говорю, что мы специально приехали из Красноярска, чтобы поговорить с ним о лесе. — У меня леса нет. Позавчера последнюю машину отвез в Слюдянку.

У него красивое, чуть скуластое лицо с густыми бровями. Глаза темные и удивленные.

— Вы на слете выступали?

— Выступал.

— О лесе говорили?

— Так вас этот лес интересует? Теоретический? — Геннадий улыбается. — Тот самый лес, которым никто не интересуется?

— Тот самый.

— Знаете что? У меня сейчас труба горит. Автокран пропал. Давайте вечером в Саранчете поговорим.

— Боюсь, что вечером мы будем в Тайшете.

— Что вы там потеряли? — спрашивает Сороковиков и с криком: «Иван, Иван!» — убегает от нас по шпалам. Пробежав несколько метров, он оборачивается и кричит: — Идите вверх! Я сейчас поднимусь!

Стоим на знаменитом Туманшетском косогоре, о котором «вся Москва» знает.

Красивое место, ничего не скажешь. Внизу бежит река Туманшет, за ней построился прозрачный сосновый бор, а за бором расположилась главная тема пейзажа — холмистые террасы, раскинутые амфитеатром и покрытые лесом. Полосы тайги набегают одна на другую, уходят в глубину, набираются густой сини, пока вовсе не сливаются с дальним синим небом.

Таким образом, перед нами складывается как бы шишкинское полотно «Лесные дали», но поскольку со времени написания картины прошло восемьдесят лет, переменился век, пейзаж выглядит более контрастным, динамичным, а на переднем плане возникает современный индустриальный материал — две стальные нити, голубой экскаватор, платформа с ярко-серым балластом, группы парней и девушек, работающих вдоль полотна.

Однако ж ясно — не красотой прославился в Москве Туманшетский косогор.

Существует иная точка зрения на Туманшетский косогор. «Он (косогор. — А. З.) преодолевается трассой железной дороги на участке 595—605 км. Наиболее неблагоприятной его (косогора) частью является участок 595—597 км., где склон расчленен глубоко врезанными логами, пазухами и западинами как в поперечном, так и в продольном направлениях... Почти по всей высоте склона наблюдаются выходы грунтовых вод...»

Вон с какой стороны подобралась к Туманшетскому косогору коварная слава.

Возникло пухлое дело о Туманшетском косогоре. Немало экспертов-москвичей приезжало сюда, чтобы полюбоваться «красотами», которые наделал Туманшетский косогор — трещинами да оползнями. Дело тянется много месяцев. Заказчик опасается оползней, требует перенести полтора километра трассы в сторону от косогора. Проектировщики утверждают, что косогор ведет себя в пределах нормы и перенос трассы обойдется дороже, чем укрепление косогора.

Большаков не сдастся, топает ногой по косогору.



— Я верю в Туманшетский косогор. Надо срезать голову оползня и оставить трассу на месте. Надо скорее кончать полотно — тогда уж не перенесут.

— Но разве в период изыскательских работ не велась геологическая разведка? Разве вы не могли предсказать поведение косогора?

— Вот! — восклицает Большаков. — В точку попали. Смотрите ту же докладную записку, страница одиннадцатая, девятая строка снизу и дальше.

Смотрю записку:

«Действующие ныне нормы и расценки на проектно-изыскательские работы находятся в явном противоречии с возросшими требованиями по качеству и детальности обследований».

Необходимо их пересмотреть. Проводимая в этом вопросе практика снижения сметных норм порочна, ибо убытки государству от неполно обследованных сложных объектов земляного полотна несоизмеримо больше, нежели экономия средств на геологическом обследовании».

Сердитый голос Большакова гремит над Туманшетским косогором:

— Вот где собака зарыта. Сэкономили на смете рубли, а теперь, когда дошла ясность, тысячи выбрасываем на дополнительные обследования, на переделки. Нет прав у проектировщиков. Не верят ему, не верят. Будто я хочу этот прекрасный косогор в свой карман положить.

Красивое место — Туманшетский косогор. Проедет пассажир, посмотрит в окошко, восхитится лесными даями и не будет ведать о том, что есть на свете человек, который за этот самый косогор заработал выговор от начальства.

Подходит Геннадий Сороковиков. Рассказываю ему о разговоре с Алексеевым.

— Леспромхозы, конечно, не возьмутся, — признается Геннадий. — По глупости я сболтнул.

— Значит, сейчас вы так не думаете?

— Вопрос ясен. Самим управляться с лесом. Надо дать строителям план сдачи леса и разработать спецпроект. Будет план, будут средства на его выполнение — и лес тогда будет цел. А сейчас у нас план такой — уничтожить этот лес, вымести его с просеки. Выполняем.

— Почему же вы на слете об этом не сказали?

— Не додумал. А теперь стал думать, после слета смотрю на все другими глазами. Валим, гноим, сжигаем — просто обида берет.

Саянское такси — крытый брезентом грузовик — трогается в последний перегон. До Тайшета — пятьдесят два километра. Дорога подсохла; можно рассчитывать, что часа через два доберемся до цели.

Трясет только.

На косогоре попрощались с Сороковиковым, с Большаковым (оба спешат по делам).

Останавливаемся у переезда. Мимо проходит путеукладчик, на платформах стоят высокие клетки с готовыми к укладке звеньями.

Состав медленно удаляется в глубь просеки. В стороне красуется мощный лесной завал из сосен — наверное, это последние погубленные деревья, которые мы видим на трассе.

У опушки стоит старый вагон с надписью «списан», вдоль полотна неторопливо шагают лошади с длинными гривами, впереди табуна — длинноногий вороной жеребец.

Последние километры путевой повести. Последний мост — река Бирюса. Машина взбирается наискосок по насыпи, гладко катится по колею (мост называется совмещенным, полотно обшито по шпалам досками). Две женщины прижимаются к перилам, пропуская машину, смотрят вслед.

Некоторое время Бирюса бежит рядом с дорогой, потом отваливает влево, теряется в перелесках. Там, вдали, белеют высокие металлические пролеты. Сквозь их металлическую решетку видно, как нескончаемо катятся грузовые вагоны. Еще один мост?

— Это не наш, — говорит Соколов, — Тоже через Бирюсу, но на главном ходе. А сейчас, смотрите, будет знаменитая Красная деревня, мы здесь жили.

На поле стоят вразброс красные товарные вагоны. Их притащили сюда тракторами прямо по снегу зимой 1958 года. От главного хода была протянута ветка, и строители принялись забрасывать материалы и машины в Красную деревню.

В морозный мартовский день 1958 года жители Красной деревни во главе с начальником участка Александром Федоровичем Скрыгиным вышли на закладку трассы.

Так примерно в одно и то же время началось строительство трассы: на западном плече — от Минусинска, на восточном плече — от Красной деревни.

А полотно уже вышло на последнюю кривую, взбежало на взгорок — под ним путепровод. Это правая колея Восточно-Сибирской магистрали проходит под полотном Южсиба.

Последний, шестьсот сорок седьмой километр. Пройдя над правой колеей, Абакан — Тайшет вонзился в середине главного хода, поравнялся с ним, застучал на стрелках, смешался на пристанционных путях.

Берем последнее интервью у Василия Степановича Бондарева, начальника восточного участка трассы. Теперь мы не повички, вопросов у нас хоть отбавляй.

Автомобили?

— По-моему, комиссия сделала правильные выводы, — говорит Бондарев. — Надо строить дороги по кооперации, с участием местных совнархозов. Все хотят пользоваться нашими дорогами, а строить — нет! Мы просто закрывали проезд, говорили лесникам, например: «Хотите по этой дорожке кататься — давайте экскаватор, пять самосвалов». Делать нечего, те давали. Разовые толчки, как видите, получают, но системой это еще не стало.

Благоустройство поселков?

— Я считаю так. Надо отойти от старой практики, когда нам на первый же год планируют объемы основных сооружений: полотно, просеки, тоннели. Первый год нужен на инженерную подготовку: дороги, поселки, быт. Не надо бояться, будто год будет потерян, мы его потом с лихвой наверстаем благодаря лучшим условиям работы. Этот вопрос целиком зависит от Госплана, и мне кажется, он уже настолько назрел, что над ним начинают думать высокие головы. Мы находимся на подступах к решению этого вопроса.

Подходит к концу и последнее интервью.

Сколько километров осталось до стыка?

— Сейчас посмотрю. — Василий Степанович заглядывает в тетрадку. — Вот. Сто девяносто восемь километров.

— Позвольте, здесь какая-то неточность. В Абакане мы задавали такой же вопрос Дмитрию Ивановичу Коротчаеву. Помнится, он называл другую цифру, значительно большую?

— Все точно, — улыбается Василий Степанович Бондарев. — Сколько дней вы шли по трассе?

Мы шли по трассе десять дней.

...Поезд мягко трогается со станции Тайшет. На боку вагона висит табличка: «Москва — Лена».

Усаживаюсь поудобнее за столиком и раскрываю тетрадь.

Сегодня пройдено восемьдесят — а всего с начала повести тысяча двести шестьдесят семь километров.

Прошло несколько месяцев. Я давно уже возвратился домой и заканчивал обработку путевых дневников.

В тот мартовский день я собирался поставить точку, как вдруг случайная встреча в московском метро заставила меня вернуться к рукописи.

В толчее подземного перехода на проспекте имени Маркса я увидел коренастую, чуть сутуловатую фигуру Георгия Михайловича Моченова. Я окликнул его. Мы прижались к стене, пропуская мимо людской поток.

— Спешу! — сказал председатель.

Но проговорили мы больше часа.

— Козинский тоннель пустили с неплохим качеством, — рассказывал Георгий Михайлович. — На Крале также дела налаживаются. Помните, они рельсы в обход Козы на тракторах забрасывали? Это же втридорога обходилось. Я в Красноярске спрашиваю строителей: «Зачем так делаете?» А они свое: «Так выгоднее: вал-то в рублях». Дикость, варварство!.. В Красноярске мы крепко поговорили. А недавно в Москве было заседание Комитета партгосконтроля. Разговор шел серьезный, по большому счету. Многие наши рекомендации записаны в решении. На осень назначена новая проверка. Вот было бы интересно проехать по старым местам, посмотреть, как меняется дело. Поехали?



---

---

# Л С У Ъ Л И Ц И С Т И К А

Б. КЕДРОВ

★

## СТРАНИЦА 100

*Как родилось ленинское определение диалектики*

### Возможен ли такой кинофильм?

**Л**на экране — чистый лист бумаги. В его левом углу наверху стоит одна только цифра «100». Это — еще не заполненная страница ленинских «тетрадок по философии». Сейчас рука Владимира Ильича записывает последние строчки на предыдущей странице. Вот они записаны, и страница переворачивается. Перо в руке начинает быстро наносить первые буквы, первые слова, первые строчки на странице 100. Рука то заполняет подряд строчку за строчкой, то переходит на поля, то пишет внизу, то в уголках, то между уже написанными фразами. Рука с пером последовательно заносит на бумагу знаменитые шестнадцать элементов диалектики. То тут, то там делаются исправления, обводятся светлыми, а порой очень жирными рамками только что найденные определения и характеристики. Все это совершается на экране так, словно зритель сам присутствует при рождении ленинских мыслей. Кинематограф дает возможность статическое представить в динамике, в движении. А голос диктора комментирует каждый поворот ленинской мысли, поясняет значение каждой записи, смысл каждого дополнения или исправления. Материалом для комментариев служат другие записи самого же Ленина, сделанные до или после того, как была написана страница 100.

Искусно смонтированные кадры кинохроники воссоздают историческую обстановку, в какой рождались «Философские тетради». Другие кинокадры рассказывают о познании человеком природы, о строении материи, формах ее движения; показывают явления и процессы, протекающие в природе, поясняют диалектику природы. Кадры пейзажные: виды Швейцарии, ее старинные города, покрытые вечными снегами горы и бурные горные речки — перенесут нас туда, где жил тогда Владимир Ильич, где он работал над теорией материалистической диалектики.

А дальше восстанавливается последовательность записей Ленина, создается живая картина развития и движения мысли — рождение ленинской характеристики шестнадцати элементов марксистской диалектики и ее ядра..

Я уверен, что такой фильм возможен. Он помог бы проникнуть в глубь существа работы Владимира Ильича над диалектикой, понять смысл и значение отдельных ленинских записей, проникнуть в общий замысел Ленина..

Но такого фильма нет. Поэтому все же я рад был бы надеяться, что разбор ленинских записей с точки зрения движения мысли, их рождавшей, даже в обычной литературной форме поможет приоткрыть дверь в творческую лабораторию великого революционера и мыслителя.

### Это было полвека назад...

Сентябрь 1914 года. Второй месяц мировой войны. Владимир Ильич только что вырвался из Австрии, где был задержан местными властями. Теперь он в столице маленькой нейтральной Швейцарии — тихом, старинном Берне. Ленин ходит по узким улочкам центра города, по высоким мостам, перекинутым над пенистой Аарой, протекающей через весь Берн, любуется панорамой живописных бернских Альп — Юнгфрау, Мёнх, Эйгер, кормит медведей в традиционной «медвежьей яме» («бернграбен»).

(Позволю сделать в скобках замечание личного характера. С осени 1912 года до весны 1914 года я вместе с родителями жил в Берне, а затем был в этом городе летом 1915 года. Несколько раз я близко видел в те годы Владимира Ильича. Тогда я был мальчиком, и хотя с тех пор прошло полвека, но я так ясно все помню, словно это было вчера.)

Все свободное время Владимир Ильич проводил в Национальной библиотеке, которая помещается в маленьком переулке возле здания парламента. В грозные дни осени 1914 года Ленин принимается за штудирование — казалось бы, такой невероятной далекой от бурных событий войны — гегелевской «Науки логики» Книгу Гегеля он выписывает в читальном зале бернской библиотеки, — сохранился листок требования, заполненный Лениным. Книга издана в Берлине более чем за восемьдесят лет до того, как взял ее в руки Владимир Ильич в бернской библиотеке. Целыми днями, пока открыта библиотека, Владимир Ильич сидит над книгой, кропотливо, придирчиво изучает, продумывает каждую ее фразу, делает из нее пространые выписки, комментирует их, формулирует свои собственные мысли по поводу прочитанного.

Что заставило Ленина заняться изучением этой книги? Почему на ней остановил он свое внимание именно в то время, как всю Европу потрясали залпы только что вспыхнувшей войны? Что именно заинтересовало Ленина в этот момент у Гегеля?

#### Диалектика!

Ленин смотрел далеко вперед и видел гораздо дальше, чем кто-либо другой из его современников. Сквозь огонь и дым войны, сквозь шовинистический угар, охвативший множество людей, в том числе и тех, кто называл себя социалистами, Ленин различал грядущее так, словно оно уже наступило. Он видел неизбежность того, что грабительская, империалистическая война раскроет глаза народов и покажет им всю преступность существующего общественного строя, который вверг человечество в кровавую бойню, и война империалистическая перерастет в войну гражданскую, в войну против угнетателей. Тогда поднимутся миллионные массы грудящихся на борьбу против капитала и свергнут его господство.

Но Ленин видел еще и другое: чтобы направить энергию масс, их революционный порыв по верному пути, чтобы достичь конечной цели, необходимо, во что бы то ни стало необходимо вооружить эти массы революционной теорией, ибо только она может осветить путь революционной практике.

Живую душу марксистской революционной теории составляет диалектика с ее учением о противоречивом, скачкообразном, порой катастрофическом характере развития. Именно в эпохи мировых социальных потрясений все противоречия общественно-исторического развития небывало обостряются и достигают наивысшего напряжения; развитие общества становится тогда похожим на движение по узкой дороге с крутыми поворотами и резкими изломами, ведущей нередко к катастрофе, к революционному взрыву.

Подобно тому как Маркс и Энгельс накануне революции 1848 года нашли в диалектике Гегеля, очищенной от мистики, метод революционного преобразования мира, так теперь и Ленин, следуя своим великим учителям, обратился к диалектике Гегеля, чтобы отточить теоретическое оружие диалектики в канун второй русской революции.

Кто из жителей маленького швейцарского городка, кто из сотрудников бернской библиотеки, выдававших гегелевскую книгу Ленину, мог бы подумать, что здесь, за столом читального зала, выковывается идейное оружие, предназначенное для свержения капитализма, и что не пройдет и трех лет, как оснащенные этим оружием русские рабочие и крестьяне добьются победы в своей огромной стране. Кто мог тогда

предвидеть, что оружие это окажется куда сильнее крупновских пушек, английских танков, французских аэропланов?

Пока же Владимир Ильич просиживает изо дня в день долгие часы в этом тихом читальном зале, ломая голову над затемненными конструкциями гегелевской «Логики», над причудливыми изворотами гегелевской мысли...

### Ход творческой мысли Ленина

Возьмем в руки ленинскую тетрадь, в которой зафиксирована работа Ленина с сентября по декабрь 1914 года. На обложке — белая этикетка, на ней надпись: Гегель. Логика I, страницы с 1-й по 48-ю. Сверху написано: «Тетрадки по философии», и в скобках: Гегель, Фейербах и разное.

Тетрадь испещрена мелким, быстрым ленинским почерком. Записи сделаны почти по поводу каждой страницы «Логики». Раскроем книгу Гегеля. Вот — «Предисловие» к ее первому изданию, а вот — выписки Ленина из этого «Предисловия» и заметки по поводу него. И еще, и еще, и еще...

Исписав первую тетрадь, Ленин продолжает конспектировать «Логикку» в другой такой же тетради, — на обложке значатся страницы с 49-й по 88-ю. Когда она заполнена вся, Владимир Ильич берет третью тетрадь, и только в этой тетради заканчиваются его записи, сделанные в связи с работой над гегелевской «Логикой».

Но работа над диалектикой продолжается. Впереди еще много книг, которые Ленину предстоит проштудировать, законспектировать, обдумать. Впереди — обобщающий труд по диалектике, задуманный Лениным, развитие своих собственных идей и мыслей, касающихся разработки диалектики с материалистических позиций.

Если бы мы захотели сейчас шаг за шагом разобрать все, что было записано Лениным в этих тетрадках, нам не хватило бы кинолент, на которых засняты все кинофильмы, выпускаемые в нашей стране за несколько лет, — так много потребовалось бы времени и места, чтобы проникнуть в глубину творческой работы ленинской мысли... Поэтому волей-неволей приходится ограничиться только маленьким отрывком из того гигантского труда, который проделал Владимир Ильич в Берне начиная с сентября 1914 года. Мы возьмем только одну страницу из третьей тетради, на которой стоит цифра «100», и разберем только ее. Но чтобы проследить некоторые мысли Ленина в их развитии, нам придется выходить за пределы сотой страницы ленинского конспекта — идти назад, к тем страницам, где зарождались соответствующие мысли Владимира Ильича, или вперед, к тем страницам, где они получили свое дальнейшее развитие...

Работу Владимира Ильича над шестнадцатью элементами диалектики можно условно подразделить на четыре стадии: первая стадия — из исходного гегелевского определения выделены три пункта; вторая стадия — три пункта развернуты в первые семь элементов диалектики; третья стадия — первые семь элементов диалектики расширены, раздвинуты, дополнены еще пятью элементами, из которых три отнесены к диалектике процесса познания; четвертая стадия — выделено ядро диалектики, и это ядро развито в четырех последних элементах.

#### Выделены три пункта из гегелевского определения

Итак, работа над «Наукой логики» Гегеля подходила к концу. Настала пора делать выводы и обобщения более широкого характера, чем те, какие Ленин делал до сих пор. И прежде всего надо ответить на самый главный вопрос. а что же такое сама диалектика как наука, как метод объяснения и преобразования мира? Подходы к ответу на этот вопрос можно найти у Ленина в предыдущих его тетрадках, но сейчас речь идет уже о самом ответе на поставленный ребром вопрос.

На предыдущей (99-й) странице своего конспекта Ленин записывает. «Единство теоретической идеи (познания) и практики — это NB» — слова «и практики» он подчеркивает дважды. Дальше речь идет о методе: «абсолютный метод», по Гегелю, — это «метод познания объективной истины», — поясняет Ленин. Страница 99 на этом кончается, и начинается следующая, та самая сотая страница, которой мы и займемся. (Фотокопию и ее дешифровку см. на стр. 174, 175.)



Этот метод «абсолютного познания» *аналитичен*... «но он также и весьма *синтетичен*»... (336).

«Dieses so sehr synthetische als analytische Moment des *Urteils*, wodurch das anfängliche Allgemeine aus ihm selbst als das *Andere seiner* sich bestimmt, ist das *dialektische* zu nennen»... (336)  
(+ см. следующую стр.).

Одно из определений диалектики

«Этот столь же синтетический, как и аналитический момент *суждения*, в силу какового (момента) первоначальная общность [общее понятие] само из себя определяется как другое по отношению к себе, должен быть назван диалектическим».

Определение не из ясных!!

- 1) Определение понятия самого из себя [*сама* вещь в ее отношениях и в ее развитии должна быть рассматриваема];
- 2) противоречивость в самой вещи (*das Andere seiner*), противоречивые силы и тенденции во всяком явлении;
- 3) соединение анализа и синтеза.

Таковы элементы диалектики, по-видимому.

Можно, пожалуй, детальнее эти элементы представить так:

- Элементы диалектики
- 1) *объективность* рассмотрения (не примеры, не отступления, а вещь сама в себе). ×
  - 2) вся совокупность многообразных *отношений* этой вещи к другим.
  - 3) *развитие* этой вещи (*respective*<sup>1</sup> явления), ее собственное движение, ее собственная жизнь.
  - 4) внутренне противоречивые *тенденции* (*и* стороны) в этой вещи.
  - 5) вещь (явление etc.) как сумма *и единство противоположностей*. #
  - 6) *борьба respective* развертывание этих противоположностей, противоречивых стремлений etc.
  - 7) соединение анализа и синтеза,— разборка отдельных частей и совокупность, суммирование этих частей вместе.
  - × 8) отношения каждой вещи (явления etc.) не только многообразны, но всеобщы, универсальны. Каждая вещь (явление, процесс etc.) связаны с *каждой*.
  - 9) не только единство противоположностей, но *переходы к каждому* определения, качества, черты, стороны, свойства в *каждое* другое [в свою противоположность?].
  - 10) бесконечный процесс раскрытия *новых* сторон, отношений etc.
  - 11) бесконечный процесс углубления познания человеком вещи, явлений, процессов и т. д. от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности.
  - 12) от сосуществования к каузальности и от одной формы связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей.
  - 13) повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc. низшей и
  - 14) возврат якобы к старому (отрицание)  
(отрицания)
  - 15) борьба содержания с формой и обратно. Сбрасывание формы, переделка содержания.
  - 16) переход количества в качество и *vice versa*. ((15 и 16 суть *примеры* 9-го))

Вкратце диалектику можно определить, как учение о единстве противоположностей. Этим будет схвачено ядро диалектики, но это требует пояснений и развития.

<sup>1</sup> Соответственно. (Ред.)



Сначала Ленин продолжает выписывать из Гегеля по-немецки:

Этот метод «des absoluten Erkennens» ist analytisch... «aber ebenso sehr synthetisch»... (336)<sup>1</sup>.

Эта мысль очень интересна: в диалектике анализ и синтез нераздельны, но пока что не больше... Зато почти сразу за этим у Гегеля в «Науке логики» следует определение, которое привлекает все внимание Владимира Ильича — это как раз то, что ему сейчас нужно: определение диалектики как науки. Конечно, у Гегеля оно затуманено, затемнено, как и многое из того, что написал великий немецкий мыслитель. Ленин спешит выписать, а затем разобрать по косточкам гегелевское определение: его не страшит, а, напротив, как бы подзадоривает сложность и запутанность изложения гегелевской мысли. Здесь есть над чем поразмыслить, есть что разгадывать, чтоб дойти до истинного смысла: того, что содержится в столь хитро заверченной формулировке. Видимо, это чувство сродни тому, которое испытываем и мы, когда нам попадается интересный и очень трудный ребус или кроссворд. Но, разгадывая его, мы лишь упражняем нашу мысль и память на решении искусственно придуманной задачи. А перед Лениным встала жизненно важная задача, от решения которой зависел в значительной степени успех всей громадной теоретической работы, которую он вел в течение долгого времени. Не спортивный интерес двигал ленинскую мысль, а необходимость разгадать сначала истинное или, как говорят, рациональное содержание гегелевской мысли, а затем уже самостоятельно развить это содержание дальше, насколько это возможно, резюмируя и обобщая уже проделанную работу и готовя трамплин для дальнейшего броска вперед...

Ленинская запись гегелевского определения сделана по-немецки:

«Dieses so sehr synthetische als analytische Moment des Urteils, wodurch das anfängliche Allgemeine aus ihm selbst als das Andere seiner sich bestimmt, ist das dialektische zu nennen» (336) ...

Теперь Ленин прерывает на время дальнейшее чтение гегелевской книги и целиком сосредоточивается на разборе сделанной выписки. Он подчеркивает ее с обеих сторон, а на полях слева записывает более крупным почерком:

Одно из определений ДИАЛЕКТИКИ.

Слово «диалектика» он подчеркивает трижды — так она ему необходима!

Что же говорит эта выписка? Очевидно, ее прежде всего надо перевести с немецкого на русский язык; тогда легче будет разобраться в ее смысле и развить ее, если позволят обстоятельства, в более глубокое, содержательное, а главное — марксистское определение диалектики, иначе говоря — раскрыть, что такое диалектика, каковы ее основные принципы, или элементы, или законы. И Ленин делает перевод:

«Этот столь же синтетический, как и аналитический момент суждения, в силу какового (момента) первоначальная общность [общее понятие]<sup>2</sup> само из себя определяется как другое по отношению к себе, должен быть назван диалектическим».

Эту фразу Ленин заключает в рамку и отмечает справа двумя чертами. Надо признаться, что даже в ленинском переводе гегелевское определение диалектического метода, так заинтересовавшее Ленина, звучит весьма непонятно, разве кроме указания на то, что в диалектическом методе синтез и анализ выступают одновременно... А остальное? Остальное очень и очень смутно — сам Владимир Ильич пишет на полях:

Определение не из ясных!!

<sup>1</sup> Перевод: Этот метод «абсолютного познания» аналитичен.. «но он также и весьма синтетичен»...

<sup>2</sup> Ленин здесь поясняет то, что в данном случае имел в виду под «общностью» Гегель: это — «общее понятие».

Ну, а как прояснить его? Как разобраться в его смысле? Ленин пробует это сделать. Он выделяет в гегелевском определении три пункта и записывает их тоже на полях:

Первый пункт — это разбор гегелевского выражения: общее понятие «само из себя определяется». Ленин записывает это так:

1) опред. понятия самого из себя

Потом он дописывает слово: «опред[ЕЛЕНИЕ]»:

Но что значит с точки зрения материализма, то есть правильного человеческого мышления, «определение понятия самого из себя»? Ленин поясняет в скобках:

с а м а вещь в ее отношениях и в ее развитии д. б. рассматриваема.

Итак, из туманного, далеко не ясного гегелевского определения диалектического метода начинает что-то вырисовываться: благодаря ленинскому анализу туман гегелевских построений рассеивается и намечаются первые рациональные очертания; диалектика требует, чтобы рассматривалась сама вещь в ее отношениях и изменениях, развитии. Это уже вполне ясное, четкое, не вызывающее каких-либо недоразумений требование или условие всякого подлинно научного исследования: ведь изучению подлежит с а м предмет, а не наши домыслы о нем.

Второй пункт вытекает из гегелевских слов: «das Andere seiner», как перевел Ленин: «другое по отношению к себе». Но что это может означать? И как можно определить вещь «как другое по отношению к себе»? Это надо понимать как то, что прямо противоположно данной вещи. Просто «другое» — это вообще все от нее отличное, а «ее» другое — это то, что противопоставляется именно данной вещи. Можно сослаться на химические явления. Для кислоты «другой» жидкостью, просто отличной от нее, будет вода, молоко, спирт, масло, бензин и т. д. Но «другое по отношению к себе» — это, как говорят химики, основание, которое химически противоположно кислоте и с нею реагирует, давая нейтральную соль. Значит, как и отмечает Ленин, das Andere seiner — это есть внутренняя противоречивость вещи по отношению к самой себе. В таком виде гегелевская мысль уже оказывается вполне разумной и понятной. Соответственно Владимир Ильич формулирует второй пункт:

2) противоречивость в самой вещи (das Andere seiner), противоречивые силы и тенденции во всяком явлении;

За вычетом обоих этих пунктов остается только то, с чего Гегель начинает свое определение и что в его определении оказывается самым ясным — нераздельность в диалектическом методе анализа и синтеза. Ленин так и записывает третий и последний пункт, расшифровывая смысл гегелевского определения:

3) соединение анализа и синтеза.

Теперь все три пункта выражены ясным человеческим языком. И Ленин резюмирует то, что он уже расшифровал, перевел не только с немецкого языка на русский, но и с туманного гегелевского на человеческий материалистический язык. Ленин пишет:

Таковы элементы диалектики, по-видимому.

Тут впервые у Ленина появляется выражение «элементы диалектики».

Первый этап работы Владимира Ильича над определением диалектики и ее элементов закончен. На странице 100 (см. фотокопию) заполнена вся верхняя часть страницы вплоть до строчки «таковы элементы диалектики, по-видимому». Отсутствуют здесь пока еще — отсылка: «(+ см след. стр.)», и стрелка, а также две строчки справа: «16) Прхд клчва в кач во и в. в. ((15 и 16 суть примеры 9-го))».

### Три пункта развернуты в семь элементов

Но Ленина не устраивала простая расшифровка гегелевского определения. Для него это только исходный пункт, отталкиваясь от которого можно и нужно раскрыть основное содержание диалектики, дать ее марксистское определение. Имея в виду

только что перечисленные три пункта (или элемента) диалектики, Ленин переходит к их углублению и расширению. Сначала это делается в общих рамках трех исходных пунктов. Затем Ленин начинает раздвигать их рамки. Он пишет:

Можно, пожалуй, детальнее эти элементы представить так:

И он раскрывает прежний первый пункт, где говорилось, во-первых, о самой вещи, во-вторых, о ее отношениях, в-третьих, о ее развитии. Эти три момента Ленин сейчас и записывает (нумерацию он ставит позднее):

1) объект-сть рассм.

Что это значит? Ленин в скобках поясняет:

не примеры, не отступления, а вещь сама в себе.

Здесь Ленин формулирует исключительно важное, решающее требование марксизма: применять диалектику конкретно в научном исследовании, изучать данный предмет во всей его сложности, со всеми ему присущими закономерностями, а не сводить диалектику к простой сумме примеров, взятых случайным образом из самых различных областей, не связанных между собой<sup>1</sup>.

Итак, очевидно, что пока еще не отражено все содержание прежнего первого пункта: в нем было указание еще на отношения вещи и на ее развитие. Это и записывает далее Ленин в более развернутом виде:

2) вся совокупность многообразных отношений этой вещи к другим.

3) развитие этой вещи (resp. явления), его (исправлено: ее.— Б. К.) собственное движение, ее собств. жизнь.

Первый пункт теперь пока что закончен.

Ленин переходит ко второму пункту, в котором говорится о противоречии, об «Andere seiner». Сначала Ленин как бы просто повторяет то, что он уже записал ранее, когда расшифровывал гегелевское определение и удалял из него туман. Тогда он записал: «противоречивость в самой вещи... противоречивые силы и тенденции во всяком явлении». Теперь Ленин несколько иначе записывает по сути дела то же самое:

4) внутр. противоречивые тенденции (или стороны) в этой вещи<sup>2</sup>.

Затем «или» исправляется на «и» и подчеркивается дважды.

Но далее появляется нечто совершенно новое, чего не было в прежней редакции трех элементов диалектики: указание на единство и на борьбу противоположностей. Конечно, сама мысль о выделении внутри противоречия этих двух моментов — или характеристик — единство противоположностей и борьба противоположностей — уже и раньше, при работе над «Логикой», возникла у Ленина. Он неоднократно отмечал такие выражения, как тождество противоположностей, как борьба полярностей. Но только теперь эти положения Ленин впервые ввел в характеристику элементов диалектики, рассматриваемых в их взаимной связи. Продолжая раскрывать содержание прежнего второго пункта, характеризующего диалектику, Ленин записал:

5) вещь, как сумма и единство противоположностей.

6) борьба resp. развертывание этих противоположностей, противореч. стремлений etc.

Так заканчивается на данном этапе характеристика прежнего второго пункта.

Третий пункт раскрывается мало — в нем дана лишь характеристика того, что такое анализ и синтез:

7) соед. анализа и синтеза, — разборка отд. частей и совокупность, суммирование этих частей вместе.

<sup>1</sup> В отрывке «К вопросу о диалектике», написанном уже в 1915 году, Ленин специально подчеркнул, что неправильно поступает тот, кто берет закон диалектики как сумму примеров, а не как закон познания и закон объективного мира.

<sup>2</sup> Первоначально пункты 4 и 5 составляли один пункт. При нумерации Ленин разделил их на два пункта.

В этих трех развернутых пунктах — все, что можно было вывести из гегелевского определения диалектики, если его истолковать материалистически, как это сделал Ленин. Первые четыре строчки новых записей (см. фотокопию) соответствуют прежнему первому пункту; следующие четыре строчки — второму, последние две строчки — третьему. Но по содержанию исходные три пункта теперь значительно расширены: они не укладываются в прежние три пункта. И это можно сразу обнаружить, если перенумеровать новые элементы диалектики. Это сейчас и делает Ленин. Он ставит жирные цифры: от «1» до «7».

Теперь почти каждая строчка новых записей превращается в особый элемент диалектики: в итоге из бывшего первого пункта образуются новых три — первый, второй, третий; из бывшего второго пункта — тоже три новых: четвертый, а внутри четвертого отделяется как особый элемент — пятый, причем в середине строчки буква «в» у слова «вещь» переделывается на заглавную, а снизу подписывается в скобках:

явление ес.

и шестой; бывший третий пункт получает теперь порядковый номер 7.

Вторая стадия работы закончена. Можно подвести черту. Ленин ее и подводит, а на полях слева записывает крупно.

### ЭЛЕМЕНТЫ ДИАЛЕКТИКИ

и отчеркивает двумя вертикальными чертами определение семи элементов. Теперь, кажется, можно продолжить чтение гегелевской книги и вернуться к прерванному абзацу на странице 336.

Но рано еще ставить точку и прерывать начавшееся раскрытие и формулирование элементов диалектики. Собственно говоря, сделана лишь половина дела: три исходных пункта развернуты в семь элементов, но за пределы исходных трех пунктов пока еще мысль Владимира Ильича здесь не вышла.

К этому моменту заполнена не только вся верхняя часть 100-й страницы (за исключением ранее отмеченных двух мест), но и вся ее середина до горизонтальной линии (позднее эту линию Ленин зачеркнул), проведенной под седьмым элементом. Отсутствуют только два значка — простой крестик над словом «многообразных» и двойной крестик над словом «единство».

#### Пять новых элементов

В. И. Ленин не мог быть еще удовлетворен проделанной работой: ведь пока дело ограничилось материалистической переработкой гегелевского текста и некоторым углублением результатов этой переработки. А где уверенность, что в исходном определении Гегеля действительно были отражены все главные элементы диалектики? И Ленин вновь возвращается к анализу того, к чему он уже пришел, перерабатывая гегелевское определение. Не пропущено ли что-нибудь? Не требуется ли еще что-либо добавить, углубить, расширить? Он перечитывает все семь сформулированных им элементов диалектики и обнаруживает, что действительно в них не все схвачено. Прежде всего это касается второго нового элемента диалектики: здесь речь идет о «многообразных отношениях». А разве отношения могут быть только различными между собой? Не вернее ли сказать, что наряду с многообразием у них имеется еще и такая важная особенность, как их всеобщность? Ведь все вещи и явления связаны между собой, и каждая вещь в конце концов связана с каждой другой прямо или опосредованно. Ленин это подчеркивал уже не раз в процессе предшествующей работы над «Логикой». Поэтому сейчас эта мысль у него была уже вполне подготовлена.

Как же добавить к уже имеющимся семи элементам диалектики еще один — восьмой, касающийся дальнейшего расширения одного из них, а именно второго?

Ленин ставит над словом «многообразных» крестик, как если бы он хотел сделать к этому месту примечание; потом внизу, под чертой, он ставит такой же крестик, совсем как если бы действительно речь шла о примечании, и записывает (теперь порядковый номер элемента он ставит сразу):

8) отношения каждой вещи (явления etc.) не т-ко многообразны, но всеобщы, универсальны. Каждая вещь (явление, процесс etc.) связаны с каждой.

Ленин продолжает размышлять над своими семью элементами диалектики и снова обнаруживает в них неполноту. Он доходит до пятого элемента: «вещь.. как сумма и единство противоположностей»... Достаточно ли этого? Ведь раньше, работая над «Логикой», Ленин неоднократно отмечал: тождество противоположностей обнаруживается в том, что противоположности переходят, превращаются друг в друга. Значит, и сейчас надо отметить это обстоятельство, расширить соответственно данный элемент диалектики. Владимир Ильич так и поступает: он снова ставит отсылочный знак — теперь уже удвоенный крестик — над словом, требующим дальнейшего развертывания, и таким словом оказывается на этот раз «единство»<sup>1</sup>

Внизу же — под восьмым пунктом — подписывается.

9) не т-ко единство противоположностей, но переходы каждого определения, качества, черты, стороны, свойства в каждое другое.

Затем Ленин двойной жирной чертой подчеркивает слово «каждого» и снизу подписывает в квадратных скобках:

в свою противоположность?

Дойдя до седьмого и восьмого элементов диалектики, Владимир Ильич, видимо, старается взглянуть на них с новой стороны: ведь до сих пор речь шла о самой вещи, о ее развитии, ее отношениях, ее противоречиях и их переходах. Но в седьмом элементе речь идет уже не о самой вещи, а о способе ее изучения человеком, о ее познании. Иначе говоря, вопрос ставится не только о диалектике вещей, но и о диалектике процесса познания этих вещей человеком. Если с этой стороны рассматривать восьмой элемент, то легко прийти к заключению: раз отношения вещей всеобщы и раз каждая вещь связана с каждой другой, то практически эти отношения бесконечны, а значит, бесконечен и самый процесс их познания, их открытия человеком. Соответственно этому в качестве третьего «примечания» Ленин записывает:

10) бесконечный процесс раскрытия новых сторон, отношений etc.

Но процесс познания не ограничивается только постоянным открытием новых свойств, связей и отношений у вещей. Ведь самое главное в процессе познания — это углубление познания в сущность вещей, скрытую от непосредственного взора наблюдателя и не воспринимаемую чувственно, а постигаемую лишь с помощью абстрактно-теоретического мышления. Поэтому, продолжая развивать мысль, уже выраженную в десятом элементе, Ленин записывает еще одно новое положение. Но так как страница уже снизу дописана тремя «примечаниями» до конца, запись переносится несколько выше — между итоговой чертой и восьмым элементом:

11) бесконечный процесс углубления познания ч-ком вещи, явлений, процессов и т. д. от явлений к сущности и<sup>2</sup> от менее глубокой к более глубокой сущности, от сосущ. к каузальности и от одной формы связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей.

Но и здесь первоначально оказались соединены в один элемент два разных вопроса: бесконечный процесс углубления познания в сущность явлений и связанный с ним столь же бесконечный процесс углубления в закономерную связь явлений мира. Поэтому Ленин решает разделить эти вопросы и выделить двенадцатый элемент. Он

<sup>1</sup> Здесь речь идет фактически о втором «примечании» — если первым считать предыдущее «примечание». Поэтому и значок ставится теперь удвоенный.

<sup>2</sup> Союз «и», видимо, вписан позднее, сверху, когда первоначально единый одиннадцатый пункт был разделен на два. В результате этого потребовалось грамматически перестроить оставшуюся в качестве одиннадцатого пункта фразу.

ставит сверху номер «12» перед словами «от сосуществования» и еще раз выносит эту цифру на поля, соединив ее многоточием с текстом, определяющим этот элемент.

Все выделенные им элементы диалектики — это результат, экстракт или квинт-эссенция, как любил выражаться Владимир Ильич, громадного по своим масштабам и итогам развития научного познания. Посмотрим же, как характеризовал сам Ленин то обстоятельство, что процесс познания и его диалектика предполагают движение познания путем открытия сущности в непосредственных явлениях. В своем наброске «Плана диалектики (Логики) Гегеля» Ленин писал: «...таков действительно о́бщий ход всего человеческого познания (всей науки) вообще. Таков ход и естественного познания и политической экономии [и истории]. Диалектика Гегеля есть, **постольку**, обобщение истории мысли». Далее Ленин высказал удивительно глубокую мысль, которая для нас теперь служит программой всей работы в области диалектической философии и марксистской истории науки: «Чрезвычайно благодарной кажется задача проследить сие конкретнее, подробнее, на истории отдельных наук».

Попытаемся теперь, конечно очень бегло, проследить хотя бы на одном каком-либо явлении эту замечательную мысль Ленина, выраженную в одиннадцатом элементе диалектики (после выделения из него двенадцатого элемента). Возьмем такой всем хорошо известный процесс, как горение.

Получение огня посредством трения положило начало истории человеческой цивилизации. Понятно, что человеческий разум уже издавна пытался проникнуть в сущность этого явления. Сначала люди придумывали всякого рода божества огня — Вулкан у римлян, Плутон у древних греков и т. д. Потом, в средние века, алхимики придумали особое вещество «серу», или «сульфур», как мнимую сущность огня, горения: горячее тело потому горит, что оно содержит в себе это вещество, а горение есть результат выделения этого вещества из тела. В XVIII веке на этой основе возникла первая химическая теория — учение о флогистоне. Но никакого даже незначительного проникновения в действительную сущность процесса горения во всех этих рассуждениях не было: горение как было, так и оставалось по существу явлением непонятым. В конце XVIII века началась химическая революция: Лавуазье сверг теорию флогистона, которая господствовала в химии в течение целого века. Он доказал, что никакого флогистона не существует, а химизм горения состоит в том, что горячее вещество (например, уголь или сера) соединяется с кислородом воздуха. Так химики впервые проникли в действительную сущность процесса горения, но это была наименее глубокая сущность, так сказать, сущность первого порядка.

Мысль ученых не могла остановиться на первой ступени познания этого химического явления. Она стремилась проникнуть глубже и установить, почему же происходит горение? Какие причины заставляют тела соединяться между собой и как это соединение совершается в дегалях? Еще древние мудрецы (Демокрит, Эпикур, Лукреций) учили, что весь мир, вся материя состоит из атомов и все процессы сводятся к соединению и разъединению атомов. Но атомы невидимы, неощутимы. Поэтому их можно представлять только мысленно. Две тысячи лет спустя химики вернулись к этой идее. Установив, что горение есть соединение горящего вещества с кислородом, они мысленно представили себе внутренний «механизм» этого процесса в виде движения и взаимодействия атомов. Еще Ломоносов говорил, что при горении и кальцинации к телу присоединяются частицы быстро текущего над ними воздуха, увеличивая этим вес тела. Но тогда это была еще догадка. В начале XIX века Дальтон показал, что действительно реакцию горения можно представить как соединение одного атома углерода с одним атомом кислорода при неполном сгорании, когда образуется окись углерода, или с двумя атомами кислорода, когда образуется углекислый газ. Это уже было проникновением в более глубокую, атомистическую сущность химических явлений. Недаром Ленин в отрывке «К вопросу о диалектике» записал, что в химии закон единства и борьбы противоположностей выступает как соединение и диссоциация атомов.

Но по-прежнему вставал вопрос о том, почему все же таки атомы соединяются друг с другом, какая сила толкает их друг к другу? Эта сила уже издавна у химиков получила название «силы химического сродства»; но что она собой представляет —

никто не знал. Впервые в начале XIX века попытался ответить на этот вопрос Берцелиус; он решил, что эта сила носит электрический характер. Атомы наэлектризованы, у каждого из них имеются, как у магнита, положительный и отрицательный полюса; одноименные полюса отталкиваются, разноименные — притягиваются. Кислород, по Берцелиусу, абсолютно отрицательный элемент, и он легко притягивает атомы с положительными полюсами, например, углерод. Идея Берцелиуса не выдержала испытания временем — она была весьма искусственной и противоречила многим фактам химии и физики. Но в основе у нее лежала верная догадка, и спустя полвека ученые к ней вернулись, но, как говорится, на более высокой основе, обогащенные новыми, более точными опытными данными и теоретическими представлениями. В конце XIX века соотечественник Берцелиуса — Сванте Аррениус развил представление об ионах (электрически заряженных атомах и осколках молекул). Например, в воде частицы поваренной соли распадаются в значительной своей части на положительно заряженные осколки молекул NaCl (катионы  $\text{Na}^+$ ) и отрицательно заряженные (анионы  $\text{Cl}^-$ ). В растворе происходит таким образом процесс электролитической диссоциации. Это прекрасно иллюстрирует ту мысль Ленина, что в химии действие основного закона диалектики выступает именно как соединение и диссоциация атомов.

Когда в 1897 году Дж. Дж. Томсон открыл электрон, то почва для проникновения в более глубокую сущность химических явлений была уже вполне подготовлена: химическое сродство выступило теперь как проявление взаимодействия наружных электронов у атомов, благодаря которым образуется химическая связь атомов между собой, то есть их соединение, в том числе и при таких процессах, как горение. Вот почему Ленин имел все основания записать в 1908 году в книге «Материализм и эмпириокритицизм», что «с каждым днем становится вероятнее, что химическое сродство сводится к электрическим процессам».

Так шло проникновение мысли ученых в сущность химических процессов, таково оно было к моменту, когда Владимир Ильич писал «Философские тетради». За последующие полвека наука сделала грандиозный бросок вперед. Квантовая механика, которая зародилась в год кончины Ленина, обнаружила особый, противоречивый и глубоко диалектический характер самих электронов, которые одновременно выступают и как частицы (корпускулы), и как волны... Но не будем дальше проследивать этой нити развития научной мысли: ясно, что положение Ленина, сформулированное им в одиннадцатом элементе диалектики, полностью подтверждается историей всего человеческого познания, всей науки.

Итак, третья, предпоследняя, стадия работы завершена. Ленин подошел теперь к тому, чтобы дать краткое определение диалектики. К этому времени страница 100 имела следующий вид: кроме отмеченных ранее двух мест, в верхней ее части остались незаполненными еще только два участка: между итоговой чертой и одиннадцатым элементом диалектики, куда позднее будут вписаны определение диалектики и два новых ее элемента — тринадцатый и четырнадцатый — и поля против пунктов восемь — двенадцать (внизу под записью «ЭЛЕМЕНТЫ ДИАЛЕКТИКИ»), куда вскоре будет записан пятнадцатый элемент.

#### Выделение ядра диалектики и его развитие

Проследив диалектику и в объективном мире (как диалектику вещей), и в области познания (как диалектику отражения этого мира в мышлении человека), Ленин задумался над более сжатым определением диалектики. Пройдя мысленно снова все сформулированные уже двенадцать элементов диалектики, Ленин остановился на одном из них как наиболее важном, центральном, которым по сути дела определяются все остальные ее элементы: обратим внимание в пятом элементе на подчеркнутые Лениным слова «единство противоположностей». Это стержень или ядро всей диалектики, всех ее элементов. Теперь эту мысль Ленин смог записать и подчеркнуть со всей силой! На свободной еще от записей части листка он записывает (а перед этим зачеркивает перво-

начально проведенную итоговую черту, так как на седьмом элементе не закончилась характеристика диалектики!) жирно, с нажимом пера:

Вкратце диал-ку можно определить, кк учение о единстве противоположностей. Этим будет схвачено ядро диал-ки, но это требует пояснений и развития.

Это определение заключается затем в толстую рамку. Так начинается последняя стадия работы над элементами диалектики и над ее общим определением. Запомним конец фразы: «но это требует пояснений и развития». Это развитие осуществляется затем в двух направлениях: во-первых, единство — или, как иногда говорил Ленин, тождество — противоположностей предполагает, что самый процесс развития, особенно процесс познания, идет с непрерывными повторениями ранее пройденного на более высоких ступенях развития, с постоянными возвращениями как бы к исходному пункту, якобы к старому. Другими словами, признав за ядро диалектики единство противоположностей, необходимо признать, что развитие идет через отрицание отрицания. Этот вывод как раз и напрашивается, поскольку уже отмечена необходимость пояснений и развития ядра диалектики. Это видно в другой записи Ленина, которую он сделал, конспектируя книгу Лассалья о философии Гераклита: «Движение и становление, вообще говоря, могут быть без повторения, без возврата к исходному пункту, и тогда такое движение не было бы «тождеством противоположностей». Но и астрономическое и механическое (на земле) движение и жизнь растений и животных и человека — все это вбивало человечеству в головы не только идею движения, но именно движения с возвратами к исходным пунктам, т. е. диалектического движения».

Проиллюстрируем эту идею таким фактом: длившаяся миллионы лет эволюция живого, что предшествовало появлению человека, повторяется, как известно, но только очень кратко и в самых общих чертах, в течение девятимесячного утробного развития человеческого зародыша. Если все живые существа развились в свое время из простейших, одноклеточных, то и зародыш начинает свое развитие тоже с одной оплодотворенной клетки. В ходе эволюции живые существа, жившие в водной среде, обладали жабрами, и у человеческого зародыша на известной стадии его развития тоже оказываются в зачаточном виде жабры, и он очень похож тогда на зародыш рыбы. По мере дальнейшего развития зародыш все больше и больше приближается к человеческому образу, проходя в крайне сжатые сроки определенные стадии, которые в свое время проходили наши далекие предки в ходе своего эволюционного развития. Это и есть конкретное подтверждение положения Ленина о диалектическом развитии, которое идет с повторениями и возвратами к исходным пунктам.

Развивая ядро диалектики, Владимир Ильич записывает в первую очередь именно эту мысль. Запись он делает прямо против рамки, куда он заключил перед тем свое определение диалектики:

- 13) повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc. низшей и
- 14) возврат якобы к старому (отриц-ие отриц-ия).

Теперь листок исписан вдоль и поперек. Для дальнейших записей остались только крохотные уголки. На них-то Ленин и записывает последние элементы диалектики, вытекающие из девятого элемента, подобно тому как из восьмого вытекли элементы десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Но сам девятый элемент вытек в качестве второго «примечания» из пятого элемента (вспомним двойной крестик над словами «единство противоположностей»). Поэтому развитие ядра диалектики можно мыслить как дальнейшее развитие девятого элемента, прямо вытекающего из этого ядра.

Слева, на полях (отделив их двумя вертикальными линиями под заголовком «Элементы диалектики»), Ленин с большими сокращениями — места мало! — записывает:

- 15) б-ба сод-ния с формой и обратно. Сбрасыв-ие формы, перед-елка сод-ния.



Больше писать здесь нельзя, и Ленин переходит в правый верхний угол страницы — здесь есть еще чистое местечко. И он продолжает записывать — тоже с большими сокращениями:

16) Прхд клчва в кач-во и v. v.

То есть переход количества в качество и обратно (буквы v. v.— vice versa — означают «обратно»).

Затем он в двойных толстых скобках поясняет:

**15 и 16 суть примеры 9-го.**

Итак, вся работа, для которой оказалась отведенной страница 100, завершена. Теперь Ленин может продолжить чтение книги Гегеля. В том месте, где оно было прервано из-за необходимости развить определение диалектики и дать ее элементы, Ленин ставит соединительный значок (плюс) и записывает в скобках:

+ см. след. стр.

Затем он проводит стрелку к началу этой следующей (101-й) страницы, и работа над книгой Гегеля идет дальше своим чередом.

\* \* \*

Мы рассмотрели только одну страницу из ленинского конспекта, но сколько интересного, нового дало это нам. Мы словно бы приобщились к процессу работы творческой мысли величайшего ума, вождя мировой пролетарской революции. И мы смогли убедиться еще раз, как был прав Пушкин, когда он говорил: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».

К сожалению, Владимиру Ильичу не удалось закончить своей работы над диалектикой: в начале 1917 года в России вспыхнула революция, и Ленин весь отдался непосредственному руководству ею, а затем созданию первого в мире социалистического государства. По поводу другой своей работы — «Государство и революция», которая тоже осталась незавершенной, Ленин сказал, что приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать. Это относилось и к его «Философским тетрадам».

При жизни Владимира Ильича его тетради по философии не были напечатаны. Впервые они увидели свет в 1929—1930 годах в IX и XII «Ленинских сборниках». Потом они выходили отдельными изданиями — с 1933 по 1947 год. Сталин не разрешил включить их в Собрание сочинений Ленина. Только в 1958 году они вошли в четвертое издание Сочинений Владимира Ильича (38-й том).

Осенью этого года исполняется пятьдесят лет с того дня, когда Владимир Ильич начал свою работу над главной частью «Философских тетрадей» — над трудами Гегеля. Эту знаменательную дату надо отметить, снова и снова привлекая внимание к бессмертному произведению нашего учителя.

В настоящее время коллектив философов и историков естествознания готовит специальный труд под заглавием: «В. И. Ленин об элементах диалектики». Наш очерк родился именно из этой работы.

Нет более важного и благородного для философа и историка науки дела, чем разработка ленинского философского наследия с точки зрения опыта современного революционного движения и новейших достижений науки.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

НИК. СМИРНОВ

★

## ПЕРВЫЕ ГОДЫ «НОВОГО МИРА»\*

I

**Ю**рий Михайлович Стеклов, первый редактор «Известий», был человеком широкого размаха: он создал при газете большое издательство, выпускавшее добротные художественные альбомы к тем или иным памятным датам, живой и бойкий еженедельник «Красная нива» и начиная с 1925 года ежемесячный «толстый» журнал «Новый мир».

Редакторами «Нового мира» являлись Ю. М. Стеклов и А. В. Луначарский, их непосредственными помощниками — Ф. В. Гладков и М. К. Иорданская (Куприна).

Гладков, однако, вскоре ушел из редакции — он тогда усиленно работал над «Цементом», а Стеклова сменил (в середине 1925 года) И. И. Скворцов-Степанов, ставший одним из редакторов «Нового мира». Он ввел в состав редколлегии «Нового мира» В. П. Полонского как фактического редактора журнала.

Однако и сам И. И. Скворцов-Степанов и А. В. Луначарский вели большую работу в «Новом мире», давая те или иные советы, читая «спорные» рукописи, привлекая авторов и т. д. Об этой редакторской работе И. И. Скворцова-Степанова и А. В. Луначарского свидетельствуют их письма к В. П. Полонскому, напечатанные в пятом номере «Нового мира» за 1964 год («Из литературных архивов»).

Вячеслав Павлович Полонский, организатор и редактор известного критико-библиографического журнала «Печать и революция», принялся и за редактирование «Нового мира» с огромной энергией.

«Новый мир», производивший впечатление несколько захолустного издания, быстро превратился под руководством В. П. Полонского в серьезный, разнообразный по материалу журнал.

Полонскому помогали два литературных секретаря — автор этих заметок и Н. И. Замошкин, которые делили между собой весь поступающий материал, самостоятельно решая судьбу явно слабых рукописей и передавая редактору все то, в чем ощущалась хотя бы крупница художественного дара (или общественно-политического интереса).

Полонский тщательно контролировал работу литературных секретарей, требуя добросовестной читки любой рукописи и обстоятельных рецензий или самых внимательных бесед с авторами.

Он неизменно подчеркивал:

— Наша эпоха — глубоко демократическая, и потому каждому автору, входящему в редакцию, должен обеспечиваться внимательный прием. Не забывайте никогда, что слово «товарищ» — а это слово эпохи — ко многому обязывает нас.

---

\* Печатаю воспоминания Н. П. Смирнова, мы продолжаем публикацию материалов к сорокалетию журнала «Новый мир».

Вячеслав Павлович Полонский как бы родился редактором — редактирование было его призванием, его неизменной любовью, его насущным делом, которому он отдавал все способности и силы. Он не отличался тщеславием и «властолюбием» — его интересовали прежде всего плоды и результаты редакторской деятельности, то есть та польза, которую он приносил литературе.

Полонский обладал исключительной работоспособностью, — трудно было понять, как и когда он, редактор двух журналов, успеваеет столько читать (и перечитывать) классиков и современников, отечественных и иностранных, и столько писать: кроме литературных статей, он годами работал над большим научным трудом о Бакуinine.

Большой мастер деликатной и тонкой, поистине ювелирной редакторской работы, Полонский по-юношески оживлялся и радовался, если в грудах «самотека» попадалась, как жар-птица среди галок, хорошая рукопись, по-охотничьи настораживался, услышав, что тот или иной известный писатель пишет — или написал — рассказ или повесть («Сейчас же звоните — и договаривайтесь!»), и совсем по-именинному чувствовал себя, когда выходила очередная книга «Нового мира».

Он с блестящими глазами подкидывал ее на руке, как ребенок подкидывает мяч.

— А все-таки мы кое-что делаем для литературы, — с улыбкой говорил он, читая содержание книги.

Когда Вячеслав Павлович появлялся в редакции со своим огромным портфелем, туго стянутым ремнями, он напоминал учителя словесности, входящего в класс с кипой ученических тетрадей. Он очень любил разгружать этот портфель и оценивать прочитанные рукописи, находя для каждой из них точные и меткие оценки.

В те дни, когда Вячеслав Павлович не бывал в редакции, он звонил чуть ли не каждый час, интересуясь решительно всем: и тем, кто приходил из писателей, и состоянием верстки, и поступившими «на отзыв» книгами, и притоком рукописей и т. п.

Уезжая в отпуск, Полонский требовал совершенно регулярных — через два или три дня — сообщений о редакционных делах. Отвечал он немедленно, и чувствовалось, что, и отдыхая, постоянно думал о журнале.

Вот некоторые его отклики и указания из случайно уцелевших писем:

«Особенно необходимо привлекать молодых! Будьте как можно внимательнее к начинающим: ведь из их среды придут те, кто будет хозяином завтра» (из Kisловодска, август 1928 года).

«Я думаю, что повесть о Лермонтове в «Н. М.» печатать не следует: однообразие материала. В будущем году у нас пойдет повесть о Пушкине Гроссмана, а слишком много исторического материала в «Новом мире» — будет нехорошо...!» (из Kisловодска, август 1928 года).

«Приложите все старания, чтобы кое у кого взять материал для журнала... Виноградов написал роман о Стендале: может быть интересно, надо обязательно прочитать: может быть, возьмем на будущий год... Не забывайте Асеева. Вообще, где только можно, требуйте материала (только хорошего — не будем сдавать позиций)!» (из подмосковного санатория, 19 августа 1931 года).

Кроме «Печати и революции» и «Нового мира», Полонский руководил еще еженедельником «Красная нива»: внимательно прочитывал (в гранках) каждый номер, заказывал статьи, заботился о том, чтобы в журнал не просачивалась «халтура». «Красная нива» во времена Полонского была образцовым еженедельником с хорошим литературным отделом — в журнале много печатался Маяковский, — с богатой международной информацией, с высококвалифицированными статьями о живописи и театре и отличными иллюстрациями — этим ведал неспра-

<sup>1</sup> Роман Л. П. Гроссмана «Записки Д'Аршиака» печатался не в «Новом мире», а в «Красной ниве». (Прим. автора.)

ведливо забытый Яков Александрович Тугендхольд, искусствовед огромных знаний и талантливого пера.

Работа с Полонским протекала легко, интересно, приятно: подкупала его искренняя любовь к литературному делу, его изощренная опытность, его какая-то фейерверочная эрудиция. Свойственная ему иногда «капризность» не мешала: она быстро проходила — в характере Вячеслава Павловича до седых волос сохранился оттенок «юношества».

При первом знакомстве Полонский поистине ослеплял своим блеском, неистощимым остроумием и красноречием, изысканностью беседы и манер.

Все это удачно сочеталось с его внешностью: умное и тонкое лицо несколько хищного, заостренного склада — как на портрете работы Анненкова, «протягновенный», красиво очерченный нос, голубые, несколько холодноватые глаза, пышная, рано поседевшая шевелюра.

Одевался он умело и строго — черный двубортный пиджак, черное — тоже двубортное — пальто, черная, низко надвинутая шляпа: что-то от умудренного мыслителя и от оперного испанского «гидальго».

— Вы непозволительно красивы, Полонский, — полушутливо-полусерьезно сказал ему однажды Виктор Шкловский, и Вячеслав Павлович, пожав плечами, незаметно улыбнулся уголками губ...

Полонский (Гусин) прошел довольно суровую школу жизни. В отрочестве и юности он учился лишь «чему-нибудь и как-нибудь», и все, чего впоследствии достиг, надо отнести за счет его упорного самообразования и прирожденной талантливости. Еще юношей примкнул он к революционному движению, как эсдек, склоняющийся к большевизму<sup>1</sup>, сидел в тюрьме, отбывал трехгодичную ссылку на севере, а потом, между 1910—1917 годами, занимался журналистикой и чтением лекций о литературе, гастролируя по всеям и градам империи.

Полонский начинал критическую деятельность в дореволюционных условиях — выступал главным образом в газетах и еженедельниках с литературными заметками обзорного или «портретного» типа. В 1916—1917 годах его критические статьи печатались в «толстом» журнале — в «Летописи» Горького.

После революции, начиная с 1922 года, начался наиболее плодотворный период в критической деятельности Полонского. Писал он с удовольствием, иногда даже с упоением.

— Вчера отщелкал новую статью, — часто сообщал он, потирая руки и прищуривая глаза. — И статья, кажется, удалась, осталось только пошлифовать — и полетит еще одна оперенная стрела в рапповский лагерь. Думается, что, если бы я выпустил ее без подписи, рапповцы все же узнали бы меня.

Мгновение подумав, он приводил, как и обычно (стихов наизусть он знал множество), соответствующую цитату:

Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту  
 Не удалось прикрыть своих проказ:  
 Он по когтям узнал меня в минуту,  
 Я по ушам узнал его как раз.

Он по-детски радовался каждой своей новой статье, а особенно книге: любовно перелистывал ее, читал вслух отдельные, наиболее удачные, по его мнению, фразы, с доброй улыбкой одаривал ею сотрудников — с трогательной надписью, конечно, — и, блестя глазами, делал резкий жест, как бы швыряя что-то:

— Возможно, через полгода выброшу еще одну книгу!

Полонский писал и теоретические исследования, и полемические статьи, и публицистические наброски, и памфлеты (когда дело касалось эмигрантской литературы) — он с большим умением владел любой из этих форм. Многие его писания были интересны, остры, порой блестящи — в особенности «литературные портреты», — и все же до конца не удовлетворяли взыскательного читателя: в них не ощущалось ни устойчиво глубоких корней, ни безоговорочной убежденности.

<sup>1</sup> В РКП(б) Полонский вступил в первой половине 1918 года.

Свою критическую «ладью», плывшую под разноцветным парусом, Полонский хотел провести нетронутой через все мели и рифы и, не причаливая ни к одному берегу, склонен был считать себя арбитром и наставником в тогдашней литературной борьбе.

Он во многом разделял литературные взгляды Воронского, но всегда оговаривался, что «по ряду пунктов» держится другого мнения.

Высоко отзываясь о критических трудах А. В. Луначарского, Полонский замечал, что в них есть, к сожалению, некоторые частности, с которыми нельзя согласиться.

Полонский любил говорить о трагедийности эпохи, цитируя при этом стихи Блока о детях «страшных лет России», восхищался «Гибелью богов» Вагнера, находя его музыку глубоко современной, не раз замечательно импровизировал в разговорах на тему крушения старого мира, очень ярко рисуя картину развала вековых империй и торжества народных масс... Его глубоко занимала и проблема трагедийности в искусстве, интересовала, в частности, коллизия между прошлым и настоящим, и он особенно ценил такие произведения, как «Зависть» Ю. Олеси, стихи Пастернака «Другу» и стихи Багрицкого «От черного хлеба и верной жены...».

Он с очень большим чувством читал:

Чей путь мы собою теперь устилаем?  
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?  
Потопчут ли нас трубачи молодые?  
Взойдут ли над нами созвездья чужие?  
Мы — ржавых дубов облетевший уют..

Еще чаще вспоминал он Пастернака:

— И разве я не мерюсь пятилеткой,  
Не падаю не подымаюсь с ней?  
Но как мне быть с моей грудною клеткой  
И с тем, что всякой косности косней?  
Напрасно в дни великого совета,  
Где высшей страсти отданы места,  
Оставлена вакансия поэта:  
Она опасна, если не пуста.

До чего же искренне и тонко сказано: «Но как мне быть с моей грудною клеткой», — восклицал (именно восклицал) Вячеслав Павлович, — и какое, по-моему, преклонение перед эпохой выражено в строчке: «Где высшей страсти отданы места»...

Полонский — будем объективны — находился в какой-то степени в плену фразерства, что сказывалось и на трибуне и в жизни. Даже в дружеской беседе он иногда «играл» словом.

Рассказывая как-то о впечатлении, произведенном на него одной новой книгой, Вячеслав Павлович, будто в припадке боли, сделал страдальческую гримасу:

— Вы знаете, когда я читал ее, мне казалось, что я нахожусь под током высокого напряжения.

Но склонность к блестящей фразе — чисто внешняя черта Вячеслава Павловича: сердце у него было отзывчивое и доброе, а в отношении к людям преобладали искренность и теплота.

Поклонник и знаток европейской культуры, Полонский с той же страстностью любил и отечественную классику: сколько раз приходилось слышать, как Вячеслав Павлович с дрожью в голосе читал «Для берегов отчизны дальней», считая это стихотворение «перлом мировой лирики».

Он в высоких словах отзывался о Льве Толстом как о художнике и неоднократно перечитывал его трактат «Что такое искусство», находя его гениальным по силе мысли, но подчеркивая и ошибочность этой мысли.

Но перед кем он поистине преклонялся — это перед Достоевским.

— Толстой и Достоевский — как бы две величавых горы, к которым приближаешься с гордостью и страхом, — рассуждал Вячеслав Павлович. — Но одна гора (Толстой) обросла лесом, где живут здоровые и сильные люди, а другая (Достоевский) на вид кажется унылой, серой, каменной, но зато постоянно грозит землетрясением: в ней скрыт подземный огонь, как в душе человеческой — страсти. Достоевский — великий сердцевед и страстеед, и каждая его строчка заставляет вздрагивать, а каждый человеческий образ навсегда вонзается в сознание. Достоевский лично был противником революции, но когда я перечитывал, сидя в тюрьме, «Братья Карамазовы» и «Бесы», я еще раз убедился, что революция очень хорошая вещь, потому что только революция освобождает, раскрепощает и очеловечивает тех «маленьких людей», судьба которых так мучила Достоевского.

В предреволюционной литературе он отводил особое место Горькому, называя его, бесспорно, большим писателем, властителем дум, но несколько недооценивал, хотя и уважал, плеяду писателей-реалистов: Бунина и Куприна, Вересаева, Сефаимовича и Шмелева.

С глубоким и жадным вниманием следил Вячеслав Павлович за «текущей» художественной литературой.

В книге «О современной литературе» он создал живые образы наиболее ценных им писателей. Особенно любил он Сергея-Ценского и Алексея Толстого, Федина и Бабеля, Артема Веселого и Олешу; из поэтов — Маяковского и Пастернака, Есенина и Багрицкого, Асеева и Сельвинского.

Но и очень ценя творчество Маяковского, Полонский ожесточенно полемизировал с ним, как с лидером Лефа. Статья его «Леф или блеф», напечатанная в «Известиях», имела широкий отклик в литературе и вызвала острую полемику и в печати и на трибуне. Удачна, на мой взгляд, книжка Полонского о Маяковском, вышедшая уже после смерти поэта.

## II

Несмотря на литературные, иногда довольно острые разногласия с Полонским, Маяковский бывал в «Новом мире» довольно часто — он, видимо, любил и самый «литературный воздух», и горячку литературных разговоров.

Он входил удивительно легкой походкой, неторопливо и удобно располагался в кресле и, обеими руками опираясь на трость, внимательно оглядывал посетителей — то строго, почти сурово, то иронически, прищурив умные и пронзительные глаза, то весело и дружелюбно, с теплой улыбкой.

Держался Маяковский с неизменным достоинством, но на редкость непосредственно и просто, даже намеком не подчеркивая «чины и ранги»: он отличался органической демократичностью.

Если Владимир Владимирович приносил стихи, он обязательно читал их вслух перед всем редакционным коллективом. Читая стихи, он как бы проверял сам себя.

Бывая в «Новом мире», Маяковский обычно подолгу беседовал с Полонским, которого знал с 1913 или 1914 года, и, хотя резко спорил с ним, относился к нему с уважением, признавая его редакторский и ораторско-полемический дар.

— На диспутах с ним приходится считаться всерьез, — говорил Маяковский. — Язычок у Вяча находчивый и острый.

Беседы Маяковского с Полонским в «Новом мире» тоже отличались остроумием.

Просматривая однажды свежий, только что вышедший номер «Нового мира», Маяковский заметил:

— А стихи у вас все же неважные. Их, по-моему, надо строже отбирать и тщательнее просеивать...

Полонский улыбнулся.

— Вы, вероятно, хотели сказать «проасеивать», то есть пригласить консультантом по стихам Николая Николаевича Асеева и тем самым превратить «Новый мир» в филиал «Лефа»?

— Это было бы, конечно, неплохо, но я не имел этого в виду. Просто — печатать только такие стихи, где ощущаются лицо и голос автора. А в большинстве стихов этого нет: пишут то под меня, то, чаще, под Есенина. Надо шире, без боязни, привлекать молодых, среди них немало настоящих дарований.

Маяковский опять начал перелистывать журнал, остановившись на статье одного профессора об искусстве.

— Скажите, а какое он имеет отношение к искусству? — спросил он Полонский. — Разве только то, что его усы с успехом заменили бы кисти?

Потом прочел несколько строк из романа, печатавшегося в журнале чуть ли не целый год, и снова спросил:

— А он когда-нибудь закончится?

— В следующем номере — конец.

— Это не совсем точно. Напишите лучше «наконец» с тремя восклицательными знаками.

Полонский рассмеялся.

Зато с какой радостью и звонкостью читал Маяковский Пастернака.

Долго с бурей борется оратор.  
Обожанье рвется на простор.  
Не словами — полной их утратой  
Хочет жить и дышит их восторг...

В «Новом мире» печатались одни из лучших произведений Маяковского — «Сергею Есенину», «Разговор с фининспектором» и многие другие.

В редакции «Нового мира» Маяковский прочел впервые посмертно напечатанную поэму Есенина «Черный человек». Она, видимо, не произвела на него впечатления, — он, о чем-то глубоко задумавшись, сделал лишь одно замечание:

— «Снег до дьявола чист...» — вот это по-настоящему сказочно...

Асеев, тоже частый гость «Нового мира», отозвался о «Черном человеке» как об одной из лучших вещей Есенина:

— Глубоко, свежо, ново, и если что-нибудь несколько и портит — налет дендизма.

Приподняв свой цилиндр  
И откинув небрежно сюртук,—

нараспев прочел Асеев.

— Но читаете вы не без удовольствия, — сказал кто-то Асееву.

Тот улыбнулся.

— Но ведь и это — хорошо...

Асеев, помнится, добавил:

— Лучше стихов вообще вряд ли есть еще что-нибудь в искусстве: чувствуешь, как вспыхивает строчка от строчки.

Кстати, Асеев принес однажды в редакцию рукопись «Улялаевщины» и, положив на стол, сказал:

— Такую вещь, по-моему, надо немедленно посылать в набор...

— Читая или не читая? — перебил с улыбкой Полонский.

— Читать — непременно право каждого редактора.

— Кое-кто рассуждает по-иному, — откликнулся Полонский. — Только на днях приходил некий писатель из непризнанных гениев и вот так же положил на стол рукопись, прищурил надменные черные глаза, изобразил на лице величие и небрежно процедил эдаким «прононсом»: «Мои рукописи должны отправляться в типографию без всякой читки — я отвечаю за них сам и ни в чьей оценке не нуждаюсь»...

В «Новом мире» печатались очень многие тогдашние молодые поэты — Светлов, Голодный, Уткин, Наседкин, Кирсанов, Зарудин, Колычев, Жаров, П. Васильев и другие.

«Новый мир» представлял в те годы как бы клуб молодых поэтов: встречаясь здесь, они изошрялись в чтении стихов, — лучше всех читал, пожалуй, Семен Кирсанов, — жестоко спорили о символизме и акмеизме, щеголяя друг перед другом знанием Блока и Гумилева, Вячеслава Иванова и Гиппиус, Брюсова и Бунина. В смысле знаний и памяти всех побивал Давид Бродский, нынешний первоклассный переводчик: он мог цитировать любое стихотворение, а что касается любимого им Бунина — то и любой рассказ.

Бывали здесь и поэты старшего, «акмеистического» поколения — в частности, Осип Эмильевич Мандельштам. Он тоже читал иногда, если был в духе, свои изысканно сжатые и певучие стихи, — читал, конечно, нараспев, с поднятыми вверх глазами, звонким, но неровным, срывающимся голосом. В его лице, художавом, остром и пичьем, как и в его малом росте и потрепанном костюме, сквозило что-то усталое, традиционно поэтическое, говорившее и о душевной боли, и о житейской «неприкаянности». Крайне самолюбивый, подозрительный, он проявлял иногда неприятную заносчивость, пристекавшую, очевидно, из той же «неприкаянности».

Так, он сказал одному молодому поэту, не проявившему, по его мнению, должной почтительности:

— Вы должны, юноша, не только слушать меня, но и внимать каждому моему слову, потому что каждое мое слово — для истории литературы...

А кто только не посещал «Новый мир» из прозаиков — древних, старых и молодых!

Под «древними» надо разумеать писателей, имевших до революции и читателя и признание, а потом оказавшихся где-то за гранью новой жизни.

Вербицкая когда-то (в период между 1905—1910 годами) выпускала роман за романом, и они расходились в больших тиражах, создавая ей широкую — конечно, довольно скандальную — известность, подогреваемую и разоблачительными критическими статьями, и диспутами, и в отдельных случаях экранизацией («знаменитые» «Ключи счастья», с особенной настойчивостью заостренные на «проблеме пола»).

Вербицкая заходила иногда в «Новый мир», приносила даже повесть...

Тогда она была уже старушкой — между прочим, очень симпатичной, простой и скромной: типичная интеллигентная московская бабушка с Арбата или Сивцева Вражка, любящая вспоминать под звуки «Полонеза» Огинского гимназические вечера и святочные балы в благородном собрании.

Рассказы о ее литературном прошлом — вот уж действительно «все в прошлом»! — представляли немалый интерес: она многих знала и многое видела.

Появлялись в редакции еще два писателя той же «школы» — М. Криницкий и Н. Крашенинников. Оба они до революции писали очень много, печатались в ходких альманахах, издавали собрания сочинений в богатом «Московском книгоиздательстве»<sup>1</sup>, и оба тоже оказались «обломками крушения». Криницкий, впрочем, работал в одной из газет как очеркист, а Крашенинников, автор утонченно-сексуального романа «Девственность», занимался инсценировками для клубной эстрады.

Бывал наконец в «Новом мире» И. Н. Потапенко, писатель, имевший в старой России уже не скандальное, а благонамеренно либеральное имя, сотрудник передовых «толстых» журналов, вращавшийся в кругу Чехова (и в какой-то мере послуживший прообразом Треплева в «Чайке»).

Потапенко, элегантнй старик с мягким голосом и мягкими манерами, тоже

<sup>1</sup> Не путать с прогрессивным «Книгоиздательством писателей в Москве», издававшим сборник «Слово» и объединявшим писателей-реалистов (И. Бунин, А. Толстой, И. Шмелев, В. Вересаев, А. Серафимович и другие).



не раз предлагал свои романы и повести, но и они никак не могли заинтересовать редакцию: безнадежно отставали в любом смысле от нового времени.

Потапенко не был лишен литературного дара, но он писал на ту мелкотравчатую «злобу дня», которая не поднималась выше требований буржуазного обывателя, и потому все, написанное им, — вероятно, не менее полусотни томов, — ушло в прошлое вместе с дореволюционным бытом. От Потапенко остались лишь интересные воспоминания о Чехове, прочно вошедшие в мемуарную литературу. Впрочем, и сам он стал персонажем этой литературы, поскольку имя его связано с именем Лики Мизиновой, близкой знакомой Чехова.

Самое главное заключалось, вероятно, в том, что у всех этих литераторов отсутствовал настоящий, большой талант, который помог бы им переосмыслить прошлое, оторваться от него и выйти во всеоружии на новую — широкую и просторную — литературную дорогу, как это сделали, к примеру, А. Н. Толстой и С. Н. Сергеев-Ценский.

Ценский стал бывать в «Новом мире» несколько позднее — в 1931—1932 годах. Он производил впечатление некоторой величавости и тяжеловесности. Говорил он довольно скупой, явно дорожа словами, чувствовал себя среди литераторов как-то неуютно. Во всем его поведении сказывалась большая замкнутость.

Часто навещал редакцию «Нового мира» Пришвин, — в журнале печатались лучшие его произведения. В то время (конец двадцатых — начало тридцатых годов) он жил в Загорске, где пользовался известностью не столько как писатель, — известно, что «нести пророка в своем отечестве», — сколько как отличный охотник и дрессировщик собак.

Он и всем своим видом (смуглое лицо, большая седеющая борода, старая черная шляпа и поношенная бобриковая куртка) напоминал «лесовика» — следопыта и зверолова. Несмотря на внутреннюю изысканность, в нем ощущалось тогда что-то очень простонародное, даже, пожалуй, «уездное»: такими были земские врачи, агрономы и учителя, памятные по картинам Богданова-Бельского.

Он не раз говорил, что хочет написать нечто вроде повести-обозрения под названием «Гернаш» (герой наших дней), но замысел этот так и не осуществился.

Реже других «стариков» — хотя это слово вряд ли применимо к тогдашним писателям старшего поколения — появлялся в «Новом мире» А. Н. Толстой: он жил в Ленинграде. Но во время приездов в Москву он непременно заходил в редакцию. И едва переступал порог, думалось: да ведь это живой Стива Облонский — те же небрежно барственные манеры, то же добродушно симпатичное лицо, та же подкупающая простота и в обращении и в разговоре (хотя слово его было иногда весьма колючим, а во взгляде проблескивала лукавая хитринка).

Изобильно талантливый в любой строчке своих произведений, Толстой казался очень талантливым и в разговорах, но говорил он главным образом на бытовые темы, замечательно рассказывал охотничьи анекдоты, а иногда и анекдоты из жизни писателей.

Но разговоров о литературе не любил.

— Это все равно, что бить баклуши, — отмахивался он от подобных разговоров. — Хорошо болтать — еще не значит хорошо писать...

Из писателей-ленинградцев приходилось встречать в «Новом мире» А. П. Чапыгина и И. С. Соколова-Микитова.

Чапыгин, обстоятельный, серьезный и деловитый, внешне напоминал мастера-краснодеревца или изографа; речь его, сжатая и легкая, отличалась самобытной узорчатостью севера.

И. С. Соколов-Микитов, в облике которого проступало нечто как бы совиное — а сова, как известно, птица мудрости, — держал постоянную связь с журналом. Этот талантливый писатель, вдохновенный певец родины, все еще ждет своего исследователя.

Особенно же часто посещал «Новый мир» писатель-моряк — прославленный Новиков-Прибой, незабвенный Силыч, как звали его за чистоту и доброту души. В 1927 году в «Новом мире» печаталась его повесть «Ухабы» — первый

дебют в «толстом» журнале (до этого он, писатель большой популярности, печатался по преимуществу в отдельных изданиях).

Полонский ставил «Ухабы» в пример:

— Это написано действительно писателем-революционером!

С «Новым миром» был связан наконец — но уже несколько позднее, в 1932 году, — М. А. Шолохов, напечатавший в нем «Поднятую целину» (первую часть).

По-казачьи или по-охотничьи ловкий и быстрый в движениях, он казался несколько хрупким, хотя, кажется, и обладал большой физической силой. Носил кубанку и гимнастерку с узким ремешком.

Он уже написал три части «Тихого Дона», но благодатная тяжесть славы несколько не отразилась на нем — только большим, органическим талантам дано выдержать ее искусы. Он держался с обаятельной непосредственностью и простодушностью как с «начальством», так и с рядовыми сотрудниками и с большим вниманием прислушивался к тем советам и рекомендациям, которые давались ему редакцией. У него отсутствовало ложно понятое и чрезмерно заостренное авторское самолюбие ради самолюбия, в чем опять-таки сказывался подлинный художник, считающийся с голосом читателя. С большим вниманием правил Шолохов текст романа.

Так, 16 июля 1932 года он писал в редакцию из станицы Вешенской:

«В двух последних отрывках обнаружил «досадные описки», которые крайне необходимо исправить».

В отрывке для 5 №, на странице 21 (третья строка сверху), написано: «На объединенное заседание бюро райкома партии и районной КК к десяти часам утра 28 марта».

Надо: «...к десяти часам утра 27 марта».

В последнем отрывке (для 6 №), на странице 26, есть фраза: «Медвяный аромат распускающихся тополей» и т. д.

Надо: «Медвяный аромат набухающих почек тополей».

Пожалуйста, исправьте».

В Шолохове с первых же встреч, с первой беседы безошибочно угадывалась большая человеческая душа, глубокое чувство товарищества: он без напряжения, без затаенной grimасы мог оказать любую зависящую от него помощь, поднять у человека упавший дух, принести ему радость. Сразу же бросалась в глаза и его неумолимая прямота — в иных случаях он бывал довольно резок.

Удивительна еще у него зрительная память: он даже через долгие годы почти сразу узнает людей, с которыми встречался всего несколько раз. Это та память, которой обладают, как правило, те, кто близко общается с природой, а известно, что Михаил Александрович — страстный охотник, любящий беседовать (или читать) об охоте.

Получив посланный ему из редакции сборник охотничьих рассказов, он писал (из той же Вешенской) 25 сентября 1934 года:

«Большое спасибо за книгу. Кое-какие рассказы я читал и до этого, но перечитал их снова, и с большим удовольствием. Эти дни лежал, болел и читал с особым наслаждением, приветствуя каждый удачный выстрел...»

Сейчас работаю, стреляю мало... А выводки уже есть, одиночки. И еще: на редкость рано полетели гуси. Ранняя зима будет...»

«Поднятая целина» появилась в «Новом мире» уже после смерти В. П. Полонского, но заслуга привлечения Шолохова к сотрудничеству в журнале остается за ним: он так стремился к этому и так высоко ценил «Тихий Дон», относя его к лучшим явлениям советской литературы.

Несомненной заслугой Полонского останется и то, что он выдвинул и объединил в «Новом мире» ряд молодых, тогда только начинающих критиков (Н. Замошкин, С. Пакентрейгер, В. Красильников, И. Сергиевский, Н. Богословский, А. Глаголев, Б. Гроссман, Я. Фрид, В. Гоффеншефер и другие).

О Николае Ивановиче Замошкине, ныне покойном, необходимо сказать особо: его литературная судьба неразрывно связана с «Новым миром».

Замошкин работал в одной из московских библиотек, и Полонский сразу же обратил на него внимание, как только прочел его статью «К генезису творчества Пришвина», присланную им в «Печать и революцию». Придя в «Новый мир», Полонский немедленно привлек Замошкина к постоянной работе в журнале — и в качестве литературного секретаря, и в качестве критика.

Николай Иванович относится, по справедливости, к сонму тех людей, которых называют светлыми — и за внутреннюю чистоту, и за безукоризненную честность, и за трогательную любовь к своему делу. Он всей душой, всем помышлением любил, вернее — обожал, литературу и считал подлинным счастьем для себя профессию редактора, а редактор он, как показала вся его последующая работа, был первоклассный: располагал и строгим вкусом, и большим художественным (и политическим) чутьем, и горячей убежденностью в высокой миссии советской литературы.

Зоркий и умный критик, он мог бы стать и замечательным литературоведом. — Прекрасна его статья о «Тарасе Бульбе», напечатанная незадолго до войны, кажется, в «Знамени»; однако чем дальше, тем все больше Николай Иванович отходил от критики, целиком погружаясь в редакторскую работу<sup>1</sup>.

Огромны были литературные и философские знания Замошкина: он часами мог говорить о Марксе и Бебеле, о Канте и Шопенгауэре, о Н. Данилевском и К. Леонтьеве, Н. Страхове и В. Розанове, причем все это знал не из вторых рук, а из первоисточника: из непосредственного «штудирования» с карандашом.

Общение с Николаем Ивановичем Замошкиным незабываемо: он останется в памяти всех, кто его знал, как человек внутреннего света, благожелательности и тепла, как скромнейший и преданнейший подвижник нашей литературы.

### III

Еще одна заслуга В. П. Полонского — организация литературных вечеров, которые регулярно происходили в «Новом мире» в течение ряда лет.

Вечера эти, устраиваемые раз (а иногда и дважды) в месяц, проходили в непосредственной товарищеской обстановке. Они не имели обычного твердого «регламента» и посвящались то обсуждению того или иного литературного события, то докладам редакции о ближайших планах и задачах, то превращались в горячий диспут о современной поэзии.

Один из вечеров случайно стал, например, творческим вечером Бориса Леонидовича Пастернака.

Пастернак прочел два новых стихотворения и в ответ на просьбы прочесть что-нибудь еще сказал:

— Я не прочь держать экзамен... — и начал читать одно стихотворение за другим.

Читал он более или менее просто, без особого упора на внешнюю аффектацию, стремясь предельно раскрыть смысл произведения. Но иногда Пастернак впадал как бы в транс, и тогда чтение походило на ворожбу, чему способствовало и необычное лицо поэта — лицо восточного заклинателя змей или древнего пламенного проповедника. Смуглое, удлиненное, с большими, черными, экзотическими глазами, оно становилось подлинно одухотворенным и вдохновенным, и стихи его можно было действительно уподобить «световому ливню» (выражение Марины Цветаевой). Манера то и дело закусывать нижнюю губу и прикрывать глаза придавала его характерному лицу как бы мученический оттенок.

Полонский сравнивал Пастернака и со средневековым алхимиком, и с пустынным отшельником, и в этом тоже заключалась какая-то доля правды.

В тот памятный вечер Пастернака встречали с большим и шумным одобрением, не исключавшим, конечно, и серьезной критики, касавшейся главным образом усложненности стиха и недостаточной слиянности с живой жизнью.

<sup>1</sup> В числе оставшихся после него рукописей есть большая, до сих пор не опубликованная монография о творчестве Ценского.

Борис Леонидович выслушивал все это с большим вниманием и не раз повторял:

— Я же сказал, что хочу держать экзамен.

— Пока, к сожалению, выдержали еще не совсем, — ответил ему один из поэтов РАППа, — но замечательные «Волны», прочитанные здесь, говорят о том, что вы близко подошли к современности.

Это, помнится, дало повод к длительному спору о возможности и необходимости в нашей поэзии лирики, которую нельзя «отменить», как нельзя отменить пейзаж в живописи.

Подобные споры достигали большой остроты, что объяснялось крайней литературной пестротой участников вечеров: на них бывали наряду с «попутчиками» и «перевальцы», и «кузнецы», и рапповцы, и лефовцы, и гости из театрального и художественного (а иногда и политического) мира. Нередко присутствовал и непременно выступал Александр Фадеев, совсем еще молодой, с темно-русскими, а не серебряными волосами, тогда еще носивший, по традиции «военного коммунизма», узкие сапоги, широкое галифе, просторную блузу с кавказским поясом.

Посещали вечера и писатели, стоящие вне групп, «над схваткой», в частности — Андрей Белый.

Белый умер в возрасте пятидесяти четырех лет, но почему-то кажется, что он прожил мафусаилов век: столь насыщен он был, как и Брюсов, ушедший в том же возрасте, всяческой ученостью и многодумием, эрудицией и книжностью.

В последние годы он усердно и много работал и как теоретик («Медный всадник», «Мастерство Гоголя»), и как мемуарист (три тома интересных воспоминаний).

Все в Белом было самобытно и оригинально.

Высокий лоб, настороженно подвижное лицо, некая «озаренность», почти безумный блеск умных и глубоких глаз.

— Слово Андрею Белому, — почти торжественно объявлял редактор «Нового мира», и Белый, одетый в красивую спортивную куртку, с непостижимой быстротой вскакивал с места, выбегал на середину зала, как бы растерянно оглядывался по сторонам и почти кричал, не то истерически, не то победоносно:

— Над страной гудит ветер революции!

Он поворачивался на каблучках и, пританцовывая, делал несколько шагов, будто в фокстроте, захлебываясь, говорил о задачах литературы, как он понимал их, все учащал и повышал речь, мерно кружил по залу, закладывая левую руку за спину, а правую то и дело выкидывал вперед, как в схватке на эспадронах.

Слушая одно из выступлений Белого, Н. Н. Зарудин с улыбкой сказал:

— Это как у Гоголя в «Вие», когда гроб с телом ведьмы пошел колесить по церкви...

Иногда героем и душой «новомирского» вечера становился В. В. Маяковский.

На одном из особенно многолюдных вечеров (в 1926 году) у Маяковского произошел диспут с В. И. Качаловым.

Маяковский, как известно, недолюбливавший все «академическое», в том числе и «академические» театры, в разговоре с Качаловым держался некоего почти иронического тона. Качалов по-артистически тонко имитировал его тон, вызывая у присутствовавших дружный смех и аплодисменты. Лицо Качалова, благородное и как бы скульптурное, неизменно оставалось бесстрастным, но голубые глаза за стеклами пенсне светились творческим огнем, а голос — неповторимый качаловский голос! — звучал низко, изысканно-звучно, а иногда и торжественно.

Качалов прочел несколько стихотворений Маяковского, в частности «Необычайное приключение», и чтение было настолько совершенным, что председательствующий Иван Иванович Скворцов-Степанов попросил артиста прочесть еще раз.

Маяковский, сидя в кресле, слушал тоже с удовольствием — это было заметно по его улыбке, — но сказал:

— Прекрасно, но все же это — не совсем мое.

И, поднявшись во весь рост, начал читать те же стихи...

Редко приходилось присутствовать на таком поединке талантов, и невозможно решить: кто же читал лучше — Маяковский или Качалов.

Наиболее многолюден был один из «новомирских» вечеров 1931 года, на котором присутствовал М. И. Калинин.

На этом вечере — уже после гибели Маяковского — тоже выступали поэты: Багрицкий, Луговской, Павел Васильев, и каждый из них читал стихи с большим мастерством. Стихи, как и всегда, обсуждались, и в обсуждении их принимал участие и рабоче-крестьянский президент, похожий на типичного русского интеллигента из простонародья: умное лицо, живые, с хитринкой, глаза за очками, седящая борода, самотканая, бойкая и легкая речь. Он был чуточку похож на Чехова. Говорил он горячо, порывисто, непосредственно, выказывая себя большим любителем поэзии, ценившим в поэзии прежде всего простоту, глубину, душевность.

М. И. Калинин напоминал поэтам о вечных пушкинских традициях и, не касаясь персонально кого-либо из современников, в том числе и только что выступавших, упомянул лишь о Есенине.

— Что там ни говорите и ни пишете насчет «есенинщины», а сам Есенин — очень хороший и очень русский поэт. Есть у него, конечно, сшибы, есть кое-где и налет болезненности, но было бы глупо отрицать его целиком. Вольному, как говорится, воля, а я, грешным делом, в свободные минуты перечитываю именно его стихи — пахнут они и лесом, и цветами, и сеном...

Кто-то обратился с довольно наивным вопросом:

— А скажите, Михаил Иванович, можно в наши дни — в дни индустриализации и коллективизации — писать стихи о природе?

Михаил Иванович, повеселев, ответил:

— Если человек любит и чувствует природу, почему же не писать о ней, — знай лишь меру и не прячась в кусты от времени. Но если у человека в груди не живое, а кованое сердце, он, ясно, о природе не напишет ничего дельного. Это будет робот, а роботы нам не нужны. Поэт, по-моему, должен быть прежде всего человекен, демократичен, прост и народен.

Такое же впечатление простоты, демократичности и человечности оставил у писателей и М. И. Калинин.

Между прочим, М. И. Калинин постоянно проявлял большой интерес и внимание к «Новому миру» и «Красной ниве», как к «своим» («известинским») изданиям, оказывая редациям обоих журналов всяческую помощь.

«Новый мир» во времена В. П. Полонского никогда не был групповым или «специализированным» органом, какими были «Октябрь» (РАПП), «Знамя» (Локаф), «Лев». В журнале сотрудничали и Новиков-Прибой, и Гладков, и Низовой, и Никулин, и Малышкин, и Веселый, и Голодный, и Павленко, и Светлов, и Багрицкий, и Инбер, и Шагинян, и Сейфуллина, и Зазубрин.

В отделе критики, кроме В. П. Полонского, задававшего тон, выступали Л. Войтоловский, Г. Якубовский и всего чаще «перевальские» теоретики — Д. Горбов и А. Лежнев, но тесного идеологического контакта у Полонского с ними не было: он принимал их «от сих — до сих»...

В 1930 году у Полонского с Горбовым произошел разрыв. Горбов, задетый критикой его книги «В поисках Галатеи» («Новый мир», № 1, 1930), резко-полюемически выступил на одном из литературных собраний против Полонского, укоряя его в том, что у него нет твердой точки зрения, и назвав неизменным «героем оговорочки» («классическое «но»). Те же мысли развил он и в своем памфлете на Полонского «Профиль пером» («Красная новь», № 5, 1930).

Все это осложнялось тем, что Горбов работал тогда заместителем Полонского по руководству «Красной нивой».

Помню, как на другой же день после выступления Горбова на редакционном совещании Полонский, пылающий от гнева, ледяным тоном сказал Горбову:

— О делах разговаривать будем, но подавать друг другу руку — никогда!..

— Само собой разумеется, — согласился Горбов, иронически поджав тонкие губы и прищурив насмешливые глаза.

«Новый мир» в 1926—1932 годах напечатал немало произведений, прочно вошедших в советскую литературу, — значительную часть «Жизни Клима Самгина» М. Горького, «Хождение по мукам» и «Петра Первого» А. Толстого, «Поднятую целину» М. Шолохова, «Соть» Леонова, «Гидроцентральный» М. Шагинян, «Кашцеву цепь» и цикл рассказов Пришвина, «Севастополь» Малышкина, «Россию, кровью умытую» А. Веселого, «Закат» и рассказы Бабея, рассказы и воспоминания В. Вересаева, повести и рассказы И. Соколова-Микитова.

После смерти И. И. Скворцова-Степанова (1928) в «Новом мире» была создана широкая редколлегия, в которую, в частности, вошли Василий Иванович Соловьев, старый большевик, один из руководящих работников «Правды» в 1912 году, и Александр Георгиевич Малышкин. Оба они принимали самое деятельное участие в редактировании журнала.

В. И. Соловьев, оказавшийся в 1937 году жертвой ложного навета, отличался большим литературным вкусом и широтой взгляда: он всячески ратовал за объединение в «Новом мире» всех живых и талантливых сил советской литературы.

А. Г. Малышкин с исключительной добросовестностью читал рукописи, с полнейшим беспристрастием оценивал их. Прочитав однажды рассказ одного из своих самых близких друзей, он решительно забраковал его:

— Ничего нельзя поделать. Кроме дружбы, есть еще ответственность перед читателем, а сырую рукопись давать читателю нельзя, как нельзя продавать сырой хлеб.

В конце 1931 года В. П. Полонский был освобожден от работы в «Новом мире» и назначен директором Музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Отстранение от непосредственной литературной деятельности — «Печати и революции» тогда уже не существовало — он переживал очень болезненно, хотя внешне и бодрился. В начале 1932 года (в феврале) он поехал в Магнитогорск, чтобы написать очерки об этом гиганте тогдашней индустрии. В дорогу он захватил одну из своих любимых книг — «Былое и думы» Герцена. Сразу же по приезде в Магнитогорск Вячеслав Павлович заболел сыпным тифом. В Москву его привезли уже мертвым.

Сквозь стекло в гробу виднелось восковое, какое-то иссохшее, печальное и несчастное лицо; Вячеславу Павловичу даже не могла прийти мысль о такой ранней смерти, — перед отъездом он развивал столько планов на будущее!

«Новый мир», руководимый В. П. Полонским, при деятельной помощи А. В. Луначарского, И. И. Скворцова-Степанова, а потом В. И. Соловьева и А. Г. Малышкина, останется одним из лучших «толстых» журналов периода 1926—1932 годов. Он внимательно и заботливо собирал и объединял всех подлинно жизнеспособных писателей — как старшего, дореволюционного поколения, так и творческих ровесников Октября — и предоставлял им все возможности для художественного соревнования, для проявления любых индивидуальных особенностей, если их произведения не носили чуждого характера или не были заумью и трюкачеством. Журнал не стеснял писателей в выборе тем, справедливо считая, что органическое сродство с современностью — неизменно надежный компас и в историческом и в историко-литературном произведении.

И если внимательно перелистать комплект «Нового мира» тех лет, нельзя не прийти к выводу, что журнал дает довольно яркое представление о богатстве и разнообразии молодой советской литературы.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЧЕРНАЯ

★

## ЛИТЕРАТУРА «ДНЯ НОЛЬ»

*(Заметки о литературе ФРГ)*

**В** этой статье речь будет идти не о всей литературе ФРГ, а только о ее части. Мы не станем здесь говорить ни о книжонках неонацистов, во множестве издающихся в Западной Германии, ни об антисоветских пасквилях, ни о романах из жизни энергичных дельцов и их красавиц секретарш, то есть о мещанской макулатуре, наводнившей Западную Германию в последние годы. Наша задача рассказать о некоторых тенденциях литературы ФРГ, которая делается чистыми руками, о так называемой литературе «дня ноль». Эта почти математическая формула, получившая все права гражданства как в ФРГ, так и в других странах, расшифровывается весьма просто: «день ноль» — день крушения фашистской Германии, литература «дня ноль» — литература, начавшая свое существование, так сказать, с нуля. Не вдаваясь до поры до времени в рассуждения о правомерности этой формулы, скажем, что большая литература восемнадцатилетней давности на западе Германии существует, развивается и что ее представляют десятки писателей разных литературных направлений, возрастов, взглядов.

### Первые шаги

Родоначальником литературы «дня ноль» был Вольфганг Борхерт — не только замечательный писатель, но и замечательный человек, из тех людей, которых террор может физически уничтожить, но

не в силах сломить. Борхерт, чья двадцатипятилетняя жизнь может сама по себе служить темой для романа, прошедший и через камеру смертников, и через фашистский штрафной батальон, и через безвременье первых послевоенных лет, создававший свои произведения уже на больничной койке в единоборстве со смертью. Пьеса Борхерта и его рассказы — своего рода стихотворения в прозе — вопль человека, проклявшего жестокость и гибельность фашизма.

К литературе «дня ноль» принадлежит и католик Бёль — один из самых крупных из ныне живущих писателей на Западе. Бёль, чье короткое имя, по выражению видной буржуазной газеты «Зюддейче цейтунг», «звучит как ругательство» в фешенебельных ресторанах и отелях, где собираются сливки западногерманского общества, и чьи романы и повести, сказали бы мы (оставаясь в том же ряду сравнений), прозвучали в ФРГ как пощечина по фарисейству и лжи.

В рядах этой литературы и Гюнтер Вайзенборн — старый писатель и старый антифашист, участник антигитлеровского подполья, большой друг Советского Союза (он знаком нашему читателю по двум романам: «Построено на песке» и «Мститель»). И Ганс Вернер Рихтер — организатор «группы 47» — известный беллетрист (у нас переведен его роман «Не убий») и ярый полемист, в чем могли убедиться участники Ленинградского симпозиума европейских писателей. И молодой протестант Хоххут — его первая и

пока единственная поставленная пьеса «Наместник» о папе Пие XII вызвала страстные споры и вместе с тем бурную волну восхищения во всем мире.

В создании литературы «дня ноль» участвует и талантливый Манфред Грегор — автор интересного романа «Мост» (он у нас переведен). И очень крупный поэт Энденбергер, стихи которого по духу напоминают раннего Маяковского. И молодые прозаики Вальсер и Уве Йонсон, пишущие в манере Кафки. И Эрих Куби — левый журналист, автор нескольких нашумевших книг (он недавно приезжал в Советский Союз). И очень сильный и своеобразный писатель Кёппен, опубликовавший после войны всего три романа, последний из которых издан уже десять лет назад, что дало критикам повод говорить, что он переживает творческий кризис. И Зигфрид Зоммер, написавший очень грустную и очень насмешливую книгу «...и никто по мне не заплачет» (она у нас переведена), а потом изменивший писательской профессии ради более доходной в ФРГ журналистики. И молодой сатирик Бекельман. И Арно Шмидт, которого иногда называют в ФРГ крупнейшим прозаиком. И Готфрид Ленц и Пумп. И Ледиг, создавший значительный антивоенный роман «Реактивные минометы» и передавший гонорар за него сиротскому дому. И сравнительно не очень молодой Пауль Шаллюк (у нас переведена его книга «Энгельберт Рейнеке») — честный и глубокий писатель. И Гюнтер Грасс — новая звезда на западногерманском литературном небосклоне, чья ненависть к прошлому и настоящему Западной Германии граничит с цинизмом. Грасс, который, кстати сказать, за короткое время издал вопреки всем теориям «отмирания романа» два романа-фолианта страниц по семьсот каждый. И Катарина Моосдорф. И Христиан Гейслер — талантливый литератор и мужественный человек, один из тех, кто не признает никаких компромиссов, никакой «лжи во спасение»... И многие другие.

Конечно, перечень имен сам по себе ничего не говорит ни уму, ни сердцу. И все же этот перечень наводит, на наш взгляд, на некоторые раздумья. И прежде всего на вопрос о том, почему в ФРГ за сравнительно короткий срок народи-

лась такая большая литература и такое большое число интересных писателей, в то время как до «дня ноль» в фашистской Германии ни литературы, ни значительных писателей не существовало. Да и притом литература и писатели народились в ФРГ вопреки множеству факторов. Вопреки реакционной политической власти. Вопреки «экономическому чуду» и сопутствующему ему отвратительному ожирению немецкого обывателя. Вопреки преследованиям всех прогрессивных сил и запрету партии коммунистов. Вопреки скандальным «делам», таким, как «дело Шпигеля». Вопреки возрождению милитаристских и реваншистских сил...

Ответ здесь может быть только один: поражение Германии, показавшее всю ложь и преступность фашизма, высвободило разум людей, пробудило в них совесть — словом, создало ту моральную атмосферу, в которой вообще возможно существование искусства.

В свое время Хемингуэй сказал: «Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей, и система эта — фашизм. Потому что фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами». И далее: «Фашизм — ложь, и потому он обречен на литературное бесплодие. И когда он уйдет в прошлое, у него не будет истории, кроме кровавой истории убийств...» Хемингуэй сказал это на II конгрессе американских писателей в 1937 году — всего лишь через четыре года после того, как гитлеровская Германия начала писать свою кровавую историю убийств, а другой наш великий современник Томас Манн повторил ту же мысль уже в 1950 году. Тоталитаризм, сказал он, «принципиально несовместим с правдой». И далее: «Ложь невыносима не только в моральном отношении, она отвратительна и с позиций эстетики».

Совершенно очевидно, что прогрессивная литература, возникшая после разгрома гитлеризма в Западной Германии, объединена не только чисто формальными признаками «единства времени и места», иными словами — тем обстоятельством, что писатели, творящие ее, живут на одной территории и создают свои произведения в одно время. В силу множества исторических и политических причин перед писателями ФРГ стоят свои специфические задачи. И хотя в своих



сборниках, коллективных декларациях и работах эти писатели утверждают, что они-де не придерживаются никаких единых платформ и пишут каждый на свой лад, литература «дня ноль» имеет ряд общих характерных особенностей и одной ей присущих тенденций. Но, прежде чем говорить о них, следует все же вдуматься в само определение: литература «дня ноль». В первую минуту оно вызывает невольное чувство протеста. Внутренний литературоведческий «голос», сидящий в каждом критике, начинает вопрошать: «Как же так — литература «дня ноль»? Значит, в Германии существует литература без традиций? А Гёте, а Шиллер, а Томас Манн, а Берт Брехт?»

Разумеется, формула «литература «дня ноль» весьма условна, как, впрочем, каждая хлесткая литературная формула. Разумеется, литератур и литераторов без традиций не существует. И все же... И все же восемнадцать лет назад в Германии произошел беспрецедентный факт — не только полное поражение громадной военной машины, но и тотальный, действительно тотальный крах целой идеологии — ее политических и военных доктрин, правовых норм и ее искусства, художественного, казенного искусства, фабрикованного по заказам клики фашистов, или, как говорил Хемингуэй, «бандитов».

Западногерманская литература поистине начинала заново. Поэтому-то в известном условном смысле название литературы «дня ноль» правомерно; во всяком случае оно более точно, чем все остальные названия, какие давались этой литературе: литература «немного» или «молчащего поколения» или, по аналогии с литературой двадцатых годов, литература «потерянного поколения» или «литература развалин», поскольку она в буквальном смысле этого слова рождалась на развалинах — в землянках, в подвалах разбомбленных домов, в разрушенных квартирах.

Перед литературой «дня ноль» стояла трудная задача — заполнить тот идеологический вакуум, который образовался в Западной Германии после крушения фашизма, создать новые моральные и эстетические критерии взамен дискредитированных фашистских критериев. В одной из программных статей, которой открывается вышедший в ФРГ в 1963 году сбор-

ник новелл «группы 47», говорится: в Западной Германии «произошло беспрецедентное явление», «литература началась от пункта ноль», «обретая свое лицо», она «заново находила и ритм, и словарный фонд, и источники информации».

Да, все должно было стать другим — и ритм и словарный фонд, но прежде всего — для того чтобы обрести свое лицо — западногерманской литературе нужны были новые этические нормы, новые идеалы и, конечно, новый герой...

### Поиски нового героя. Возврат к десяти заповедям

Есть у Борхерта коротенький, на полторы странички, рассказ «Хлеб». Старуха просыпается у себя в спальне и видит, что кровать мужа пуста. Босиком она идет на кухню. В кухне — муж; он говорит, что его разбудил непонятный шум. Но старуха знает, что это не так — старик проснулся от голода. Он украл ломтик хлеба из их скудного пайка, который лежал на кухне. И старуха, собрав все силы, отводит глаза от хлебницы. Потом старуха засыпает, стараясь не слышать, как муж тихо жует украденный хлеб. Вот как кончается этот рассказ:

«Когда на следующий вечер он вернулся домой, она пододвинула к нему четыре ломтя хлеба. Прежде ему полагалось только три.

— Можешь съесть все четыре, — сказала она, отходя от лампы. — Я все равно плохо переношу этот хлеб. Съешь лучше ты лишний кусок. Я этот хлеб не особенно хорошо переношу.

Она заметила, что он низко склонился над своей тарелкой. На нее он не смотрел. В это мгновение ей стало жаль его.

— Так не годится, ведь тебе останется всего два ломтика, — сказал он, не подымая глаз от своей тарелки.

— Ну и что же? На ночь мне вредно есть хлеб. Ешь. Ешь.

Прошло некоторое время, прежде чем она снова уселась к столу, ближе к лампе».

Скажут: что особенного в этом рассказе? Мало ли было написано произведений о самопожертвовании, о супружеской любви на склоне лет, о незаметных будничных подвигах? Да, конечно, много.

И все же короткий рассказ Борхерта с символическим названием «Хлеб», рассказ о доброте — просто о доброте — необычайно важен для всего искусства Западной Германии. Недаром Бёль выбрал этот рассказ среди всех других произведений Борхерта и так высоко оценил его.

Безымянная старуха из рассказа «Хлеб» — первая в длинной веренице образов нового героя в литературе «дня ноль».

Впрочем, «герой» здесь не очень-то подходящее слово. Разве назовешь героем Фреда Богнера из романа Бёля «И не сказал ни единого слова...»? На всем протяжении книги Фред бродит из одной пивнушки в другую, одалживает деньги, размышляет о смерти... Но незаметно писатель внушает, что мораль Фреда очень высока, что он не совершит даже самой «узаконенной» подлости, что он добр, сострадателен, умен, умен без ханжества и софистики и что он обладает как бы шестым чувством неприятия всяческой фальши, этой, как говорит Бёль, «дешевой позолоты», прикрывающей корысть, равнодушие и прямое преступление. При всей своей пассивности Фред борется за ту внутреннюю чистоту, которую он считает сугубо обязательной для каждого человека, за десять заповедей, не имеющих, впрочем, ничего общего с официальной церковной моралью.

С большими оговорками можно назвать героем и старого Рейнеке из романа Шаллюка «Энгельберт Рейнеке». Провинциальный учитель и чудака, примерный семьянин и честный человек — вот все, что скажешь о нем. Но именно этого неприметного «учителишку», весь подвиг которого заключался в том, что и в годы фашизма он пытался воспитать из своих учеников порядочных людей, забывают насмерть в фашистском концлагере. Для фашистов этот «не герой» — враг. А для тех, кто его знал и будет помнить, он образец, по которому они меряют свои поступки и свою жизнь.

«Не герои» в рассказах Борхерта, безобидные и добрые чудаки в рассказах Шнурре, Фред Богнер, учитель Шрелла и клоун Шнир в романах Бёля, юноша Лео Кни в романе Зоммера «...и никто по мне не заплачет» и еще десятки им подобных описаны нарочито буднично, приземленно.

Очень соблазнительно причислить их к сонму традиционных персонажей буржуазной литературы на Западе. Очень соблазнительно сказать, что писатели ФРГ возродили «маленького человека» с его маленькими горестями, радостями, страхами. Но это будет неправильно. «Не герой» Бёля, Шаллюка и других принципиально отличается от образа маленького человека, созданного западноевропейскими и американскими писателями в двадцатые годы, во времена, когда у людей еще существовала иллюзия, будто на земле возможно и некое отдельное, «улиточное» счастье. Современному «не герою», пережившему фашизм и войну, ясно, что в уютной квартирке, даже при модных на Западе свечах, не спрячешься от проблем ядерного века. И своего детеныша, милого Муркеля (из романа Фаллады «Маленький человек, что же дальше?») не сбережешь, если грянет беда. Да и самую большую любовь, даже такую, какую клоун Шнир испытывал к Мари, сохранить очень трудно. Общество с его подлой моралью вторгается в личную жизнь людей, разбивает ее...

Можно с полным правом утверждать, что решительно все «не герои» в книгах западногерманских писателей, как бы приземленно и буднично они ни описывались, задумываются об устройстве мира, о фашизме, о войне — словом, о том, что на языке обывателя называется высокой политикой.

Но изменился не только маленький человек, изменилось и отношение писателя к нему. Писатель говорит сейчас о простом человеке не со снисходительно жалостливой улыбкой. Разбирая рассказ Борхерта «Хлеб», Бёль писал, что в убогой старухе, которая отдает свой ломоть хлеба мужу, видно «все величие человека». Писатели литературы «дня ноль» стремятся показать бессмертную ценность простых человеческих добродетелей (да простится нам это старомодное слово), они окружают простого человека ореолом величия, величия порядочности.

Но почему обязательно окружать ореолом «не героя»? Почему подымать на пьедестал бедного телефониста Фреда Богнера, или неудачливого клоуна Шнира, или голодную старуху, которая отводит глаза, чтобы муж не заметил, как

трудно ей расстаться с кусочком плохого хлеба?

Чтобы понять, отчего литература «дня ноль» возвеличила человека, лишенного, казалось бы, всякой героической приподнятости, отчего в поисках идеала она вернулась к христианским заповедям, надо представить себе, как выглядел фашистский «герой» и его идеалы.

Когда мы говорим о фашистских «героях», то всегда вспоминаем белокурую бестию, Ницше и туманные речи о «сверхчеловеке-молнии». На самом деле в третьей империи не очень-то зачитывались Ницше. И речи о «крови», «почве», «расе» звучали большей частью с трибуны. Зато, так сказать, для повседневного пользования существовал вполне определенный эталон героя. И эталон этот был тесно связан с основной фашистской посылкой — с отрицанием ценности человеческой личности как таковой. Гитлеровцы оперировали миллионами, на отдельного человека им было наплевать. «Герой» должен был обладать только одним качеством — нерассуждающей, слепой верой в фюрера и в «идеалы». При этом условии все остальное «списывалось». Нечестный на руку человек с нацистским значком считался куда ценнее бессребреника, недовольного режимом. Малограмотный эсэсовец ставился выше большого ученого, ибо ученый все подвергает сомнению. Подросток, донесший на своего отца, объявлялся идеалистом. (Слово «идеалист» было вообще чрезвычайно модно в фашистской Германии — идеалистом, к примеру, считался сутенер и жулик Хорст Вессель — общепризнанный герой коричневорубашечников.) Охранник и шпик именовался сильным мужчиной, зато полковник Штауфенберг — один из организаторов антигитлеровского заговора 20 июля, человек громадного личного мужества, был заклеяен как бесчестный трус.

Все бесчеловечное воспевалось, все человеческое оплевывалось, будь то талант, добрая душа или цельность чувств. Такие понятия, как подвиг, честь, совесть, воля, были поставлены с ног на голову. И еще: «герой» должен был быть постоянно весел, ведь его, так сказать, раз и навсегда ошастливил фашизм. Ничто не могло поколебать его железного оптимизма.

Литература «дня ноль» показала нам

задним числом, как фашистская этика, рассчитанная на отбросы общества, растлевала целый народ. Шестнадцатилетние мальчишки, защищавшие мост в романе Грегора «Мост», морально изуродованы фашизмом еще до того, как их забрали в казарму. Они уверены, что бесполезная смерть — наивысший подвиг. Им внушили, что быть хорошим товарищем — значит бессмысленно погибнуть рядом с другом, вместо того чтобы спасти его. Детская непосредственность, детская чистота кажется этим подросткам позорной.

В романе Рихтера «Не убий», который грешит многими недостатками, в то же время очень наглядно показано, как фашизм уничтожает семью, как он растлевает женщину. Карла Нихаген — самая настоящая шлюха, но форма гитлеровского женского корпуса делает ее в глазах окружающих чуть ли не идеалом женщины. Друг ее детских лет Эрхард, сидя на кухне у Карлы (на кухне, потому что Карла принимает очередного «гостя», штурмбаннфюрера), всерьез размышляет: не предложить ли ей руку и сердце.

Подросток Зигфрид из романа Шаллюка «Энгельберт Рейнеке» предает своего учителя гестапо, и родные, зная это, считают его «идеалистом». Герой последнего произведения Грасса — Матерн — избивает своего лучшего и единственного друга за то, что тот по отцу еврей. Избивает не один, а вместе с целой бандой своих дружков-эсэсовцев. Но избивение это — для Матерна своего рода символический акт: после него он должен почувствовать себя цельным и волевым человеком, настоящим мужчиной...

Совершенно очевидно, что литература «дня ноль» должна была развенчать фашистскую мораль. И действительно, книги передовых писателей ФРГ стали полем сражения гуманистических идей с идеями фашизма. А образы простых людей — прямыми антиподами героев эпохи варварства и лжи.

### Поиски виновного

...Не герой... Простые добрые чувства... Читателю этой статьи может показаться, что в новейших западногерманских романах рассказывается, как хоро-

шие люди взяли верх и наслаждаются благами свободы, что в этих произведениях царит светлая, радостная атмосфера с некоторой долей лирической грусти, ибо постоянно скалил зубы лишь фашистский герой...

Ничуть не бывало.

Если первые десять лет литературы «дня ноль» прошли под знаком антивоенного романа, в котором писатели говорили правду о войне, выражаясь словами Борхерта, «правду багровую, как кровь, как вспышки орудийного огня, как вопли ужаса», то сейчас эра антивоенного романа сменилась эрой... романа раскрытия преступлений. Впрочем, оговоримся заранее: произведения, о которых будет идти речь, меньше всего напоминают стандартное детективное чтиво. С детективами их сближают чисто формальные моменты: в центре повествования стоит преступление (чаще всего убийство) и один из героев постепенно раскрывает его, ищет следы, связывает воедино запутанные нити. Но не будем голословными.

О Христиане Гейслере мы уже упоминали. Западногерманская критика признает, что это один из самых крупных писателей ФРГ с ярко выраженной политической тенденцией. Вот сюжет первого нашумевшего романа Гейслера «Запрос»... Молодой ученый Кёлер работает в институте, размещенном на бывшей частной вилле. Хозяев виллы — евреев — в свое время «ликвидировали» в концлагере. Только старик сторож помнит несчастную семью владельцев и ту ночь, когда их отправляли на смерть. В его памяти запечатлелось также лицо гестаповца, руководившего «акцией». Вот и все, что известно Кёлеру. И все же он начинает розыски преступника. На его пути масса препятствий. Ни одна официальная инстанция не хочет ворошить историю загубленной семьи. Более того, все дельцы и чиновники, с которыми встречается Кёлер, стремятся подвести черту под прошлым Германии, прямо заинтересованы в том, чтобы это дело, как и тысячи других, было навсегда погребено. Но Кёлер упрямо продолжает свои поиски. Ни разу у него не возникает вопрос о том, что преступник, которого он разыскивает, всего лишь мелкое «колесико» громадной машины. Для этого молодого челове-

ка существует только один нравственный закон: все преступления должны быть раскрыты, все преступники найдены. Вместе с Кёлером ведет розыски и старик сторож. Случайно он видит на улице убийцу. Идет за ним следом. Узнает дом, в котором тот живет. Но в эту минуту старика сбивает машина. Перед смертью в больнице он передает адрес убийцы женщине-врачу, которая лечит его. Женщина сообщает его Кёлеру. Кёлер в недоумении. Он услышал свой собственный адрес. Может, старик помешался перед смертью? Но ведь сторож не знал дома, где живет Кёлер. Значит, Кёлер действительно находился все это время под одной крышей с убийцей. В конце романа Кёлер обнаруживает преступника...

Ну чем не детектив?

В основу романа Катарины Моосдорф «Рядом с нами» положен действительный факт, который был освещен в западногерманской прессе. Вот как он описывается в книге: эсэсовский врач, умертвлявший в концлагере заключенных, запирает в сумасшедший дом свою жену, когда она становится для него помехой. Жена слишком много знает. Кроме того, эсэсовец намерен жениться на ее кузине. Жену должны ликвидировать как «неполноценную личность», но персонал клиники, рискуя головой, спасает ее вместе с некоторыми другими пациентами. Мы знакомимся с персонажами романа через много лет после этих событий. Убийца-эсэсовец, в романе он назван Брокендорфом, живет в ФРГ под чужим именем; он стал крупным дельцом — владельцем фармацевтической фирмы. В том же городе прозябает его жена, она до сих пор не может вернуться к нормальной жизни. Женщина эта смертельно боится всяких упоминаний о ее прошлом. У Брокендорфа, вернее, у его нынешней, третьей по счету, молодой жены есть знакомые — дядя и племянник. По чистой случайности они встречают бывшего узника концлагеря, который видел, как нынешний дельец собственноручно убивал в концлагере детей. Но узник в последнем градусе чахотки. Он не в силах покарать преступника. Дядя и племянник берут на себя роль «детективов», стараясь связать воедино улики, которые помогли бы им разоблачить Брокендорфа.

Роман Вайзенборна «Мститель» знаком советскому читателю. Вкратце напомним только, что герой романа ставит своей целью покарать некоего Риделя, шпика, который выдал гестапо группу сопротивления «Серебряная шестерка». Правда, в этом произведении имя убийцы известно, но и здесь речь идет о романе раскрытия преступления.

Элементы «детектива» можно обнаружить даже в таких сложных психологических книгах, как книга Шаллюка «Энгельберт Рейнеке». В конечном счете молодой Рейнеке приезжает в свой город для того, чтобы разыскать убийцу отца, раскопать прошлое или, как говорится в романе, проникнуть в «замурованные штольни». На раскрытии морального преступления построена и последняя страшная пьеса старого драматурга Цуккмайера «Часы бьют час», и еще многие и многие другие произведения литературы ФРГ.

Чем же объясняется столь явное пристрастие западногерманских писателей к романам об убийцах и убийствах? Нездоровой тягой к аномалиям? Погоней за занимательностью? Интересом к теневой стороне человеческой души?

Ничего подобного. Литературу «дня ноль» интересуют — и это ясно каждому читателю произведений передовых писателей ФРГ — не аномалии и не теневые стороны человеческой души, а прошлое Германии, та самая кровавая история убийств, о которой говорил Хемингуэй в уже приведенном высказывании.

Хорошо известно, что гитлеровцы пытались связать круговой порукой — общностью преступлений — весь народ. Они вовлекали в свои мрачные деяния тысячи людей. Большинство концернов было связано с управлением концлагерей, а это значит: инженеры, техники, рядовые служащие концернов знали, что творилось за колючей проволокой. В имперском банке хранились золотые коронки узников, задушенных в газовых камерах. Ракеты делали заключенные. В медицинских институтах проводили опыты над живыми людьми. Преступниками стали судьи, врачи, промышленники, дипломаты, покрывавшие политиков, газетчики, обманывавшие народ, юристы, сочинявшие бесчеловечные законы. не говоря уже о громадной армии чиновников, не-

посредственно обслуживавших аппарат насилия.

В одном из эпизодов последнего сатирического романа Гюнтера Грасса «Собачьи годы» писатель в остро гротесковой форме показывает нам ту трансформацию, которую проделал немецкий обыватель в годы фашизма, превратившись в самого настоящего убийцу. Фантастический эпизод этот происходит в ФРГ через двенадцать—тринадцать лет после поражения Германии. Повсюду царит тишь и гладь. Вчерашний убийца снова стал благонамеренным членом общества, добрым «папенькой», с которого должны брать пример его отпрыски. Но вот некая фирма детских игрушек (чем не сказка Андерсена!) выпускает на рынок волшебные очки. Через эти очки молодые люди в возрасте от девяти до двадцати одного года «видят прошлое своих родителей... иногда, при известном терпении даже в хронологическом порядке. Сцены, которые по тем или иным причинам скрывают от подрастающего поколения, становятся явными».

Вся молодежь поголовно вооружается очками, и в один миг с благонамеренных папенок и маменок слетают маски.

«...в двух окружностях волшебных очков появляются картины, показывающие насильственные действия, которые они (родители.— Л. Ч.) лет двенадцать—тринадцать назад (при фашизме.— Л. Ч.) совершали, наблюдали, вдохновляли; убийства, иногда стократные Соучастие в оных. Как они курили и смотрели на них, эти убийцы в чести, украшенные орденами, окруженные почетом. Как импульс к убийству стал главенствующим импульсом. Как они сидели с убийцами за одним столом, в одной лодке, в одном казино, лежали в одной кровати. Как произносили тосты, как отдавали приказы. Составляли документы. Дышали на печать. Иногда всего лишь расписывались и рылись в бумагах. Много разных дорог вело к убийству. Иногда слова, иногда умение молчать. Каждый отец должен скрывать хотя бы одно из них. И еще другие, которые как бы не были совершены, погребены в памяти, глубоко запрятаны, обжиты...»

Страшное ощущение преступного прошлого и виновность в этом прошлом тысяч людей, которые не понесли никакого на-

казания, — вот что заставляет сейчас очень многих честных и передовых писателей Западной Германии вновь и вновь возвращаться к давно минувшим дням, рыться в документах, переосмысливать события двадцатилетней — тридцатилетней давности, идти на страницах своих книг по следам преступлений, которые «как бы не были совершены, погребены в памяти, глубоко запрятаны, обжиты...»

Это не значит, конечно, что все писатели литературы «дня ноль» пишут романы о раскрытии преступлений. Отнюдь нет. Но возвращаются к прошлому действительного почти все. Последний роман Бёля «Глазами клоуна» — столько же произведение о Германии Аденауэра — Эрхарда, сколько о Германии Гитлера. Но Бёль хорошо помнил годы кровавого безумия. А сатирик Бекельман в годы фашизма был мальчишкой, и написал он роман «Золотая буря» о своем сверстнике. Тем не менее и в этой книге все события так или иначе связаны с годами фашистского террора.

Не из простой любознательности раскрывают передовые писатели ФРГ «замурованные штольни» — их задача беспощадно и бескомпромиссно осудить преступников.

В статье западногерманского литератора Кайзера, рассказывающей о создании «группы 47», подчеркивается, что единственной платформой, объединяющей писателей в этой группе, было решительное осуждение совершенных в Германии беззаконий. «Даже фраза: «с эсэсовцами все было, разумеется, гораздо сложнее и не следует забывать, что...» — фраза, которую интеллигенты в нашем отечестве выговаривают не покраснев, была в нашей группе совершенно невозможна», — пишет Кайзер.

Уже из приведенной цитаты мы видим, что осуждение преступлений, совершенных при фашизме, в Западной Германии не такое само собой разумеющееся дело, как это может нам показаться. По словам Кайзера, даже западногерманские интеллигенты постфактум, «не покраснев», придумывают всякие оправдания для эсэсовцев. Что же говорить о крупных чиновниках и дельцах в ФРГ, которые и при фашизме стояли у власти, делали себе карьеру?

За те восемнадцать лет, что существует литература «дня ноль», так называемое общественное мнение, инспирированное сверху, выработало целый «кодекс», по которому вчерашние убийцы... не виновны в содеянных ими преступлениях. Американский драматург Артур Миллер в статье «Урок живущим» по поводу Франкфуртского процесса над нацистскими преступниками (она была опубликована в еженедельнике «За рубежом») подробно рассказывает об этом «кодексе». В Западной Германии, пишет Миллер, существует негласное мнение, что нельзя судить людей, «которые работали для государства, по его приказам», лишали жизни себе подобных, считая это «почетным» долгом «во имя «высших» целей». «Кому и в какой стране, — пишет Миллер далее, — не доводилось слышать, как немцы говорили: «Если не сделаю я, то это сделает кто-нибудь другой».

Таким образом, на долю передовых западногерманских писателей выпала трудная задача — вынести моральный приговор преступникам, фактически уже давно оправданным всеми официальными и неофициальными инстанциями в их отечестве. Литературе «дня ноль» приходится упорно доказывать, что убийцы «в чести, украшенные орденами, окруженные почетом», ничуть не лучше простых громил и бандитов. Что уничтожать невинных людей нельзя из «высших целей», из чувства «долга», повинуюсь «приказу», или из того соображения, что, если этого не сделаешь ты, государство найдет другого палача. Литературе «дня ноль» приходится без конца повторять, что и в годы фашизма существовала возможность выбора и что человеческие разум и совесть могли противостоять и террору, и одурманивающей пропаганде. Простые люди, утверждают писатели литературы «дня ноль», не принимали участия в убийствах, не наживались на войне и преступлениях, не делали себе карьеру на несчастье ближних, не лгали, не уговаривали себя, что Гитлер-де спасет мир.

Беспощадно осуждает Гейслер убийцу-гестаповца в романе «Запрос». Беспощадно осуждает Вайзенборн шпика Риделя. Беспощадно осуждает Шаллюк доносчика Зигфрида и его вдохновителя эсэсовца Пауля. Беспощадно судит Бёль всех,

вкусивших причастие буйвола — символ воинственности и кровожадности гитлеровцев — от начальника концлагеря Фильскайта в его первом романе «Где ты был, Адам?» до мальчишки Калика и мамыши Шнир в последнем романе «Глазами клоуна».

### От прошлого к настоящему

Итак, произошел, казалось бы, парадоксальный факт: литература «Дня ноль» в последние восемь—десять лет упорно возвращается к событиям, которые случились до «дня ноль», то есть при фашизме. Выше мы говорили, что ее цель при этом осудить убийц и самую идеологию убийства, глубоко безнравственное предположение о том, будто умерщвлять ни в чем не повинных людей можно из каких бы то ни было «идей» и «высших» соображений.

Однако это еще далеко не все. В истории Германии передовые литераторы ФРГ ищут ключ к настоящему и к будущему своей страны.

Артур Миллер в уже цитированной выше статье задает нижеследующий риторический вопрос: «Если человек способен лишать жизни себе подобных, причем без эмоций, спокойно, считая это даже «почетным» долгом во имя «высших» целей, может ли какая бы то ни было цивилизация считать себя застрахованной от произвола сил, притаившихся в человеческом сердце?»

Конец этой цитаты, пронизанной благородной тревогой за будущее человечества, кажется нам наивным. Но привели мы цитату не случайно. Стремление перенести трагические конфликты XX века исключительно в сферу человеческого сердца было на протяжении многих лет свойственно большому числу писателей, да и не только писателей Запада.

Перечитывая многие книги, созданные перед приходом фашистов к власти и в годы фашизма людьми преследуемыми и гонимыми, видишь, как они были, в сущности, беспомощны, как полны несостоятельных иллюзий, как уговаривали себя в том, что зло-де не может воцариться надолго в человеческом сердце, что Гитлер и его присные «одумаются», что режим изменится, станет более «либераль-

ным» или по крайней мере более «умным».

Возвращаясь к прошлому Германии, передовые писатели ФРГ пересматривают эти взгляды, отрешаются от многих роковых иллюзий. Анализируя человеческое сердце, они невольно переходят к анализу общества в целом, к анализу тех сил, которые дали возможность на протяжении двенадцати лет убивать честных и талантливых людей в цивилизованной Германии и окружать почетом палачей, тупых чинуш и погромщиков, — тех сил, которые и сейчас угрожают народам.

Характерной особенностью наших дней является то, что передовые наука и искусство во всем мире, в том числе и в капиталистической Европе, вплотную подходят к социальному осмыслению событий, к подлинно историческому пониманию вчерашнего, а следовательно, и сегодняшнего дня.

Процессы эти происходят и в литературе «дня ноль». Это не значит, конечно, что писатели ФРГ дают какие-то действенные рецепты или разработали какую-то стройную концепцию для предотвращения торжества реакции в будущем. Отнюдь нет. Однако крупницы истины (а это не так уж мало!) добыты и литературой «дня ноль». С этой точки зрения интересно более подробно остановиться на известном романе Бёля «Бильярд в половине десятого» и в особенности на пьесе молодого драматурга Хоххута «Наместник», которая была упомянута в начале статьи.

«Бильярд в половине десятого» знаком советскому читателю. О нем говорят и спорят. Многие ценят это произведение, как сложный психологический роман, показывающий раздумья нашего современника на Западе. Однако «Бильярд» — самое социальное произведение Бёля и в какой-то степени самое ясное, если можно так сказать о столь непростом художнике, как Бель. Кульминационный пункт романа вовсе не раздумья и не «внутренний монолог» действующих лиц, а выстрел старухи Фемель в министра М.

Впервые в этом своем романе Бель рассматривает большой исторический отрезок времени — от начала века до наших дней. Правда, весь этот отрезок втиснут в очень ограниченные рамки, в

рамки одного дня. Но это всего лишь литературный прием. Зато историзм отнюдь не случайный, а глубоко закономерный элемент романа. Если мы внимательно вчитаемся в текст «Бильярда», то увидим, что Бёль тщательно исследует различные факторы, которые постепенно привели к победе фашизма, к торжеству зла в Германии. И факторы эти заложены не в сердцах его героев, а вне их, в устройстве окружающего мира.

На всем протяжении романа Бёль прослеживает, как антигуманистическая мораль общества, мораль поклонения силе, «кулаку», постепенно завладевает германским обывателем. Как яд человеконенавистничества вливается в его душу. Государство, армия, даже (для католика Бёля это — «даже») церковь превращает обычных людей в слепые орудия, которые попадают в конце концов в руки бандитов.

Но дело не только в идеологии. Реакционная власть на протяжении многих десятилетий подкупает широкие слои общества сложной системой привилегий. Все персонажи книги Бёля, кроме людей особенно стойких в своем благородстве и чистоте, пользуются этими привилегиями: высокими окладами, почетными постами, воинскими званиями, дающими возможность командовать себе подобными. Привилегии и лживая идеология — вот, по Бёлю, те силы, которые безошибочно развращают людей. Люди не выдерживают «испытания мундиром», говорит Бёль, понимая под «мундиром» не только собственно мундир, но и все другие привилегии.

В «Бильярде» Бёль показывает, что процесс растления народа происходит в Западной Германии и по сей день. Ведь люди, «вкусившие причастие буйвола», почти повсеместно остались «в игре». Крушение фашистского строя заставило все тех же власть имущих лишь слегка перетасовать старую, засаленную колоду — вчерашние валеты вышли в короли, вчерашние короли стали тузами. (Особенно ясно видно это в последнем романе Бёля «Глазами клоуна».)

Не значит ли это, что бороться против реакционного режима и его растлевающего влияния вообще невозможно? Нет, не значит, отвечает Бёль. Бороться против фашизма можно, если овладеешь

наукой ненависти. Можно, если перестанешь, подобно Пилату, умывать руки перед лицом всяческой подлости (образ Пилата очень часто встречается в публицистике Бёля). Сложные процессы, которые совершаются в умах всех главных действующих лиц «Бильярда», как раз и приводят к тому, что их позиция непротивления сменяется позицией сопротивления. Выстрел в министра М., одного из тех, кто вновь фашизирует Западную Германию, кто ведет ее к новой катастрофе, — итог и внутреннего развития героев, а главное, итог их жизненного опыта, малой частички исторического опыта всей Германии в целом.

Конечно, мы несколько упрощаем Бёля, в его романе все это прямо не написано. Но Бёль не такой писатель, который любит формулировать свои выводы. Он убеждает не авторскими ремарками, не прямыми обращениями к читателю, а всем строем своих произведений.

Кстати сказать, враги Бёля в ФРГ оказались проницательней многих его друзей. Им его романы (особенно два последних) кажутся и чересчур «социальными», и антизападными, и чуть ли не прокоммунистическими. На классовое чутье врагов Бёля можно спокойно положиться. Нет сомнения, что, если бы он был просто тонким психологом, мастером сложной формы «потока сознания», а не писателем, проповедующим науку ненависти, ему жилось бы куда уютней...

В пьесе молодого драматурга Хоххута «Наместник» исторический фон дан не менее широко, чем у Бёля, да и акценты расставлены, пожалуй, не менее четко.

Но прежде чем обратиться к анализу «Наместника», надо сказать несколько слов об истории этой пьесы. В предисловии к «Наместнику» крупный немецкий режиссер, первый постановщик Брехта Эрвин Пискатор рассказывает весьма любопытный случай: он прочитал эту пьесу не в рукописном, а в напечатанном, но... неизданном виде. Некое западногерманское издательство (имени его Пискатор не называет) отпечатало «Наместника», но не решилось выпустить его в свет. Правда, в дальнейшем пьесу все же опубликовало влиятельное издательство Ровольт тиражом свыше ста тысяч экземпляров. Но как бы то ни было, факт остается фактом. Несмотря на ши-



роко рекламируемую свободу печати в ФРГ, пьесе Хоххута побоялись вначале издать. Не менее сложно обстояло дело с постановкой «Наместника» буквально во всех странах. Так, например, по свидетельству западногерманского журнала «Шпигель», тихий Базель превратился в арену ожесточенных схваток, когда там шел «Наместник». Реакция всеми силами стремилась сорвать спектакль. «Прочь из Базеля с этим вздором», «Базель не Вьетнам» — таковы были лозунги реакции. Нечто подобное происходило и в других городах. В настоящее время существуют уже две книги, посвященные спорам вокруг «Наместника», — бестселлер, изданный тем же издательством Ровольт в Западной Германии под названием «Summa in iuria, или Должен ли был молчать папа?», и книга, изданная в Швейцарии, — «Спор о «Наместнике».

Чем же объясняется воистину сенсационный успех и «неуспех» произведения Хоххута?

Автор меньше всего заботился о внешней занимательности своего произведения, о том, чтобы потрафлять вкусам невзыскательной публики, о так называемом «кассовом» успехе. «Наместник» написан белым стихом и состоит из ряда слабо связанных между собой сцен. (При постановке пьесы многие из них опускают.) В этих сценах рассказывается, во-первых, о том, как гитлеровцы проводили акцию по умерщвлению евреев и, во-вторых, как воспринимали эту акцию различные лица, начиная от папы Пия XII — Пачелли (он-то и есть «наместник» — наместник бога на земле), кончая целым рядом крупных церковных деятелей. Кроме того, в пьесе выведен Эйхман и еще ряд реально существовавших лиц. Действие происходит то в Риме, то в Берлине, то в фашистском концлагере.

Пьеса Хоххута целиком и полностью основана на реальных документах и фактах. Документы частично включены в ткань самого произведения, частично приводятся в конце напечатанного издания «Наместника». Ни одному из персонажей пьесы Хоххут не вкладывает в уста слов, которые он бы не произнес или не мог бы произнести в полном соответствии с исторической правдой. (Драматург правильно рассчитал, по-видимому,

что недавнее прошлое Европы дает литературе такие сюжеты и такие коллизии, перед которыми любая выдумка, даже самая фантастическая, просто бледнеет...)

Коротко говоря, обвинить Хоххута в искажении правды, в фальсификации истории или в клевете весьма трудно, ибо все события, происходящие в его пьесе, происходили не так давно, «на глазах» у нынешнего поколения европейцев.

Трудно найти что-либо «сенсационнее» и в самой теме драмы. Тема эта — преследование евреев гитлеровцами — стала для западной литературы традиционной, если можно так выразиться о столь зловещей теме. Западногерманская интеллигенция, чувствуя себя глубоко виноватой перед миллионами людей — гонимых, оболганных, а потом и физически истребленных фашистами по расовым мотивам, все время возвращается к ней. Громадное большинство значительных произведений литературы ФРГ, да и не только ФРГ, в той или иной степени затрагивает эту тему. Так что и здесь Хоххут, можно сказать, не совершил ничего из ряда вон выходящего.

Западные критики, пытающиеся умалить значение пьесы, уверяют, что произведение, в центре которого стоит папа и его неблагоприятные деяния («наместник» в пьесе спокойно взирает на то, как гитлеровцы тащат в концлагери представителей «нижней расы»), уже само по себе должно было вызвать бурную реакцию, ибо оно является антиклерикальным и кощунственным. Но дело, на наш взгляд, обстоит сложнее. Как известно, сами гитлеровцы весьма непочтительно отзывались о католической церкви, что не мешало отцам церкви сохранять с ними не только «деловые контакты», но и вполне дружеские отношения.

Все дело заключается в разоблачительной силе «Наместника» в более широком смысле этого слова. И в тех исторических уроках, которые Хоххут извлекает из недавнего прошлого.

Пьеса Хоххута заставляет людей задуматься над самым механизмом власти в таком обществе, которое исходит не из блага народа, а из ложных идей, будь то идея возвеличения одной расы над другими или идея возвеличения церкви.

На большом историческом материале западногерманский драматург показывает в своей пьесе, что миллионы простых людей становятся пешками в шахматных партиях, которые разыгрывают реакционные политики. Папа Пий XII цинично продает своих соотечественников — итальянских евреев — Гитлеру, считая, что это служит на благо церкви. Одновременно он продает фашистским тиранам все другие народы, истекающие кровью на фронтах. Зато приближенные папы — иезуиты — обделяют свои дела с германским капиталом во имя обогащения папского престола. В это же самое время германский промышленник и барон фон Рютта разыгрывает свою шахматную партию, но уже не с Гитлером, а непосредственно с Эйхманом. Эйхман дает Рютте самых дешевых в истории цивилизации рабов — узников концлагерей, а Рютта использует их не только для своего личного обогащения, но и во имя процветания немецкой индустрии. И все эти интриги «во имя...» приводят к величайшим, непоправимым несчастьям, к гибели неисчислимого числа людей, к попранию элементарной справедливости на земле. Однако в пьесе Хоххута выведены не одни лишь власть имущие, но и простые смертные. Причем каждый из этих простых смертных должен выбрать свой путь, внести свой «вклад» в ход мировых событий, пусть самый малый. И в обрисовке простых людей западногерманский драматург находит самые острые, самые социальные решения. Он показывает, что позиция невмешательства, вернее позиция попустительства злу, опасна не только на мировой арене, но и на самом «низшем уровне». В конечном счете компромиссы простых смертных со своей совестью, их непротивление подлости, их рабская покорность и беспринципность дали возможность людям, облеченным властью, бесконтрольно распоряжаться судьбою миллионов, разыгрывать свои преступные шахматные партии.

Хоххут осуждает каждого, кто был слеп и глух в те времена, когда совершались злодеяния. Вот что говорит один из персонажей «Наместника»: «Вы живете, вы едите, вы зачинаете детей и знаете... все вы знаете, что существуют концлагери». А вот к какому выводу приходит патер Рикардо Фонтана, осуждающий не

только преступления нацистов, но и олимпийское спокойствие папы и его приближенных, с каким они взирают на гибель миллионов людей в концлагерях, в том числе и советских военнопленных: «Ни в чем не участвовать так же скверно, как соучаствовать».

Совершенно очевидно, что пьеса Хоххута, так же как и романы Бёля, как и все перечисленные выше произведения западногерманской литературы, направлена в настоящее, прямо обращается к людям сегодняшнего дня, которые выбирают сейчас свой путь. Недаром известный ученый-гуманист Альберт Швейцер сказал о «Наместнике», что он «глас, пробуждающий людей».

#### **О том, что еще не написали литераторы «дня ноль»**

Можно было бы еще многое сказать о передовом отряде западногерманских писателей, об их честности и мужестве. Однако справедливости ради надо отметить и то, о чем они еще не написали. И если в начале статьи мы говорили об общих тенденциях в литературе «дня ноль», то несколько слов следует сказать и о ее общих слабостях. И здесь мы также коснемся только наиболее значительных и интересных произведений, в основном тех же, каких касались раньше.

Выше мы писали, что литература «дня ноль» возвеличила простого человека, «не героя», противопоставила его тупому и аморальному фашистскому «герою». Однако процесс дегероизации оказался процессом сложным и противоречивым. «Не герой» западногерманских писателей во многих случаях не способен выполнять те функции, которые эти же писатели на него возложили, то есть бороться против возрождения зла...

Героиня романа Моосдорф «Рядом с нами» госпожа Брокендорф чудом спаслась от смерти в сумасшедшем доме, куда ее заточил муж, эсэсовский врач в концлагерях. Госпожа Брокендорф знает лучше кого бы то ни было, что бывший эсэовец, а ныне делец — жестокий и опасный человек, в любой момент он снова станет палачом. Тем не менее на всем

протяжении книги госпожа Брокендорф не помогает разоблачению своего мучителя, а иногда даже, быть может, сама того не желая, мешает этому. К тому же писательница возводит пассивность своей героини в абсолют, в некое нравственное кредо, чуть ли не обязательное для каждого интеллигентного человека. Все порядочные люди в романе Моосдорфльны чем-то вроде паралича воли, они беззащитны перед негодяями, так же как был беззащитен маленький человек западной литературы начала века. Но маленький человек начала века не прошел через горнило фашизма и войны, у него еще существовала масса иллюзий, в том числе иллюзия, будто, умывая руки, подобно Пилату, можно остаться чистым даже в мире, где власть захватили бандиты.

В своем романе Моосдорф, на первый взгляд, использует те же стилистические приемы, что и многие другие современные западногерманские писатели. Все события минувших дней воссоздаются через мысли и ассоциации героини. Но именно на книге Моосдорф видно, какие опасности таит в себе прием «поток сознания». Если у Шаллюка и особенно у Бёля воспоминания героев, причудливо переплетенные с настоящим, служат наиболее полному раскрытию характеров, ибо они показывают человека во времени и тем самым объясняют причинность его поступков и всего его поведения, то у Моосдорф «поток сознания» не несет такой смысловой нагрузки. Погружаясь в воспоминания, герои Моосдорф не извлекают уроков из своего прошлого, они раскрывают «замурованные штольни» не ради того, чтобы определить свое отношение к миру сегодняшнего дня. Литературный прием становится самоцелью, он только запутывает и затрудняет действие.

Не стоило бы так подробно останавливаться на книге Моосдорф, если бы недостатки этого романа не были бы столь характерными...

В романе Бёля «Бильярд в половине десятого», кажется впервые в литературе ФРГ, стреляют не в правого, а в виноватого, в министра М., который снова пытается превратить Западную Германию в плацдарм реакции и войны. Но разве не печально, что писатель вкладывает револьвер в немощную руку старухи

Фемель? Читатель может только надеяться, что выстрел в М. стал для всей семьи Фемелей сигналом преодолеть свою пассивность и начать действовать. Но как? Этого мы не знаем. Мы не знаем также, как будет действовать герой романа Вайзенборна «Мститель», распростившись со своей довольно наивной иллюзией, будто он может помочь делу справедливости, собственноручно покарвав шпика Риделя. При всей внешней активности, этот герой еще более слаб и беспомощен, чем откровенно пассивные «не герои» в произведениях других западногерманских писателей. Он даже не стремится понять связи событий, разобраться в реальных силах, порождающих риделей. Поэтому некоторые страницы искреннего романа Вайзенборна вызывают чувство недоумения — «святая простота» героя, описанная с дотошной старательностью (Вайзенборн этим явно грешит в отличие от своих коллег, которых скорее можно упрекнуть в излишней сложности повествования); мало воздействует на современного читателя.

Весьма показательно, что претензии к образу «не героя» в литературе «дня ноль» предъявляют не только советские критики в своих статьях и предисловиях, но и люди, сами делающие эту литературу. И у них его пассивность вызывает горькое чувство неудовлетворенности. Новеллист Вольфдитрих Шнурре — человек отнюдь не левых взглядов — написал в одном из своих рассказов: «Что вообще значит вина (под виной здесь понимается не участие в фашистских преступлениях, а непротivление злу в годы фашизма. — Л. Ч.)... Все мы виноваты... Весь вопрос в том, какие выводы мы сделаем из этого чувства вины, как мы с ним будем жить дальше... Вот в чем дело». Еще более ясно высказывает эту точку зрения Христиан Гейслер, о котором мы говорили выше. В своей статье по поводу романа Куби «Победа, победа!» он с едкой иронией высмеивает «восхитительную беспомощность» героя романа, «умного человека», с поразительной легкостью «примирившегося со своим бессильем». Надо, говорит Гейслер, перестать «с разумным скепсисом оплакивать торжество зла» и «придумать что-нибудь более осмысленное». И далее: «Мы удобно уселись на своей

доброй воле, как на ящике с ржавым оружием».

Но, пожалуй, еще страшней, чем пассивность персонажей литературы «дня ноль», их разобщенность. Хорошо известно, что буржуазное общество разрывает связи между людьми, разъединяет их. Но чтобы действительно понять трагические коллизии, показанные в прогрессивной литературе ФРГ, надо хотя бы на минуту представить себе чудовищную разобщенность подданных Гитлера. На протяжении двенадцати лет люди в Германии боялись высказывать свои мысли и чувства даже самым близким друзьям, да что там друзьям: брат опасался брата, отец — сына. Невинная беседа или шутка в кругу знакомых приводила в тюрьму. Юноша Борхерт, первый из плеяды прогрессивных писателей Западной Германии, сидел в камере смертников за несколько рассказанных им в кругу однополчан анекдотов. Когда крупного католического писателя Вихерта заточили в Бухенвальд, «лес смерти», как он его называл, друзья Вихерта, известные и влиятельные писатели, боялись выступить в его защиту, ибо и им это грозило концлагерем. Родная сестра Ремарка, скромная портниха в Оснабрюке, за год до конца войны сказала несколько «пораженческих» слов своей заказчице, и та сразу же донесла на нее гестапо. Сестру Ремарка казнили... Никогда еще люди не ощущали себя столь разобщенными, как в годину фашизма. Стоит ли удивляться, что старый писатель Фаллада дал одному из своих лучших романов такое за душу хватающее название: «Каждый умирает в одиночку».

Двенадцать лет фашистского господства не могли не наложить своего отпечатка на психологию простого человека. Тем не менее, рассказывая о людях сегодняшнего дня, передовые западногерманские писатели должны (не побоимся этого слова) показать, как их герои преодолевают свою разобщенность, как они приходят к пониманию того, что чувство одиночества не является непременной принадлежностью человеческого рода, не является врожденным свойством человеческой души.

Нельзя сказать, что прогрессивные писатели ФРГ фетишизируют чувство одиночества у своих героев, но нельзя

сказать также, что процесс преодоления этого чувства уже показан литературой «дня ноль».

В романе Шаллюка «Энгельберт Рейнеке», о котором мы уже много говорили, против Энгельберта ополчаются все люди с нечистой совестью — и братья Зондерманы, которые, в сущности, терпеть не могут друг друга, и старые учителя, повинные в смерти отца Энгельберта. Но сам Энгельберт не пытается выйти из заколдованного круга одиночества: он не апеллирует к своим ученикам, он боится поделиться своими мыслями с Максом Блудуа, который, по-видимому, может стать его единомышленником (таинственный Макс Блудуа так и не появляется на страницах книги собственной персоной). А ведь даже в годы фашизма отец Энгельберта не побоялся искать друзей, не побоялся обращаться к молодежи со словами правды. Старый учитель погиб за это на плахе, сыну его грозит всего лишь «волчий билет».

Одинок и юноша Беккер из романа Беккельмана «Золотая буря». В приступе отчаяния он сжигает отцовскую мельницу: не хочет наследовать капиталы, добытые чужой кровью и потом и умноженные под эгидой свастики. Но преодолеть свое одиночество Беккер не в силах, хотя вокруг него не одни «свинные хари», вокруг него люди, страдающие, думающие, ищущие выхода из своей разобщенности и бездействия.

Герои Шаллюка, герои Беккельмана, так же как герои Бёля, уже овладели наукой ненависти. Их гнев, пишет Никола Бажан в своей интересной статье «Глазами гнева», опубликованной в «Литературной газете», не стал «еще до конца целеустремленным и точным», хотя он уже «непримиримый, несглаживаемый». Теперь им остается сделать еще один шаг — снова поверить людям. Хочется думать, что мы еще прочтем романы западногерманских писателей, герои которых, как писал Гейслер в уже цитированной нами статье, «объединятся наконец-то не в бомбоубежищах в день X, — а раньше, на всех площадях». Хочется думать, что Энгельберт Рейнеке, решившись пойти по стопам отца, отрицет свое одиночество. Хочется думать, что Клоун Шнир вышел на ступеньки боннского вокзала не только для того,

чтобы окончательно и бесповоротно порвать с западногерманскими фашистами и лицемерами, но и для того, чтобы найти настоящих друзей и единомышленников, настоящих ценителей его искусства.

Выше мы говорили, что некоторые писатели литературы «дня ноль» приходят к историческому и социальному осмыслению событий прошлого и настоящего. Однако было неправильно утверждать, что это характерно для всей литературы ФРГ. Есть в Западной Германии известные, талантливые писатели, которые в своем творчестве чужды историческому и социальному подходу к явлениям жизни.

Особенно ярко это видно на произведениях Гюнтера Грасса. За сравнительно короткий срок Грасс создал два толстых романа — «Жестяной барабан» и «Собачий год». В обоих этих романах описывается чуть ли не полвека в истории Германии, выведены десятки персонажей из различных слоев общества. Отдельные сатирические эпизоды в «эпопеях» Грасса полны поистине свифтовской злости и горечи. Но, несмотря на это, романы Грасса вызывают странное, двойственное чувство. И дело вовсе не в том, что у персонажей Грасса нет ничего святого, что все они нравственные уроды, «чучела». В истории литературы существует немало примеров, когда писатель-сатирик не «уравновешивал» отрицательных героев положительными. Однако у каждого из великих сатириков прошлого существовал не только свой ярко выраженный нравственный идеал, но и свое целостное восприятие мира. А этого Грасс как раз лишен. По Грассу хаос и бессмыслица — изначальный закон, а порок — изначальное свойство человеческой души. Писатель зачастую не видит существенной разницы между тиранами и поработченными. В романах Грасса они могли бы иногда поменяться местами. Ущербность мироощущения Грасса сказалась и на композиции, и на стиле его книг. Ключковатость, разрозненность отдельных сцен идет вразрез с сухой рационалистической манерой писателя. Паноптикум уродов, выведенный на страницах его романов, иногда действует на нервы, ибо Грассу изменяет чувство меры. В безумии Гамлета была своя система, в безумии мира, нарисованного Грассом, нет никакой системы.

Если в произведениях Грасса антиисторизм и подмена социальных категорий чисто моральными выражены предельно ясно, то в книгах других писателей литературы «дня ноль» они дают себя знать в менее обнаженной форме. (Романы Носсака и произведения Уве Йонсона — пример тому.)

И все же нам хочется еще раз подчеркнуть, что литературу «дня ноль» определяют не ее «грехи» и заблуждения и даже не то, что недосказали западногерманские писатели, а то, что они уже сумели сказать в своих честных и талантливых книгах...

\* \* \*

Тем более, что нельзя ни на минуту забывать, как трудны поиски истины на западе Германии, в стране, где фашизм еще отнюдь не похоронен, где силы реакции сплочены, а силы мира разобщены. И здесь уместно будет привести притчу, рассказанную одним из известных немецких поэтов и публицистов, также принадлежащих к литературе «дня ноль», Вейраухом в сборнике «Я живу в ФРГ».

По словам Вейрауха, некий человек, домом которого завладели зловещие «черные птицы», однажды освободился от них с помощью соседей. Соседи посоветовали человеку очистить свое жилище. Однако оказалось, что несколько птенцов осталось в живых. Очень скоро они выросли и начали хозяйничать по-старому. Из дома разнеслось зловоние. Тогда человек, пишет Вейраух, «растерялся, стал задыхаться и звать на помощь. Но никто ему не ответил. Ибо на сей раз только он сам мог освободить себя».

Уже из этой притчи видно, как тяжело приходится передовым писателям в стране, где «черные птицы» неофашизма отравляют своим зловонием воздух. Мы знаем, что мировая реакция не оставила своих надежд на превращение боннской Германии в ударный кулак антикоммунизма, в зачинщика новой войны, на этот раз атомной. Правящие круги ФРГ ничему не научились на опыте недавней военной катастрофы. Они вновь толкают страну на путь военных авантюр, душат все передовое, прогрессивное, мыслящее в своей «империи». Они пытаются закрыть глаза не только на прошлое Германии, но и на ее настоящее — на побе-

ды и успехи Германской Демократической Республики, где впервые в истории этой страны воцарилась власть рабочих и крестьян.

В обстановке все усиливающейся реакции писатели литературы «дня ноль» с их проповедью любви к простому человеку, с их ненавистью к насилию, войне и кровавым преступлениям выполняют

огромную роль. Они по мере своих сил разоблачают установившийся ныне режим и формируют общественное мнение, они вскрывают «замурованные штольни», они взывают к чести народа, они будят его совесть. И в рядах этой передовой литературы — все самое лучшее и талантливое, что есть сейчас в Западной Германии.



---

В. СУРВИЛЛО

★

## К ВОПРОСУ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

Один писатель, прочитав пришедшую ему по душе стилизованную «под старинку» повесть одного автора, написал в одном журнале...

Следует оговориться: стиль только что прочитанных строк не оригинален. В данном случае мы пошли на заимствование. Вот образец:

«Мы знаем грустный пример самовнушения, когда один поэт, прочитав пришедшую ему по душе стилизованную «под старинку» повесть молодого автора, настолько поверил в ее исключительность, что из речи в речь, из статьи в статью не устает повторять: огныне, дескать, вся советская литература должна поверяться только этой повестью. Мы имеем, мол, дело с новым Львом Толстым».

Очень удобная манера критических выступлений. Выпущенный снаряд, разрываясь, поражает широкое поле. Удобство этой шрапнельной критики и в том, что она застраховывает от возражений, а также обеспечивает простор фантазии.

По неосторожности мы лишили себя этих удобств. Цитата позволяет найти источник. Приходится расшифроваться. Наш один писатель — В. Кочетов, напечатавший в журнале «Октябрь» восторженную рецензию<sup>1</sup> о повести Анатолия Калинина «Эхо войны»<sup>2</sup>.

В. Кочетов начинает свою рецензию с сеготования по поводу неясностей и расплывчатостей в разработке проблем социалистического реализма. От этого, говорит он,

возникают крайние неловкости: иные литераторы не могут ответить на вопрос, что же есть социалистический реализм. Повесть Анатолия Калинина может сослужить здесь службу. Она «дает большую возможность поразмышлять всем тем, кого вопросы социалистического реализма волнуют всерьез и кому судьбы нашей литературы отнюдь не безразличны». Далее следует приведенная нами цитата об одном поэте. Затем:

«Я не стану так говорить о повести «Эхо войны», чтобы прежде всего не быть смешным, а во-вторых, чтобы не обижать Анатолия Калинина, умного, яркого писателя, которого очень люблю. Но, повторяю, отлично написанная повесть «Эхо войны» дает богатейшие возможности для больших размышлений. Она, по моим представлениям, стоит в том ряду произведений литературы, который начат горьковской «Матерью».

Это из начала рецензии. В конце итоговая оценка:

«Такова повесть, написанная отличным, точным, выразительным языком, написанная с тех же единственно верных позиций, с каких смотрел на жизнь и автор романа «Мать», — с позиций борьбы классов. Отсюда неопровержимая жизненная и художественная логика повести, ее подлинная народность и партийность, закономерность изображенных в ней судеб».

Несколько похоже на самопародию. В. Кочетов словно бы пародирует собственное изложение пылко отзывает «одного поэта» об «одной повести». Дескать, отныне социалистический реализм должен пове-

<sup>1</sup> «Октябрь», № 11, 1963.

<sup>2</sup> Анатолий Калинин. Эхо войны. Цыган. Две повести. «Молодая гвардия». М. 1963.

ряться повестью Анатолия Калинина, мы, мол, имеем дело с новым Горьким. Не буквально так? Но ведь тут есть «дескать» и «мол», к которым научил нас в случае нужды прибегать В. Кочетов. Нет характеристики повести, как написанной по старинке? Это и правда упущение. Можно найти достаточно оснований именно так отозваться о языке повести Анатолия Калинина. «Волчок, добросовестно отработавшая хозяйский хлеб, по целым дням во дворе «гав, гав», калитка «скрип-скрип», дверь «хлоп-хлоп». Блины со сковороды на тарелку «шлеп, шлеп...» «Шлеп, шлеп — падали блинцы на тарелки». Язык старинных детских сказок. «Сладкая вода», «дурная фрукта», «винополия». — это тоже из «Эха войны».

Пора последовать призыву В. Кочетова и приступить к размышлениям, результатом которых явится, как обещано, лучшее понимание социалистического реализма.

В. Кочетов хорошо и точно анализирует образ главной героини повести — Варвары Табуншиковой. Да, она отъявленный классовый враг, хитрый, изворотливый, не брезгающий никакими средствами для обогащения, жестокосердый и преступный. В его пересказе повести, однако, встречаются неточности, по виду безобидные, но на самом деле очень существенные. Вот одна. Пересказывая конец повести, он пишет о Варваре: «Она лежит теперь, неподвижная, пригвожденная своими преступлениями, всей своей жизнью к постели. Но сколько еще может, столько и причиняет неприятностей зятю и дочери, которую в отличие от сыновей не так уж сильно любила. Ольга и Дмитрий выносят за нею горшки».

Зять здесь очернен. Он не может пойти на указанную услугу классовому врагу. Говорим это вполне серьезно, без тени иронии. Так по повести. В повести сказано, что это злоязычные приятели Дмитрия, и то только по пьянке, смеются над ним, «что он выносит поганые горшки за своей тещей, на которую и поганой веревки жалко». Неточность В. Кочетова искажает и характер персонажа, и всю ситуацию.

В самом деле, повесть строится так: после десятилетнего безоблачного счастья между мужем и женой, между Дмитрием Кравцовым, бывшим сержантом Советской Армии, а теперь ударником труда в совхозе, и Ольгой Табуншиковой, тоже работницей совхоза, начался разлад. Дмитрий не мо-

жет перенести, что его жена ухаживает за своей разбитой параличом матерью. «Я,— кричит,— тут с тобой и с твоей матерью своих погибших товарищей предаю!» «Ты со своей матерью все той же, одной породы». Он стал выпивать, даже однажды ударил жену, и ей пришлось жаловаться в милицию. Нельзя, конечно, указывается в повести, оправдать человека, который на груди любимой оставляет синяки, «и все же и это пьянство Дмитрия, и приступы его ярости, и слова, что он предаст своих погибших фронтовых товарищей, как можно было понять, имели свои причины».

Повествование обращается к прошлому для выяснения этих причин. Выяснение причин и составляет содержание повести. В конце ее снова дается картина разлада в семье Табуншиковой—Кравцова. Кравцов по-прежнему в ярости. Он не может видеть, как Ольга ухаживает за матерью, как кормит ее с ложки. Он хлопает дверью и уходит. Он не упускает случая прочитать жене и старухе, матери двух полицаяв, газетные сообщения о том, как ищут и находят по стране бывших полицаяв и судят их. Читает он это «со вкусом» и, «поднимая от газеты светлые беспощадные глаза, никогда не забывал присовокупить: «И так оно будет каждому, у кого руки в крови».

Какие уж тут горшки!

Итак, главное содержание повести — это прошлое Варвары. Едва повесть обращается к этому прошлому, прежде всего выясняется, как не прав был Дмитрий Кравцов, когда говорил жене: «Ты со своей матерью все той же, одной породы». Не той же. Она — полукровка. Социальная полукровка.

Варвара в Сибири, куда в конце двадцатых годов был выслан кулак Андриан Табуншиков с семьей, спозналась с г е п е у ш н и к о м. После смерти Андриана он и помог Варваре с двумя мальчиками выехать в родной хутор. Ольга родилась в поезде.

Оба сына Варвары — типичные кулацкие отпрыски. Старший Павел — накопитель, младший Жорка — паразит, пьяница и распутник. Павел — любимец Варвары. С четырнадцати—пятнадцати лет он стал помощником матери в торговле вином и проявил незаурядную сметку — по собственной инициативе разбавлял вино водой и настаивал его на махорке. Мать без колебания отдала ему ключи от подвалов с бочками. От-



куда у него эта хватка? Отцовское влияние? Но Варвара удивляется: «Как, скажи, вырос при отце». Значит, он не вырос при отце. Материнское воспитание? Но мать воспитывает и дочь. А что с дочерью? Девочка бурно протестует против торговли вином. Она пионерка. Влияние школы? Но в школе учился и Павел, да бросил ее с седьмого класса из-за тяготения к участию в «деле». У него по математике были пятерки, и свои способности он торопился применить для помощи матери в расчетах.

Однажды он спросил у Варвары:

«— А что это, маманя, по хутору брешут, будто наша Ольга вовсе и не Табушикова, а чья-то другая. Будто того самого начальника, какой заезжал к нам в тайге.

Взглянула мать в эту минуту в глаза Павлу — и испугалась — были они уже не синие и даже не голубые, а белые. Варвара замахала руками:

— Что ты, Павлуша! Люди чего только не набрешут, а ты им не верь».

Павел спорить не стал, но признался: «Не люблю я Ольгу. Как вроде и правда она чужая». Мать прикрикнула на него: «Наша она, наша!»

«Она и сама не знала, то есть знала, уверила себя, что раз она тогда была еще мужняя жена, то, значит, и Ольга должна считаться Андриановой дочкой. Хоть перед богом, хоть по закону».

Не понятно, как мог В. Кочетов, так высоко оценивающий повесть за то, что автор рассматривает жизнь с единственно верных позиций борьбы классов и показывает закономерность судеб персонажей, — как мог он обойти молчанием, что повесть побуждает рассматривать с классовых позиций и чистоту породы детей Варвары. Ведь это важно, это же определяет угол зрения, под которым надлежит рассматривать и дальнейшие события. В. Кочетов определенно смягчает остроту классовой позиции в произведении.

Кстати, слова о том, что единственно верной позицией, с какой следует смотреть на жизнь, является позиция борьбы классов — относятся ли они к рассмотрению нынешней советской жизни? Трудно сказать. Вероятно, все же нет, поскольку борьбы классов у нас нет. Разве что под призывом к рассмотрению нашей действительности с позиций борьбы классов разуметь указание на то обстоятельство, что борьбы классов у

нас нет? Только это было бы, пожалуй, словесной эквилибристикой. Или, может быть, эти слова следовало бы так понимать, что писатель, написавший роман о колхозе или на семейно-бытовую тему, должен проследить, как отражается поведение его героев на борьбе классов в международном масштабе? Нет, к данному произведению во всяком случае это не может относиться. К разладу между Ольгой Табушиковой и Дмитрием Кравцовым международный масштаб неприменим.

Но вот сам В. Кочетов разъясняет:

«Класс кулаков перестал существовать — это одна из крупнейших побед Советской власти, — но частицы кулацкой души там, то здесь еще могут портить нашу общественную атмосферу.

Повесть Анатолия Калинина учит видеть их, эти частицы, не забывать о них. Это не добренькая, не благодная повесть. Она суровая. Но в каждой строке ее — правда».

Заметьте: в каждой строке. А строки о тайне рождения Ольги обошел.

Мысль о кулацкой душе должна, по-видимому, соответствовать мысли о борьбе с пережитками прошлого в сознании людей. Эта борьба действительно имеет классовое содержание, хотя отождествление ее с классовой борьбой было бы неверным. Подходить к антиобщественным явлениям следует с классовой точки зрения. Признание этой истины не обрекает на то, чтобы в каждом случае антиобщественного поступка искать в человеке, его совершившем, частицу кулацкой души. Тем не менее термин этот — «частица кулацкой души» — может сослужить нам службу в понимании повести в том свете, какой определен ее завязкой.

Прежде чем перейти к главному событию повести — к преступлению Варвары, следует обратить внимание на то, как В. Кочетов разоблачает проповедников «общечеловечности». Он не имеет их перед собой во плоти, но представляет их себе: «Представляю, что бы на таком жизненном материале могли навывстраивать проповедники «общечеловечности» в литературе и искусстве: «Варвара — женщина. Варвара — мать. Даже зверь защищает своих детей. А уж человеку, Варваре Табушиковой, — ну, как не понять ее, как не простить?»

Рисую себе проповедников общечеловечности, В. Кочетов оторвался от страниц повести. Иначе он, вероятно, обратил бы вни-

манье, что именно сторонники общечеловечности никак не могли бы простить Варвару: ведь она совершила преступление как раз против «общечеловечности». Она преступила закон материнства. Дмитрий Кравцов это понял. Он говорит о Варваре: «Какая она мать?.. Волчица». И военный следователь, который по горячим следам разбирает дело Варвары, тоже, когда она в целях самозащиты сказала, что у него самого, должно быть, есть мать, «зловещим шепотом прошептал»: «Ну ты, старая ведьма, ты моей матери не тронь, ты даже этого имени «мать» не смеешь касаться». Невнимательность чтения рецензента обнаруживается еще и в том, что В. Кочетов не заметил одного существенного обстоятельства: все положительные герои повести придерживаются позиции «общечеловечности».

После этих предварительных замечаний можно приступить к рассмотрению центрального эпизода повести.

Февраль 1943 года. Варвара Табунщикова печет блины. Ее младший сын Жорка, полицай, вдребезги пьяный, уснул. Павла нет. Подле нее вертится ее семилетний внук Шурка, сын Павла.

Если бы не тот урок, какой мы извлекли из разбора тайны рождения Варвариной дочки, мы могли бы Шурку трактовать с позиций общечеловечности, как обычного «общечеловеческого» ребенка, но прожорливого лакомку и чревоугодника. Вы видите, как он хватает украдкой блины, сворачивает их в трубку и заглатывает каждый целиком. «Как утка рыбу. И не подавится». Варвара бьет его ложкой по руке, он трясет ушибленной рукой, а другой успевает ухватить новый блин «и глотает его прямо горячий». Он уже наелся, но тянется к блинам от жадности. Вы, конечно, знаете теперь, откуда это у него: перед вами хищник, кулацкий пашенок.

Внезапно появляются четыре советских разведчика. Они связывают Жорку. Они жалеют, что нет Павла, но они знают, что он где-то близко. Потом, считая, что у них есть время, садятся за блины. Младший из разведчиков посоветовал было поставить снаружи бойца, но командир это отклонил: немцы смазывают пятки, им «не до нас».

Как они относятся к Варваре? С позиции «общечеловечности». Они балагурят с ней и добродушно корят ее за сыновей. Они,

видимо, не местные и Варвару не знают. Они не составляют правильного представления о ней по сыновьям. Читатель, знакомый с тем, как передаются по наследству классовые черты, особенно остро воспринимает их ошибку.

Как они относятся к мальчику — сыну полица? Так же совершенно по-общечеловечески. Командир разведчиков даже угощает его пайковым шоколадом.

Они едят блины. Старуха о чем-то шепчется с внуком. Командира разведки это на какое-то мгновение встревожило, но старуха сказала, что она велит мальчику погулять на улице. Командир успокаивается, мальчик уходит.

Наелись. Один из разведчиков задремал. Другой — как выясняется, брат командира — стал бриться Павловой бритвой. Обсуждается вопрос, что делать с Жоркой. Очень тяжел, с собой его не донести. «Что ж, видно, иного выхода нет...» — заключает командир. Тот, что брился, быстро оборачивается и говорит: «Нет, этого нельзя делать».

Он сказал это, либо полагая, что без разбирательства казнить полицая нельзя, либо потому, что считал недопустимым сделать это при матери. Но «там... разберутся» он сказал неуверенно. У них ведь были точные сведения, что Жорка и Павел полицаи. Вернее, что он воспротивился немедленной казни из-за матери.

Это было самым досадным проявлением общечеловечности. И брат командира — его имя Алексей — поплатится за это жизнью.

Семилетний Шурка тем временем сообщил отцу-полицая, что у них в доме разведчики. Павел привел немецких солдат. Разведчики увидели их в окно, когда те уже окружали дом. Все выпрыгнули в другое окно, задержался лишь Алексей.

«Вскидывая автомат, он крутнулся на каблуках к Жорке, но у него на пути выросла Варвара, загородив дверь на другую половину дома. Надо было стрелять и в нее, и на какую-то долю секунды он затоптался на месте. Во дворе разорвалась граната. В окно заглянуло лицо командира разведки.

— Братушка, скорей! — крикнул он испуганным голосом и тут же исчез».

Алексей выпрыгнул во двор. Когда Варвара, встревоженная, не ранили ли ее ко-

рову, вошла в сарай, там она его обнаружила. Он взобрался по найденной им в сарае лестнице на сено. Старуха услышала его горячий шепот, он просил скинуть лестницу, его выдававшую. «У меня тоже есть мать»,— говорил разведчик. Варвара медлила. «И жена у меня с малым дитем,— шептал разведчик.— Не выдавайте меня!» Варвара убрала лестницу.

Потом она вышла из сарая и, стоя спиной к его двери, оглянувшись по сторонам, указала Павлу пальцем через плечо на дверь сарая. Разведчика застрелили.

Бегло перескажем дальнейшие события. Через три дня Павел в перестрелке убил и старшего брата Алексея. Павел тоже был вслед за этим убит. Это произошло на глазах Варвары.

Через пятнадцать лет на хуторе появилась женщина, разыскивавшая могилы двух своих убитых сыновей. Это была мать погибших разведчиков. Она зашла к Варваре. Она уже нашла могилу Алексея и хотела расспросить у Варвары, роли которой в убийстве сына не знала, как он был убит. Варвара заглянула в ее глаза и узнала их. «Нет!— крикнула она, отступая от этой маленькой женщины в очках.— Ничего я не знаю! Нет!!» Ее разбил паралич.

Дело Варвары в свое время разбиралось, но было прекращено за недостаточностью улик: соседка, видевшая предательский жест Варвары, давала уклончивые показания. Теперь, с появлением матери убитых, вражда хуторян к Варваре, заглохшая было, вспыхнула с новой силой. Вспыхнула она и у Дмитрия Кравцова. Картиной разлада в семье Ольги и Дмитрия повесть заканчивается. Теперь установлены причины этого разлада.

Каковы же эти причины, если рассматривать их под углом зрения, продиктованным раскрытием тайны рождения Ольги? Ведь не зря же раскрытие этой тайны предваряло рассказ о драме на хуторе Вербном, происшедшей в 1943 году, не зря было привлечено внимание читателя к этой тайне словами Дмитрия, брошенными Ольге: «Ты со своей матерью все той же, одной породы».

Теперь читатель видит, что в Ольге борются две частицы души. Частица кулацкой души заставляет ее ухаживать за матерью, кормить ее с ложки, быть с ней терпеливой. Другая частица души, унаследованная

от подлинного отца, говорит в ней, когда она мысленно прокликает мать: «Чтоб ты скорее сдохла, старая ведьма!» Проклинает и содрогается, содрогается и прокликает.

Но чистая кровь течет в жилах Дмитрия Кравцова. Он не идет на компромиссы с классовым врагом. Он казнит старуху чтением устрашающих ее газетных сообщений. Он — классовый мститель.

Таково понимание событий, описанных в повести, если придерживаться логики, продиктованной тайной рождения и раскрытием истоков поведения детей Варвары.

Попробуем теперь вырваться из-под власти этой логики, забыть на время также и предостережения В. Кочетова насчет позиций «общечеловечности». Попробуем взглянуть на события свежими очами.

В этом случае вы, перечитывая заново эпизод в избе Табунщиковой, увидите прежде всего, что советские разведчики ведут себя архинелепо. Нелепо с любой классовой позиции, с точки зрения элементарных правил поведения разведки любой армии. Это, конечно, взгляд на вещи внеклассовый, но не пугайтесь: он правильный. Разведчики действуют в оккупированной немцами местности. Решив задержаться в избе полицаяв, они не выставили снаружи наблюдателя, и вовсе не потому, что забыли. Они решили, что немцы «смазали пятки», хотя, как разведчики, обязаны были выяснить и знать, «смазали» ли они эти «пятки». Немцы, как оказалось, были поблизости, так что ребенок легко добежал до них. А этот ребенок? Взгляните на него и разведчиков с самой отъявленной позиции общечеловечности. Разведчики не сообразили, что мальчишку не следует выпускать по той простой причине, что этот совершенно общечеловеческий мальчишка, напуганный тем, что вооруженные люди связали его дядю, обязательно побежит искать отца, искать у него защиты, причем без всякого бабкиного наставления, да и с каждым встречным поделится захватывающей новостью. Они не могли, не должны были отнестись столь бесечно и благодушно и к Варваре, сына которой связали и ждут другого, чтобы их казнить. Не могли, независимо от того, знали ли они, что она кулачка, или нет. Их непонимание общечеловеческих чувств совершенно необъяснимо.

В. Кочетов хвалит неопровержимую художественную и жизненную логику повести. Видит ли он логику и в поведении разведчиков?

Алексей воспротивился немедленной казни на глазах у матери. Он совершил благородный поступок. С какой точки зрения? С классовой. С нашей классовой: она исключает ненужную жестокость. И с общечеловеческой.

Да, наша классовая мораль и общечеловечна. И в том смысле, что она дорожит всеми моральными ценностями, накопленными человечеством, и в том смысле, что выражает интересы большинства человечества, и в том, что это мораль класса, борющегося за освобождение человечества от классовой борьбы.

А вот классовая мораль Варвары — и классовая и бесчеловечная. Она поступила коварно и подло, выдав разведчика, которому, в сущности, обязана жизнью сына. Но если и не учитывать этого обстоятельства, все равно ее поступок бесчеловечен, так как служит классу, враждебному человечности. Она поступила в полном согласии со своей классовой моралью, как всегда только и могла поступать. Мораль ее класса чудовищна, так как самое естественное, самое человеческое чувство — материнское — обращает на служение бесчеловечности.

Разведчики не выполнили боевого поручения. Двое из них погибли. Но не «общечеловеческий» поступок Алексея был причиной катастрофы, а невероятное ротозейство разведчиков. Кстати, Алексей был единственным из группы разведчиков, кто помнил о полицаях в момент появления немцев и пытался его уничтожить. Теперь уже при матери. Но он поколебался на мгновение выстрелить в нее. Он не знал о Варваре все, что знаем мы.

А Ольга и Дмитрий, как выглядят они, если взглянуть на них свежими очами? Ну, конечно же, Ольга ведет себя единственно правильно и нормально. Никак иначе она и не могла вести себя с беспомощной, больной матерью. И, всеконечно, Дмитрий ведет себя гнусно. Не потому только, что ударил жену, что не оправдывает и повесть, а все его поведение, все его отношение к парализованной, полубезумной, галлюцинирующей старухе, которую он пытается чтением газеты, бесчеловечно.

Необходимо остановиться на двух вопросах, которые могут быть заданы.

Не чрезмерно ли преувеличивается, могут у нас спросить, роль сюжетного мотива «тайны рождения», не раздувается ли значение этой все же частной детали, действительно ли она столь пагубно отражается на целом?

Да, мы считаем, что сюжетный мотив, на котором мы в своем разборе останавливались, сыграл самую печальную роль в повести, и это мы старались показать. Никакого преувеличения здесь нет. Художественное произведение едино и цельно, и каждая деталь, расположение ее в ходе повествования, способ связи ее с целым, каждый сюжетный мотив, структура композиции — все это служит целому, все содержательно и участвует в формировании образной идеи произведения. Мысль о наследовании классовости, о социальных генах, на которую наводит указанный сюжетный мотив, вполне заслуживает иронии.

Думаем ли мы — и это второй вопрос, — что автор повести на самом деле придерживается взгляда, будто классовая принадлежность определяется наследственностью? Понимаем ли мы, в чем в таком случае мы обвиняем советского писателя? Ведь это архибуржуазная «теория», утверждающая предопределенность и вечность разделения человечества на господ и рабов.

И вот ответ на второй вопрос.

Нет, мы не думаем, что автор является сторонником теории наследования классовой принадлежности. Мы совершенно уверены в противоположном...

Но тут раздается суровый голос предполагаемого оппонента: однако если такая мысль могла возникнуть, извольте предъявить дополнительные доказательства, извольте еще показать, на чем вы ее основываете.

В книге есть еще одна повесть Анатолия Калинина. Обратимся к ней, может быть, мы найдем в ней нужные нам доказательства, снимающие всякое подозрение в том, что только что высказанная мысль голословна. И, может быть, по этой повести мы сможем проверить, насколько губителен для идеи произведения ложный сюжетный мотив.

Действительно, уже в первой половине повести «Цыган» мы находим неопровержимое доказательство того, что автор ника-

кого мистического и фатального значения наследственности не придает. В повести рассказывается, как цыганский табор — не один человек, а целый табор — решительно порывает с вековыми традициями, с передававшимися из поколения в поколение навыками, такими, о каких существует представление, что они у цыган врождены, со всем старозаветным укладом жизни. «В каждом цыгане,— говорится в повести,— люди по издавна укоренившемуся убеждению всегда прежде всего склонны были видеть бродягу и лодыря. Конечно, в меру сил способствовали подобной репутации и сами цыгане». Теперь этой репутации приходит конец. Приходит конец исконному бродяжничеству цыган и мнению о том, что страсть к бродяжничеству у них в крови.

Главный герой повести цыган Будулай, демобилизованный лейтенант Советской Армии, начинает борьбу с дикими таборными порядками, с попрошайничеством, с воровством, невежеством и добивается перелома. Делегация от цыган идет в правление близлежащего колхоза с просьбой принять их в колхоз. Они были приняты. Правда, больше автор к жизни этих цыган не возвращается, но тема не исчезает. Она находит дальнейшее воплощение в развитии образа Будулая, прекрасного, душевного и благородного человека.

Этим, на наш взгляд, исчерпывается вопрос о том, можно ли обвинить автора в ложных взглядах на наследственность.

Теперь остается показать, как ошибочный сюжетный мотив приводит к искажению идеи произведения, как задуманная идея превращается при этом в свою противоположность. Как при этом происходит нечто такое, что при желании можно было бы назвать таинством пресущствления идеи.

Присмотримся, как строится сюжет повести.

Будулай покинул своих соплеменников и поселился в другом колхозе. Он сделал это потому, что вблизи этого второго колхоза находится могила его жены, раздавленной здесь фашистским танком.

В этом же колхозе работает вдова погибшего на фронте воина Клавдия Пухлякова, мать двух близнецов — черноволосого и черноглазого Вани и светлоглазой Нюры. У этой милой женщины, смелой и неугомонной воительницы против не порядков в колхозе, есть странность. Она смертель-

но боится цыган. Издавна, как только вблизи колхоза появлялся цыганский табор, она запирала детей дома и запрещала им отлучаться. Теперь им уже по семнадцати лет, а запрет все еще остается в силе. Другой странностью Клавдии было то, что она, до войны враждовавшая с отвратительной, всем ненавистной старухой Луцилихой, теперь ладит с ней и отдает ей каждый месяц поросят, получаемых за хорошую работу. Обе эти странности рожают предчувствие какой-то тайны.

Будулай стал работать кузнецом в колхозе. Цыгане вообще искусные кузнецы, а Будулай был кузнецом исключительным. Кузнецами были его отец, дед и прадед.

С Клавдией у него были две мимолетные встречи. Во время второй, когда Клавдия, задумавшись и опустив голову, вскрикнула от неожиданности «ой!», увидев перед собой Будулая, Будулай с горькой укоризной спросил у нее, почему она так его боится. «Я вас не боюсь»,— ответила Клавдия. Будулай почувствовал облегчение.

А сына ее Ваню непреодолимо тянуло в кузницу.

Мать запретила ему ходить туда, и он дал ей слово, что не будет. Он очень любил мать и подчинялся ей во всем, но на этот раз он обманул мать и тайно продолжал ходить к кузнице. Он помогал ему в работе.

Будулай издавна искал людей, каким мог бы передать свое искусство кузнеца, свой секрет сверхпрочного закаливания металла, перенятый от отца, деда и прадеда, он не раз пытался обучить других кузнецов этому искусству. Были среди них и инженеры, он не жалел усилий для обучения, но, сколько ни возился он с ними, ничего не получалось. Получались сносные кузнецы, не более, а секрет ремесла им не давался. Тут нужен был талант. «А талант, должно быть, содержится у человека в самой крови, и, вероятно, только с кровью можно перелить его в жилы другого человека». Когда-то он мечтал передать свое искусство сыну, но жестокая судьба решила иначе. А ведь, уходя на фронт, он знал, что жена его беременна.

И вот наконец он нашел юношу, который проявил замечательные способности в овладении кузнечным мастерством, «начисто опровергая мнение, будто талант кузнеца может переливаться из жил одного человека в жилы другого только с родной кровью».

Будулай задумал обнести дорогую ему могилу железной оградой. Он припас железо для этого, сделал чертеж, но неотложная работа для колхоза все не давала приступить к выполнению замысла. Ваня попросил поручить эту работу ему. Кузнец сомневался, по плечу ли она юноше, но согласился. И дело закипело. Будулай залюбовался Ваней. То, что не всякому мастеру удалось бы, легко давалось семнадцатилетним рукам.

По чертежу Будулая на четырех сторонах ограды намечено было вделывать откованных из железа коней. «И оставалось только поглядеть, как Ване удалось справиться с этим. Из-под его молотка конские силуэты выходили такими, будто он только с лошадьми и имел в жизни дело. Ему даже удавалось развезать им гривы так, как делает это ветер, когда лошадь скачет в степи. И Будулай почти отказывался верить словам Вани, что ему за все семнадцать лет так и не пришлось поездить верхом на лошади». А хотелось очень.

В жилах юноши течет цыганская кровь? Он цыган — этот Ваня? Предчувствие томит читателя. Забегая вперед, выдадим тайну, которая по всем канонам так искусно обыгрывается. Да, Ваня цыган. Мало того, он и кузнец по крови. Он сын Будулая.

Итак, великий голос крови. Подтверждается теперь, что настоящий кузнец может родиться лишь от кузнеца. Профессиональное наследуется. И влечение к лошадям — это тоже голос крови. Наследственностью определяется любовь к тому или иному виду животных.

Здесь мы слышим гневный голос.

К чему эта безобразная ирония? Какой черствостью, какой нечуткостью к поэзии, глухотой нужно обладать, чтобы так буквализмски подходить к поэтическому произведению. Разве оно — научная диссертация? Голос крови — это же здесь поэтическая условность. Вы не заметили, что вся повесть выдержана в романтическом стиле? Вспомните же. Перечитайте хотя бы то место, где речь идет о неудачах мастера передать свое умение другим: «...ни у одного из них металл не звучал под руками, как бубен и как живая песня. Не вздыхал, не смеялся, не рыдал, не нашептывал Будулаю вещи, подобные тем, что, бывало, нашептывала ему под сенью шагра его Галя. И ни

чего такого так и не успели сделать из куска металла эти добпорядочные кузнецы, о чем можно было бы сказать только одним словом: сказка!» Усилия разоблачить с научной точки зрения условную и поэтическую «власть крови» не носят ли тот же характер, какой имели бы попытки убедать, что металл не может смеяться, рыдать и нашептывать любовные признания?

Да, романтический стиль. Да, пусть условность. Право писателя на условность неоспоримо. Но не на такую условность в такой теме.

Повесть начинается с эпизода, в котором председатель колхоза говорит Будулаю: «А все-таки не можешь обуздать свою кровь». У председателя для этого нет никаких оснований, и он тут же разоблачается. Но мотив возник.

Вскоре обнаруживается, что мимоходом оброненные слова о цыганской крови — это, в сущности, тема произведения. Следует история о том, как цыганский табор отказался от исконных привычек, казалось бы воспринятых с молоком матери. Есть здесь условность? Некоторая есть. Она — в быстроте и легкости, с какой вожаку удалось сломить вековые традиции. Но условность эта известным образом служит теме, свидетельствуя о незрелости перехода к новой жизни. Потом повествование не обращается более к жизни цыган в колхозе, и тему ведет образ единственного цыгана — Будулая. Одновременно с этим все сильнее звенит и сверкает в повести романтическая струя, она пенится и играет условным развитием мотива о голосе крови. Вначале как будто опровергнутого.

Условность дана в чистом виде, освобожденном от домогательств реальности, в которой хоть чей-нибудь глаз мог бы увидеть, что юноша похож на цыгана, что есть какое-то сходство между отцом и сыном.

Так побеждает ли власть голоса крови, утверждаемая «условностью»? Не сразу. Вот Будулай говорит юноше, только что признававшемуся в любви к лошадям, о том, как свойственна эта любовь цыганам, а затем переходит к другим чертам цыганской природы. Вторично в повести прямо опровергаются представления, что эти черты — в крови цыган, рассказывается, как они изживаются.

А потом Будулай говорит о себе: «И если, Ваня, тебе кто скажет, что я когда-нибудь

брошу колхоз и опять пойду по земле цыганское счастье искать, ты этому человеку не верь. Может быть, кто из других цыган и поглядывает еще в поле, шевелит ноздрями на ветер, но только не я. Я этого ветра уже нанюхался. Я к этому берегу до конца своей жизни пристал».

Повествование после долгой дразнящей игры гайной подходит наконец к ее раскрытию. Будулай подслушивает разговор Клавдии со зловещей старухой Лушилихой. Тайна отчасти приоткрывается перед ним из этого разговора, всю ее он узнает той же ночью от Лушилихи. Когда в эти места пришли фашисты, Клавдия вместе с Лушилихой, спасаясь от бомбежки, убежали в кукурузное поле. Там недалеко от себя они увидели одинокую цыганскую кибитку, подле нее лежащую женщину, старика, завертывающего в тряпки новорожденного младенца. Вслед за этим они увидели, как немецкий танк наехал на кибитку. Беременная Клавдия от ужаса преждевременно родила девочку. А к вечеру они пошли обратно в хутор. Проходя мимо места, где была кибитка, они нашли младенца. Танк его миновал.

Услышав этот рассказ, Будулай потерял на минуту сознание. Потом он передал Лушилихе десять тысяч рублей, тысячу велел взять себе, а остальные отдать Клавдии. Наутро он исчез.

Мы уже знакомы с высокой оценкой жизненной и художественной логики другой повести Анатолия Калинина. Вглядимся же в логику этой.

Клавдия Пухлякова, привлекательная, честная, смелая, беспощадная в борьбе с неправдой, давно уже знает, конечно, о том, что Будулай отец Вани, знает с тех пор, как стало известно, что могила в степи неподалеку от хутора — могила жены Будулая. Клавдия много лет из года в год убирала эту могилу, украшала ее цветами. Но она скрывает от Будулая, что он отец Вани. Что побуждает ее, честную женщину, совершать бесчестный поступок? Боязнь травмировать душу юноши? Но она знает, как привязался Ваня к Будулаю. Боязнь потерять любовь сына, когда тот узнает, что он другой крови? Но уже самое допущение такого толкования исходило бы из того, что любовь детей к родителям рождается лишь общностью крови.

В последнем разговоре с Лушилихой она закричала: «Иди и говори ему! Я уже ничего не боюсь! Пусть и он с тобой приходит меня терзать!» Читателю к этому времени известно, что Клавдия уже давно, по рассказам Вани, прониклась уважением и симпатией к Будулаю, и эта симпатия готова вот-вот перейти в любовь. Как может она думать, что человек, к которому ее влечет, об уме, доброте, такте которого она знает, будет терзать ее?

Будулай в свою очередь давно восхищается Клавдией. Его раньше беспокоила мысль, что она боится цыган. Но она сама сказала ему, что она его не боится. Он знает, что она ухаживает за могилой цыганки. Он знает, что Клавдия уже давно не противится дружбе его с Ваней. Почему же этот человек бежал от нее и сына? Да, он слышал, как она крикнула, что он придет терзать ее. Почему же он не пришел сказать ей, что не будет терзать ее и поступит, как она хочет? Почему же он бежал? Из благородства, из благодарности, из любви к ней? Верно, ему в высокой степени свойственно чувство благодарности, об этом по другому поводу было сказано в повести. Но вот он подкупает ненавистную Клавдии старуху и поручает передать ей деньги. При этом не приходит в голову ему, дорожащему репутацией своего народа, что этот поступок может внушить ей мысль, что у цыган все сводится к деньгам, что поступок этот может оскорбить ее.

Как не подумал он, доказывавший, что черты цыганского характера не по крови ими унаследованы, а вызваны условиями жизни, что с бродяжничеством цыгане могут расстаться, как он не сообразил, что его бегство докажет юноше нечто прямо противоположное?

Только ли юноше?

Читатель перебирает одно за другим объяснения поступков героя, поступков героини, и одно за другим эти объяснения рушатся. Но одно остается. В логике повести образовалась брешь и в нее хлынула... условность со всем своим содержанием. Сопротивление тщетно. Железная власть развития сюжета неумолимо диктует: это г о л о с к р о в и. Гены торжествуют.

Где же, в чем ошибка писателя? В ложных взглядах на наследственность? О нет, ошибка называется иначе. Ее название —

литературный формализм. Формализм учит, что существуют извечные сюжетные мотивы, сюжетные ситуации, приемы их развития, правила построения, что они нейтральны в отношении идеологии, что для любой идеологии они годятся. И писатель избрал соблазлившую его сюжетную ситуацию, столь верно служившую староромантической литературе — тайны рождения, разработал ее по испытанным издавна правилам. Что же получилось? Возник диковинный

гибрид — что-то вроде романтического биореализма.

Итак, один писатель, прочитав одну повесть...

Нет надобности продолжать. Но и проходить мимо неуместных восторгов писателя по поводу ошибок не следует. Похвалы ошибкам наносят ущерб таланту, закрепляют их.

Потворство взращивает сорняки,  
Пропалывает душу укоризна.





---

---

### 3. ПАПЕРНЫЙ

★

## СМЕХ ЧЕХОВА

**К**огда читаешь рассказы, сценки, пародии, шутки, комические рекламы и объявления Антоши Чехонте — как будто попадаешь в царство смеха. А его письма! Что может быть веселее, заразительнее, свободней? Вот отрывок из письма сестре, где рассказывается о свадьбе в Черкасске:

«Видел богатых невест. Выбор громадный, но я все время был так пьян, что бутылки принимал за девиц, а девиц за бутылки. Вероятно, благодаря моему пьяному состоянию, здешние девицы нашли, что я остроумен и «насмешники». Девицы здесь — сплошная овца: если одна поднимется и выйдет из зала, то за ней потянутся и другие. Одна из них, самая смелая и вдумная, желая показать, что и она не чужда тонкого обращения и политики, то и дело била меня веером по руке и говорила: «У, негодный!», причем не переставала сохранять испуганное выражение лица. Я научил ее говорить кавалерам: «Как ви наивны!..»

Молодые, вероятно в силу местного обычая, целовались каждую минуту, целовались взапас, так что их губы всякий раз издавали треск от сжатого воздуха, а у меня получался во рту вкус приторного изюма и делался спазм в левой икре».

Десятки работ написаны о переломе в творчестве Чехова, о переходе его от юмора к «серьезу» (в середине восьмидесятых годов). При этом часто самый переход этот излагается по формуле «от — к»: отказ от комического, переход к серьезному, к трагическому; он выглядит, как расставание со смехом.

В действительности же расставания не было: Чехов рос, и вместе с ним рос,

углублялся юмор, сливался с горестными раздумьями о современной жизни.

Это может показаться трудносоединимым: смех и — горестные раздумья. Но не в этом ли одна из самых характерных особенностей русской литературы? Напомним о реакции Пушкина на гоголевское чтение «Мертвых душ» — сначала такой веселой, а потом такой грустной.

В письме к брату Александру молодой Чехов так отзывается об одном из своих коллег по юмористическим изданиям: «Не хочет понять человек, что игриво и легко можно писать не только о барышнях, блинах и фортепьянах, но даже о слезах и нуждах...»

Впрочем, эту цитату следует немного продолжить: «Не понимает, что оригинальность автора сидит не только в стиле, но и в способе мышления, в убеждениях и проч., во всем том именно, в чем он шаблонен, как баба».

Это высказывание позволяет увидеть в юморе не «внешнюю» черту стиля, но то, что связано с писательским «способом мышления», что помогает художнику передать нечто, далеко выходящее за границы смеха. В этом смысле можно сказать, что смех важнее и больше самого себя. Он, пользуясь чеховскими словами, «игриво и легко» наталкивает нас на неожиданно серьезные открытия.

Замечательное определение серьезности смеха дал Достоевский. В «Дневнике писателя» за 1877 год (то есть за три года до того, как Чехов выступит в печати) он предлагает сюжет для жанровой картины: усталый старик врач принимает ребенка у нищей женщины. Нет не только пеленок, но и тряпки нет, и ста-

рик, сняв старенький вицмундирчик, рвет на пеленки свою рубашку.

«Тут можно бы много даже юмору выразить и ужасно кстати; юмор ведь есть остроумие глубокого чувства, и мне очень нравится это определение. С тонким чувством и умом можно много взять художнику в одной уже перетасовке ролей всех этих нищих предметов и домашней утвари в бедной хате, и этой забавной перетасовкой сразу оцарапать вам сердце».

Остроумие глубокого чувства — это определение, понравившееся самому автору, точнее многих других раскрывает глубину подлинного юмора, который не просто смешит вас, но ведет дальше — дальше самого себя. И как многозначителен этот характерно «достоевский» курсив в слове «забавная» — многостороннее, противоречивое слово как будто переливается разными значениями, одновременно веселит и «царапает» сердце.

Думается, что мысли молодого Чехова («игриво и легко можно писать...») и Достоевского где-то пересекаются. Точка их пересечения может служить исходным моментом для понимания юмора вообще, а чеховского в особенности.

В чем же конкретно эта связь юмора с движущейся, беспокойной, ищущей мыслью художника? Мы располагаем редкой возможностью: записные книжки Чехова позволяют проследить самый путь развития и воплощения авторского замысла.

К слову сказать, эти записные книжки все еще ждут своего исследователя. Большую работу по их расшифровке и публикации выполнила Е. Н. Коншина. Но это, естественно, не итог, а скорее начало того, что предстоит сделать.

Исследователи время от времени обращаются к записным книжкам, но не всегда успешно.

Не так давно В. Боборыкин в статье «Прообразы и образы» отметил «любопытное наблюдение» Чехова в одной из записных книжек: «Учитель 32 лет, с седой бородой».

Далее предлагалось такое истолкование этой записи:

«Седая борода молодого человека не могла пригодиться в пьесе, но она вызвала вопрос: какова же душа этого седо-

бородого? Отвечая на него, художник и создал образ учителя Медведенко, молодого человека с преждевременно поседевшей душой» («Советская литература и вопросы мастерства». Сборник статей, подготовленный кафедрой творчества Литературного института имени Горького. «Советский писатель». М. 1961).

Вряд ли догадка исследователя о движении чеховской мысли от седой бороды к седой душе (для контраста можно было бы еще вспомнить и Маяковского, у которого, наоборот, «в душе ни одного седого волоса»). — вряд ли эта догадка обогатит наши представления о творческой лаборатории Чехова. Да и не так-то легко в нее войти, в эту лабораторию. Но пытаться все-таки нужно, без нее невозможно полное понимание Чехова и, что нас интересует сейчас, — чеховского юмора.

Читая записные книжки, сличая черновые записи сюжетов с их последующей разработкой, мы обнаруживаем особенность: многие произведения зрелого Чехова, серьезные, грустные, трагические, начинаются с почти анекдотических фраз, деталей, историй.

Первая запись к рассказу «Печенег» (1897): «А это, рекомендую, мать моих сукиных сынов» — так герой рассказа представляет гостью свою супругу. Смешная, выразительная фраза — но, казалось бы, какое здесь может быть заключено зерно дальнейшего развития замысла?

А вот как выглядит эта же фраза в окончательном тексте: отставной казачий офицер Жмухин, старый, сухой, сутулый человек, представляет жену — маленькую, худенькую, с бледным лицом, еще молодую и красивую. По платью ее можно принять за прислугу. Жмухин — грубый, вздорный, упоенно болтливый старик и превратил ее в прислугу.

Вы прочитали рассказ, вспоминаете, как она боится при муже слово сказать, как тихо горюет, что ее взрослые сыновья ничему не учатся, неграмотные, «и сами же Иван Абрамыч брезгают, не пускают их в комнаты. А разве они виноваты?» — и та же фраза, такая смешная в первоначальной записи, сливается теперь с образом несчастной, забитой, бессловесно горящей женщины. Эта «анек-

дотическая» фраза, если можно так сказать, глубоко укоренилась в самой почве чеховского рассказа, вросла в его глущину.

Вторая запись к рассказу «Печенег»: «Х приехал к приятелю Z ночевать, Z вегетарианец. Ужинают. Z объясняет, почему он не ест мяса. Х все понимает, но недоумевает: «Но для чего же в таком случае свиньи?» Х понимает всякое животное на свободе, но не понимает свободных свиней. Ночью он не спит, мучается и спрашивает: «Для чего же в таком случае свиньи?»

Он все может понять, этот недалекий Х, в котором уже угадываются «жмухинские» черты, готов согласиться и с вегетарианством: хорошо, пусть не едят мяса, но одно остается выше его разума — для чего же тогда свиньи? Зачем свинья, если отказываться от свинины?

И снова оказывается, это мотив, сначала предстающий перед мысленным взором художника в веселом, «забавном» облике, затем в самом рассказе разрастается, дает неожиданные «побеги». Вспомним, как после ужина Жмухин, оставшись наедине, все думает и думает: «Вот хорошо бы и ему, старику, совсем отказаться от мяса, от разных излишеств. Время, когда люди не будут убивать друг друга и животных, рано или поздно настанет, иначе и быть не может, и он воображал себе это время и ясно представлял самого себя, живущего в мире со всеми животными, и вдруг опять вспомнил про свиней, и у него в голове все перепуталось».

Это уже не смешно или во всяком случае не совсем смешно: тупой, ограниченный человек, «печенег» вдруг задумался о какой-то другой жизни, доброй, лишенной зверской жестокости. Что-то светлое как будто забрезжило в его серой душе, что-то лирическое, мечта о времени, когда люди перестанут друг друга убивать, но снова, как неразрешимая загадка, возникают свиньи — зачем же тогда они? — и все, перепутавшись, обрывается.

Первоначальная юмористическая запись — как мгновенная вспышка, которая еще резче подчеркивает темноту ночи. Первый шаг на большом и сложном пути художественного мышления. То, что вам,

читателю записной книжки Чехова, порой кажется только смешным, для него уже таит в себе скрытую перспективу дальнейшего движения.

Повесть «Мужики» — одно из самых суровых, сдержанно скорбных созданий чеховского пера — начинается с такой заготовки: «Лакей Василий, приехав из Петербурга домой в Верейский уезд, рассказывает жене и детям разные разности, а они не верят, думают, что он хвастает, и хохочут. Он наедается баранины».

Толчком к повести «В овраге» послужил и вовсе анекдотический случай. Бунин вспоминает о Чехове: «Необыкновенно радовался он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то, на именинах моего отца, фунта два икры. Этой историей он начал свою повесть «В овраге».

Вот эта первая черновая запись: «На похоронах фабриканта дьячок съел всю зернистую икру. Его толкал поп, но он окоченел от наслаждения, ничего не замечал и только ел...» И потом о селе только и говорят: то самое, где живет дьячок, который съел всю икру.

В анекдоте — суть в исключительном. Чехова же интересует контраст: исключительное и обыденное, еще более подчеркнутое смешным случаем. В первых строках повести «В овраге» случай с дьячком предстает как бы в своем обратном значении: до чего же уныла и обыденна жизнь, где самое интересное и необычайное — история, приключившаяся с прожорливым дьячком: «Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего десять лет назад, а только про село Уклево ничего другого не рассказывали».

У некоторых новеллистов сюжет исчерпывается анекдотом. Юмор Чехова часто — анекдот наизнанку, с обратной стороны. Там, где для недалекого профессионального юмориста — конец. Для Чехова — только начало. Смешное — заветная цель — оказывается средством для иных, более важных целей.

Не нужно думать, что уже в самый момент черновой записи писатель до конца осознает все таящееся в ней содержание. Художник мыслит образами — идет сложным путем, его мысль зреет, разви-

вается; «древо» воображения приносит плоды, о которых, может быть, автор сперва и не предполагал.

Когда Чехов закончил рассказ «Душечка», ему казалось, что это юмористическая вещь.

«Я недавно написал юмористический рассказ в 1/2 листа, — сообщает он Суворину, — и теперь мне пишут, что Л. Н. Толстой читает этот рассказ вслух, читает необыкновенно хорошо».

Можно ли назвать только «юмористическим» этот короткий рассказ, который стоит романа, так глубоко и многосторонне раскрыта в нем судьба человека с душой «душечки» — доброй, отзывчивой и трагически безликой?

Первая запись рассказа — в обычной для черновых набросков Чехова манере:

«Была женой артиста — любила театр, писателей, казалось, вся ушла в дело мужа, и все удивлялись, что он так удачно женился; но вот он умер; она вышла за кондитера, и оказалось, что ничего она так не любит, как варить варенье, и уж театр презирала, так как была религиозна в подражание своему второму мужу».

Здесь намечена одна главная, но далеко не единственная черта «душечки» — она становится придатком близкого существа, его пассивным отголоском. Для нее жить — значит кому-то поддакивать, усваивать чужое мнение, делать своим, дорогим и бесспорным.

В этой записи ирония обращена только на героиню и совсем не касается ее спутников жизни — они лишь оттеняют ее духовную и душевную несамостоятельность.

В рассказе все неизмеримо сложнее. Ирония Чехова — сдержанная, скрытая, нигде прямо себя не обнаруживающая — устремлена не только к «душечке», но и ко всей ее жизни, ко всему заведенному порядку. И она особенно заострена против тех, кому «придана» «душечка».

Вот Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи». Его судьба и благосостояние зависят от погоды: дождь — значит не будет сбора, убытки.

И даже когда они повенчались: «Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния».

Так начинается «душечкина» семейная жизнь. Впрочем. Чехов в обычной для него манере, как будто нейтральной, скорее даже благожелательной к самым смешным персонажам, пишет: «После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы...» Это как будто говорится вполне серьезно.

Но о семейной жизни со вторым мужем будет сказано почти в тех же выражениях: супруги «поженившись, жили хорошо». Обычно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера...»

И вторая фраза звучит вполне солидно, убежденно, но само однообразие, монотонность, с которой сообщается о семейной жизни Оленьки с разными людьми, вдруг заставляет вас усомниться в серьезности этого «жили хорошо». Та же механическая заведенность в том, что привычное выражение «душечки» «Мы с Ваничкой» (актеры Кукинского заведения так ее и звали) сменяется затем другим, почти таким же «Мы с Васичкой». В одинаковых выражениях оплакивает «душечка» сначала умершего Ваничку («На кого ты покинул свою бедную Оленьку?»), потом Васичку («На кого же ты меня покинул, голубчик мой?»).

В «Душечке» мастерство Чехова достигло высшего расцвета. Он даже как будто отказывается от пресловутой «средств художественной выразительности» и одним лишь сопоставлением эпизодов, деталей, слов возбуждает читательскую мысль и воображение, подталкивая мягко, настойчиво и незаметно.

По отдельным фразам «душечки» о том, что в городе нет правильного ветеринарного надзора, люди догадываются, что место в опустевшем сердце вдовы снова занято, теперь уже ветеринаром. А потом он уезжает куда-то далеко. Начинается жизнь без жизни — без чужих мнений, в которых для «душечки» единственная опора. Она видит кругом себя разные предметы, но не знает, что о них думать и что говорить.

Беликов всего боялся. Жизнь «душечки» — это особый род «футляра». Она не боится, а просто не может ни к чему никак относиться, пока ей не подкажут. Говорить для нее — значит по-

вторять, судить — разделять чужое суждение. Душечка перестала быть самой собой, как только у нее отняли чужое. Самой себя ей не надо.

С этим связано и действительно трогательное ее бескорыстие. Чем-то она напоминает Манюсю из «Учителя словесности». Но Манюся, найдя в шкафу завалящий, твердый как камень, кусочек колбасы или сыру, с важностью произносила: «Это съедят на кухне».

А «душечка»?

Когда после долгой отлучки возвращается уже седой ветеринар — он, оказывается, помирился с женой, у него сын взрослый, — с какой радостью она бросается к нему, с какой нетерпеливой жадностью спешит отдать ему все, чего он захочет — лишь бы избавиться от одиночества: «Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира? Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму, — заволновалась Оленька и опять заплакала. — Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, господи!»

Смех Чехова — это и смех и не смех, и сдержанно печальные раздумья, и вот эти слабые и бескорыстные слезы «душечки», женщины с нелепой судьбой, которая всю жизнь грелась чужим теплом. Но насколько же она добрей, честней, отзывчивей своих суетных, маленьких, деловитых мужей.

Огромное содержание заключено в самом ее прозвище, давшем название рассказу. «Душечка» — что-то приятное, симпатичное и вместе с тем что-то маленькое в этой ласковой уменьшительности, что-то шаблонное, лишенное резких индивидуальных примет.

В дневниковых записках А. Афиногенова находим такие строки о чеховских женщинах: «Сколько проникновенно понятых лиц и сколько любви ко всем ним, несмотря на горькую усмешку и издевательство порой».

В чеховской иронии, в юморе соединились сатира и лирика. Образ «душечки» — сатирический, его, как известно, Ленин использовал для борьбы с соглашателями; вместе с тем он не исчерпывается одной только этой очень существенной сатирической стороной. «Горькая усмешка и издевательство порой» спаяны с глубоким сочувствием писателя к простой и доверчивой душе, которую

жизнь обрекла быть только «душечкой», не дав развернуться всем ее запасам любви, щедрости, доброты.

Когда мы сравниваем черновую запись и рассказ, нам открывается огромный путь чеховской поэтической мысли — путь от смешного к серьезному; причем смешное тут не отбрасывается: все более усложняясь, оно ведет нас к серьезному, не утрачивая своей внутренней ироничности.

В различных пособиях по теории словесности ирония определяется как тонкая, затаенная насмешка, как средство «снижения». Приводится пример: «откуда, умная, бредешь ты голова». «Умная» — в ироническом смысле, то есть как раз в значении «глупая».

Все так, но только в художественном произведении все сложнее. Ирония не только снижает, не только превращает «умное» в «глупое». Она бывает двусторонней, многосторонней, снижающей и возвышающей — не «или», но именно «и».

Ирония автора «Душечки» — это спокойное, но, может быть, тем более язвительное высмеивание однообразной, словно заведенной жизни маленьких людшек — они даже в первую брачную ночь не могут забыть об убытках. Грустная насмешка над женщиной, настолько лишенной самостоятельности, что она просто не может духовно «сама стоять», сама жить, сама думать — она падает, чуть ли не гибнет без чужой подсказки.

Первая фраза, услышанная ею после перерыва, после стольких лет молчания и пустоты в мыслях, которую произносит сын ветеринара («Островом называется часть суши, со всех сторон окруженная водой») и которую она благоговейно повторяет — для нее откровение, спасительное освобождение от непосильной обязанности решать, осмыслять, оценивать по-своему.

И как же радостно возрождается она к жизни из-за этого «острова», из-за того, что можно что-то повторять, о ком-то заботиться, кому-то дарить любовь, заботу, отдавать всю свою душу.

Она провожает в гимназию маленького Сашеньку, долго смотрит ему вслед, счастлива, что он у нее есть, готова отдать за этого чужого мальчика, за его

ямочки на щеках, за картуз всю свою жизнь — «отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему?»

Это уже не насмешка, не «снижение», а совсем другая интонация, и до чего же грустная — тем более грустная, что она связана с ощущением безответности доброго чувства, какой-то нелелой никчемности. Она окрашена сожалением, что жизнь глушит все доброе, что самый климат ее суров и холоден для человечности. И, может быть, самая характерная чеховская черта: эта интонация таит в себе горькую усмешку, в ней нет ни малейшей примиренности с незадачливым персонажем.

Мы читаем Гоголя — нас потрясают резкие переходы от гневного осмеяния Чичиковых и Коробочек к птице-тройке. Гоголь — учитель Чехова, помогавший ему связывать в едином повествовании «смех» и «слезы». Без этого вообще нельзя себе представить русской литературы — ни пушкинского Горюхина, ни сатиры Щедрина.

Но, пожалуй, ни у кого из наших классиков не было такого сложного — при внешней будничной простоте — сплава смеха и серьезности, сатиры и лирики, насмешки и человеческого сочувствия, как у Чехова.

Это не означает какой бы то ни было неопределенности авторского отношения, неясности писательской оценки. Мы прекрасно понимаем, что Чехов смеется над ограниченностью «душечкиного» мирка и что ему дорога ее участливость, ее готовность все отдать, не жалея. Понимаем суровость чеховского суда над бездушной жизнью. И — над «душечкой»

Но вся эта определенность лишена прямолинейной расчерченности, она внутренне сложна, возникает в итоге скрытого взаимодействия многих бесконечно малых величин — художественных штрихов, деталей, намеков, полутонов.

Глубина чеховского смеха в том, что он неотделим от творчества писателя в целом. Это не отдельная сторона дарования, не какая-нибудь «примечательная черта», смех Чехова — это сама атмосфера его произведений, интонация повествования, сложная гамма чувств от обличения, осмеяния, «снижения» всего уклада жизни до утверждения грустной,

одинокой, неприкаянной человечности отдельных «душ» и «душечек».

Нередко приходится читать о Чехове: как яростно он ненавидел «человеков в футляре», как нежно любил своих «трех сестер», Мисюсю из «Дома с мезонином», Надю Шумину из «Невесты».

Это верно, если не понимать любви-ненависти Чехова геометрически прямолинейно. Вы начинаете решительно и безоговорочно раскидывать его героев на положительных и отрицательных, но та же «душечка» вдруг обращает к вам свое лицо с доброй, не очень осмысленной, доверчивой улыбкой и с обезоруживающим простодушием спрашивает: а мне куда?

Вы скрепя сердце отправляете ее к отрицательным, чувствуя, что как-то не вполне сведены концы с концами.

Нельзя представлять себе так, что, с одной стороны, у Чехова — бездушные «футляры», с другой — душевные «человеки». Эти два полярных начала — человечность и футлярность — предстают перед нами в многообразных соотношениях, связях, конфликтах, противоречиях.

Сама проблема «человека в футляре» для Чехова грудна и сложна, не допускает примитивной заданности, двухцветной плакатной раскраски. Раскрытие характера определяется правдой жизни и верой в человека.

Правда и вера. Не так-то легко было это связать воедино в реальных условиях жизни пореформенной дореволюционной России, когда оптимизм, казалось, разрушался, подтачивался, сталкиваясь с фальшью, несправедливостью, собственническим хамством, обывательской пошлостью, интеллигентским прекраснодушием.

Чехов занес в свою записную книжку слова, которые могут быть названы ключом к его художественному мироощущению: «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть».

Здесь правда и вера связаны в трудном и честном единстве.

Некоторые современные Чехову писатели, такие, например, как Чириков, изображали человека без прикрас, «как он есть», но и без веры в то, что он может стать лучше. Они показывали власть за-

сасывающего мещанского болота, провинциальной скудости, затхлости и ставили на этом точку. Кажущаяся натуральность изображения оборачивалась натурализмом, «земная» правда — приземленностью.

Другие — их было еще больше — воспевали человека, мало заботясь о том, «каков он есть». Чехов сурово расправляется с любителями утешающей лжи, неземных красот, ясности без облачка, выпрениной идеальности без сучка и задоринки. Великолепные герои, которые, держа любимых в объятиях, патетически восклицают: «Ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю!», молодые графини, устраивающие у себя в деревне разные аптечки и библиотечки, оперно-изысканные персонажи романов «о том, чего никогда не бывает в жизни», находили в нем всегда безжалостного и непримиримого врага.

Чеховское высказывание основано на вере глубокой и терпеливой — оно не торопится выбрать из правды то, что к ней непосредственно подходит, не отворачивается стыдливо от фактов, нарушающих стройную концепцию, омрачающих светлую картину, — иначе говоря, на вере не выборочной, а сквозной и многоохватной.

Писательница М. Киселева, недовольная одним рассказом Чехова, послала ему пространное письмо, в котором, между прочим, говорилось:

«Грязью, негодьями и негодьями кишит мир, и впечатления, производимые ими, не новы, но зато с какой благодарностью относишься к тому писателю, который, проведя Вас через всю вонь навозной кучи, вдруг вытащит оттуда жемчужное зерно. Вы не близоруки и отлично способны найти это зерно, — зачем же тогда только одна куча? Дайте мне зерно, чтобы в моей памяти ступивалась вся грязь обстановки...»

Эта концепция извлечения жемчужных зерен и притусевывания всего «грязного», характерная для народнически-возвышенной беллетристики, в сущности, оправдывала нарочито неполное и суженное изображение жизни, умалчивание об одних ее сторонах, искусственное выделение других.

«Что мир «кишит негодьями и негодьями», — отвечал Чехов своей корреспондентке, — это правда. Человеческая природа несовершенна, а потому странно было бы видеть на земле одних только праведников. Думать же, что на обязанности литературы лежит выкапывать из кучи негодяев «зерно», значит отрицать самое литературу. Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная. Суживать ее функции такую специальностью, как добывание «зерен», так же для нее смертельно, как если бы Вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы».

Чеховское письмо — ответ не только современному ему беллетристам; великий реалист отвечает здесь каждому, кто захочет идти к художественному решению «над» жизнью, перепрыгивая через неудобные факты, сознательно притусевывая все, что портит красоту пейзажа.

Завет Чехова о правде безусловной и честной в полную силу звучит сегодня, когда мы боремся и с бескрылым натурализмом, и с фальшивым украшательством.

Тем, кто любит копаться в грязи, ничего, кроме нее, не видя, хочется напомнить чеховские слова: «Некрасивое, к тому же, нисколько не реальнее красивого».

Тот, кто брезгливо отворачивается от недостаточно изысканной, недостаточно очищенной натуры, пусть вспомнит слова из того же ответа М. Киселевой: «Для химиков на земле нет ничего нечистого. Литератор должен быть так же объективен, как химик».

Нелишне вспомнить, что и в нашей литературе, особенно в годы культа личности, предпринималось немало попыток оправдывать писателей, которые не отражают жизнь в ее многосторонности и целостности, а пытаются извлекать отдельные «зерна» — жемчужные, рациональные и т. п. Во многих рассуждениях о социалистическом реализме в статьях прошлых лет настойчиво сквозила мысль, что правда — вещь условная, относительная, она должна быть допущена в произведение лишь в той мере и в той

пропорции, какие диктуются поставленной задачей.

Вспоминаются рассуждения тех лет: яблоко, выращенное в обычном саду — не совсем типично. Надо показывать мичуринский плод, являющийся, так сказать, экстрактом яблочных свойств.

Начинали проповедовать не просто «яблоко», а так сказать, сверхяблоко, не просто героя, а сверхгероя, не просто правду — она казалась недостаточной, — а сверхправду.

Нелепо, конечно, было бы выдавать кислый дикий плод за настоящее яблоко. Но, увлекаясь особыми, в специальных условиях выращенными, «экспонатными» яблоками, можно и вовсе забыть о таких прозаических вопросах, как состояние садов, доступность яблок. Если оперировать одними «сущностями», не обращая внимания на факты, уже как-то вроде и неудобно спрашивать: а почему кило таких мичуринских яблок и т. д.

Мы немного отвлеклись, но все это не так далеко от интересующей нас темы.

Чехов отказывается от примитивного деления людей на негодяев и праведников. Уточняя свою мысль, он пишет брату: «Современные драматурги начинают свои пьесы исключительно ангелами, подлецами и шутами, — пойдика найди сии элементы во всей России!» И тут же добавляет: «Найти-то найдешь, да не в таких крайних видах, какие нужны драматургам».

В этом вся суть — Чехов против «крайних видов», против нарочитого приподнимания и заданного снижения. Ни в малейшей мере не ослабляет он своей высокой моральной требовательности к человеку, отрицания зла, утверждения добра, красоты, справедливости; но он не хочет тешить себя иллюзиями, упрощениями, фальшивой подмалевкой, приукрашиванием или, наоборот, чистоплюйским «умалчиванием».

И здесь, в этом последовательном стремлении писателя рисовать человека сложного, придавленного футляром, но пытающегося от него освободиться, человека с добрыми задатками, которые глушит жизнь, построенная на неправде и угнетении, — во всем этом ирония, юмор — то близкий гневной сатире, то окрашенный лирически. Чувство смешного, нелепого, отжившего помогали худож-

нику, служили не дополнительным средством, но были формой осмысления жизни в ее грустных и странных противоречиях, смешных и печальных историях, неожиданных поворотах, в ее непрекращающейся борьбе вчерашнего, настоящего — и неизведанного, завтрашнего, все активнее врывающегося в сегодня.

Тот, для кого мир населен только ангелами и подонками, невольно стремится к двум типам художественного повествования — к типу оды или филиппики. Он либо неистово славит, либо так же неистово обличает.

Чеховская ирония — умная, спокойная, но столь далекая от безразличной умудренности и такая тревожная, ищущая в своем кажущемся спокойствии — помогала ему раскрывать богатейшую гамму тонов и полутонов человеческой души, вызывала у читателя столь же сложное отношение к персонажу — жалость, сочувствие, симпатию ко всему, что в нем противостоит тине обывательского существования, веру в то, что он не погиб окончательно, не совсем оравнодушел, может сопротивляться обступавшему со всех сторон собственническому укладу.

Как многообразна эта чеховская ирония: она поражает самодовольных владельцев усадеб с крыжовниками, запуганных и запугивающих Беликовых, самодовольных чиновников от науки Серебряковых. Сливается с грустным раздумьем о нелепости жизни, прожитой «душечками»; окрашивается доброй симпатией к таким, как «облезлый барин» Петя Трофимов.

Она позволяет видеть в одном и том же человеке смешное и трогательное, волнующее и нелепое, честное и беззащитное. Чеховская ирония несовместима с риторикой, какими бы то ни было красотами стиля.

Богатство языка Чехова прежде всего не в обилии словаря, но в сложности интонации. На примере «Душечки» мы видели, как сложна кажущаяся простота чеховского повествования. Вместишь огромное содержание в маленький рассказ можно было, лишь перестроив всю его композицию. Вместо прямых описаний, развернутых портретов, обстоятельных характеристик, «подробных» эпитетов — часто лишь одно соп-



ставление эпизодов, как будто случайный, неожиданный, но тем более выразительный контраст, подчеркнутое подобие, нарочитое однообразие в описании, казалось бы, разных случаев.

Чеховский рассказ структурирован как стихотворение. В нем свои незримые строфы, смысловые созвучия и диссонансы. Чехов и в этом смысле поэт.

Все в его рассказах дышит эстетикой простоты, свободы от излишеств, нагромождения, все полно грации — той, при которой, по словам самого писателя, «при наименьшей затрате сил достигается известный эффект — *pop multum sed multa*» (немного, но многое).

Чехов прожил в двадцатом веке всего несколько лет. Но его шестидесятилетняя посмертная жизнь, которую мы отмечаем и вспоминаем сегодня, убедительно показывает, что весь он принадлежит нашему сегодня и нашему завтра. Недаром в споре «физиков» и «лириков» чеховская «Дама с собачкой» оказывалась самым сильным аргументом, обезоруживающим приверженцев одной только точности и кибернетики, произведением, объединяющим в одном чувстве представителей самых точных и самых «неточных» наук.

Много раз говорилось: после Чехова нельзя писать, как писали до него.

«Когда меня упрекают в том, что я не критически следую формам Чехова, — говорит драматург А. Арбузов, — мне это кажется столь же странным, как если бы меня стали обличать за то, что я

пользуюсь электрическим светом и тем самым являюсь эпигоном Эдисона и Яблочкова.

Нелепо в наше время брать два камня и стараться, подобно дикарю, высечь из них искры.

Чехов существовал, и после него мы не можем пользоваться орудиями каменного века».

Сказано точно и хорошо. Хочется только добавить, что пользоваться чеховским «светом» гораздо труднее, чем электроэнергией. Сколько было подражателей, которые тоже отказывались от риторики, тоже недоговаривали, недосказывали, переносили смысл и эмоции из текста в подтекст — и все-таки оставляли нас в совершеннейшем равнодушии.

Хочется еще раз вспомнить высказывание Голсуорси.

«Что касается Чехова, — говорят Голсуорси, — я бы сказал, что его рассказы на первый взгляд не имеют ни начала, ни конца, они — сплошная середка, вроде черепахи, когда она спрячет хвост и голову. Однако подражатели его подчас забывали, что и хвост и голова все же имеются, хоть и втянуты внутрь».

Подражая отдельным приемам, нельзя забывать о главном, что питает и живет стиль Чехова — о силе его обличения старого мира, о великом нетерпении в предчувствии грозных перемен, о смехе Чехова — одновременно и беспощадно разрушительном, и полном любви к человеку, который сбрасывает с себя футляр.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**М. Блиннова.** Достоверность и схема.— **О. Михайлов.** Мишко Супрун — как он есть.— **Е. Барышников.** Изображение и слово.— **В. Кутейщикова.** «Старые моряки» и вечно юная мечта.— **А. Турнов.** Народ — это люди.— **Б. Сарнов.** Глазами художника.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**П. Деревянко.** Ленин и военная наука.— **Ф. Олещук.** Неустаревающие мысли.— **Ю. Гаврилов.** Новые флаги над Африкой.— **Ю. Буртин.** О социологических исследованиях.— **Эр. Ханпира.** О языке — популярно.— **С. Гомов.** Унылое перо педанта.— **М. Крутов.** Господин Риттер переодевается.

## Литература и искусство

### ДОСТОВЕРНОСТЬ И СХЕМА

**Георгий Семенов.** Сорок четыре ночи. Рассказы. «Молодая гвардия». М. 1964. 224 стр.

Почти все рассказы Георгия Семенова начинаются с обстоятельных и неторопливых описаний — чаще всего природы, иногда деревни или просто того места, где начинается действие. Пусть это не пугает читателя, тяготеющего к динамическому и лаконичному («современному») стилю. И еще одно предупреждение. Если вы, взяв книгу в руки, полистаете ее и случайно на глаза вам попадутся фразы «незнакомый мой, далекий и близкий брат», или «такой странный... и в то же время понятный человек», или сентенция, произносимая колхозным кровельщиком: «Все пройдет: и боль и сомнения», то не решайте, что рассказы Семенова написаны в банальной кокетливой манере. Фраз таких в книге немного, и попали они в нее по какому-то недоразумению.

Георгий Семенов пишет не только не претенциозно, но, наоборот, совершенно просто, довольствуясь устоявшимися приемами жанра. Некоторые его рассказы «обрамлены» несложными путевыми приключениями: завязла машина в глине, заблудил-

ся человек, возвращаясь с охоты, кто-то помог ему, кто-то приютил — вот и произошло нечаянное знакомство, и перед нами возникает чья-то жизнь со своими заботами и радостями.

Любящий, очевидно, странствия, Г. Семенов явно отдает предпочтение людям, всем укладом своей жизни близким к природе — лесникам, жителям деревни, а всех симпатичней ему те, что постоянно передвигаются по суше и по воде — геологи, спасатели на водах, охотники.

Георгий Семенов пишет так, что мы слышим запахи, в глаза бросается богатство красок, мы всегда ощущаем погоду, особенно чистоту и прозрачность промытого дождем и освеженного ветром воздуха.

Молодому писателю больше по душе неспокойная пора года — ранняя весна, осень, когда все в природе меняется. И, надо отдать ему должное, пейзаж у него обычно гочен и достоверен.

«Были морозные утреники, и на побелевшей, ломкой траве четко печатался тогда снежный след ноги. В эти утра гулко и

звонко токовали тетерева в холмистом поле и далеко было слышно их ручьиное бульканье и свистящий, воинственный шип... Потом поднималось солнце, и трава начинала оттаивать, зеленеть и лосниться длинными полосами, но тени долго еще оставались белыми.

В этой хрупкой тишине вода в овраге, стекающая по деревянному желобу, гремела и лязгала, как железо, падая вниз, в то каменистое, до краев наполненное ложе, из которого сонно вытекал ручеек».

А люди из рассказов Г. Семенова чаще всего предстают перед нами в момент встреч — неожиданных или долгожданных, знаменующих собой ту недолгую остановку, во время которой человеку свойственна особая сосредоточенность и обостренность чувств.

Цепь таких точно запечатленных мгновений — рассказ «Сорок четыре ночи».

Отец со старшим сыном осенней ночью встречают младшего сына, военного летчика, на сорок пять дней приезжающего в отпуск домой, — вот и весь «внешний» сюжет рассказа. И не сразу можно понять, чем это произведение так трогает, почему оно вызывает ощущение шемящей и вместе с тем светлой грусти.

Может быть, потому, что здесь говорится о родительской любви с ее вечной неутоленностью, с ее великой радостью и горькой горечью? Может быть, потому, что это — рассказ и о сыновней любви с ее покровительственной нежностью, сменяющей детскую зависимость, с ее болью от предчувствия неизбежной разлуки? Воскрешенное в воспоминаниях старшего брата (от его имени ведется рассказ) детство героев уводит нас в годы войны, в годы эвакуации.

В каждой из деталей воспоминаний старшего брата — достоверность пережитого: в недостижимой мечте о тетрадке в клеточку, в туске меда, вымененном на единственное сокровище бабушки — перламутровые пуговицы, в нестерпимой боли от сострадательных деревенских распросов: «Мама-то умерла?»

И Москва тех далеких лет... «Москва, когда мы вернулись, показалась нам серой и пустынной, и, хотя была весна, не было зелени на ее каменных улицах и дворах. Мы приехали под вечер на тот же вокзал, где встречаем теперь Алешку, но нас безрадостно встретила тогда Москва, совсем

не та, которую мы оставили и которая теплилась в нашей памяти».

Не тем, каким бывает в мальчишеском воображении солдат, оказался и отец — нескладный и смешной на вид, он был больше похож на маляра. И, возможно, тогда-то и зародилась у мальчишки особая нежность к отцу, когда он понял, что и такой, небравый, не на фронте, а в Москве всю войну пытавшийся поймать и сбить аэропланом «юнкерс», он все-таки был настоящим солдатом.

В этой маленькой повести зримо воскрешенное прошлое заставляет с особой полнотой воспринимать настоящее, а с образом младшего брата естественно входит в произведение излюбленный мотив автора — странствий, непокоя, разъездов, покорения расстояний.

Судя по рассказу «Сорок четыре ночи», можно было подумать, что главные творческие искания молодого писателя — в сфере лирического повествования. Но в большинстве рассказов сборника раскрывается тяготение Г. Семенова к созданию «рассказов-портретов» с пластическими образами в центре.

Колхозный кровельщик Барабанов («Барабан») лишился на войне ноги. Но был он крепким и ловким, в деле же своем — мастер. И, как всякий отличный работник, радовался, когда видел успехи других в труде. Он вообще умел радоваться обыкновенным вещам — хорошей погоде, солнцу, только что отстроенному дому соседа. И все же была в нем какая-то странность — не умел он так поступать и говорить, чтобы это соответствовало его желаниям и настроениям. Как будто бы жили в нем где-то и готовность к хорошим делам, и любовь, и благородные чувства, но все это не проявляло себя, не доходило до мира. Совсем, как его песня: «Как всегда на реке, в легкой своей и зыбкой лодке, в которой забывал он про костыль и увечье, ему захотелось петь».

Но петь он не умел и внутренним каким-то слухом тянул мысленно знакомые песни, попадая дыханием в ритм этих тягучих песен, и ему казалось, что он поет».

Образ Барабана вызывает самые разнообразные чувства — его и жаль, нелепого, одинокого, и досаду вызывают какие-то его выходки (когда он, например, непонятно из-за чего отказался одолжить соседу день-

ги), и нельзя не начать раздумывать — почему такой ущербной оказалась его жизнь.

По некоторым отдельным фразам («отрезали мне ногу, понимаешь, думал, что пропаду») можно решить так: завладел им когда-то страх, и от этого страха пошло остальное — недоверчивость к людям, робость, боязнь остаться без денег. И все же есть некоторая недоговоренность в этом образе, до конца понять его конфликт с самим собой и с жизнью трудно. Скорее всего это потому, что конфликт этот предстает перед нами вне связи человека с окружающей его средой. И жизнь села нам не раскрывается ни в единой детали, которая бы бросила свет на трагедию Барабана. Потому и неясно, чего больше в этой трагедии — беды человека или вины его, а на всем образе остается легкий налет абстрактности.

Острая и сложная тема конфликта человека с самим собой воплощена и в рассказе «Сим-Сим».

Нигде не декларируя своего отношения к героине рассказа, молодой столичной женщине, автор осторожными штрихами раскрывает суть жалкого, безвольного характера. Трагически пережив свое открытие, что ее муж циничен, мелок и труслив, женщина постепенно осознает, что в ставшем ей на время ченавистном человеке лишь явственнее выражены те черты, что в другом виде свойственны и ей.

Не изменяя своей обычной лирической манере, автор создал рассказ ярко разоблачительный, не лишенный и элементов сарказма.

Но вот что вызывает досаду: для контраста этим двум «столичным» людям, с их бесцельным существованием, непонятной и вроде бы никому не нужной работой, писатель ввел образ жителя маленького северного городка — спасателя на водах Бориса. Уж он-то и целен и прямодушен и занимается делом ясным и благородным — словом, полный антипод тем двум.

А вот как выглядит Борис: Шурочка «его сразу как-то разглядела; все в нем, в этом человеке, пришлось ей по вкусу: и удлиненный череп, и насмешливые глаза под серыми бровями, и кадык на небритой шее: как будто она давным-давно его знала, знала эту наголо стриженную голову, и сильную шею, и эти тяжелые руки с белыми большими ногтями, и эту мощную худобу тела...»

Этот почти анатомический каталог внешних черт можно было бы еще расширить, и все равно от подобного портрета не осталось бы ничего, кроме недоумения — что же могло здесь «прійтись по вкусу» молодой женщине?

Невыразительность, умозрительность образа Бориса не случайны. Он шагнул в книгу не из жизни, а из традиционной схемы-противопоставления: люди «сидячей» жизни — и романтики-путешественники, суетная столичная жизнь — и содержательная, понятная, «на природе». Этот прием нарочитого, демонстративного контраста применяется Г. Семеновым и в некоторых других произведениях. В этом духе написан и рассказ «Проездом».

Приезд соседа и друга-геолога заставляет героя рассказа, москвича, смутно ощущать неполноценность своей жизни, какая-то тоска овладевает им. Обычные мелочи жизни начинают тяготить его. Но остается непонятым — минутное ли это настроение, навеянное встречей с человеком другого образа жизни, или внутренний поворот, за которым должны последовать серьезные перемены? Ночное время, тишина в квартире придают некую романтическую таинственность размышлениям героя. Многозначительным рефреном проходят через весь рассказ упоминания о том, что жена москвича вымыла и сушит волосы и что ему самому надо позвонить приятелю договориться о поездке на охоту. По тому, какое отчуждение возникает между старыми друзьями, делается ясным, что автор выносит свой приговор москвичу. Но в чем же его прегрешение перед жизнью, перед самим собой? Не в том же, что он живет в Москве, ездит по воскресеньям на охоту и что вымытые волосы его жены пахнут шампунем?

Итак, рассказы Г. Семенова неоднородны. Одни радуют точными, зримыми описаниями и деталями, непричужденно, естественно создающими насыщенно лирическую атмосферу произведения. Они написаны рукой твердой, че робеющей перед одной из очень трудных в искусстве вещей — изображением обыденных судеб. Но в некоторых случаях, как нам кажется, писатель проявляет неуверенность то ли в читателе — что он без привычных схем и противопоставлений не поймет идеи автора, то ли в себе — что без помощи это-

го испытанного приема не сумеет воплотить свой замысел. В рассказах, созданных по этому принципу, бросается в глаза явное несоответствие между серьезностью авторской интонации и незначительностью событий и переживаний, о которых идет речь. И ведет это, с одной стороны, к схематизму, а с другой — к расплывчатости повествования и неоправданности психоло-

гической ситуации. Робость ли автора, инерция ли литературных воздействий, кратковременность ли встреч со своими героями — трудно сказать, что здесь виной... Важно, чтобы одаренный писатель освободился от этого, не растеряв своих достоинств — пристального, доброго внимания к людям.

М. БЛИНКОВА.

★

## МИШКО СУПРУН — КАК ОН ЕСТЬ

Михаил Годенко. Минное поле. Роман. «Москва», №№ 1—2, 1964.

Мы знаем Михаила Годенко как автора шести стихотворных сборников. «Минное поле» — его дебют в прозе. В лексике, в многочисленных монологах «про себя», в обилии метафор и т. д. чувствуется это вторжение одной стихии в другую. Иногда такая поэтизация прозы ведет к удачам, в других случаях она же порождает расхожую красочность, вязкую метафоричность («Нева в гневе била свинцовыми кулаками в каменные берега»; «Летнее солнце кладет горячие свои ладони на плечи Михайла»), романтические внутренние монологи, не совпадающие по тону с происходящим, а подчас обнаруживает у автора недостаток вкуса (например, когда две матери «глазами сердца смотрят на вершину обрыва, следят, не сорвались бы их дети», то есть, проще говоря, встревожены долгими свиданиями влюбленных) и т. д. Однако излишества метафорического и как бы грубовато раскрашенного стиля не мешают автору с достаточной обстоятельностью и последовательностью раскрыть биографию своего ведущего персонажа, показать подробно его дела и дни.

Уже редакционная аннотация, кратко перечисляющая этапы биографии Годенко, тем самым указывает на близость ему главного героя. Как и Годенко, Михайло Супрун жил и учился в украинском селе, был призван перед финской кампанией во флот на Балтику, стал минером, пережил знаменитый переход кораблей из Галлина в Кронштадт в августе сорок первого года, наконец, еще будучи во флоте, ощутил в себе призвание к поэзии, к художественному творчеству. Более того. Если перелистать сборники стихов Годенко, мы найдем в них как бы лирический комментарий почти ко всем важнейшим эпизодам романа. Покушение на отца,

сельского активиста, описанное в «Минном поле», нашло отклик в стихотворении «Отец» (сборник «Ласточка»). Брату Ивану посвящено стихотворение «Старший политрук», где в строках: «Он мне изредка лавал свой велосипед. В ярких красках рисовал университет» — точно передается содержание соответствующих страниц романа. И даже юношеская любовь Супруна к однокашнице, с которой его разлучила служба во флоте, а затем война, уже была отображена в стихотворении под названием «Грусть». Не удивительно, что и стихи, создаваемые героем «Минного поля» («И море нам теперь роднее, понятней и всего дороже, как эти поручни и реи, дрожащие знакомой дрожью...»), публиковались перед тем в сборнике «Море мое» за подписью: М. Годенко. Совпадения в биографии автора романа и его героя, таким образом, несомненны, а местами даже демонстративны.

Что ж, сами по себе элементы автобиографичности в принципе правомерны. И М. Годенко, в частности, это позволяет насытить произведение непосредственными впечатлениями пережитого, не передоверяя их «чужому» персонажу. Так, к удачным страницам романа относятся военные эпизоды — отступление Балтийского флота в Кронштадт под непрерывным обстрелом с воздуха, с берега и с моря; контратака на суше, когда в цепи на короткое время, словно из далекой гражданской войны, появляется сам маршал — командующий направлением («молодцевато перепрыгнул окопчик, свалил двоих выстрелом в упор... осколок снаряда угодил ему в колено»); расстрел троих изменников, что пытались отогнать под белым флагом морской охотник к финским берегам; разминирование галлинского

военного склада и т. д. За всем этим встают весомые строки из биографии Годенко.

Однако перед нами не биография (между автором и его лирическим героем сохраняется понятная дистанция), но эпическое произведение, которое, если верить его рецензенту, относится к числу «лучших художественных исследований» о нашем обществе (М. Алексеев, «Обыкновенный победитель в мировой войне», «Литературная газета», 9 мая 1964 года). Эта высокая оценка заставляет рассмотреть весь путь героя, начиная с детства, с тридцатых годов, героических и сложных, когда росли и крепились творческие силы народа и одновременно уже обнаруживали себя недобрые приметы культа личности.

Мы узнаем множество интересных подробностей. Например, как Мишко-пионер ловит «стригуна» дядю Илька, одного из тех, кто с голодухи стрижет колхозные колоски. Дядя Илько получает пять лет, а Мишко и его дружок Валька Торбина «премировались костюмами». Или о том, как Мишко пишет объяснение в любви однокашнице Доре, а записка попадает к секретарю комитета Палену, который «шьет» ему моральное разложение. Или видим Мишко-комсомольца с трехлинейкой на плече, в колонне ребят, вслушивающихся в наставления местного ветерана Плахоти: «Увидел белогвардейца, чи, скажем, махновца, сажай его, котыка, на мушку. Если он выглядает из окопу, подставь ему мушку под самую бороду. Если бежит на тебя по чистому полю, бери под мотню. А если он тикает, сажай тем местом, которым сидают». Спору нет, почти во всех таких случаях М. Годенко изображает черты, характерные именно для тридцатых годов, но просто фиксирует их, не вдаваясь в объяснения происходящего.

По району проходит эпидемия арестов. Берут и секретаря райкома Торбину, кристального коммуниста, луганского рабочего. Его старый товарищ, отец Михайла, «уверенно» разъясняет сыну: «Раз взяли, значит враг». Сам Мишко, наущаемый работниками райкома — либо заставить сына Торбины, своего дружка Вальку, отказаться от «врага народа», либо исключить его из комсомола, — облегченно вздыхает: «Точно камень с души свалился. Как все просто и ясно!»

Эта способность героя в каждый данный момент видеть все простым и ясным, пожалуй, главная в его характере. Правда, ясность, к которой он приходит сегодня, мо-

жет назавтра смениться ясностью новой, отрицающей прежнюю. Пройдет совсем немного времени — и тот же отец Мишка снова уверенно разъяснит сыну: «Старого Торбину зазря обидели! Оговор — будто саботировал хлебозаготовки. Не вышло, гнилыми нитками шито!» Издержками такой незамысловатой простоты в данном случае останутся страдания Вальки Торбины, зимней степью кинувшегося за арестованным отцом в Луганск и исчезнувшего невесть куда вплоть до финала романа. После всех этих событий по-особому воспринимаешь позднейшее признание Михайла Супруна: «Славное было детство, ясной выдалась юность!»

Характер Мишка Супруна лепится как под влиянием больших и малых событий, так и под прямым воздействием авторитетов в семье — отца и старшего брата Ивана, студента Харьковского университета. Иван — человек уже сложившийся, сложившийся раз и навсегда, высказывающийся обо всем на свете категорически, с какой-то холодной и даже как бы усталой уверенностью. Это ему попадают в руки полудетские стихи Мишки. Иван заявляет: «Брось! Займись точными науками. Будущее принадлежит им... Что дает копание в книгах? Что дает литература?.. Будешь потом кусать локти. Твои сверстники откроют новые элементы, они разобьют ядро атома..» и т. д. Достаточно этих нескольких газетно-гладких реплик, чтобы потрясенный Мишко сжег (!) свои стихи и позабыл о поэзии на несколько лет. Впрочем, это нам речь Ивана показалась набором холодных и общих фраз, деревенский же паренек «ловил высокую музыку его слов».

У Ивана есть готовые ответы, свои или заимствованные, на все случаи жизни. Когда его мать выразила недовольство тем, что он допоздна гуляет с девушкой, Иван, «не смутившись, ответил достойно: «Я, мамо, не монах. Я человек, и все человеческое мне не чуждо». Мишко «поразился смелости брата... Тот похвалу от себя отвел. Пояснил, что слова принадлежат Карлу Марксу...» и т. д. В трудные минуты Мишко мысленно обращается к брату. Исключая Вальку Торбину из комсомола, Михайло наталкивается на несогласие только одного человека — своей любимой Доры. Возмущенная «предательством», она бьет его по лицу. И тогда Мишко вспоминает спокойные и презрительные слова Ивана: «По сути, Дора — мешан-

ка... Ты этого не замечаешь, не способен замечать. Ты создал себе в душе идеальный образ и привязал его к Доре...» Такой степенью «ясности» сам Мишко, понятно, еще не обладает. Иногда его обуревают сомнения, «разная дурь в голову лезет. Мучают вопросы». Он пока далек от того героя, какого вывел Годенко в стихотворении «Автопортрет»:

...Люблю ответить веско,  
Покупать все, попробовать на зуб.  
С противником всегда бываю резким,  
С врагами беспощаден я и груб.

Ищу я долго. Но, найдя решение,  
Упрусь — хоть кол на голове теши!..

Но — дайте срок — все это еще придет к Супруну. И вот уже в финале романа мать «испуганно» смотрит на сына: «Совсем чужой человек. Ее сын был тихий, покладистый, ласковый. А от этого веет железным холодом».

Согласимся: в «Минном поле» М. Годенко события и герои несут на себе определенный отпечаток описываемого времени. Однако реальные жизненные противоречия этой поры прорываются как бы против воли автора, к тому же не всегда способного различать сильные и слабые стороны своих персонажей. Бесхитростно сообщает Годенко подробности душевной жизни Мишка, влюбленного в Дору. Но какие неожиданные для автора качества героя раскрывает эта любовь! Несколько лет подряд встречается Супрун с девушкой, но так и не решается связать с ней свою судьбу и проявляет при этом поразительную нечуткость, более того — полное нежелание понять, что происходит с любимой. Ее переживания кажутся Мишку нагромождением несвязных крайностей — то Доре «до визгу(!) радостно», то она сидит, «опустив голову. Какая тяжесть ее гнетет? — недоумевает герой — Что с ней?»

Гнетет же ее, как видно из романа, затяжная, хроническая осторожность Мишка. Отчаявшись в бесплодном ожидании, Дора сама выпаливает ему при встрече: «Когда дивчина любит — ничего не страшно». Что же он? Он обижает ее холодными словами, украденными у старшего брата. «Я не феодал, Дора, не хочу показывать свою власть над тобой, привязывать силой(?) Поживи, погляди, разберись в своих чувствах. Может, это и не любовь, а просто порыв молодого сердца. Может, настоящее к тебе придет по-

том...» «Теми высокими словами,— без всякой иронии замечает автор,— довел ее до слез».

Поступки героя, на поверхностный взгляд суматошно-противоречивые, находятся, однако, в строгом ладу с его представлениями о правильной жизненной линии и нравственной чистоте. Супрун и впрямь не способен соблазнить девушку — он категорический сторонник узаконенных отношений. Но с желанием счастья в его душе успешно борется стремление не ошибиться в выборе и подольше сохранить себя «ненадкушенным». От этого уже потягивает холодноватым расчетом. Наверно, он и не любит настоящему Дору. Потому что только равнодушный человек не заметит (или постарается не заметить), как, превозмогая девичью гордость, она сама стремится к сближению. После серьезной ссоры (в которой Супрун, кстати, кругом виноват) Дора первая «с отчаянной решимостью взяла Мишка под руку» и не повела, а «поташила» к своей тетке, где собравшиеся за праздничным столом гости согласно кричали им многозначительное «горько!». Но не тут-то было.

М. Годенко полагает, что «глупые, наивные, милые дети» просто не ведали, как добиться счастья. Он не замечает, как жестока Мишкина наивность (а что до глупости, то, согласимся с автором, она действительно определяет подчас уровень эмоций героя). Супрун чувствует, что девчат тянет к нему. Почему? «Черт знает, почему тянет! — говорит одна из его знакомых.— Ты же слова путного не скажешь, а вот...» Однако очень часто любят как раз «нипочему», так сказать, «за красивые глаза», которые у Мишка, потомка гречанки, в самом деле хороши. В Таллине, например, он знакомится с Мартой, которая нравится ему, «но как-то по-другому, иначе, чем Дора». Достаточно Мишку положить на плечо Марты руку, как та «подалась к нему по-девичьи ладным телом», но наш герой думает прежде всего о том, чтобы сохранить свою чистоту — для Доры. Марта гибнет на глазах Михайла вместе с баржей, подорвавшейся на немецкой mine. И хотя он никак не повинен в ее гибели, само рассудочное отношение к девушке вызывает легкую антипатию к «правильному» герою. Этой антипатии суждено еще усилиться.

В Кронштадте в Супруна влюбляется несчастная Века, молодая и красивая женщина, которую однажды «испохабили» уголов-

ники. Озябшая душа, она, понятно, и не надеется на взаимность и ждет от Мишка лишь немного ласки: ей «хотелось, чтобы он ну хоть изредка обнимал ее...» Куда там! Даже оказавшись на одной с Векой скамейке, Мишко отодвигается подальше, показывая, что он ей не пара. Опять-таки мысли у него самые что ни на есть «правильные»: обнимать без любви? «Зачем обманывать? Ее и так много обманывали. Он говорил ей правду». Но такая «правда» не греет, а леденит. Века кончает жизнь самоубийством.

Для характеристики эмоционального мира Супруна, который, между прочим, поэт, небезынтересно, что смерть эта произвела на героя не больше впечатления, чем незаметно прошедшее исчезновение друга, Вальки Торбины, которого Мишко исключил из комсомола. Все новые краски ложатся на портрет центрального персонажа, все разительнее перераспределяются свет и тени. Герой освобождается от нанесенной автором ретуши, и уже остается только одна самоуверенная поза, контрастирующая с содержанием его исповеди.

Неразборчивость, неожиданные приливы слепой чувственности, как правило, возникают вследствие длительного, аскетического воздержания. Там, где оказались бессильны Дора, Марта, Века, «вдруг» воздействовала на душу Супруна некая Света, в доме которой ему довелось переночевать. Мишко увидел ее в кофточке с короткими рукавами, после чего мучительные соблазны неотвязно охватили его в ночи: «Что-то темное бродило в нем... Какие-то отчаянные мысли полезли в голову. Его залихорадило... И для кого бережешься? «Ненадкushенный»... Потом женишься на Свете». Не получилось со

Светой — получилось со случайной попутчицей Аней. Бойкая молодуха, она сама подавала знак смазливому морячку. И вот уже Мишко восторженно обращается к себе: «Не было у тебя никакой Доры(!), никакой Светы(?)! Всегда была только(!) Аня...» Впрочем, минутой позже выясняется, что в намерения Ани, торопящейся к мужу, не входило затягивать дорожный роман. Такова действительная избирательность Мишкиного чувства, без перехода перескочившего от высокомерного и холодного целомудрия к безразборчивости. Такова истинная цена его стойкости и чистоты.

Знакомство с Михайлом Супруном, формированием его мировосприятия, строем чувств, душевной содержательностью и т. д. — не пройдет даром для читателя, оно, мне кажется, должно оставить определенный след в его сознании. Читая книги, мы доброжелательно и строго ищем претендентов на высокое звание героя нашего времени. Мы всегда стремимся при этом выявить реальное жизненное содержание литературных персонажей. Ведь уверенность в себе может быть порождена внутренним богатством, но может идти и от крайней бедности личности. Призывы к нравственной чистоте могут родиться из чувства ответственности за жизнь и счастье окружающих людей, но возможны и от холодности душевной...

Беспристрастный взгляд обнаружит в романе «Минное поле» по-своему законченную жизненную концепцию. Вряд ли она вызовет симпатию, но в своеобразной познавательной ценности ей не откажешь.

**О. МИХАЙЛОВ.**

★

## ИЗОБРАЖЕНИЕ И СЛОВО

**Н. Дмитриева. Изображение и слово. «Искусство». М. 1962. 314 стр.**

О чем эта книга? В ней мы находим строки: «Изобразительное искусство часто прибегает к помощи знаний, лежащих вне самого изображения. Простейший случай — подписи под картинами и скульптурами, их названия. Но представим себе, что мы находимся в музее, где нет этикеток... Положим, мы не знаем, что на картине Сурикова изображен именно Меншиков и его семья... Но разве пропадет от этого та сила специфического воздействия, какая заключе-

на в самих зримых образах картины? И без «подсказки», содержащейся в названии, мы все же воспримем художественные идеи полотна Сурикова...»

Уже в этом рассуждении видна цель автора книги: теоретически проанализировать «некоторые специфические черты изобразительного и литературного методов в целом» как основных в искусстве. Задача эта вполне оправдана, ибо и поныне между художниками нет полного взаимопонимания. Одни



пуше огня бояться «литературщины», до-вольно смутно представляя себе, что это такое, а другие, забывая о специфике изобразительного образа, полагают, что разница между словесным и изобразительным языком чисто внешняя.

Приступая к анализу природы словесного образа, Н. Дмитриева пишет: «Выразительность в искусстве слова прямая, изобразительность — косвенная».

Общее утверждение это затем поверяется множеством примеров и рассуждений, смысл которых сводится к следующему. Когда писатель живописует словом, это вовсе не означает, что им создаются «зримые подобия чувственных предметов», доступные лишь кисти живописца. Толстой ничего не сказал нам, какой нос, лоб у Катюши Масловой, но, странным образом, мы не претендуем на это знание. Читателю довольно и легкого абриса, который возникает в воображении, чтобы сосредоточиться на главном — духовном облике, поступках героини. Зато в живописи, наоборот, изобразительность прямая, а выразительность опосредствованная. Содержание картины постигается лишь через созерцание зрительно воспринимаемых явлений.

Вот такое четкое размежевание составляет основу подхода Н. Дмитриевой к главным видам искусства. Думается, что это — верный подход, одинаково направленный против натуралистических и субъективистских извращений художественного творчества.

Тем более странными кажутся попытки приписать Н. Дмитриевой концепции, с которыми она борется. Так, В. Зименко, автор статьи «Изображение, правда, условность» («Октябрь», № 12. 1963), разбирая работу Н. Дмитриевой, приходит к неутешительному выводу, что глава книги, содержащая критику абстракционизма, находится в противоречии с позицией самого же автора, который, «по существу, амнистирует абстракционизм, как и любое другое течение модернистского искусства, корни которого питаются безудержно разросшимся субъективизмом». Все это усматривается в следующих словах Н. Дмитриевой: «Мы должны сразу же оговориться, во избежание неверного понимания, что считаем задачу в ы р а ж е н и я и в живописи и в скульптуре (как вообще во всяком искусстве) главной и важнейшей по отношению к задаче и з о б р а ж е н и я... Не может быть искусства, для которого

изображение было бы целью,— это будет уже не искусство, а наглядное пособие».

«Такая постановка вопроса неприемлема»,— заявляет В. Зименко. «Противопоставлять изобразительную и выразительную задачи, как это делает Н. Дмитриева, совершенно неправомерно, ибо эти задачи всегда решаются в единстве: не изобразив, художник не может ничего выразить!» Да, действительно, нельзя противопоставлять изобразительную и выразительную задачи, но этот верный тезис как раз и отстаивает сама Н. Дмитриева. Для нее не существует вопроса, можно ли разрывать две важнейшие функции искусства. Ее мысль занята иным: в каком соотношении находятся изобразительные и выразительные принципы в литературе и живописи. Не думает же В. Зименко, что из изображение существует в искусстве ради себя самого, как самоцель? Вернее предположить обратное, что, хотя в живописи все выражается непосредственно, зримо, задача идейной выразительности и тут — важнейшая.

Конечно, мера субъективности в искусстве может быть различной. Вот, например, что пишет Н. Дмитриева о творчестве абстракционистов с их безбрежным субъективизмом. Задавшись целью потрясти мир «невиданной ранее» «музыкой красок и линий», они отделили цвет от предмета, который, «перестав быть характеристикой чего-либо, гаснет и умирает». В результате — полная утрата не только объективной модели мира, но и законов искусства.

На примере других школ и направлений в живописи, у которых деформация изображаемого объекта не дошла до столь плачевного конца, Н. Дмитриева пытается проследить, где объективно проходит та «разграничительная линия», тот предел, за которым искусство перестает быть гуманистическим и ввергается в область хаоса и произвола. Задачу эту исследовательница выполняет с большим тактом и умением. «Ван-Гог,— говорит она,— потрясает нас... даже когда он пишет самый обыкновенный стул или цветок в горшке, мы и тут чувствуем страстность и напряженное горение его творческой личности. Стебли и листья цветка вздымаются и закручиваются как бы в волевом усилии... Что это — портрет цветка или портрет неукротимой души художника? И то и другое. До той поры, пока мы чувствуем, что это действительно «и то и другое»,— перед нами истинная живопись...»

Не ясно ли, что развенчание «эстетических принципов» абстракционизма было осуществлено Н. Дмитриевой в полном согласии с ее концепцией изобразительности, основанной на том, что «доверие, уважение к чувственному первоисточнику, опора на него — это родовая особенность изобразительного искусства, и, теряя ее, оно теряет свою силу». Условность же, которую отстаивает Н. Дмитриева, это условность, без которой, в сущности, не может вообще развиваться искусство, в том числе и искусство социалистического реализма, это такая условность, которая способствует максимальной идейной выразительности и в то же время направлена на постижение глубинной природы изображаемого объекта.

Н. Дмитриева выделяет в истории живописи три значительные тенденции: «Одна — «собственно живописная», связанная с принципами и установками импрессионизма, другая — путь живописной экспрессии, отчасти перекликающийся с традициями древней и средневековой живописи, третья — путь «сценической» сюжетной картины», получивший развитие в традициях передвижников. В социалистическом искусстве все они получают «новое развитие в их здоровом, не искаженном аспекте».

Рождается вопрос: что же дал живописи опыт последних лет? Только ли развитие традиций или зарождение новых явлений? В современную эпоху, считает автор, произошло явственное собиранье всех видов искусства под эгидой литературного слова. «Все они так или иначе проникаются духом интеллектуализма, усваивают себе (каждый по-своему) духовную, интеллектуальную силу словесного выражения». Ведь «подчеркнутая энергия обобщения видимых форм и резкое выделение главного... усиленная декоративность — все это идет в конечном счете от стремления сказать языком живописи некое слово».

Конечно, вопрос этот сложен и требует специального обсуждения. Однако уже и сейчас ясно, что его трактовка Н. Дмитриевой активно противостоит «теории единого стиля», по которой уровень художественного сознания в социалистическом и буржуазном искусстве признается одним и тем же, как уровень воды в сообщающихся сосудах. Напротив, великое дыхание интеллектуализма, о котором говорит автор как о решающей тенденции эпохи, оказалось гибельным для современного дегуманизирован-

ного искусства. Пример этому — деградация модернистских школ в живописи.

Рассмотрение исторических судеб словесного искусства не относится к числу наиболее удавшихся разделов книги. Судя по всему, автор лучше всего «сжился» с изобразительным искусством. Три интересные главы: «Скульптура», «Живопись», «Графика» — представлены в книге как постепенное возвышение изобразительного принципа от «вещественности» ко все большей «литературности».

Таким образом, Н. Дмитриева провела интересные наблюдения над тем, как взаимодействуют литературный и живописный методы искусства, порождая новые формы. Безграничен ли этот процесс? По мнению автора, он строго обусловлен «формами, способами художественного выражения (в слове, в видимых изображениях, в звуках и т. д.)». Вспомним: картина «Меншиков в Березове» не так уж нуждается, по словам Н. Дмитриевой, в словесной «подсказке».

Но тогда превращаются в загадку другие факты, например, само существование полотен вроде «Динария Кесаря», фактически невнятных без сопровождающей их подписи. Ведь только через «литературное» слово, через подпись-название («Динарий Кесаря») высвобождается их чисто живописное достоинство и содержание. Еще сильнее натиск на узаконенную Н. Дмитриевой специфику в китайской живописи, о чем рассказывает — правда, в другой связи — сам автор. Здесь встречаются такие парадоксы, как «изобразительные «стихи», «картина — краткое стихотворение». Значит, есть случаи, когда в диалектическом единстве «картины-слова» исчезает дистиллированная специфика того или иного метода и появляется нечто третье? Переходное? Об этом ничего не говорится в книге, вопрос этот даже не получает здесь прав гражданства.

Теперь мы понимаем, почему так настойчиво звучит в книге положение: писатель не должен гоняться за изобразительностью. На то и дан ему «дар святой», чтобы и з о б р а ж а т ь в п е ч а т л е н и я, вызываемые предметами. Что это значит? Разве нельзя задаться целью изображать сам предмет, описывая его детально? Такой прием примитивен, спешит ответить автор, ссылаясь на вещи слова Л. Толстого: «О п и с а т ь человека собственно нельзя; но мож-

но описать, как он на меня подействовал». При этом упускается из виду, что эти слова Толстого были реакцией на описательность натуральной школы и вовсе не вводились им в абсолютный принцип.

Гоголь не чурался метода широкой детализации, зная, что такая полнота характеристики помогает охватить и понять явление во всем объеме. Его герои, словно улитки, живут в «раковине» обступающих их со всех сторон предметов.

Зарождение искусства «диалектики души» как будто бы прорвало наваждение быта, завораживавшее писателей. Зеркало, в которое глянул умирающий Иван Ильич, отпрянув от него с лицом «чернее ночи», отразило ведь не нос, уши, лоб, а именно мгновенное душевное состояние героя.

Это как бы примета нового искусства. В его «волшебном зеркале» стали теперь непосредственно отражаться решающие психологические детали, именно они в первую очередь придавали литературному образу «пластическую» правдивость.

Казалось бы, литература утвердилась в

своей, неподвластной живописи специфике. Но, во-первых, сам Толстой широко использовал «старый» метод описательности, а во-вторых, этот метод вскоре снова стал «новым» в ходе дальнейшего развития литературы. Пришел, скажем, Хемингуэй и стал так описывать поступки своих героев, что на нескольких страницах печатного текста концентрировалось множество зримых «предметных» действий. Чего стоит, например, внимательный «репортаж» писателя из лодки старого Сантьяго («Старик и море»)! Здесь учитывается буквально все: как старик перемещает лесу с левого плеча на правое, вытирает нож о штаны и так далее. Творчество Хемингуэя обрушило на читателя целый водопад мелких, но столь значительных деталей действия. И это — тоже описательность, глубоко присущая литературе.

Книга Н. Дмитриевой, заставляющая думать, сопоставлять, спорить, по праву должна быть признана ценным исследованием искусства.

**Е. БАРЫШНИКОВ.**



## «СТАРЫЕ МОРЯКИ» И ВЕЧНО ЮНАЯ МЕЧТА

**Жоржи Амаду. Старые моряки. Две истории порта Баия. Перевод с португальского Ю. Калугина. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 276 стр.**

Книга Жоржи Амаду «Старые моряки» открывает еще одну грань таланта писателя. Сколько здесь сатирического блеска, искрометного остроумия, фантазии! Как будто сама стихия льющегося через край бразильского карнавального веселья выплеснулась на эти страницы.

Реальность и вымысел причудливо сплетаются в двух повестях, из которых состоит книга.

В первой повести «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода» автор с полнейшей серьезностью рассказывает, как бывший чиновник, а ныне веселый бродяга из портового пригорода, дважды и при совершенно различных обстоятельствах... умирает. Сначала мы видим Кинкаса в гробу, оплаканного фальшивыми слезами давно покинутой им ханжеской семьи, а затем с немалым удивлением узнаем, что ночью с помощью друзей, таких же, как он, пьяных бродяг, и со своей возлюбленной Китерней покойник отправляется на морскую прогулку. И хотя весть о смерти Кинкаса уже пронеслась по порто-

вому предместью, никто не хотел верить в нее — «не может старый моряк умереть на суше, в какой-то постели». Вдоволь насладившись пирушкой на баркасе рулевого Мануэла, Кинкас тут же с борта бросается в море и здесь гибнет снова и уже навсегда.

Во второй повести с витиевато ироническим заглавием «Чистая правда о сомнительных приключениях капитана дальнего плавания Васко Москозо де Араган» — тоже переплетение фантазии и действительных событий. В захолустный маленький городок Перипери приезжает отставной капитан на склоне лет. Без усталости рассказывает он небыллицы о своих былых подвигах. В неожиданном финале старый выдумщик, которому уже все перестали верить, вдруг превращается в настоящего героя — ему предлагают на самом деле занять капитанский мостик и он на самом деле спасает корабль от гибели.

Как и в первой повести, писатель лукаво усмехается, предоставляя читателю самому

решить — где же в действительности «чистая правда».

И читатель всерьез задумывается над озорными рассказами о Кинкасе и старом капитане. Что-то, вначале скрытое за блестяще построеным сюжетом и множеством юмористических ситуаций, начинает волновать его и будоражить. К тому же и сам автор в конце книги спрашивает: «Скажите мне, сеньоры, вы, обладающие знаниями и опытом, где же все-таки в конце концов правда, чистая правда?.. В неприглядной действительности, окружающей каждого из нас, или в великой мечте всего человечества?»

Неприглядная действительность в «Старых моряках» — это мир буржуазного мещанства. В этом мире живет скaredное семейство Кинкаса, пуше всего на свете боящееся нарушения правил пошлой благопристойности; в нем живут и обыватели затхло-го провинциального городка Перипери, где «нет ни труда, ни борьбы», где «не знают ни замыслов, ни препятствий, ни любви, ни ненависти, ни надежды, ни отчаяния».

И вот в этот вполне реальный мир, над которым с таким блеском издевается автор, вторгается сила, которая не хочет с ним мириться, — мечта. Это мечта о прекрасном сделала старого Кинкаса бунтарем против черствости, пошлости — даже в гробу он издевательски смеется над фальшью своего «благопристойного» семейства; это мечта приводит его к бескорыстным и добрым портовым бродягам, чем-то напоминающим нам горьковских босяков, и она же овекает романтикой его последнюю — и, может быть, действительную? — смерть в бурных волнах моря.

Море принадлежит к числу любимых образов Жоржи Амаду. Грозная и прекрасная стихия — для него неизменное олицетворение могучего народного начала, вечно бунтующего и обновляющегося. И в книге «Старые моряки» оно воплощает красоту, мужество, мечту. Море, в котором находит свою желанную смерть Кинкас, возвышает над жалкой будничностью и героя второй повести — Васко Москозо де Араган, украшает мечтой тусклую жизнь этого недоучившегося лентяя. И ему, как и Кинкасу, приходится защищать свое право на мечту — ведь пошлая обывательщина с ней несовместима.

Для отставного периперийского чиновника, старого сплетника и сутяги Шико Паше-

ко чудесные выдумки капитана — вздор. Плевал он на таинственные океанские дали, на смертельные схватки с акулами, на пылкие романы с портовыми красотками всех континентов мира, на непонятные приборы:

«— Вы знаете, что такое хронограф, сеньор Шико Пашеко?»

— И знать не хочу... Я вам расскажу пикантную историю о судьбе Питанге, у которого жена родила семерых детей от семи разных отцов Этот король рогоносцев...»

Духовный вождь почтенного сообщества периперийских «пикейных жилетов» — пенсионеров, умирающих от безделья и жажды сплетен, Шико Пашеко уязвлен до глубины души падением своего авторитета, и он объявляет войну ненавистному капитану и всем его фантастическим выдумкам.

Поединок кончается поражением Шико Пашеко, поражением мещанского здравого смысла, торжеством прекрасной мечты.

В «Старых моряках» есть что-то от сказки, от того фольклора, в котором неизменно торжествует добро над злом, красота над уродством, щедрость над скупостью.

Герой сказки смешон, он хвостун, фанфарон — этаким бразильский барон Мюнхгаузен. Но ведь классический образ безудержного вряля не только смешил поколения читателей — была в нем и некая поэзия.

Обаяние сказочности повестей Жоржи Амаду в том, что его мечта необыкновенно проста, если так можно выразиться, демократична, понятна каждому, кто хоть сколько-нибудь наделен человечностью, стремлением к чему-то выходящему за пределы обыденности. Вчитаемся повнимательнее и увидим, что в Васко Москозо де Араган, внуке бакалейщика, были черты, которые выделяли его из среды пошлых буржуа. Он всегда был бескорыстен и чужд накопительству. Он испытывал полнейшее презрение к делам своей торговой фирмы. В мире фантазии он искал ту красоту, которую не видел в действительности. Мечта превращала его то во врача-исцелителя, то в талантливого инженера, то в поустрашимого полководца. Все эти прекрасные мечты окончились в конце концов приобретением за деньги звания капитана и покупкой ордена у его «нищего высочества» короля Португалии.

Жалкое тщеславие, жалкие звания и ордена! Но ведь наш капитан — сын своего общества, и, может быть, не вина его, а несчастье, что по пути к своему воплощению

прекрасная мечта Васко Москозо де Араган так слиняла и опошлится. И с подлинно народным великодушием писатель заставляет судьбу прийти на помощь своему герою. Неистовый ураган, навсегда упрочивший за Васко Москозо де Араган славу великого капитана, — событие, рожденное самой действительностью. Не той обывательской действительностью, дальше которой не может проникнуть взор Шико Пашеко, а настоящей, противоречивой и неожиданной действительностью огромного и тревожного мира. Так в обеих повестях мечта торжествует не вопреки, а благодаря жизни.

«Долго и труден путь, пройденный человечеством, но что заставляет людей взбираться к сияющим вершинам? Повседневные заботы и мелкие интриги или не знающая оков без-

гранично свободная мечта?.. Что движет рукой ученого, когда он нажимает на рычаг, отправляя спутник в бескрайнюю даль, и в небе — в этом предместье Вселенной — возникают новые звезды и новая Луна? Ответьте мне, пожалуйста, в чем правда — в неприглядной действительности... или в великой мечте всего человечества?»

Писатель хочет, чтобы люди, которых он любит, и в которых он верит, и которые так часто, «подобно быку в ярме, сгибаются под игом порядка и законности», отбросили бы свою веру в общепринятые пошлые истины и подумали бы об иных ценностях. Для этого он и сочинил свою озорную, серьезную и очень человечную книгу.

**В. КУТЕЙЩИКОВА.**

★

## НАРОД — ЭТО ЛЮДИ

**Антал Гидаш. Мартон и его друзья. Роман. Перевод с венгерского А. Кун. Стихи в переводе Л. Мартынова. «Молодая гвардия». М. 1963. 455 стр.**

**Антал Гидаш. Другая музыка нужна. Роман. Перевод с венгерского А. Кун. Стихи в переводе Л. Мартынова. «Молодая гвардия». М. 1963. 608 стр.**

**М**алыш Бела, один из героев Гидаша, еще не знал, что на свете есть стихи, но, слушая своего старшего брата Мартона, чувствовал, что среди обычных слов «иногда будто ручеек зажурчал: слова сверкают, обнимаются друг с дружкой».

О многих страницах последних книг Гидаша можно было бы сказать то же самое, если бы я не боялся этим сравнением упростить и обеднить то впечатление, которое они производят.

Серия романов, начатая в тридцатые годы «Господином Фицеком» и продолженная ныне двумя новыми, по обилию и сложному сочетанию различных тем, героев, образов, красок, по чередованию трагизма, гротеска и лирики напоминает симфонию. Именно благодаря этому построению эти романы свободно вобрали в себя и такие события международного масштаба, как первая мировая война и Октябрьская революция, и, казалось бы, сугубо частные судьбы, дающие в целом, однако, замечательно рельефную картину пробуждения народного сознания.

Мастерски создавая массовые народные сцены, Гидаш вместе с тем щедро рисует мысли, чувства, затаенно-интимные переживания своих героев. Они представляются ему вполне достойными стать материалом

социалистического искусства. Ведь революционный художник нисколько не напоминает ретивого стража бюрократической приемной в «Бане» Маяковского — Оптимистенко — с его досадливой присказкой: не суйтесь, мол, со своими мелкими личными делами в крупное государственное учреждение.

Гидаш превосходно понимает и показывает в своих книгах, что история совершается не только на площадях и в торжественных залах: она вызревает в буднях, хотя ход ее бывает до поры так же неощутим, как тиканье часов на стене, незаметно сопровождающее существование миллионов семей.

История литературы и искусства знала художников, которые выказывали явное безучастие к будничной, неприкрашенной жизни масс, отворачивались от них, если те в данный исторический момент не охвачены порывом к действию, не вставали перед ними во весь свой гигантский рост, как пламенная женщина — Франция на знаменитом полотне Делакруа.

Но если так обходились с народами, то с отдельными людьми и вовсе не церемонились. Пусть даже, дескать, народ — творец истории: он пользуется этой «привилегией» исключительно в виде многомиллионного

кворума, а личность как таковая — лишь ничтожное слагаемое, обретающее какое-либо значение только в общей сумме.

Нет, социализм и его искусство не имеют решительно ничего общего с этим взглядом на людей как на своего рода «пшечное мясо» истории.

И так же, как мы мечтаем сделать счастливым каждого трудящегося жителя земли, мы рассматриваем жизнь каждого как полонправный материал искусства, которое не выбирает себе героев с безгливостью лекаря из старого воинского присутствия.

Таковы, как нам кажется, нравственно-философские предпосылки, определившие широкий и пестрый круг лиц, которые действуют в романах Гидаша.

Можно себе представить писателя, для которого неудачливый коммерсант, сапожник Фицек, надломленный бесконечной борьбой за существование, крахом своих многочисленных прожектов и иллюзий, превратился бы в образ, все значение которого исчерпывалось бы узко назидательным толкованием: вот, дескать, какова судьба человека, оказавшегося в стороне от магистральных дорог истории, от борьбы пролетариата и т. д.! И жалкая фигура сего посрамленного «индивидуалиста» только подчеркивала бы силу коллектива. Правда, это было бы уже больше похоже не на искусство, а на некую диаграмму или на фотографию, где люди нужны лишь для сравнения с ними какой-либо махины, — но для нашего воображаемого автора это не имело бы значения.

И насколько вырастает рядом с подобной схемой тот реальный Фицек, которого рисует Гидаш! Это, говоря словами Горького, «мученик истории, мученик тех условий, которые созданы не им, но для него». Мученик без ангельского нимба, мученик, в свою очередь нередко вымещающий нанесенные ему жизнью обиды на жене и детях, — и вместе с тем все больше и больше грогающий наши сердца.

Если он вспоминает разные истории из годов своей юности и ученичества, то «каждая кончается тем, как его, Фери Фицека, лупят». Если в годы войны махровым спекулянтам на подрядах все сходит с рук, то ему, мелкой сошке, исполнявшей для них свою обычную работу — только из негодного материала, приходится побывать в тюрьме.

Возмущенный тем, что офицеры заставляли шить себе башмаки, одежду и целыми сундуками отправляли все это домой, Фицек попытался «открыть глаза начальству» и... угодил в маршевую роту, на фронт. А в конце романа мы видим его покорно отвозящим в тыл накраденное господами офицерами имущество, — может ли быть унижение горше?!

В романах Гидаша многократно фигурирует будапештская улица Конти, бывшая тогда обиталищем проституток. На эту улицу выходит окнами помещение правления социал-демократической партии, где управляют оппортунисты. На эту улицу переселяются некоторые персонажи, разбогатевшие на военных подрядах. Даже военный трибунал, сурово преследующий... мелких жуликов, — тоже на этой улице. Вольно или невольно улица Конти вырастает в романах в символ продажности «респектабельных» буржуа, оппортунистических вожakov, чванлого офицерства.

Этот грязный поток жизни буржуазного общества увлекает к моральному падению и тех, кто сломлен, кто смирился с царящими вокруг волчьими законами. Но, хотя мы и оставляем маленького сапожника «смертельно усталым» от всего пережитого, он не кажется нам раздавленным жизнью. Все побои и испытания, на которые была так щедра его судьба, не вытравили из души Фицека способности к трезвой, по-народному острой и пронизательной оценке событий.

Рассыпанные по романам рассуждения Фицека о том, что приходится ему видеть вокруг, складываются в своеобразный памфлет, направленный против лицемерия власти имущих и их попыток выдать черное за белое. Здоровый народный скептицизм по отношению ко всему, что исходит «из высших сфер» Австро-Венгерского государства, способность уловить фальшь в пышных речах и сопоставить их с неприглядными делами, делают взбалмошного сапожника порой подлинным мудрецом.

Вот, выведенный из себя официозной пресой, которая лживо заверяет, что от народа требуется еще одна, последняя жертва, последнее усилие (чтобы завтра же потребовать от него новых лишений!), Фицек восклицает: «Нет того, чтоб сразу напечатать: «Объявляем войну всем странам, и мобилизации подлежат все от десяти до ста лет». Горькая пилюля, да зато уж сразу. Так

ведь нет!» Вот когда Фицека пытаются утешить, что его невзгоды — дело временное, он горько замечает: «...но мне, прошу прощения, сорок четыре года, и с тех пор, как я помню себя, все только «временно» мучусь». Вот, размышляя о живучести проидох вроде спекулянта Вайды, который умело пристраивается и к аристократам и к «социалистам», Фицек печально говорит собеседнику: «Такой и в воде не тонет и в огне не горит. Всегда найдет себе покровителя. Сыщет кому пятки лизать. (Выразился он, правда, чуть грубей.) Но ежели у покровителя акции понизятся, Вайда тотчас разыщет другого. Этот Вайда, ну точь-в-точь дизентерия, из одного зада в другой заползает».

И как ни смешон, ни нелеп часто Фицек, но улыбка, с которой мы читаем про его выходки, делается все грустней, а в философствовании маленького сапожника все явственней различается трудная работа мысли народа, не желающего жить чужим умом.

Есть в последних романах Гидаша примечательная, хотя и не столь явственная с первого взгляда черта: на некоторые их страницы ложится словно бы отсвет будущего, заставляя нас воспринимать описанное с новой остротой.

Перед нами, например, еще беспечный юноша Мартон — сын Фери Фицека, размышляющий о судьбе Бетховена: «...почему же он не вернулся домой? Я бы обязательно вернулся. Неужели бывает и так, что человек не может обратно вернуться? Непонятно... А дома так хорошо!»

«И мальчик,— пишет автор,— ловил глазами, губами, всем лицом нежные лучи осеннего солнца, бредя почти в полудреме, полузакрыв глаза, по проспекту Ракоци».

Для читателя, хотя бы из авторского предисловия знающего, что книга в значительной мере автобиографична, что сам Гидаш провел долгие годы вдали от родины, становится ощутимой шемшая горечь, которая таится в подтексте этого отрывка.

«Кто знает, может, и тебя не будет рядом, когда я умру...» — говорит мать Мартону. И в памяти возникают стихи Гидаша:

...бросили в Дунай убитого отца,  
и тщетная гнетет меня забота,  
чтоб не кружила голову его  
в душе моей волна водоворота.  
На дно, на дно уходит мать моя,

в глазах ее  
последний образ —  
я.

И какой трагический смысл сквозит, если вспомнить эти стихи, в последнем разговоре Фицека с другим, младшим сыном Пиштой. Тот убеждает отца в необходимости присоединиться к борцам против войны:

«— Даже... даже снег, когда выглядывает солнце... начинает таять... и находит дорогу к Дунаю... Папа, вы понимаете, что я хочу сказать?»

— Однажды вот и я найду дорогу к Дунаю,— отвечает сыну измученный солдат первой мировой войны, которому суждено еще пережить хортистский террор и быть убитым фашистами.

Судя по всему, что мы уже узнали про Фицека, можно утверждать: будущий фашизм не обманет его своей барабанной трескотней, самохвальством, призывами подтянуть животы ради «Великой Венгрии» и выполнения ее «исторической задачи». И если даже наш герой не найдет прямого пути к тем, кто активно сражался с фашизмом, он «найдет свой путь к Дунаю» — в том смысле слова, который имел в виду Пишта. Он будет сопротивляться фашистам всем своим существом — пусть смешно, по-донкихотски, внезапно выпаливая им в лицо горькую правду. Огорошил же он следователя наблюдением, что «люди стали такие дисциплинированные, что от Христа отрекаться и то в очередь становятся. И даже спросят: «Кто последний?»»

Мы говорили о симфоничности прозы Гидаша. И если музыкальная тема Фицека выражена резкими диссонансами, то его жена Берта охарактеризована лирически мягко.

Женщин, чья жизнь проходит в неустанном труде и заботах, Гидаш вообще описывает с особой нежностью, какую бы эпизодическую роль ни выполняли они в общем замысле романов. Даже Илонка — юношеская любовь Мартона — во многом проигрывает рядом с ними. Она прелестна, когда, как картина, возникает в рамке дверей перед героем, приглашенным к ней репетитором. Очаровательна, ведя с ним свою первую кокетливую любовную игру, «точно птичка в ветвях, заслышав призывную песню». Трогательна, когда прячет под кофточку первое письмо Мартона и краснеет, когда острый уголок конверта «нежно кольнул ее в грудь». Гидаш далек от того, что-

бы сводить «классовые счеты» с первой привязанностью своего героя, неповинной в том, что выросла в кастово-замкнутой среде. По-своему она — тоже жертва, потому что больно читать о том поругании ее чистой любви, на которое пошли родные Илонки, подвергнув девушку унижительному медицинскому осмотру.

Нежная и чуточку бесплотная прелесть Илонки оттеняет ту животную тягу к наслаждению, которая глеет под покровом буржуазного семейного уюта. А сквозь ранние морщины женщин рабочих предместий часто проступает подлинная женственность, готовность к большому чувству, стыдливое, робкое желание получить свою долю счастья. Может быть, одни из самых грустных страниц посвящены переживаниям рано овдовевшей госпожи Чики, вызвавшей мимолетный страстный порыв у юного Пишты Фицека: «Утром она проснулась в каком-то дурмане. Оделась. Поглядела в зеркало и долго причесывалась. Из зеркала ей улыбалась совсем молодая женщина. А после обеда явился Пишта и робко спросил:

— Вы сердитесь на меня?

— Нет,— ответила она, вся трепеща.

— Спасибо,— по-детски сказал Пишта.— Большое спасибо...— повторил он.— Я больше никогда не буду. Вот ей-богу!.. Только простите меня, пожалуйста...

— Прощаю, сынок,— внезапно постарев, грустно промолвила г-жа Чики».

Так снова прячется солнце, на миг озарившее темную каморку...

Но особенно прекрасны у Гидаша женщины-матери. Жена рабочего-социалиста Пюнкешти показывает гостям своих детей, «застенчиво улыбаясь... так куст показывает свои цветы». Так же поэтически обрисована и Берта Фицек, когда она по воскресеньям сидит среди детей, «словно летняя луна среди звезд на безоблачном небе, вся озаренная сиянием». Еще в первом романе — «Господине Фицеке» — Гидаш описал ее руки, натруженные работой, теперь он часто и любовно изображает ее за будничными занятиями, неслышным аккомпанементом к которым текут нескончаемые материнские думы о детях, о ждущей их судьбе.

Конечно, предназначенная трудящимся в буржуазном обществе участь мнет, ломает, обезчеловечивает тысячи и тысячи людей. Есть такие судьбы и в романах Гидаша, и все же со страниц этих книг возникает на редкость обаятельный образ народа, таяще-

го в себе большие подспудные силы и не смирившегося с той грязью, в которую его ввергают правители.

Полна высокого смысла сцена «малых проводов» рекрут, когда после «традиционного» времяпрепровождения у проституток («большие провода») смущенные парни коротают свой последний вечер в рабочей семье Мартонфи и словно очищаются в этой атмосфере горделивой бедности, трогательной девической красоты, непринужденного веселья.

И словно напоминание о чем-то серьезном и важном, как преддверье чего-то еще недоступного юным героям, сидит в кругу пирующих дряхлый старик Мартонфи, помнящий времена революции 1848 года.

Традиции той славной поры в предвоенной Венгрии вроде бы и напoказ выставлялись, и в то же время из них было выхолощено всякое революционное содержание. «Коней Шандора Петефи, мчавшихся к торжеству мировой свободы, ободрали собачники из министерства просвещения,— рассказывает автор про атмосферу школы, где учился Мартон.— Шкуры их набили соломой, а чучела выставили на всеобщее обозрение с надписью: «Те самые». Только для цитат лежит томик Петефи и в кабинете оппортунистического «вождя» Гезы Шниттера.

Как подлинный реалист, Гидаш не делает из Мартонфи условно романтическую фигуру. Житейские черты старческой немощи переплетаются в портрете Мартонфи с приметами, говорящими о беспомощности этого могиканина прежней революции перед новой, неизмеримо усложнившейся действительностью. «Настоящее не задерживалось у него в голове, выпадало, словно незнакомый инструмент из одряхлевших рук», а память его напоминала Мартону копилку, не принимающую новых монет.

Но недаром у Мартона мелькает мысль, что кое-какие «монеты» стариковского опыта, «может... попадут еще когда-нибудь в обращение». Ведь в рабочем движении Венгрии в канун первой мировой войны были еще в ходу фальшивые мнимо-социалистические ассигнации оппортунизма. По сравнению с трусливой идеологией оппортунистов Мартонфи олицетворяет собой иной, активный, революционный принцип действия.

В изображении предателей рабочих интересов — всех этих шниттеров, селешей, доминицей — Гидаш часто пользуется гротес-



ковыми приемами. Символично выглядит, например, сцена, когда Доминич, чтобы не раздражать соседа, тихонько репетирует «грозную» речь:

«— Пусть лучше правительство отменит свой указ, иначе мы не ручаемся за себя,— шептал Доминич.—...Ради этого, коли понадобится, мы даже на небольшую революцию согласны пойти! Вспомните двадцать третьего мая,— прохрипел он тихо,— кровавый четверг, когда пролетариат Будапешта на баррикадах...»

Он замолк внезапно и, снизив голос, сказав с отчаяньем.

— Чтоб его молнией сразило! Шепотом угрожать... Тут ни силы, ни...»

Да, оппортунисты, как они ни ораторствуют, могут только «шепотом угрожать» правительству: ведь они сами мечтают в него войти, оно охраняет их дурно пахнущие коммерческие затеи (разумеется, в обмен на «небольшие услуги»).

Социалистическая терминология все больше становится для них камуфляжем, чистой условностью, удобным способом выражаться. На самом же деле они хотели бы, чтобы народ был всегда подобен смиренной лошадке, на которой можно усесться верхом, и побаиваются, как бы он не проявил своей собственной воли. В страхе глядит президиум социал-демократического собрания на зал, на своих «товарищей» по партии, прикидывая, как встретят они весть о войне, удастся ли удержать их от революционных выступлений и заставить сунуть шею в военный хомут. Мастерам демагогии и обмана, им и на этот раз удастся провести рабочую массу, сделать ее беззащитной добычей шовинистического разгула.

Резкими экспрессивными мазками рисует Гидаш картины страшного отрезвления, ожидавшего обманутый народ.

Проводы одного из венгерских батальонов на фронт напоминают не то погребение заживо, не то мучительную казнь невинных людей. Раздается команда «на молитву»: «Толпа родных смотрела, как, словно под кошенными, падают на колени их отцы и мужья... в багровом сиянии закатного солнца над головами солдат, преклонивших колени, сверкали шестьсот штыков, как шестьсот немилосердных похоронных свечей... Казалось, хоронят живых людей, а родные смотри вот на это». А когда батальон, несмотря на отчаянную попытку толпы помешать отправке, все-таки

погрузили в вагоны, «стражники грузовой станции быстро — так выбивают табурет из-под ног повешенного — отбросили от вагонов приставленные к ним ребристые деревянные мостки».

(Пользуемся случаем отметить про это высокое качество перевода, который отчетливо доносит до русского читателя своеобразие авторского стиля.)

Разными путями идут герои Гидаша к заключению, что в жизни «другая музыка нужна». Наиболее подробно изображены перипетии развития сына Фицека — Мартона. Война застала его в ту пору, когда в подростке «всколыхнулось что-то и желает явиться на свет». Это впервые пришедшее ощущение своих сил, метания в поисках, куда бы их приложить, составляют резкий контраст с окружающей действительностью. Жадно тянувшийся к радости, счастью, любви, красоте, Мартон порой как бы досадливо отворачивается от того, что противоречит его радужным надеждам. Даже все новые и новые подножки, которые дает ему жизнь, не отрезвляют Мартона.

Его стихи против тыловых хищников возбуждают ярость школьного начальства. Его мечты стать композитором наталкиваются на непреодолимые препятствия. Как грозное предостережение о судьбе искусства, которое, как и все в буржуазном обществе, продается и покупается, предстает перед ним магазин музыкальных инструментов: «...блатаются связки гитар, словно дичь в мясных лавках: полдюжины, дюжина на связку... словно мелкая рыбешка, набросанная кучей на берегу, блестя... губные гармошки».

Как будто кто-то бессмысленно и жадно присвоил все это и захочет — обречет музыку на молчание, смилуется — даст ей немного порезвиться. Зато по велению хозяев всю гремит медь военных оркестров, которые в изобилии породила война. «...Новорожденные, — пишет Гидаш, — подняли такой крик, что все кругом чуть не оглохли». И хотя в этой фразе речь идет лишь об одном затеянном в Будапеште празднестве, она, как это часто случается в романах Гидаша, приобретает более широкий смысл и по-своему подготавливает читателя к восприятию мыслей Мартона о том, что и ему, как человеку и творцу, и всем людям, народу нужна другая музыка — и в жизни и в искусстве.

Мы расстаемся с Мартоном и другими героями книги в ту пору, когда с прежней

жизни, по выражению автора, как с рассыпанной бочки, слетали все новые и новые обручи. И хотя вокруг еще хватало «бондарей» вроде того же Хорти, стремившихся заново опоясать ее скрепами из железа и крови, в мире уже возникло первое социалистическое государство. Воплощались в жизнь, стремились обрести плоть мечты лучших сыновей народа о такой жизни, где бы нашли применение и простор его многообразные черты, а вернее — индивидуальные силы, склонности, свойства составляющих его людей.

Герои Гидаша часто влачили по внешности однообразное существование на бедных

улицах, где дома, «словно воробьи, все как-то грустно походили друг на друга». И все-таки крутая жизнь не смогла превратить их в однообразную человеческую гальку, — окидывая их прощальным взглядом, мы видим перед собою множество резко очерченных лиц со своими характерами и судьбами.

Социалистическое искусство, социалистическая литература навсегда избрали своим героем народ в его подлинном обличье — в живой конкретности индивидуальных, дорогих нам человеческих судеб.

Этому герою и посвящены романы Антала Гидаша.

**А. ТУРКОВ.**

★

## ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

**В. Шкловский. Лев Толстой. Издательство «Молодая гвардия». М. 1963. 864 стр.**

По-разному можно писать об этой книге. Вероятно, надо как-то соотносить ее с достижениями литературоведческой науки, с книгами о Толстом и прежде всего с трудами Б. М. Эйхенбаума, памяти которого она посвящена.

Книга вышла в серии «Жизнь замечательных людей». По-видимому, это обязывает рецензента поставить ее в один ряд с другими книгами той же серии, такими разными, не похожими одна на другую даже по жанровым признакам.

Кроме того, не мешает выяснить, какое место новая книга В. Шкловского занимает в ряду других его книг. Творчество Л. Н. Толстого составляет область многолетних специальных интересов автора. Достаточно напомнить, что первая его книга о Толстом («Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир») вышла тридцать шесть лет назад, что именно с изучением стиля Толстого было связано создание известной «теории остранения», что анализ прозы Толстого занимает огромное место в последних книгах В. Шкловского — «Заметки о прозе русских классиков» (1955), «Художественная проза. Размышления и разборы» (1961).

Наконец нелишним был бы и разговор о своеобразном жанре романа-биографии — о жанре, в котором В. Шкловский выступает тоже не впервые. (Он автор книг об Андрее Бологове, о Марко Поло, о художнике Федотове.)

По-видимому, самой идеальной рецензией на книгу В. Шкловского о Толстом была бы рецензия, в которой все эти соображения были бы так или иначе приняты во внимание.

Но я хочу написать об этой книге просто, как о книге, которую прочел с большим интересом. Я буду говорить не о труде исследователя и биографа, а о книге художника, какой она является по преимуществу.

Однажды (почти четверть века назад), отзываясь об исследовании одного советского литературоведа, В. Шкловский заметил: «Статья... о Маяковском в Бутырьках — хорошая статья. Собран материал. Конечно, надо было бы зайти в сто третью камеру, посмотреть, что видел Маяковский из окна».

Эта фраза — ключ к пониманию своеобразия книги В. Шкловского о Толстом.

Рассматривая эту книгу как труд исследователя, опирающегося на документы, можно было бы отметить и произвольное истолкование фактов, и прямые фактические неточности. Но это прежде всего книга человека, одержимого постоянным стремлением увидеть то, что Толстой мог видеть из своего окна. Причем увидеть если и не глазами самого Толстого, то во всяком случае глазами его современника — человека той эпохи.

Это «чувство современника» дает человеку знание того, что невозможно почерпнуть из любых иных источников. Ве-

роятно, это знание — самое важное из всех знаний, необходимых художнику. И оно ничем не восполнимо. Отсутствие его не может быть компенсировано самой основательной эрудицией, самым doskonaльным изучением материалов.

Кроме чисто художнического проникновения в атмосферу далекой эпохи, Шкловскому, вероятно, очень помогало то, что он еще застал время, когда Толстой был жив. Он помнит, как выглядели тогда и чем пахли московские улицы. И даже эпоха создания «Анны Карениной» для него тоже не совсем история, потому что он еще застал людей, которые читали «Анну Каренину» не в издании Сытина или Павленкова, а в только что вышедшей книжке «Русского вестника», и ему легко представить себе, как все это было и какие тогда вокруг этого были разговоры...

Это «чувство современника» обусловило не только интонацию, стилистику книги В. Шкловского, но и самые существенные ее структурные особенности.

Характер книги, художественная установка автора определяются сразу, с самой первой страницы, с названия первой главы: «О зеленом диване, который потом был обит черной клеенкой».

«Зеленый диван» — это диван, на котором в августе 1828 года родился Л. Н. Толстой — четвертый сын Николая Ильича Толстого и Марии Николаевны Толстой, урожденной княжны Волконской.

Диван описан так:

«Он на восьми ножках, с тремя ящиками, спинки нет — вместо нее три подушки, боковники мягкие, выгнутые; в боковых стенках дивана выдвижные доски, чтобы можно было положить книгу.

Это удобная домашняя мебель, построенная из дуба, вероятно, домашними столярами. В старые времена диван был кожаный, а теперь он обит черной клеенкой; сделано это в мае 1907 года.

В доме Толстого хозяйство вела Софья Андреевна, любившая порядок, но не считавшая, что вещи должны оставаться в том виде, в каком они созданы, особенно если эти вещи любят.

Из всех вещей в доме Лев Николаевич любил, вероятно, больше всего кожаный диван. Этот диван должен был быть плотом, на котором от рождения до смерти хотел плыть через жизнь Лев Николаевич

Толстой. В ящиках дивана лежали те рукописи, которые он хотел сберечь от перелистывания, рассматривания близкими, но слишком беспокойными людьми...»

Меньше всего это описание похоже на рассказ историка, восстанавливающего факты по документам. По интонации это скорее мемуары, воспоминания человека, успевшего сжиться и с этими вещами, и с некогда жившими здесь людьми.

Единственным еле заметным штрихом автор время от времени дает понять, что это все-таки не совсем воспоминания: «...построенная, вероятно, домашними столярами...» «...любил, вероятно, больше всего...»

Это словечко («вероятно») мы встретим в книге не однажды.

Только на 841-й странице книги эта интонация «как бы воспоминаний» окончательно уступает место самым откровенным и ничем не замаскированным воспоминаниям.

«Я был тогда семнадцатилетним юношей. Пришел на Невский...

Был день солнечный. Демонстрация пришла со знаменами против смертной казни. Много было рабочих — в прямых, ненарядных пальто. Светило солнце, и неспрашно одетая слитная толпа наполнила Невский от Знамени до Адмиралтейства. Над народом, как пробковые, торчали конные жандармы с прямыми, белыми, жесткими волосьями метелками. Они металась в толпе, стараясь отогнать ее в сторону».

Так написана эта книга. Таков способ повествования, избранный автором.

Важен ли он для достижения того результата, к которому автор стремится? Рожден ли способ повествования внутренней, художественной необходимостью или он потребовался автору просто для «легкости изложения»?

В самом деле, ведь книга Шкловского все-таки не роман. Так ли уж нам важно знать, что в ту пору, когда Лев Николаевич отправлялся на Кавказ, книги имели обыкновение упаковывать в лубяные короба? Или что диван, на котором он родился, был сначала обит зеленым сафьяном, а потом обит заново черной клеенкой? Или что рабочие в толпе демонстрантов 1910 года были «в прямых, ненарядных пальто»?

Важны ли для биографа, для автора серьезной монографической работы все эти сугубо художественные подробности, разбросанные буквально на каждой странице?

Я думаю, что важны. Более того — необходимы.

Один старый русский поэт рассказывал о странном чувстве, которое возникло у него однажды, когда он слушал лекцию весьма знающего специалиста о символизме. Все было правильно в этой лекции. И все-таки что-то мешало поэту воспринять картину, нарисованную лектором, как совершенно правдивую, точно и достоверно отражающую предмет. Наконец он понял, чего ему не доставало. Он — современник символизма — помнил атмосферу этой «планеты». Солнечные лучи преломлялись в этой «атмосфере» иначе, и оттого очертания всех предметов в ней были иными, не такими, какими они казались ученому-лектору.

Писатель, собравшийся рассказать о временах давно прошедших, обязан учитывать особую атмосферу той далекой жизни.

Не сумев восстановить, передать читателю ощущение этой атмосферы, он может не только деформировать очертания всех предметов, но и поневоле исказить основной предмет повествования.

Основной предмет повествования в книге В. Шкловского — жизнь Льва Николаевича Толстого. Тут, казалось бы, не может быть особых разногласий. Между тем сразу же возникают две диаметрально противоположные точки зрения.

Первая. Жизнь Л. Н. Толстого не интересна для биографа. Она целиком укладывается в классическую формулу: «Жил и работал». (То ли дело драматическая, насыщенная необыкновенными событиями жизнь Вийона, Сервантеса, даже Байрона.)

Вторая точка зрения. Жизнь Л. Н. Толстого представляет поистине ни с чем не сравнимый интерес для биографа. Это едва ли не самая бурная из всех человеческих трагедий. История этой жизни уже сама по себе являет совершенно законченный, внутренне необыкновенно драматичный художественный сюжет.

Два эти взгляда столь явно несовместимы, что невольно напрашивается вывод: по-видимому, речь идет не о двух различных отношениях к одному и тому же предмету, а просто о двух совершенно разных предметах.

Как совместить эти два «предмета повествования», как объединить их в одном художественном сюжете?

В художественном методе самого Толстого ищет В. Шкловский ключ к решению своей задачи.

Обыкновенную жизнь, в которой не было ни дуэлей, как у Пушкина и Лермонтова, ни каторги, как у Достоевского, ни ссылки и эмиграции, как у Герцена, — обыкновенную, долгую и по внешности очень благополучную жизнь В. Шкловский пытается увидеть заново, и вдруг оказывается, что эта удивительно полная и счастливая жизнь была на самом деле «самая ужасная», как говорит Толстой о герое повести «Смерть Ивана Ильича». Оказывается, она была куда более мучительна и ужасна, чем жизнь Ивана Ильича. Но самое удивительное, самое парадоксальное то, что эта жизнь была чревата трагедией буквально с первого пробуждения личности, с очень раннего, смутного и неясного осознания себя.

«Толстой, — пишет В. Шкловский, — обладал беспощадной, всевосстанавливающей памятью; помнил то, что никто из нас вспомнить не может...» И далее он приводит отрывок из воспоминаний Льва Николаевича, самое начало этих воспоминаний, в котором зафиксирована почти немислимая для человека память Толстого о собственном младенчестве:

«Вот первые мои воспоминания... Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться... Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирали руки, или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страдания, но сложность, противуречивость впечатлений. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня. И я, кому все нужно, я слаб, а они сильны».

В этом воспоминании, в этом гениальном анализе самых ранних, самых смутных и неясных младенческих ощущений В. Шкловский видит как бы прообраз всей будущей жизни Толстого.

Сославшись на то, что самым первым жизненным впечатлением Толстого был

крик его о напрасном лишении свободы. Шкловский раздвигает границы образа, от «крупного плана» переходит к «панораме», сквозь призму этого младенческого неприятия «свивальников» он оглядывает и постигает всю эту долгую, огромную жизнь.

Так сразу, с самых первых страниц входит в книгу Шкловского основная ее коллизия.

Его герой — человек, обладающий удивительными, поистине необыкновенными данными для счастья, для самого яркого и полноценного человеческого существования. Он не только обладает всеми внешними атрибутами, свидетельствующими о пребывании на самой вершине счастья, доступного человеку — знатностью, славой, богатством. Он еще к тому же необычайно щедро наделен способностью всеми клетками своего организма (физического и духовного) ощущать первоначальную радость бытия. Наконец более, чем кто-либо из представителей рода человеческого, он имеет право на сознание глубокой осмысленности, разумности своей жизни. Перед нами человек, созданный для счастья, в самом полном и точном смысле этих слов. И вот этот человек не может, не умеет быть счастливым. Более того, он глубоко, трагически несчастлив.

Он несчастлив так же, как несчастлив Иван Ильич, умирающий с сознанием бессмысленно и пошло прожитой жизни.

«Иван Ильич умер в то время,— пишет В. Шкловский,— когда он устраивал свою квартиру, бегал покупать вещи, радовался, что у него квартира, как у всех; у него была дочь, которую он хотел выдать замуж, и сын — гимназист с синяками под глазами, происхождение которых Иван Ильич знал, и полная жена, и слуги. Но жизнь была бессмысленна, и бессмысленность этой жизни была очень похожа на бессмысленность жизни в доме № 15 по Долго-Хамовническому переулку».

Аналогия эта кажется странной.

Ведь жизнь Ивана Ильича бессмысленна на самом деле. Бессмысленна и ничтожна. А жизнь Льва Николаевича Толстого исполнена высочайшего смысла. Это самая прекрасная, самая осмысленная жизнь, какая вообще доступна человеку.

Почему же он ощущает ее как бессмысленную и «самую ужасную»?

...Не только Толстой, многие великие художники, желая понять и выразить себя,

свои сомнения, свою духовную драму, создавали художественный образ, во многом напоминающий автопортрет. Вернее даже, не во многом, а почти во всем, за вычетом только одного — главного содержания их жизни, писательства.

Вероятно, это делалось для того, чтобы исследовать драму обыкновенного человека, устранив все исключительное, так сказать, из ряда вон выходящее.

«Умение видеть мир,— пишет Шкловский о Толстом,— привело его к отрицанию обычного понимания... Мир распадается так, как распался он на куски перед глазами едущей на смерть Анны Карениной. Он распадается потому, что он мертв и склеен только ложью».

Для человека, увидевшего, что мир, в котором он живет, мертв и склеен только ложью, еще не все потеряно. Он может заставить других людей увидеть то, что открылось ему, снимать покровы, скрывающие от невнимательных глаз сущность предметов. Писательство — выход из самого безнадежного положения.

Но этого выхода не было у Толстого. Этим он отличался от всех других писателей, когда-либо бравшихся за перо.

Один из величайших художников, каких знало человечество за всю свою долгую историю, он отрицает искусство. Для него писательство, даже настоящее, подлинное, граничащее с подвижничеством, не может быть той ценой, уплатив которую он может купить себе право на счастье в этом мире, право считать свою жизнь не бессмысленной, не бесцельной.

«Мне смешно вспомнить,— пишет Толстой в одном из своих писем.— как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзья... Все равно, как нельзья, не двигаясь, не делая мюциона, быть здоровым. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

Нельзя отгородиться. Даже писательство не может быть замкнутым мирком честности в мире подлости и лжи Любые перегородки окажутся проницаемыми.

Но хотя бы вот так, хотя бы ценой вот такого ежедневного подвижничества, можно купить себе право если не на счастье, то на самоуважение?

Может быть, другой бы и смог. А он не может. В один миг он готов перечеркнуть все, что было накоплено им и его учениками, готов счесть заблуждением то, что строилось и создавалось долгие годы:

«Удаление в общину, община, поддержка ее в чистоте, все это — грех, ошибка. Нельзя очиститься одному или одним — чиститься, так вместе; отделить себя, чтобы не грязниться, есть величайшая нечистота, вроде чистоты дамской, добываемой трудами других. Это все равно, как чистить пилу копать с края, где уже чисто».

Это говорит пророк и основоположник новой религии, написавшей на своих скрижалях заповеди нравственного самоусовершенствования и чистоты!

То, что вчера казалось ему единственным спасением, сегодня отбрасывается как ошибка. И он опять начинает с самого начала, чтобы с трудом обрести для себя новую спасительную пристань, а назавтра опять все потерять.

Он отрицает мир, в котором живет. Отрицает все его устои и основания. Но, отрицая его, он не может от него освободиться, не может осознать себя существующим отдельно от этого мира.

Постоянно чувствовать свою нерасторжимую связь с этим миром, свою зависимость от него — ему нестерпимо и мучительно. А не ощущать ее он тоже не может.

В 1908 году, когда Толстой выступил в своей знаменитой статье «Не могу молчать!» против массовых казней, ему было восемьдесят лет. Он был не только в постоянной оппозиции к правительству. По меткому выражению Суворина, он был тем единственным человеком, одно слово которого могло поколебать и на протяжении многих лет колебало трон Николая II. Он был отлучен от православной церкви, и каждый год по всем русским церквям ему возглашали анафему. Казалось бы, больше, чем кто другой, он мог ощущать полную свою непричастность к любым действиям тогдашнего правительства России. Но, как ни странно, статья «Не могу молчать!» всецело рождена и от начала до конца проникнута трагическим сознанием именно своей причастности к тому, что совершается. Он пишет:

«Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду».

Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России, и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надеди на меня, так же, как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю».

Его ужасает не нравственная причастность, а социальная связь его с этим обществом, так защищающим себя (и следовательно, его тоже) от тех, кто себя этому обществу противопоставил. Если он не в тюрьме, если он не с теми, кому на шею надевают намыленные петли, — значит, все эти ужасы совершаются и для него тоже.

Трагическое одиночество Толстого в книге Шкловского подчеркнуто тем, что окружающим он кажется ясным, спокойным, отлично знающим, куда идти и чего желать. В этом нет ни малейшего преувеличения. Временами он казался таким даже Горькому.

«В Ясной, — вспоминал Алексей Максимович, — он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, — человеком решенных вопросов».

Книга Шкловского написана о другом Толстом. Она рассказывает о человеке, который всю жизнь до последнего дыхания оставался человеком «нерешенных вопросов», сомневающимся, ищущим.

...Уже несколько лет у меня из головы не выходит фраза, попавшаяся мне на глаза в одном романе. Герой этого романа читал предисловие к однотомнику какого-то классика. В предисловии говорилось, что в эпоху реакции великий писатель не видел выхода... Тут и следовала эта фраза, поразившая меня своей умной и злой иронией: «Чувствовалось, что автор предисловия видит выход...»

Эта интонация самоуверенного превосходства, свойственная не только авторам предисловий, смешна даже в тех случаях, когда она относится к великому человеку, действи-

тельно ограниченному заблуждениями своего времени. Применительно к Толстому она особенно нелепа.

Сам Толстой весьма скептически относился к возможности написать биографию писателя. «Биограф знает писателя и описывает его! — пишет он с нескрываемой иронией. — Да я и сам не знаю себя, понятия не имею. Во всю длинную жизнь свою только изредка кое-что из меня виднелось мне».

В. Шкловский написал не просто биогра-

фию — биографию души Л. Н. Толстого. Он сумел это сделать по многим причинам. Но главным образом потому, что трагедия Толстого, его нравственные поиски, его метания — вся эта напряженная, огромная духовная жизнь ни на мгновение не воспринималась им лишь как факт «истории литературы». Немало этому способствовало и то «чувство современника», о котором я говорил в начале статьи.

Б. САРНОВ.

★

### Политика и наука

## ЛЕНИН И ВОЕННАЯ НАУКА

**Н. Н. Азовцев.** Военные вопросы в трудах В. И. Ленина. Аннотированный указатель произведений и высказываний В. И. Ленина по важнейшим вопросам войны, армии и военной науки. Воениздат. М. 1964. 340 стр.

**Н**а полке или на рабочем столе каждого, кто серьезно интересуется вопросами войны и мира, эта книга займет или уже заняла свое место рядом со справочными томами к произведениям Ленина, словарями и другими подобными изданиями.

Среди множества разнообразных проблем, разработанных Лениным, важное место занимает все, что связано с войной. Владимир Ильич глубоко исследовал источники и причины войн, их классовый характер, раскрыл политическую сущность войны как продолжения политики господствующих классов насильственными средствами, определил империалистический характер первой мировой войны.

Для В. И. Ленина нег войны как бедствия «вообще». Он делит войны в зависимости от их классового содержания и подлинных целей на справедливые и несправедливые. «Есть война и война, — писал Ленин. — Есть война — авантюра, удовлетворяющая интересы династии, аппетиты грабительской шайки, цели героев капиталистической наживы. Есть война — и эта единственная законная война в капиталистическом обществе — против угнетателей и поработителей народа». Отсюда и отношение к войнам: решительная борьба против несправедливых, реакционных, империалистических войн и поддержка войн справедливых, освободительных.

В. И. Ленин со свойственной ему после-

довательностью изучал все аспекты соотношения войны и социалистической революции. Простой перечень его основных работ показывает, как он охватывал одну за другой стороны этой большой проблемы: «Войско и революция» (1905), «Армия и народ» (1906), «Война и российская социал-демократия» (1914), «Социализм и война» (1915), «Военная программа пролетарской революции» (1916), «Война и революция» (1917). Ленин увидел раньше всех, что первая мировая война с объективной неизбежностью должна была чрезвычайно ускорить и невиданно обострить классовую борьбу пролетариата против буржуазии, ослабить звенья цепи империализма, способствовать свержению царизма и буржуазии. Историческое развитие пошло именно так, как предсказывал Ленин.

Перу Владимира Ильича принадлежит много работ, освещавших пути и способы строительства рабоче-крестьянской армии для защиты победившей революции, а ведь известно, что до Ленина этот вопрос даже не ставился. Ленин решал практические задачи использования новой армии в борьбе против иностранной интервенции и внутренней контрреволюции. Под его непосредственным руководством молодая армия Страны Советов одержала исторические победы над многочисленными врагами первого в мире пролетарского государства

Огромны заслуги В. И. Ленина и в раз-

витии советской военной науки, военного искусства, в разработке основ военной доктрины нашего государства. Идеи, мысли, определения, замечания по военным вопросам мы находим и в специальных работах, и в трудах, посвященных другим проблемам. Они, как самородки драгоценных металлов, вкраплены в ткань многих произведений.

В прошлом было немало попыток составить всеобъемлющий указатель произведений и высказываний Ленина по военным проблемам. Такие библиографии выпускались, например, в 1934 и в 1956 годах. Библиотеки военных академий, военные кафедры, политические органы Советской Армии также делали попытки самостоятельно составить подобные пособия для изучающих марксистско-ленинское учение о войне и армии. Но, как правило, эти издания были неполными. Даже предметный указатель справочного тома к четвертому изданию Сочинений В. И. Ленина уже не может полностью удовлетворить потребности исследователей, поскольку стали известны новые произведения, которые не вошли в четвертое издание Сочинений.

Вот почему рецензируемая работа приобретает особый интерес. В ней сделана попытка дать максимально полный указатель всех известных ленинских произведений и документов, в которых освещаются военные проблемы. Кроме работ, вошедших в четвертое издание Сочинений Ленина, автор дает ссылки на «Ленинские сборники», на «Военную переписку (1917—1920)», на сборники документов из истории гражданской войны, на «Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства».

Кроме того, дана библиография вышедшей в последние годы литературы, посвященной В. И. Ленину как военному деятелю, приведены документы Коммунистической партии и выступления товарища Н. С. Хрущева, в которых военное наследие Владимира Ильича получило дальнейшее творческое развитие.

Книга Н. Н. Азовцева облегчает читателю поиск нужных идей, служит компасом в обширном море ленинского теоретического богатства.

Автор начисто отмечает бытовавшее в годы культа личности и распространявшееся Сталиным утверждение, будто Ленин сам не изучал военное дело досконально, а перекладывал заботу об этом на других, считая,

что ему изучением военных вопросов якобы уже поздно заниматься.

Решительно покончив с культом личности, Коммунистическая партия помогла нашему народу еще глубже и полнее узнать ленинское теоретическое наследство — в том числе и в области военного дела. Этому служит и рецензируемая книга.

Однако эта хорошая, полезная книга, создание которой потребовало большого и скрупулезного труда, могла бы быть более удобной для пользования, более полной. Конечно, на всех угодить невозможно, но стремиться удовлетворить запросы основных групп читателей, на которых рассчитана книга, надо. Почему-то в указателе обойдены военно-исторические вопросы. Представьте, что вам, изучающему историю, необходимо познакомиться, скажем, с ленинской оценкой русско-японской войны. Вы верите, что автор указателя не мог не привести высказывания Ленина об этой войне. Ведь некоторые главы и разделы указателя начинаются с выдержек из работы Ленина «Падение Порт-Артура». Но в оглавлении книги нет военно-исторического раздела, и поэтому поиск нужных материалов затруднен.

Некоторые военно-исторические вопросы совсем упущены. Известно, например, что В. И. Ленин в статье «Под чужим флагом» дает общую характеристику русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Однако к этой статье в указателе почему-то нет аннотации. Что же касается статьи «О сепаратном мире», в которой также говорится о русско-турецкой войне, то в указателе эта статья вообще не упоминается.

Указывая несколько раз одну и ту же работу в различных главах, автор не всегда выделяет, подчеркивает то специфическое, ради чего работа упоминается в данной главе. По существу такие аннотации просто повторяют друг друга. О работе «Военная программа пролетарской революции» говорится и на странице 51, и на странице 60. В первом случае приводится цитата, во втором — почти те же слова, но без кавычек. Еще дважды говорится об этом выдающемся труде, однако некоторые важные стороны его содержания так и остаются неотмеченными: о возможности национальных войн при империализме, о милитаризме, об обезоруживании буржуазии как условии разоружения...

Неполна по содержанию (не по объему) аннотация на сборник документов «КПСС о



Вооруженных Силах Советского Союза», изданный в 1958 году. В ней автор ни словом не обмолвился об октябрьском (1957) Пленуме ЦК КПСС, который сыграл огромную роль в ликвидации последствий культа личности в советском военном строительстве. А ведь сам сборник вышел как своеобразный отклик на решения этого Пленума.

В указателе приводятся выписки и заметки В. И. Ленина при чтении книги Клаузевица «О войне и ведении войн». Это хорошо, потому что «Ленинский сборник» XII, где опубликован конспект Ленина, стал редкостью. Указатель побуждает еще раз обратиться к заметкам Ленина, понять ход его мысли. Но аннотации и ссылки иногда очень общи, неполны, а поэтому не дают правильного представления о ленинском критическом анализе труда буржуазного историка. Известно, что Ленин высоко ценил Клаузевица прежде всего за правильное понимание политической сущности войны. В указателе приводятся замечания В. И. Ленина

при чтении Клаузевица: «Война = часть целого», «это целое = «политика» (стр. 48).

Такое аннотирование, однако, не раскрывает различия в понимании политики Лениным и Клаузевицем. А различие это существенное. В своих трудах о войне и политике, приводя слова Клаузевица о том, что война — это продолжение политики насильственными средствами, Ленин всегда подчеркивал классовый характер политики, чего буржуазный исследователь так и не смог понять.

Хочется надеяться, что эти пробелы будут устранены в последующем подобном издании, в котором необходимо согласовать указатель с Полным собранием сочинений В. И. Ленина. Было бы хорошо сделать также ссылки и на четвертое издание. Думается, что следовало бы увеличить тираж книги, ибо восьми тысяч экземпляров недостаточно даже для крупных библиотек, не говоря уже об исследователях.

**П. ДЕРЕВЯНКО,**  
кандидат исторических наук.



## НЕУСТАРЕВАЮЩИЕ МЫСЛИ

**Н. К. Крупская.** Из атеистического наследия. Сборник. Составитель Г. С. Цовьянов. «Наука». М. 1964. 307 стр.

В славной плеяде ленинцев-атеистов Н. К. Крупская занимает особое место. Еще в дореволюционные годы, занимаясь политическим просвещением рабочих, она вела и антирелигиозную пропаганду. Впоследствии Крупская писала о борьбе с религией как о деле «неотложном», деле, «для которого стоит поработать».

В годы советской власти Надежда Константиновна, работая в Народном комиссариате просвещения и возглавляя Главполитпросвет, постоянно занималась делом постановки антирелигиозной работы в школах и вузах, среди взрослого населения и среди детей.

Надежде Константиновне выпало великое счастье: почти всю свою сознательную жизнь она была рядом с Лениным. И многое из того, что она говорила и писала, было передачей мыслей Владимира Ильича. Ленин постоянно интересовался состоянием дела борьбы с религией, расспрашивал Надежду Константиновну о методах и формах антирелигиозной пропаганды, указывал, что борьба с религией должна носить глубокий пропагандистский характер, предупреждал

о недопустимости оскорбления верующих, а тем более применения административных мер.

В 1922 году во время отдыха в деревне Корзинкино В. И. Ленин, совершая прогулки по окрестностям, делился с Надеждой Константиновной своими впечатлениями о неудовлетворительной постановке дела борьбы с религией в нашей стране и сетовал на низкий идейный уровень атеистической пропаганды. «На прогулках мы толковали, — пишет Крупская, — о Древе и Синклере, о том, как поверхностно ставится у нас антирелигиозная пропаганда, сколько в ней вульгаризации, как неглубоко она увязана с естествознанием, как мало вскрываются социальные корни религии, как мало удовлетворяет она запросам рабочих, так колоссально выросшим за годы революции».

Рецензируемый сборник состоит из двух разделов. В первом помещены статьи, речи, письма, рецензии, воспоминания, причем некоторые из них публикуются впервые, а во втором — отрывки из произведений. В небольших по объему, но богатых мыслями материалах сборника освещены самые раз-

нообразные — и теоретические и практические — проблемы: о сущности религии, ее классовом содержании, о социальной роли церкви и религиозной идеологии, о путях преодоления религиозных предрассудков, о сектантстве, методах и формах научно-атеистической пропаганды, о роли искусства в борьбе с религией, о работе среди женщин, об атеистическом воспитании в школе...

Крупская умела очень хорошо убеждать. О самых серьезных и трудных проблемах она говорила просто, доходчиво и понятно. Это было результатом не только природной одаренности, но и огромной, настойчивой работы. Прежде чем говорить или писать, она досконально изучала вопрос. Чувствовалось, что она хорошо проверила свои мысли и положения практикой и опытом.

В борьбе с религией Крупская советует идти «от простого, конкретного, близкого — к сложному, отвлеченному, отдаленному». Только идя таким путем, можно разбудить сознание верующих людей, привести их к отказу от религиозных догматов в пользу знания, науки.

Крупская настойчиво проводит в своих работах ленинскую мысль о том, что основное в преодолении религии — «устранение корней религиозности масс». Известно, что после Октябрьской революции, в первые годы советской власти было немало всякого рода леваков, которые думали, что объявлением «войны против бога» можно покончить с религией. Крупская охлаждала пыл этих не в меру ретивых администраторов, доказывая, что надо прежде всего перелопачивать условия жизни людей, то есть ликвидировать старые общественные отношения и строить новые.

Надежда Константиновна была ярой сторонницей тесной связи атеистической работы с практикой социалистического строительства, с экономическими, политическими и культурными задачами, которые решают партия и народ. «Антирелигиозную пропаганду надо ставить, — писала она, — как можно конкретнее, тесно увязывая ее со всем социалистическим строительством». Она была непримиримым врагом всяких шаблонов и схем в борьбе с религией. Имея богатый жизненный опыт, Надежда Константиновна понимала, что каждый верующий верует по-своему, у каждого имеются свои как бы «корешки», на которых держатся предрассудки и суеверия. Поэтому и подход к каждому верующему должен быть

особым, индивидуальным. В одном случае верующего надо втянуть в общественную деятельность, чтобы он отошел от религии, в другом — помочь в постигшем его горе, в третьем — помочь ликвидировать неграмотность, в четвертом — позаботиться о повышении его материального благосостояния. Мы и сегодня со всей силой подчеркиваем необходимость индивидуальной работы с верующими.

Особенно много внимания уделяет Надежда Константиновна вопросам идейного содержания научно-атеистической пропаганды, ее политической направленности. Вспоминается, как однажды на заседании коллегии Наркомпроса она решительно стала возражать против ассигнования средств на проведение совместно с Союзом безбожников так называемого «комсомольского рождества». Ссылаясь она в данном случае на то, что Ленин относится к таким шумливым, поверхностным формам агитационной работы отрицательно. Впоследствии в своих воспоминаниях Надежда Константиновна писала: «К агитационным формам антирелигиозной пропаганды он относился с большой осторожностью».

Крупская видела в религии не просто обман верующих служителями культа. Религия, утверждала она, это прежде всего «самообман» трудящихся, порожденный в их сознании всей окружающей обстановкой. Больше того, она утверждала, что религия в известной степени «привлекает» угнетенные массы, ибо дает им «утешение» в их горе, в их тяжелой жизни. Это, конечно, утешение ложное, но тем не менее верующие тянутся к нему, ибо не сознают обмана религии. Религия, с точки зрения Крупской, явление сложное, это одновременно и мировоззрение, и мораль, и система определенных эмоций, и устоявшийся веками быт, и разветвленная культовая организация. В борьбе с религией надо учитывать все эти ее стороны.

Прежде всего важно распространение научных знаний, пропаганда основ естествознания и обществоведения. «Дать ученику понимание общественных явлений, — писала Надежда Константиновна в статье «Антирелигиозная пропаганда в школе взрослых», — значит вытеснить из его миропонимания бога». Особенно вредным элементом религии, подчеркивает она, является мораль. «Религиозная мораль — вот где основа нашего враждебного отношения к религии». Пропо-

ведь смирения, терпения, покорности, любви к врагам, ожидания счастья за гробом — все эти, а равно и другие моральные предписания религии вредят трудящимся в их борьбе за построение лучшей, счастливой жизни. Наша задача — не только критиковать и разоблачать религиозную мораль, но и взамен ее практически прививать людям новые, общечеловеческие, коммунистические нормы поведения.

Существенным элементом религии Крупская считает эмоции, порождаемые у верующих их религиозными представлениями. Она подчеркивает, что в усилении этих эмоций особую роль играет искусство: пение, музыка, убранство и архитектура церквей, массовые действия верующих. Надежда Константиновна горячо рекомендует в атеистической работе, особенно среди молодежи и женщин, широко использовать советское, атеистическое, жизнеутверждающее искусство. «Противостоять религиозным влияниям можно лишь, приобщив искусство к массам, сделав его максимально народным, близким массам, организуя массы на почве искусства».

Особое внимание в борьбе с религией Крупская уделяет организации быта. «Если вы зайдете в церковь,— пишет она,— то увидите, что там женщин куда больше, чем мужчин. Из мужчин больше всего стариков, а женщин много и пожилых и молодых». Следовательно, необходима решительная перестройка быта, освобождение женщин от домашних забот, от привязанности к кухне, стирке, уборке, уходу за детьми, от всего того, что порождает у женщин «недосуг» и оторванность их от коллектива, чувство одиночества. «Только широко поставленная общественная работа, в которую втягиваются самые широкие слои населения, работа, на-

правленная на благоустройство жизни, на устранение тысячи мелочей, мешающих налаживанию светлой, культурной жизни масс, только овладение ими всеми достижениями науки, техники, искусства помогут до конца изжить влияния церкви на быт».

Мы находим в книге много ценных советов по вопросу о том, как бороться с религиозными настроениями среди молодежи, как воспитывать в атеистическом духе подрастающее поколение, как превратить школу в подлинную кузницу воинствующих пролетарских атеистов. Надежда Константиновна рассматривает атеистическое воспитание ребят прежде всего как комплексную задачу, требующую участия школы, родителей, пионерских и комсомольских организаций. Она убеждает, что атеистическое воспитание следует начинать с дошкольного возраста, что к ребятам надо относиться всерьез, надо их убеждать, а не заставлять, как попугаев, повторять чужие слова. Очень важно, напоминает она, чтобы эти атеистические представления у ребят связывались с коллективными действиями, постановками, экскурсиями. Крупская подчеркивает роль печати и огромное значение трудового воспитания, которое по существу своему является «глубоко антирелигиозным воспитанием».

С тех пор как были написаны вошедшие в сборник материалы, прошло немало времени. Но тем не менее и в наши дни многое из того, что писала и говорила Крупская, продолжает оставаться живым и актуальным. Высказанные ею мысли подсказывают нам правильные пути борьбы с религией, что имеет важное значение в благородном деле воспитания нового человека — человека коммунистического общества.

Ф. ОЛЕЩУК.



## НОВЫЕ ФЛАГИ НАД АФРИКОЙ

Встреча с Африкой. Рассказ ведут: А. Аджубей, И. Беляев, Б. Бурнов, Д. Горюнов, П. Ерофеев, В. Кудрявцев, В. Маевский, В. Матвеев, П. Наумов, К. Непомнящий, П. Сатюнов, В. Снастин, Ю. Трушин, М. Харламов, Н. Хохлов, И. Чхинвишвили.  
Е. Шевелева. Политиздат. М. 1964. 376 стр.

Может быть, это не принято — начинать рецензию с личных воспоминаний... Но, перевернув последнюю страницу этой книги, я невольно перенесся мыслями к одному из августовских вечеров, проведенных мною в Леопольдвиле в 1960 году. Только что закончилась очередная пресс-конференция

первого премьер-министра конголезского правительства Патриса Лумумбы. Журналисты разъезжаются, спеша передать свежие новости в газеты.

В последнюю минуту, когда мы, двое советских журналистов, уже садимся в машину, запыхавшийся африканец подбегает

к нам: «Премьер-министр хочет продолжить пресс-конференцию. Есть новые материалы». Два француза, поляк, два советских корреспондента и человек пятнадцать конголезских журналистов — вот и все, что осталось от полуторасотенной аудитории, но Лумумба тотчас же выходит к нам. Нервными движениями он развертывает очередное послание, полученное от представителя ООН в Конго, читает вслух и тут же саркастически, с убийственной иронией комментирует:

«Только полная независимость и единство Конго — вот наш ответ. Свобода и единство всей Африки. У вас есть вопросы, господа? Благодарю вас, до свидания». — Лумумба уходит.

Это была одна из его последних пресс-конференций.

Она вспомнилась мне, ибо тогда на примере судьбы Патриса Лумумбы, его заразительного динамизма, порыва, владевшего им, удивительного мужества, проявленного в труднейших условиях, — тогда я по особому осознал глубокий, конкретный смысл ходовой фразы: «Африка пришла в движение».

Семнадцать государств континента, завоевавшие независимость за один лишь год, добрая сотня миллионов африканцев, впервые в жизни назвавших себя свободными, рваные клочья расползающихся колониальных империй, еще несколько лет назад чувствовавших себя всемогущими, — вот он, ветер перемен над древним континентом, перемен, олицетворением которых стала короткая, бурная жизнь замечательного патриота Патриса Лумумбы.

И если я вспомнил о нем, закрыв книгу «Встреча с Африкой», то это потому, что ее авторам удалось главное — передать читателю ощущение стремительности бега событий, преобразующих лицо Африки, динамичный пульс жизни молодых государств этого континента, сбросившего саван колониализма.

Книга «Встреча с Африкой», созданная коллективом советских журналистов, родилась как своеобразный итог третьей Всемирной встречи журналистов, состоявшейся на борту советского теплохода «Литва», который совершил осенью 1963 года «африканский рейс». «Мы встретились с Африкой в походе, — пишут авторы. — Мы захотели лучше понять ее прошлое, поближе познакомиться с ее настоящим — тревожным и

радостным, полным трудностей и борьбы, заглянуть в будущее возрождающегося континента... Нам помогли лучше понять заботы, нужды и чаяния Африки ее ученые и рабочие, крестьяне и студенты».

Алжир, Тунис, Александрия, полеты в Аккру и в Асуан — вот лишь некоторые «точки соприкосновения» авторов с жарким континентом, но многие из них не раз до этого бывали в Африке, подолгу жили и работали здесь, и их рассказ получился содержательным и многоплановым. Политические очерки, составляющие книгу, — именно так я определил бы их жанр, — раскрывают для читателя и прошлое Африки, и мрачные будни государств, еще не сбросивших ярмо колониального рабства, и жизнь свободных народов. Они набрасывают и картину будущего.

Но о чем бы ни писали авторы, о древней Гане или о современном Алжире, мы всегда видим, что главное в их повествовании — это борьба африканских народов за свои права, за само свое существование. Именно Африку борющуюся, Африку побеждающую избрали они главным героем своей книги, сумели показать африканца, распрямившего спину, осознавшего свои силы, по-новому смотрящего в будущее.

Книга построена так, что, читая ее, знакомишься с биографией континента, конечно неполной и фрагментарной, но очерченной в проявлениях наиболее ярких и значительных. И поэтому все главы «Встречи с Африкой», тематически и хронологически порой очень далекие друг от друга, воспринимаются как части единого целого.

Знаем ли мы историю Африки? Ведь их существует две. Одна — благообразная и чистенькая, изложенная в простейших школьных учебниках, которые издавались европейцами и которые еще совсем недавно можно было купить во многих африканских городах. Сочиненная колонизаторами, она начиналась с дней их прихода в Африку, не запачкавшись, обходила море крови, пролитой африканцами, и повествовала о том, как «дикарей» обучали и «цивилизовали» белые просветители. Пасторальные и насквозь лживые картинки.

Подлинная история Африки, до сих пор еще мало известная нам, уходит своими корнями в глубь веков, открывается перед нами во многих поразительных находках последнего времени. Величественны развалины строений в Зимбабве (Южная Роде-

зия), хранящие свою тайну. Загадочны наскальные изображения, найденные в центре Сахары. О красоте и высокой культуре свидетельствуют руины древних приморских городов. Археолог и этнограф, работающий в Кении, обнаружил останки человека, обитавшего в Африке около двух миллионов лет назад.

Подлинная история Африки, которую пытаются извратить колонизаторы,— это века ограбления континента, зверского истребления его народов. В эту деятельность внесли свою лепту миллионы белых «просветителей» и «благотетелей» от первых португальских миссионеров и Стэнли до итальянских фашистов и современных представителей западных монополий. Раздавленные сапогом колонизатора цивилизации африканцев, выжженные города, сто миллионов негров, вывезенных в рабство, полностью уничтоженные племена — такова история Африки последних веков, написанная кровью рабов, пламенем пожаров, свистом кнута надсмотрщика.

Каким же непреклонным мужеством, волей к жизни надо было обладать, чтобы, пройдя сквозь века рабства и унижения, выстоять, бороться и победить. Африка победила в этой неравной борьбе, она сама пишет свою новую историю. «Африка входит в мир океанским кораблем с новыми флагами, неизвестными в колониальных заливах и бухтах. Времена меняются», — заключают авторы одну из глав книги, посвященных истории великого континента.

Да, времена меняются. «Кто мог поверить,— говорил де Голль в сентябре 1960 года,— что Франция будет вести переговоры о будущем Алжира с повстанцами, с организацией мятежников?» Колонизаторы всех национальностей, перекачивавшие богатства Африки в сейфы западных банков, не ждали этого мощного подъема национально-освободительного движения, который потряс континент за последнее десятилетие. Они верили в прочность цепей, которыми они опутали африканские народы. Сами сочетания слов «независимый Алжир», «независимая Кения», «независимое Конго» казались им невозможными. Ныне они стали реальностью, и не только эти, а и многие другие государства добились политической независимости.

На страницах книги «Встреча с Африкой» мы находим интересный, обильно оснащенный фактами рассказ о том, как го-

товили победу и завоевывали ее народы Алжира, ОАР, Конго, Ганы. Вместе с авторами мы побывали на встречах с президентами: Алжира — Ахмедом Бен Беллой, Туниса — Хабибом Бургибой, ОАР — Гамаль Абдель Насером, на улицах африканских городов, на стройках молодых государств.

Содержательны главы книги «Алжир идет вперед», «Революция на Ниле», «Внимание: монополии!», «Конго бурлит», «Сокрушить последние бастионы!». Они дают читателю многостороннюю картину жизни отдельных государств Африки. Авторы помогают нам разобраться в нагромождении событий, сложном переплетении интересов, интриг, которые плетут колонизаторы вокруг освободившихся народов. Мы видим, как политическая зрелость африканских народов вопреки росказням тех, кому пришлось убраться из Африки, помогает в решении труднейших задач, встающих перед молодыми государствами.

Африка очень богата. Золото, алмазы, медь, уран, кобальт, уголь — чего только нет в ее недрах. По добыче ряда ископаемых она занимает первое место в мире. «Африканский пирог» — устойчивый термин в статьях западных авторов. Кто же из монополистов, паразитирующих на теле континента, захочет добровольно отказаться от своей части этого пирога? Кто захочет отказаться от миллионов прибылей, выручаемых на разработке африканских месторождений? Борьба за экономическую независимость — насущнейшая задача для молодых государств Африки, богатства которых нередко все еще находятся в руках иностранных предпринимателей.

Авторы книги «Встреча с Африкой» приводят много фактических данных о том, сколь хищнически крупные промышленные концерны Запада, такие, как «Шелл», «Файрстоун», «Юнилевер», «Данлоп раббер», «Бритиш петролеум», эксплуатируют богатства, принадлежащие африканцам. Потомки первых завоевателей «черного континента» всеми силами стремятся сохранить свои позиции в экономике развивающихся стран. «Лоуренс Аравийский, матерый шпион, прокладывавший дорогу британскому колониализму на Аравийский Восток, давно умер,— пишут авторы книги.— Но тысячи новоявленных лоуренсов — американских, английских, бельгийских, фран-

цузских, западногерманских — наводняют Африку под личинами экспертов по вопросам «помощи», республиканских бизнесменов, эмиссаров международных фондов Форда, Дюпонов, Рокфеллеров, парней из «корпуса мира». Они оснащены долларами, фунтами, франками, проповедями, взрывчаткой, обещаниями, клеветой. Прикрываясь лживыми лозунгами, они готовят африканцам новые цепи».

Африка прокладывает пути в будущее. Тяжелыми и извилистыми оказываются порой эти пути для африканских народов. Они бывают устланы минами, оставшимися от колонизаторов, подобно крестьянским полям в Алжире. На них нередко засады иностранных парашютистов, призванных поддержать режим правителя, удобного бывшим владельцам страны, как это было в Габоне. На них немало препятствий и преград, — вооруженных на деньги тех, кто хотел бы на века видеть Африку отсталой и забытой.

Но с помощью преданных друзей, с бескорыстной и многосторонней помощью Советского Союза африканские народы находят верные пути в будущее. И не удивительно, что магическое слово «социализм» все чаще и чаще слышится в Африке, приобретает власть над миллионами умов, звучит в выступлениях виднейших государственных деятелей. Наиболее дальновидные и зоркие из них осознали, что только социалистический путь развития их стран является действительной дорогой в независимое завтра, дорогой осуществления вековых чаяний африканских народов.

Советский Союз и Африка — особая тема книги. Авторы не раз возвращаются к ней, раскрывая, сколь мощной притягательной силой обладает для молодых государств континента пример первой в мире социалистической державы. Тысячи советских специалистов на стройках Африки, тысячи чернокожих студентов в наших вузах, взаимные визиты государственных деятелей, пылкий интерес ко всему советскому — многообразен характер отношений между СССР и развивающимися странами Африки. Они не имеют ничего общего с экспансионистскими устремлениями западных стран на «черном континенте», с фальшивыми колонизаторскими теориями «патер-

нализма», «бремени белого человека» и им подобными.

Говоря о характере взаимоотношений молодых государств Африки с миром социализма и странами Запада, невольно хочется сопоставить два события, хотя они и разделены почти двумя десятилетиями.

В 1945 году в Хиросиме американцами впервые было применено атомное оружие. Американская атомная бомба, взорвавшаяся над японским городом, была начинена ураном, добытым на рудниках Африки. Шахтеры-африканцы извлекли эту урановую руду из недр Конго, не зная, как будут использованы результаты их подневольного труда — на благо или же во зло человечества.

А в мае 1964 года во всем мире прозвучало эхо иного взрыва. Этот взрыв поднял в воздух перемычку Асуанской плотины, и впервые в истории Нил покатиł свои воды по руслу, указанному ему человеком. Асуанская плотина, сооружаемая с братской помощью Советского Союза, — дело рук свободного египетского народа.

Годы, отделяющие эти два события, которые непосредственно и не связаны друг с другом, — это своего рода водораздел между Африкой прошлого и Африкой будущего, между континентом, попираемым колонизаторами, и свободными народами, взявшимися за осуществление великих мирных строек на своей земле.

В заключительной главе авторы книги «Встреча с Африкой» пытаются заглянуть в будущее континента, увидеть его через несколько десятилетий. Это смелая и интересная попытка, тем более что согласно недавним прогнозам ряда западных обозревателей в Африке и к 2000 году останутся колониальные владения европейских держав. Подобные прогнозы устаревают, едва успев появиться на свет божий — ведь уже более двухсот тридцати из двухсот семидесяти миллионов африканцев сбросили оковы колониализма. И своего рода анкета о будущем Африки, где на вопросы отвечает нигерийский инженер, ганский поэт, ньясалендский публицист, тунисский художник, представляет бесспорный интерес для читателя, привлекает свежестью взгляда на вещи: ведь о будущем смелого и широко говорят те, у кого, как уверяли на Западе, нет никакого будущего.

**Ю. ГАВРИЛОВ.**

## О СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

**Вопросы организации и методики конкретно-социологических исследований. Росвузиздат. М. 1963. 208 стр.**

Самый факт появления этого сборника — свидетельство того поворота к действительности, сближения с жизнью, которое переживает вся наша общественная наука. Более того, он знаменует собой усиление интереса всего общества в целом к самопознанию, к широкому кругу современных социальных проблем.

«...Государство, — говорил Ленин, — сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно». Эти ленинские слова и сегодня звучат как программа. Мы хотим знать, что представляет собой наше общество на нынешнем этапе его развития, какие процессы протекают в нем. Тем более, что в период культа личности нередко вместо фактов нам предлагались одни цитаты.

Спрос на результаты конкретно-социологических исследований предъявляют сегодня и философ-марксист, и политик, и писатель, и хозяйственник, и просто рядовой советский человек, который хочет выработать собственный взгляд на явления окружающей его жизни и сознательно участвовать в строительстве нового мира.

Наши социологи озабочены сейчас тем, чтобы удовлетворить эту насущную потребность. Проведен ряд исследований, итоги которых частично уже опубликованы в виде статей и даже книг. Назрела необходимость обобщить накопленный опыт в области организации и методики подобных исследований. Эту цель и преследовала научно-методическая конференция (май 1961 года), материалы которой составили настоящий сборник.

«Читатель найдет здесь, — говорится во вступительной статье, — доклады о методике и организации социологических исследований, о роли статистики в этих исследованиях, анализ и критику приемов и методов эмпирических исследований в современной буржуазной социологии.

Публикуемые сообщения участников конференции освещают опыт социологических исследований, проведенных рядом кафедр общественных наук вузов и некоторыми научно-исследовательскими институтами в разных городах страны».

Хотя чуть ли не каждый из авторов сборника оговаривается, что коллектив, который он представляет, еще только развертывает свою работу в области конкретной социологии, — доклады и сообщения содержат интересный методический материал. Начинающие исследователи найдут в них немало практических советов: с чего начать социологическое исследование на заводе, как провести опрос, анкету, как поставить социологический эксперимент, как вести систематизацию и обработку полученных данных...

Известный интерес сборник может представить и для широкого читателя: во многих статьях наряду с методическими рекомендациями в той или иной степени говорится и о содержании работы социологов, затрагиваются самые принципы марксистского подхода к фактам действительности. Об этой, на наш взгляд, наиболее интересной стороне книги хотелось бы поговорить подробнее.

Прежде всего — о самом выборе тем конкретно-социологических исследований. Как явствует из материалов сборника, предметом изучения стали такие важные явления и проблемы, как подъем культурно-технического уровня советского рабочего класса, преодоление существенных различий между умственным и физическим трудом, влияние автоматизации и механизации производства на социальные изменения в нашей стране, движение за коммунистический труд, вне рабочее время трудящихся и его использование, нравственный идеал строителя коммунизма и другие.

Получены весьма интересные данные. Так, в статье Р. Ламкова «Опыт изучения вне рабочего времени» приводится таблица, показывающая бюджет времени текстильщиц в будний день. Она составлена на основе одной тысячи двадцати суточных бюджетов времени рабочих и служащих двух прядильно-ткацких фабрик города Фурманова Ивановской области. Из этой таблицы, в частности, следует, что при семичасовом рабочем дне общие трудовые затраты времени, включая время на дорогу и домашний труд, уход за собой и питание, составляют у семейной женщины почти шестнадцать часов. И хотя на сон она тратит лишь около семи часов, ее собственно сво-

бодное время, которое она может использовать на учебу, повышение квалификации, общественную работу, воспитание детей и просто отдых (кино, чтение художественной литературы и т. п.), составляет в среднем всего один час тридцать семь минут в сутки.

В этих цифрах — указание на источник многих современных проблем культуры, семьи, здравоохранения, воспитания юношества и одновременно ключ к их разрешению. Любопытные данные приводятся и в некоторых других статьях книги.

Вместе с тем нельзя не обратить внимание на некоторую односторонность тематики исследований, узость фронта конкретно-социологических работ. Из тринадцати помещенных в сборнике статей-сообщений двенадцать связано с изучением жизни промышленного рабочего, причем в девяти из них исследователи занимаются производственной, внутризаводской стороной этой жизни.

Несколько выходит за эти рамки статья Л. Когана и Р. Ивановой «Конкретно-социологическое исследование участия уральских рабочих в общественно-политической жизни»; однако научное значение этого исследования, судя по тому, как о нем рассказывается в статье, весьма невелико. Свою задачу исследователи ограничили сбором чисто цифровых сведений, которые в данном случае больше говорят о форме, нежели о существе дела. Так, они установили, например, что «в 2886 постоянных комиссиях Советов Свердловской области работает 20 тысяч депутатов и 40 тысяч активистов. Если по охране общественного порядка и социалистической законности при местных Советах в 1958 г. имелось 30 общественных комиссий, то в 1961 г. их стало уже 100». На основании таких данных авторы делают вывод о большом размахе привлечения трудящихся к активной государственной и общественно-политической деятельности.

Такой вывод может быть, и правилен, но читателю приходится верить этому на слово, ибо приведенные цифры ничего не говорят о том, насколько постоянно, активно и действительно участие в этих комиссиях рядовых рабочих и служащих, какое влияние оказывают они своей общественной работой на ход местных и общегосударственных дел. Поверхностность, готовность удовлетвориться знанием внешней, формальной стороны

исследуемых явлений видна, кстати сказать, и в некоторых других статьях книги.

Столь важный вопрос, как материальное положение трудящихся, лишь слегка затрагивается в статье П. Маслова, который с сожалением констатирует отсутствие прямых данных для суждения о том, какой закономерности подчинено распределение доходов в условиях социалистического государства, и говорит о необходимости специальных исследований в этой области. Что касается его рассуждений о низкооплачиваемых рабочих, о том, что проблема низкооплачиваемых якобы окажется сама собою снята: «время это исправит», — то они представляются мне недостаточно убедительными.

Почти совсем не тронута нашими социологами жизнь современной деревни, а в городе — таких слоев населения, как врачи, учителя, инженеры, научные и творческие работники, руководящий состав партийных, советских и хозяйственных органов, офицеры, студенты и другие.

Разумеется, всего сразу не охватишь и не следует распылять силы, тем более что, по словам автора вступительной статьи, ощущается нехватка кадров, «способных вести социологические исследования». Но, с другой стороны (и это видно по рецензируемому сборнику), усилия этих кадров далеко не всегда расходуются производительно. Стоило ли, например, научным сотрудникам Института истории предпринимать специальное исследование (о нем рассказывается в статье И. Остапенко), чтобы установить, что в числе ударников коммунистического труда на предприятиях Москвы есть и мужчины и женщины, люди различного социального происхождения, кадровые рабочие и молодежь? И какой практический смысл имеет изыскание, в результате которого удалось выяснить, что «67% участников движения (за коммунистический труд.— Ю. Б.) приобрели специальность на заводах и фабриках, а 28% — в школах ФЗУ и ремесленных училищах». Так ли уж это важно? Подобные примеры, к сожалению, не единичны.

«...Не может быть,— справедливо пишет Г. Штракс,— марксистского социологического исследования вне марксистской философии, вне диалектического и исторического материализма. Научное социологическое исследование проводится на основе общей теории и метода марксизма, а выводы такого



исследования вплетаются в его живую ткань». В сборнике нет и следа пренебрежения к теории, столь характерного для эмпирической буржуазной социологии. Скорее напротив: в отдельных случаях еще сказываются пережитки недоверия к действительности и недооценки жизненных фактов. Создается подчас впечатление, что кое-кто из авторов еще рассматривает социолога лишь

как поставщика «конкретного материала» для иллюстрации готовых положений теории.

В целом же перед нами, как уже говорилось, книга, знаменующая собой движение нашей социологии по пути подлинно научного, объективного и пристального изучения живой жизни.

Ю. БУРТИН.



## О ЯЗЫКЕ — ПОПУЛЯРНО

Е. А. Земская. Как делаются слова. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 93 стр.

А. А. Леонтьев. Возникновение и первоначальное развитие языка. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 139 стр.

Вышло так, что о «живом, как жизнь», языке широкому читателю до сих пор рассказывали преимущественно писатели. Они прослеживали «путь слова», пеклись о «судьбах родного слова», произносили «слово о словах». Но молчали языковеды — те люди, которые изучают язык, его историю, его законы, наблюдают за ним ежедневно, пишут о нем ученые статьи и книги.

И вот две популярные книжки о языке. Два языковеда первыми отважились выйти к читателю-неспециалисту с рассказом о языке, его прошлом и настоящем.

Е. Земская посвятила свою книжку образованию слов. В каждом языке образуются слова. Иначе языки не могли бы пополнять свой словарный запас (разве что только за счет заимствования друг у друга). В каждом языке существуют свои законы словообразования и свои словообразовательные средства. Книга Е. Земской рассказывает о русском словообразовании, открывает читателю-неспециалисту механизм создания слов в русском языке. Как делаются слова? Из чего? Почему так, а не иначе? Сколько способов образования слов вы знаете? Как живет слово? Что происходит с годами внутри него? Почему слова, бывшие когда-то родственными, стали совсем чужими друг другу? Чем отличается образование новых слов писателем от образования их малограмотным человеком и ребенком? Почему мы понимаем незнакомые нам слова родного языка? Какие есть «капризы» у языка при словообразовании? Когда с этими капризами надо считаться, а когда нет?

На эти вопросы книжка Е. Земской отвечает на современном научном уровне и так,

что ответы понятны и интересны читателю-неспециалисту. Обилие любопытнейших примеров, взятых из произведений писателей, поэтов, деятелей культуры XIX и XX веков, украшает и оживляет книжку. Скромные работяги русского словообразования — приставки, корни, суффиксы, окончания (и даже нулевые!), оказывается, могут творить поразительно яркие, образные слова: *высюсюкивать*, *дачникгамачник*, *ржавь*, *распрелютая* и другие.

Я хочу взять один вопрос из числа затронутых в книге. Беру его не только потому, что он сам по себе интересен, но и потому, что он неожиданно ворвался в сегодняшние споры о литературе.

Как связано слово с реальией, то есть предметом или явлением, которое оно называет? Это занимало умы людей сотни и сотни лет. Что же мы находим об этом в книжке Е. Земской? «Если вам не известно, что значат сочетания звуков, образующие слова *собака*, *лошадь*, *стена*, *дело*... и другие подобные, то вы догадаться об этом не можете. А значение производных слов определяется значением слов простых (точнее, непроединных.— Э. Х.), мотивировано им, подобно тому как свойства химических соединений зависят от свойств входящих в них элементов. Значение слов *столик* и *домик* мотивировано, определяется значением слов *стол*, *дом* и значением суффикса *-ик*, обозначающего уменьшительность...» Здесь, к сожалению, затронута лишь часть проблемы. Автор не помогает читателю освободиться от бытующего среди неспециалистов мнения, что

между словом и предметом, явлением или понятием, которые оно называет, существует необходимая связь.

Попробуем разобраться. Марксистский детерминизм утверждает, что нет такого явления, которое не имело бы условий и причины своего возникновения. Но причины бывают познанные и непознанные. Связи между предметами, явлениями могут быть необходимыми и случайными. Первые вытекают из природы, сущности предметов и явлений, а вторые — нет. Существует ли, например, необходимая связь между словом «лук» и оружием, которое так называется? Нет, не существует. Существует ли причинная связь между этим оружием и его названием? Да, существует. В основу этого названия еще в общеславянском языке было положено представление о чем-то кривом, согнутом и был использован корень лонк- (в древнерусском он стал звучать как лук-) «кривой», (ср. лука — «изгиб, извилина в течении реки», «изгиб седла», ср. «лукавый» в первичном значении — «непрямой, извилистый»)¹. Но вот почему еще в балтославянском языке этот звуковой комплекс был связан с представлением о кривизне, мы не знаем. Стало быть, наука обнажает мотивировку названия этого оружия в общеславянском, но не знает мотивировки связи между этим звуковым комплексом и представлением о кривизне в балтославянском. Но такая мотивированность, несомненно, существовала. Значит, когда говорят о мотивированности и немотивированности, имеют в виду мотивированность ясную, обнаруженную и мотивированность неясную, неоткрытую.

«Название какой-либо вещи,— писал Маркс,— не имеет ничего общего с ее природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом». Иначе и быть не может. Иначе не было бы многоязычия. Иначе не было бы развития семантики слова: не было бы переносных значений, не было бы многозначности слов. Иначе не было бы синонимии и омонимии. Иначе писатели не могли бы метафорически употреблять слова. Иначе нам пришлось бы уверовать в реальное существование бога, черта, ангела,

ла, домового, лешего.

Теперь я хочу очень бегло коснуться того, что мне представляется не совсем точным, или ясным, или удачным в этой книжке. Почему в приставке распре- (распрекрасная, распретолстая и подобные) «чувствуется народная поэтичность, фольклорность» (стр. 78), а усилительным суффиксам прилагательных -уший, -енный (страшенный, длинный) «чужд оттенок народной поэтичности» (стр. 80)? И что вообще разумеет автор под «поэтичностью» (ср. сказанное на стр. 40: «...многие из новообразований... Маяковского... подчеркнуто лишены поэтичности, нарочито грубы»)? Можно ли считать, что суффикс «включает в себя окончание», если это окончание «нулевое» (в именительном падеже) — прыгун, бегун?

Е. Земская не очень четко проводит грань между понятиями «воспроизводить слова» и «строить, образовывать слова» (стр. 19, 45, 58—59). Когда мы говорим, то обычно воспроизводим уже известные нам слова, а не создаем их заново. Строим же мы слово тогда, когда нам нужно что-то назвать, а подходящего слова нет в кладовой нашей памяти. Выделяя три типа «словбеззаконников», автор не разъясняет, чем же отличается второй тип от третьего (стр. 61—65). Есть и другие неточности у Е. Земской, однако это уже узко специальный разговор. Перейдем к книжке А. Леонтьева.

Некоторые наши языковеды соглашаются с мыслью известного швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра, что проблема происхождения языка не так важна для языкознания, как думают. А. Леонтьев придерживается как раз обратного мнения: он считает эту проблему «пробным камнем лингвистической методологии». Но важность ее не только в этом: помимо чисто научного и общеобразовательного интереса, ее решение помогает в борьбе с идеализмом, религиозными предрассудками. Книжка А. Леонтьева, написанная на основе последних достижений языкознания, антропологии, психологии, этнографии, на базе богатого научного материала, не только закрывает брешь в этом месте нашего научного популяризаторства, не только популяризирует уже известные науке факты и идеи, но и предлагает новые гипотезы, например, ги-

¹ Ср. в немецком der Bogen — лук, biegen — гнуть, нагибать, ср. в латинском arcus — лук, arcuo — изгибать, выгибать, гнуть в дугу.

потезы о возникновении «звуковысотного слуха» и отделении музыки от речи.

Как и в рассказе о книжке Е. Земской, я хочу взять один вопрос. Беру его, опять-таки руководствуясь принципом большей актуальности.

«Правда» в редакционной статье «Активно вести атенстическое воспитание» писала 2 марта 1964 года: «Сам характер коммунистического общества требует, чтобы весь народ был сознательным его созидателем, чтобы в ходе громадной преобразовательной работы советские люди навсегда избавились от таких пережитков, как частнособственнические инстинкты, националистические, религиозные и другие предрассудки». Книжка А. Леонтьева воюет с националистическими предрассудками, которые в конечном счете тоже возникают из малой осведомленности, из представлений, находящихся на весьма почтенном расстоянии от научных.

Она опровергает неверные взгляды на различные языки. «...если в одном языке,— пишет автор,— мы находим один способ выражения, а в другом — другой, эти языки нельзя сравнивать как более или менее архаичные. После того как языки с архаическими особенностями, например, меланезийские, отделились от общей массы и пошли своим путем, они не застыли, а продолжали идти дальше, и пройденный ими путь ничуть не короче, чем путь, пройденный, скажем, индоевропейскими языками». После этого автор (в разделе «О «примитивных» языках и стойких предрассудках») говорит: «...до настоящего времени существует убеждение, что один язык может быть в чем-то более совершенным, другой — менее, один — больше подходит для выражения мысли, другой — меньше.

Особенно часто встречается утверждение, что языки так называемых первобытных, нецивилизованных народов более примитивны, чем языки цивилизованных». Подробно рассмотрев аргументацию сторонников этих взглядов, автор заключает: «Все современные языки стоят на одной генетической ступени. Встречающиеся в них архаические черты всегда сочетаются с чертами, свидетельствующими о высокоразвитости. Поэтому непосредственно сопоставлять языки, утверждая, что один из них более примитивен, чем другой, неправомерно.

По данным языка нельзя судить о мышлении (автор имеет в виду сопоставление мыслительной деятельности разных народов.— Э. Х.). В частности, различие структур языков еще не говорит о различиях в самом процессе мышления». Это положение не оспаривает того общеизвестного факта, что одни языки богаче словами, чем другие. Но из богатства лексики какого-либо языка в сравнении с лексиконом другого не вытекает, что первый язык лучше второго, что народ, говорящий на первом, умнее народа, говорящего на втором, и что процесс мышления одного народа совершеннее процесса мышления другого. Современное языкознание не знает языков плохих или хороших, языков получше или похуже, языков аристократов и языков-плебеев.

К сожалению, далекие от науки взгляды на различные языки все еще бытуют у нас. Нет-нет да и промелькнет в какой-нибудь книге или статье утверждение, что один язык самый лучший в мире. Но что такое лучший, когда речь идет о структуре языка? Да еще в сопоставлении структуры одного языка со структурами других?

Белинский сурово отчитал Гоголя за «мистико-лирические выходки» в первом томе «Мертвых душ». И в частности — за скороспелые, неуважительные и неосновательные выводы о чужих языках (помните место в «Мертвых душах» об «умно-худощавом» слове немца и прочее?). Белинский писал: «Мы говорим о некоторых — к счастью, немногих, хотя, к несчастью, и резких — местах, где автор слишком легко судит о национальности чуждых племен и не слишком скромно предается мечтам о превосходстве славянского племени над ними. Мы думаем, что лучше оставлять всякому свое и, сознавая собственное достоинство, уметь уважать достоинство и в других...» Кто же из нас не подпишется под этими строчками!

Я слышу вопрос иного читателя: «А как быть после сказанного с известными словами Ломоносова о русском языке? С теми самыми, что в хрестоматии вошли? Они что, неправильны?»

В словах Ломоносова, предпосланных его «Российской грамматике», — пылкая любовь титана науки и поэта к родному языку. Но, конечно же, нельзя, неисторически толкуя эти слова, искать в них опору для поспешных ненаучных выводов о чужих языках, для признания своего языка самым лучшим в мире. Ведь Ломоносов писал в ту

пору, «когда на Руси никто не хотел верить, чтоб русский ум, русский язык могли на что-нибудь пригодиться; всякая иностранная дрянь легко шла за гениальность на святой Руси, а свое русское, хотя бы и отличное высокою даровитостью, презиралось за то только, что оно русское» (Белинский).

Предрассудки, с которыми воюет книжка А. Леонтьева,— это не просто научные ошибки. Это такие ошибки, которые мешают воспитанию подлинного патриотизма и со-

циалистического интернационализма. Вот почему их нельзя замалчивать.

Достоинства работы А. А. Леонтьева — в ее высокой содержательности, насыщенности научными сведениями, в диапазоне охвата данных разных наук, в самостоятельности авторской мысли, в боевом антирелигиозном и интернационалистическом духе. Книжка воспитывает уважение к человеку, его истории, его труду и языку.

Эр. ХАНПИРА.



## УНЫЛОЕ ПЕРО ПЕДАНТА

В. И. Чернов. *Философия и фольклор. Приволжское книжное издательство. Саратов. 1964. 152 стр.*

Когда детям задают загадку: «Что стучит без рук?» — они, отгадав ее, отвечают хором: «Гром». И всё. По наивности своей они не способны отгадать того главного, что усмотрел в этой загадке взрослый автор В. И. Чернов:

«Загадка о громе («Что стучит без рук?») свидетельствует о том, что это явление природы понимается не как результат разумной деятельности каких-то одушевленных сверхъестественных сил или существ, а просто, без всяких мистических прибавлений, как естественное природное явление. Выражение «без рук» отрицает одушевленность природных явлений и их причин. Особенно резко подчеркивает и выражает физическую, материальную природу явления вопрос «что» (стр. 77).

Все выше приведенное автор написал совершенно всерьез. Он кандидат наук и заведующий кафедрой — какие уж тут шутки!.. Так наберемся же терпения, как положено взрослым. Вдохнем побольше воздуха и...

«Глубоко убеждение в объективности и материальности мира и его явлений дает народным массам возможность поставить и решать в правильном направлении вопрос о связи и соотношении живой и неживой природы. Неживая природа рассматривается как независимое в своем существовании от жизни, первичное по отношению к ней... Эту идею прекрасно выразила пословица:

Море по рыбе не тужит.

Море (вода) представляет собой объективное и необходимое условие существования рыб. Пословица подчеркивает объективность и независимость, первичность этого условия: «не тужит», значит — не зависит. Другое дело — рыба. Если она зависит от моря (воды), то и «тужит» по нему. Не случайно положение рыбы без воды служит в поговорках синонимом безвыходного положения человека... Как рыба без воды... Итак, морю нечего тужить по рыбе, от которой оно не зависит» (стр. 78).

И таких страниц в книжке — сто пятьдесят две... В. И. Чернов отыскивает в ряде пословиц наиглубочайшую диалектику — переход одной противоположности в другую: «Раскрыв объективную связь и единство противоположностей, пословицы делают вывод о том, что познать одну из противоположностей изолированно от другой, дополняющей ее противоположности, нельзя... Горя не принять — добра не видать» (стр. 67).

Но поверит ли читатель, что к доброй цели можно прийти только через нечто ей противоположное, только путем горестно-греховным? Впрочем, в данном случае именно такая диалектика справедлива... Она-то и делает труд В. И. Чернова в высшей степени поучительным.

Какие же достоинства находит наш автор в несметном множестве пословиц, загадок, поговорок, прибауток, присказок и т. п.? Это вовсе не те достоинства, которые способны усмотреть в них лингвист, филолог, историк литературы, теоретик-

эстетик или просто человек, не лишенный чувства юмора.

Автор одним ударом убивает двух зайцев:

1. Пословица — дитя веселого народного таланта — разом теряет всю свою привлекательность и пересаживается в чуждую ему почву схоластики.

2. Подлинные философские истины ополшаются автором, утрачивают свою реальную глубину и начинают звучать как стертая банальность.

И эти-то выпотрошенные тощие трофеи предлагаются затем читателю в виде учебного труда.

Но можно ли почерпнуть из такого труда что-либо, кроме разочарования в народном юморе, да и в философских истинах?

Наши находчивые предки, оставившие нам столько мудрых пословиц и озорных прибауток, наверное, в один голос запротестовали бы, если б только были живы: стоило ли завешать неблагодарному потомку плоды изобретательности своего ума лишь ради того, чтобы тот смог притянуть их в подтверждение им же выхолощенных, доведенных до сухой и мертвой абстракции общих положений? Да разве ж творцы фольклора учили нас растекаться мыслью по древу?!

Но автор наш лишен сомнений. Отчего же и не приложить общие истины к пословицам, если это сулит успех на ученом поприще: присоединишь новую провинцию к царству Примероведения.

«...если история философии есть история материализма, то она должна включить в себя и этот материализм...» (стр. 121).

В самом деле, сведение чего угодно к сумме примеров — это ремесло известное и не однажды испробованное. Сложных концепций тут сочинять не требуется, потуг воображения не надо никаких... Делается это вот как: надо взять книгу «Пословицы русского народа» В. И. Даля, записать его же «Толковым словарем», дабы ненароком не попасть впросак, и — можно начинать операцию. Операция эта идет сама собой: еще совсем недавно сверкавшие всеми своими неповторимыми красками, сочные, непринужденно-лукавые народные иносказания вдруг неузнаваемо преобразуются. Они блекнут, теряют свои жизненные соки, весь свой аромат и смак и совершенно непоправимо скучнеют. А когда их еще и замуровывают в пространнейший контекст

комментариев и хирургическим путем извлекают из них «наиболее общий» абстрактно-букавальный смысл, — тогда они наконец окончательно превращаются в злую-презлую пародию. Умерщвленные педантизмом, они становятся бумерангом, побивающим этот самый педантизм.

Дело сделано, и автору уже не помогут никакие заклипания. Напрасно он твердит, будто «народные массы прочно убеждены» в истинности его универсальных банальностей (см. стр. 113 и многие другие). Напрасны все его пышные и громкие похвалы мудрости предков, чьи прибаутки составляют-де «крупное теоретическое завоевание народной мысли» (стр. 116). Получается просто лишнее напоминание о том, насколько он испортил то, что теперь столь усердно хвалит.

Впрочем, эта рецензия меньше всего направлена против самого автора «Философии и фольклора». Наш автор — не злоумышленник (разве что чеховский...). Он жертва той губительной методики, чьи ревнители не оставляют от философии никаких иных камней, кроме окаменевшего, в своей неодолимой наукоподобной серьезности «наиболее общего» суесловия. Поэтому он заслуживает не столько упреков, сколько сострадания.

Сколько еще на наших книжных полках такого рода литературной продукции!.. Лежит, например, передо мною созданная Е. С. Кузьминым «Система онтологических категорий» (Иркутск, 1958). И из этой очeredной системы мы узнаем: «Каждое сущее есть, прежде всего, нечто само по себе. Гносеологически мы это (именно это! — С. Г.) выразили во второй триаде конкретной определенности, которую мы теперь будем рассматривать, как основную триаду абсолютной определенности» (стр. 55).

Тут не сразу разберешь, с чем имеешь дело: с труднодоступными тайнами философского глубокомыслия, скрытыми за профессиональной терминологией, или же с напыщенным, «наиболее общим» суемудрием. Но вот автор, нигде прежде не изменявший своему стилю, вдруг все-таки спускается с онтологически-гносеологических небес на землю народной мудрости и пишет: «Взаимная зависимость между сущностью и явлением хорошо схвачена в известных русских пословицах: «Хороша ложка к обеду», «Дорого яичко к праздни-

ку» (стр. 30). Заметьте: Е. С. Кузьмин, как бдительный редактор, спешит исправить «ко Христову дню» на «невинное» «к празднику».

Теперь как-то сразу все становится на свое место — и даже для того, кто не знает, что такое «гносеологическое» и что такое «онтологическое». После этого нас не запугаешь никакими «триадами», «гептадами», «гексадами» и «гексограммами». (Истоки его гексограмм, по его собственному признанию, «лежат в основе философской системы, изложенной в древнекитайской книге «И-цзин» (стр. 31).

Даже увидев схемы вроде:



мы будем взирать на эти «триады» совершенно безбоязненно... Ибо теперь мы твердо усвоили, что в «законе двойного раздвоения» не заключается ровным счетом ничего сверх того, что заключается в таком простом и знакомом с детства: «Бабушка надвое сказала».

Но вернемся к В. И. Чернову.

В своих онтологических «обобщениях» он обходится без схем. Он лишь ставит после каждого положения двоеточие и поясняет:

- 1) причинность — тем, что «так (или: даром) и чирей не сядет» (стр. 29);
- 2) многообразие — тем, что «и дурень дурню рознь» (стр. 50);
- 3) различие — тем, что «козьи кругляши не орехи; мышиний сор не перчик» (стр. 56) и т. д. и т. п.

Если вам, дорогой читатель, уже и от одного этого стало худо, то тем полезнее будет тут же узнать, что «при хуе: худо; а без худа и того хуже» (стр. 58). А еще полезнее окажется следующий целебно-стонческий авторский комментарий к этой мудрости: «Жизнь сама полна противоречий и противоположностей. Она может быть плохой и может быть хорошей. Это тоже противоречие и противоположность: социальное противоречие и социальная противоположность. Но худая жизнь — все-таки ж и з н ь» (стр. 58).

Крайности, как уже знает читатель, сходятся или даже переходят друг в друга. И если кто-нибудь, не найдя утешения в таком переходе, станет ворчать, что, мол, «все — один черт», то и это меткое замечание окажется не лишенным глубочайшего диалектического смысла: «...Народные массы решительно выступают против игнорирования существенной однородности, единства предметов из-за их второстепенных различий... Черная собака, белая собака, а все один пес» (стр. 52). (Кстати, пес явно материалистичнее черта!)

Читателем должна быть достигнута «ступень познания, представленная пословицами «Дыма без огня не бывает»... «Даром даже чирей не вскочит»... (стр. 81). (См. авторский комментарий к упомянутому чирею на странице 29.)

Со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку — глядишь, и уже тебе «зависимость ощущений от объективных условий... совершенно ясна и понятна... Ночью все дороги гладки» (стр. 103).

А коли что не ясно, так потерпеть надо: «Мышление не дается человеку в готовом виде от рождения. Оно развивается со временем» (стр. 108).

И наконец надо же как следует уразуметь, чем можно, а чем нельзя производить, создавать, творить. Так, например, «язык не производит материальных благ: «Языком капуста не шинкуют» (стр. 115).

Каковы же подлинно творческие факторы — можно узнать, наблюдая многообразные природные превращения, всевозможные процессы.

«...эти процессы не привели людей к тому выводу, что исчезает материя. Они (процессы.— С. Г.) рассматриваются пословицами и загадками как превращения состояний, а не как гибель материи. Это — обусловленные свойствами самих веществ... и свойствами воздействующих на них факторов... превращения... но всегда превращения типа:

Девкой меньше, так бабой больше...

а не исчезновение материи» (стр. 86—87).

Так-то.

Разве не рождают все эти разъяснения чувства благодарности к автору? Тем более что в итоге мы убеждаемся, что вечно живой народный юмор поистине ничто не берет — даже скучный скальпель педанта.

С. ГОМОВ.

## ГОСПОДИН РИТТЕР ПЕРЕОДЕВАЕТСЯ

Вернер Бертольд. «...Голодать и повиноваться». Историография на службе германского империализма. Перевод с немецкого и комментарии А. А. Ахтамзяна и Л. И. Гинцберга. «Мысль». М. 1964. 296 стр.

Знаете ли вы господина Риттера, которого в Боннской республике часто называют самым актуальным немецким историком последнего десятилетия?

Не оправдывайтесь, что вы не историк по специальности. Разве надо быть юристом, к примеру, чтобы по достоинству оценить замечательный фильм Стенли Крамера «Нюрнбергский процесс», рассказывающий о суде над теми, кто олицетворял «законность» в Третьей империи?

Господин Риттер не может быть изобличен ни в прямом участии в нацистских зверствах, как некоторые высокопоставленные лица в ФРГ, ни даже в вынесении несправедливых судебных приговоров, как Яннинг и другие обвиняемые в «Нюрнбергском процессе».

Господин Риттер именуется скромным тружеником науки. Однако перед нами отнюдь не «книжный червь», который слеп и глух ко всему, кроме своих излюбленных фолиантов. Немецкий историк, по его словам (речь идет, разумеется, о его коллегах из ФРГ, прочих он в расчет не принимает), «свою постановку вопроса в значительной степени заимствует из политической жизни своего времени».

Иными словами — это образец ученых такого рода, который был блестяще охарактеризован еще Карлом Марксом. «Отныне, — писал он в послесловии ко второму изданию «Капитала», — дело шло уже не о том, правильна или неправильна та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала или вредна, удобна или неудобна, согласуется с полицейскими соображениями или нет. Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак, беспристрастные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой».

И если до сих пор мы говорили только о Риттере, да и дальше будем говорить о нем, то не потому, что придаем ему какое-либо особенное значение, но потому, что Вернеру Бертольду удалось показать в его лице определенный тип.

Несомненно, привлечет внимание читателя сам заголовок книги. Это слова самого Риттера, который в 1942 году преподавал народу побежденной Франции следующее на-

ставление: «Мы, немцы, раньше научились... тому, чему лишь теперь должны научиться наши западные соседи: народу, который хочет играть великую историческую роль, необходимо прежде всего одно — упорно трудиться, голодать и повиноваться».

Отметим поразительную скромность господина Риттера: он, аристократ духа, человек науки, не стесняется полностью отождествлять себя с народом («Мы, немцы!»), мужественно преодолевая всю свою неприязнь к нему, о которой мы еще узнаем. Больше того, он лишает себя удовольствия построить фразу в соответствии с исторической правдой. Скромность мешает ему сказать прямо: «Мы, разноименные Риттеры, убедили немцев в том, что народу...» и так далее.

В самом деле, в стране воцарялись беззаконность, политические убийства, атмосфера огромного концлагеря, а господин Риттер говорил, что потеря гражданских свобод в значительной степени компенсируется «гордым сознанием» того, что немцы принадлежат к ведущей нации и государству. Жить становилось все труднее, а господин Риттер урезонивал недовольных, что гражданам такого великого государства не подобает жить в состоянии «идиллического благодущия».

На площадях горели гигантские костры из книг. И наш историк, который уже тогда «свою постановку вопроса в значительной степени заимствовал из политической жизни своего времени», тоже не удержался от того, чтобы развести небольшой костерок в своих писаниях. Инквизитор под маской историка поволок в огонь Эразма Роттердамского, который в отличие от Риттера не желал «понять неизбежные жестокости насильственной власти государства».

«На жаргоне, заимствованном у военно-полевого суда и казармы, — гневно пишет исследователь, — он презрительно называет Эразма «безродным космополитом» и «чернильной душой».

Господин Риттер сбавил воинственный тон лишь тогда, когда заметил, что зданье третьего рейха дало глубокую трещину. Когда же оно совсем обрушилось, сметливый историк снова отдал дань времени и

внес свою лепту в то, что Вернер Бертольд ядовито называет «показной самокритикой традиционной исторической идеологии реакционной Германии». Однако особого усердия в этой работе Риттер не проявил.

А потом настали времена, когда, поощренные защитой и покровительством американских и западноевропейских империалистов, в Бонне и вовсе сбросили личину раскаяния. И видя, как непринужденно кладет ноги на стол свинья немецкого милитаризма, Риттер громко и радостно хрюкнул: «Времена перевоспитания прошли навсегда».

Знакомый голос! Сквозь профессорские интонации прорывается привычная интонация унтер-офицера, вернувшегося в родную казарму и с прежним рвением приступившего к идеологической муштре новобранцев: «Забудьте все, чему вас учили,— все эти демилитаризации и денацификации! Ваша задача — голодать и повиноваться!»

А если какой-нибудь наивный новобранец все-таки наивно допытывается у сего унтера, что же это за фашизм такой и как оно все случилось, то Риттер и тут за словом в карман не полезет.

Во всем, оказывается, виноват народ, прчшедший к власти в Веймарской республике (откуда новичку знать, что это было не так?!): по своей глупости он поверил Гитлеру и допустил его встать во главе государства. Бедным Круппам и Тиссенам ничего не оставалось делать, как санкционировать это событие. Ах, как болела у них душа, когда «на почве... радикальной, революционной демократии» (!) выросли эсэсовцы и штурмовики, когда «маленькие люди» в полной мере обнаружили и свое «низменное служебное рвение», и свою «драчливость». Что же касается благородного немецкого генералитета и офицерства, то им было так тяжело и так противно видеть Гитлера, что они с горя пошли завоевывать чужие страны (так сказать, своеобразно эмигрировали!)... Словом, вот что может выйти, если оставить народ без призора!

— А наемни вы говорили,— брякнет вдруг некий памятный слушатель,— будто воля революционного народа мифична, что она никогда не существует сама по себе — ее необходимо сначала создать, ввиду этого подлинная свобода существует

лишь для небольшой группы активистов, которые держат в своих руках инструмент общественного мнения? Почему же тогда только сам народ виноват в том, что Гитлер...

Затруднительное положение, не правда ли, господин Риттер? Слава богу, что в казарме к вашим услугам всегда есть прекрасный довод:

— Молчать! Как стоишь, скотина?

Можно даже представить себе, что перед вами — не перепуганный рекрут, а сам Вернер Бертольд. То-то, я думаю, хочется вам до него добраться!

А правда, что бы вы сделали, если бы вам дано было рассчитаться и с ним, и с другими «инакомыслящими»? Это интересно — ведь в своей сфере вы, как мы уже убедились, рельефно выражаете стремление своих хозяев!

Я вижу, что ваше лицо искажает злобная гримаса, но вы сдерживаетесь и говорите учтивым «профессорским голосом»: «Нет никакого общего правила насчет того, где следует в конкретном случае искать предел разрушения, принимаемого всякой великой борьбой сил».

Понятно: значит, никому из нас не поздоровится! Спасибо еще, что мы имеем дело с более мягкосердечным (а может, просто менее откровенным) Риттером, который не хочет нас огорчать заранее, как то делает другой риттер... то бишь его единомышленник, профессор теологии Кюннет. Последний без всяких обиняков говорит о «возможности случаев, когда необходимо применить атомное оружие, чтобы предотвратить массовое растрение душ. Даже это ужасное оружие может стать на службу любви к ближнему». Знакомая логика инквизитора, посылающего ближнего на костер ради спасения его души!

Таковы уж господа риттеры, в дурную минуту они носят ученую тогу или даже власяницу, но при благоприятствующих обстоятельствах нет для них костюма милее, чем коричневая рубашка или зловещее одеяние инквизитора.

Спасибо Вернеру Бертольду за то, что он показал нам Риттера так, чтобы мы его отныне всегда узнавали, как бы он ни вздумал переодеться.

**М. КРУТОВ.**



## ГАРМОНИЯ ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ

1

**Т**ема этих заметок, возможно, покажется на первый взгляд несколько неожиданной. Речь в них пойдет о положении женщины в нашем обществе, о женском равноправии и о том, каким видится это равноправие авторам некоторых произведений современной художественной литературы.

Может возникнуть вопрос: нужен ли такой разговор сегодня, на сорок седьмом году революции. Ведь женщина у нас пользуется всеми правами и наравне с мужчиной участвует в строительстве жизни. Далеко позади остались те времена, когда на ее долю приходились лишь «женские дела» — служение повелителю-мужчине, любовь, семья, материнство, а весь остальной мир во всем его богатстве и многообразии был для большинства женщин закрыт. После революции женщина обрела право быть человеком, то есть право мыслить, творить, строить мир, сражаться за него.

И все же разговор на эту тему кажется мне возможным и нужным. Потому что не все мы, женщины, сумели или захотели воспользоваться тем, что принадлежит нам теперь по праву.

Думается, что тут сказались разные причины: одни из них, условно говоря, — внешние, объективные, другие — внутренние, психологические.

Женщине пока еще труднее стать творцом жизни, чем мужчине. Ведь на нее до сих пор падает основная нагрузка по организации домашнего быта, по созданию нормальных условий для жизни семьи, по воспитанию детей. В тех семьях, где существует настоящее равенство, где жена и особенно муж понимают, что брак — это союз двух людей, имеющих о д и н а к о в о е право на полноценную творческую жизнь, домашние дела делятся на двоих. Но во многих, очень во многих семьях они приходится только

на долю женщины, и как бы ни хотела она порой вырваться из круга домашних дел, осуществить это очень трудно.

Владимир Ильич Ленин писал, что для того, чтобы добиться подлинного, а не формального равенства женщины, необходимо «вырвать ее из «домашнего рабства», освободить от подчинения — отупляющего и унижающего — вечной и исключительной обстановки кухни, детской...» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 193). Путь к освобождению женщины В. И. Ленин видел в создании общественного хозяйства. Программа партии как раз и предусматривает такую организацию быта советских людей, при которой он будет отнимать минимум времени и сил. Это высвободит творческую энергию женщин.

Но существует еще и психологическая сторона проблемы. Есть женщины, уверенные в том, что они созданы лишь для «женских дел», и строящие свою жизнь соответственным образом, даже если обстоятельства их не вынуждают к этому. Смысл жизни для них по-прежнему, как это было сто, двести, тысячу лет назад, заключается лишь в том, чтобы любить, быть замужем, растить детей, красиво одеваться.

И это не обязательно домашние хозяйки. Женщина может работать, но всеми своими помыслами быть в мире чисто женских дел и переживаний. И, с другой стороны, она может заниматься домашним хозяйством, но чувствовать свою причастность ко всему общечеловеческому, а ее интересы будут далеко выходить за рамки семейных дел. (Хотя, конечно, женщине, имеющей профессию, работу, гораздо легче обрести свое место в жизни, утвердить свою независимость, осознать свое «я», чем той, которая остается лишь хранительницей домашнего очага.)

Главное здесь, очевидно, в духовных возможностях женщины, в богатстве или бедности ее мироощущений, в том, насколько

полно раскрывает она свою человеческую личность, осознает свою независимость.

За годы советской власти был сделан огромный шаг вперед в осуществлении подлинного равноправия женщины, в искоренении вековых предрассудков о ее жизненном назначении. Но все же такие предрассудки существуют. Они мешают утверждению новых, подлинно коммунистических отношений между людьми. Поэтому нельзя не выступать против психологических пережитков такого рода.

И тут огромную роль играет, конечно, художественная литература.

К сожалению, не всегда наша художественная литература выступает поборницей женских прав. Есть книги, авторы которых иногда сознательно, а порой и бессознательно отдают дань предрассудкам, о которых говорилось выше. Положительные героини таких книг представляют собой этаких чеховских «душечек» современного образца. Им, понимающим творческие устремления мужей или возлюбленных, разделяющим их духовные интересы, следующим за ними повсюду, умеющим ласково и нежно снять с них все заботы и огорчения, противопоставляются отрицательные персонажи — пустые и ограниченные мещанки, не понимающие... не разделяющие... не умеющие... Нет, нет, я вовсе не хочу, чтобы жены не понимали и не разделяли.

Если человек любит кого-то (неважно кого — мужа, жену, сына, дочь, просто друга или подругу), он не может не разделять интересов любимого человека. Иначе какая же это любовь? Я хочу только, чтобы это пожелание «разделять» относилось к мужчине в такой же степени, как и к женщине. А в произведениях, о которых идет речь, оно всегда относится лишь к женщине.

А если она, что бывает, тоньше, умнее, честнее, лучше своего мужа или возлюбленного, то она либо мучается около него, либо покидает этого недостойного и находит себе другого, более достойного. Но и в том и в другом случае ее собственная личность выявляется не во всех ее многообразных связях с жизнью, а только во взаимоотношениях с мужчиной.

## 2

Многие, очень многие женщины в современных романах живут только в мире «женских дел». Даже если они названы инжене-

рами, учителями, врачами, кандидатами наук и кем угодно еще!

Что толку в том, что героиня повести провозглашена кандидатом наук, если мы ничего не узнаем о том, как она мыслит, как отстаивает свое дело, как борется за него, какие муки творчества испытывает, какие открытия делает?

Что толку в том, что Тина в романе Г. Николаевой «Битва в пути» названа инженером, если она показана преимущественно в ее любви к Бахиреву? Бахирева тоже мучают неразрешимые сложности, сопутствующие их любви, но его-то мы видим и в деле. Да еще в каком!

Тамара в романе Л. Обухова «Заноза» не домашняя хозяйка, а сотрудник радио! Но ведь мы ее почти не видим в деле. Да оно, по-видимому, Тамару и не увлекает. Тамара учится в пединституте и мечтает стать учительницей. Но ни одним словом писательница не обмолвилась о том, что у героини есть хоть какой-нибудь интерес к детям или, на худой конец, к какой-нибудь отрасли знания, к которой она хотела бы привить вкус своим будущим питомцам.

То же самое происходит с героиней романа И. Гофф «Телефон звонит по ночам». Она — кандидат филологических наук, работает в московском институте. Выйдя замуж без любви, она встречает потом своего прежнего возлюбленного и понимает, как ей плохо без него. Во время отпуска она едет к нему в Донбасс, а затем возвращается в Москву к мужу. Я не буду затрагивать любовной коллизии романа. Я хочу отметить только одно. Решая, быть ей с любимым или оставаться с мужем, Тамара думает о том, что ей не прожить без Москвы, что она не сможет покинуть мужа: она чувствует себя с ним так «защищенно. Уверенно. Как за каменной стеной». Но ей ни разу не приходит в голову мысль о ее работе.

Писательница порицает Тамару за измену своей любви (мы — тоже), но она не порицает героиню за ее отношение к своему делу, которое занимает, по-видимому, весьма несущественное место в ее жизни.

Я не за то, чтобы женщина, как это бывает иногда в плохих «производственных» романах, между двумя поцелуями рассказывала своему милому о показателях плана. И я отнюдь не против книг, повествующих о любви и даже таких, где говорится только о любви и ни о чем больше. Но коль скоро автор затрагивает разные стороны жизни

своих героев и каждый из любящих в его романе имеет свое дело, то почему один из них всегда показан в этом деле, а другая, по большей части, нет?

## 3

Книги о любви очень нужны! Особенно такие, в которых любовь строится, помимо чувственной стороны, и на уважении человека к человеку, на взаимном интересе личности к личности.

А то ведь и в повествованиях о любви женщина оказывается в неравноправном положении. Ее восхваляют иногда даже не за то, что она «душечка» (это бы еще куда ни шло), а лишь за ее женские прелести.

Смешно было бы утверждать, что женщины, чтобы стать желанной, достаточно быть умной, иметь богатый духовный мир. Любовь, как известно, чувство, не поддающееся слишком трезвому анализу. Большое значение в ней имеет взаимное тяготение, некая «телепатия», что ли. Внешние данные при этом играют далеко не мало важную роль. Но если только они — источник любви, то в чем же тогда проявляется духовная сущность человека?

Есть книги, в которых обладательницы «маленькой трепещущей груди», «красивой косы» и прочих женских прелестей выдаются на этом основании за «нашего современника, в котором живет внутренняя и внешняя гармония».

Я имею в виду в данном случае вполне конкретную книгу — роман И. Шевцова «Свет не без добрых людей», вышедший в издательстве «Московский рабочий» в 1962 году. Об этом произведении, не отвечающем, на мой взгляд, элементарным требованиям художественности, не следовало бы, может быть, и говорить. Если я это все же делаю, то только потому, что представление о назначении женщины, выраженное здесь в концентрированном виде, встречается порой и в неплохих книгах.

В романе две основные героини: вчерашняя десятиклассница Вера и бывшая актриса, а ныне секретарь партийной организации совхоза Надежда Павловна Посадова. Провалившись на экзаменах в институт, Вера едет с Посадовой в деревню, чтобы «работать и стать человеком». Это именно ее, Веру, автор устами одного из героев характеризует, как «нашего современника, в кото-

ром живет гармония внешнего и внутреннего». В совхозе Вера, по утверждению автора, становится библиотекарем. Я сказала «по утверждению автора», потому что в деле мы так ее и не увидели. Ее роль в книге сводится к тому, чтобы быть объектом любовных устремлений всех без исключения мужских персонажей романа. Впрочем, извините, есть одно исключение. Это секретарь обкома Егоров, который любовался ею «бескорыстно, как любишь в музее произведением искусства», любовался тем, как «одна коса золотистым родниковым ручьем бежала по высокой открытой шее, падала на маленькую, круглую, по-птичьи трепещущую грудь и тоже будто трепетала, игриво журча». На других мужчин игриво журчащая (!) коса и «по-птичьи трепещущая грудь» производят, очевидно, более сильное впечатление, так как все они домогаются любви Веры. Сам по себе факт такой поголовной влюбленности не вызывает особых возражений (бывают же такие очаровательные девушки, в которых все влюбляется). Смушают, так сказать, побудительные причины. Надо бы этой девушке все же в дополнение к ее женским прелестям иметь еще какие-нибудь качества, тем более что нам обещали показать «внутреннюю и внешнюю гармонию». Будь все эти влюбленные мужчины чуть поумнее и чуть потребовательнее, они сразу увидели бы, что Вера не умна, ужасающе скучна, весьма склонна к пошлости да к тому же еще легкомысленна и неразборчива.

Сначала ей понравился преподаватель литературы Сорокин, и она, надев «прозрачную нейлоновую блузку», пошла с ним гулять. Преподаватель литературы поразил бывшую десятиклассницу своей эрудицией: он рассказывал ей о мирах Галактики, об ужасах атомной войны и о совхозных делах.

Секретаря комсомольской организации Мишу Гурова Вера полюбила, можно сказать, за глаза, наслышавшись о его подвигах во время войны и о его выступлении против травопольной системы Вильямса. А познакомившись, полюбила окончательно.

Еще Веру катал летчик. Он увидел Веру, сделал четыре круга с ней на борту и успел за это время предложить ей руку, сердце, отдельную квартиру, свою заработную плату и возможность не работать. Она не согласилась, потому что он, по ее словам, показался ей «воображалой» (?). О том, что у нее уже есть любимый — Миша, она почему-то не вспомнила. И уж, конечно, ее не

оскорбили пошлые слова летчика о квартире и зарплате.

Потом Вера съездила в Москву. Московские мужчины тоже не устояли перед ее красотой. Скульптор Климов просит позировать ему, а если она не может, то хоть приехать к нему «просто так». На приглашение Климова Вера «ответила неопределенно и нерешительно, слабым, дрогнувшим голосом». Бывший муж Надежды Павловны артист Посадов говорит Вере: «Было б вам не 20, а 25 (?) или мне лет на десять меньше, был бы у нас с вами другой разговор...» Верочка и тут дрогнула: в такого можно влюбиться. «И если б не было Миши...» Но Миша был, и она устояла, только «что-то нехорошее, ревностное кольнуло Веру», когда она узнала, что другая девушка едет с Посадовым по Волге.

Жизненный путь другой героини романа — Надежды Павловны Посадовой — тоже определялся только любовными историями. В свое время ей, «соблазненной Демоном», то бишь актером, исполнявшим эту роль, пришлось по этой причине покинуть театр. Следующее знаменательное событие в ее жизни произошло во время войны в партизанском отряде, когда она там «встретила человека, который... стал отцом ее ребенка». О каких-либо подвигах отважной разведчицы Нади Посадовой во войне автор ничего не сообщает. После войны она становится секретарем парторганизации совхоза в местах, где воевала. Но и сейчас она занята не совхозными делами (о них автор говорит мимоходом), а любовными приключениями своей питомицы Веры и собственными «сложными» взаимоотношениями с «отцом ее ребенка». Секретарь обкома Егоров после войны вернулся к семье, а на долю Надежды Павловны остается ежегодный отпуск, который они с благословения жены Егорова проводят вместе — «уезжают куда-нибудь далеко-далеко».

Другие женские персонажи романа не лучше Веры и Посадовой. Все они мечтают лишь об одном — принадлежать мужчине.

Как бы автор ни тшился декларировать иное, какими бы профессиями он ни надеялся своих героинь, какими бы словами — «умная», «талантливая», «одаренная», «чистая» — он их ни называл — они у него выступают единственно в этом и ни в каком другом качестве.

## 4

Вряд ли следует выдавать за человека, «в котором живет внутренняя и внешняя гармония», женщину, которая показана только как «душечка», только как жена, только как красавица. Из этого, однако, не следует, что гармоничной личностью мне видится та женщина, которая, отбросив все «женские дела», занята лишь своим делом, лишь выявлением, так сказать, своего «я». Всякие крайности нехороши. Наглядные тому примеры есть и в жизни и в литературе. Интересен в этом смысле образ матери одного из героев романа Б. Балтера «До свиданья, мальчики» Володи Белова (от его имени ведется повествование). «Я любил, — пишет он, — рассматривать одну фотографию: она хранилась в старой папке среди бумаг. Молодая женщина в старомодном платье с пышным подолом сидела на стуле. Узкие носки белых туфель выглядывали из-под пышного подола. Я не мог насмотреться на ее руки, удивительно тонкие и нежные. Она сидела очень легко и свободно, а глаза ее смотрели на меня удивленно и весело. Эта женщина тоже была моя мама. Но такой я ее не знал».

Сын знает ее другой — неженственной, в тужурке и кеги, в носках канареечного цвета с голубой каемкой, аскетичной и суровой, замученной работой и многочисленными общественными нагрузками, не прощающей людям никаких слабостей.

Они живут с матерью в пустом и неуютном доме, где посуда мылась только тогда, «когда в буфете не оставалось ни одной чистой тарелки», и где почти всегда нечего есть.

Надежда Александровна говорит своим детям: «Я забывала детей, мужа, себя. Казните меня за это. Но прежде ответьте, во имя чего я все это делала?» Да, когда она, старая партийка и подпольщица, делала это в суровые годы революции, такой образ жизни был оправдан необходимостью. Но и после революции Надежда Александровна не изменилась. Она по-прежнему ежедневно приносит себя в жертву; требует этой жертвы и от других. Но ее отказ от всех человеческих радостей теперь никому не нужен. Ведь революция для того и делалась, чтобы дать людям счастье, включающее в себя все, чем богата жизнь — и право выбирать себе дело по душе, и красоту, и любовь, и духовное общение людей, и веелье, и комфорт. Надежда Александровна

этого не понимает. Поэтому людям порой около нее холодно и неуютно. Доброе чувство автора к своей героине, беззаветно преданной общему делу, его уважение к ней смешаны с чувством жалости, и он не выдает ее за образец для подражания.

А вот профессор Ковалева из рассказа И. Грековой «Дамский мастер» мне кажется подлинно гармоничной личностью.

Она — хозяйин и творец жизни. Мир во всем его многообразии принадлежит ей: он для нее — источник радости, и она — активный строитель его.

Она любит свое дело. «Я прожила долгую жизнь и могу авторитетно заявить: ничто, ни любовь, ни материнство — словом, ничто на свете не дает такого счастья, как эти вот минуты», — говорит она, когда ей удастся наконец решить научную задачу, «маячившую перед ней восемь лет». Но она черпает радость и из многого другого — из общения с людьми, из дружбы со своими сыновьями, из организации молодежного вечера, из слушания музыки, из чтения книг, да и мало ли из чего еще.

В то же время она женщина и ничто женское ей не чуждо. Она и на бигуди закручивает свои седеющие волосы, и сделав в парикмахерской прическу, уже не просто идет на работу, а гордо несет свою голову с прической. Она с завистью смотрит, как кружатся, кружатся пары, танцующие вальс, и так чисто по-женски мечтает иногда «пойти замуж», чтобы он был рядом, подходил и спрашивал: «Устала, родная моя? Отдохни, голубчик». Но она не считает свою жизнь пропащей оттого, что у нее нет мужа, она не пойдет замуж, лишь бы быть замужем, потому что естественные для любой женщины чувства не исчерпывают ее духовного мира.

Своим душевным богатством Марья Владимировна Ковалева щедро оделяет окружающих. Именно поэтому у нее в доме не пусто и не холодно, хотя и там порой нечего есть, хотя и там быт не устроен и не налажен. И люди от нее не отталкиваются, а, наоборот, они тянутся к ней — и ее собственные сыновья, и дамский парикмахер Виталий Плавников, и институтская молодежь.

На молодежном институтском вечере Марья Владимировна с удовольствием следит за одной из девушек, танцующей «за кавалера». «Люблю девушек, которые танцуют «за кавалера», — думает она, — с ними

можно дело иметь...» Эта как бы мимоходом высказанная мысль очень важна. Эта девушка сама себе хозяйка. Она из той же породы, что и Марья Владимировна.

Свою хорошенькую секретаршу Галю Марья Владимировна чувствует по отношению к себе «ортогональной», их проекции друг на друга равны нулю. Ей очень нравится эта девушка, «вся подобранная, вся на цыпочках, на острых игольчатых каблучках. Такую вещицу, — думает она, — мужчине, наверное, хочется взять двумя пальцами за талию и переставить с места на место». Марья Владимировна любит очаровательной девушкой и недоумевает: «Все-таки чем она, моя Галя, живет — вот что мне хотелось бы знать. Неужели то, что на поверхности, — это и все? Только бы прошел рабочий день, а там — кино, Володя, танцы, тряпочки?» Умная женщина Марья Владимировна, а перед Галиными переживаниями становится в тупик и ничем не может ей помочь — нет у нее для Гали нужных слов.

А та очень нуждается в утешении. Ее жизнь не очень-то счастливая.

Во-первых, она «для девушки уже не молодая, двадцать четвертый год», а «в нынешнее время мужчины девушку считают за молоденькую только если лет семнадцать—восемнадцать, ну двадцать, не более. И то, если одета со вкусом».

А Марья Владимировна никак не может встать на такую точку зрения, с которой есть разница между восемнадцатью и двадцатью тремя...

Во-вторых, Галя хотя «на мордочку ничего», ее ни один мужчина не любит... «Володя женатик. Он только со мной встречался, пока жена в положении была...»

Вот ведь как! Хотя бы один, хоть бы какой-нибудь полюбил. А то ведь «ни один». И опять Марье Владимировне нечем ее утешить — «ортогональность проклятая».

В-третьих, Галя полюбила Виталия, а тот ее не любит. Но если Марья Владимировна с ним поговорит, может, он ее послушается — он ее сильно уважает.

А Марье Владимировне кажется нелепой сама мысль, что можно кому-то посоветовать полюбить кого-то и тот послушается.

И хотя Марья Владимировна и Галя существуют в одном пространстве, понять друг друга они не в силах. Они говорят на разных языках.

«Ну, Галя, — скажете вы, — мешанка. Таких немного. Не типично». Допустим. Но

вот другая женщина. Марья Владимировна встречается ее в парикмахерской. Пожилая, в синеньких носочках, с большими натруженными руками. Она, по всей вероятности, не мещанка. Во всяком случае у нас нет никаких оснований считать ее таковой. Она заводит с Марьей Владимировной разговор: «Хочу шестимесячную сделать. Боюсь, муж любить не станет. Что-то он начал к одной молодой похаживать». Она спрашивает Марью Владимировну, не гуляет ли ее муж, а узнав, что у той вообще нет мужа, сочувствует: «Кому как повезет. У меня хоть и гуляет, да не пьет, а у тебя и вовсе нет. Ты все-таки не бросай, надейся. Не такая уж слишком пожилая, из себя полная».

Вот она, тысячелетиями создававшаяся рабская женская психология! Пусть пьет, пусть гуляет, пусть какой-никакой, но он должен быть. А если его нет, то ничего нет. И в этом труженица с рабочими руками и мещанка Галя равны.

Вот другие женщины. Статная, белая, с лебединой шеей клиентка парикмахерской убеждена, что если мастер принял женщину без очереди, то это потому, что «он с ей живет». Мастер Люба, увидев, что Виталий и Марья Владимировна подолгу разговаривают, заключает: «У самой дети взрослые, скоро внуки, а она — с мальчишкой». Конечно, за высказанные этими двумя особами пошлости весь женский род отвечать не может. Это уж их собственная индивидуальность так проявляется. Но она проявляется именно так еще и потому, что мысли этих женщин никогда не выходят из раз и навсегда очерченного круга представлений. Тех самых представлений, согласно которым единственный смысл жизни женщины в том, чтобы нравиться мужчине, принадлежать мужчине и так далее, и тому подобное.

Беда всех этих женщин, перед которыми Марья Владимировна робеет, когда они заняты каким-то своим женским делом, не в том, что они им заняты (иначе и быть не может), а в том, что оно, это дело, зачастую становится для них единственно важным.

И это действительно их беда! Они невероятно обедняют свою жизнь, не используют заложенные природой в каждого человека творческие возможности, лишаются своей индивидуальности, теряют внутреннюю независимость. Сосредоточив все мысли и чувства на личной жизни, они оказываются беззащитными перед житейскими бурями. Что остается им, если их личная жизнь не удастся? А ведь от этого никто не застрахован!

Не думаю также, что они, ограничив свою жизнь лишь «женскими делами», непременно выигрывают при этом как женщины — как возлюбленные, жены, матери. И возлюбленный, и муж, и тем более ребенок, внутренний мир которого формирует в значительной степени мать, получают от общения с духовно богатым, разносторонним человеком неизмеримо больше, чем от общения с женщиной, которая лишь «служит» им.

Еще не все это, возможно, понимают и чувствуют. Но когда-нибудь это будут принимать и чувствовать все.

Наша литература и должна, как мне кажется, способствовать тому, чтобы это «когда-нибудь» наступило как можно скорее, а не укреплять бытующие еще кое-где предрассудки, выражаемые иногда формулой: «женщина — друг человека».

**И. ТРАВКИНА,**

*библиотекарь Государственной публичной  
исторической библиотеки.*



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ЗА СОВЕТСКУЮ КАРЕЛИЮ. 1918—1920. Воспоминания о гражданской войне.** Карельское книжное издательство. Петрозаводск. 1963. 535 стр. Цена 80 к.

Карелия оказалась одним из первых районов, подвергшихся ранней весной 1918 года вторжению англо-франко-американских и других интервентов. В первых числах марта, прикрываясь маской защитников Мурманского края от вторжения немецких войск с территории Финляндии, интервенты начали высадку десанта в Мурманске, и основная тяжесть борьбы в зоне Мурманской железной дороги легла на небольшую, первоначально в триста шестьдесят штыков, отряд питерского рабочего И. Д. Спиридонова. Воспоминаниями командира этого отряда, покрывшего себя в боях немеркнущей славой, и открывается этот сборник. С интересом прочтут читатели также воспоминания народного героя Советской Карелии, славного сына рабочего класса Финляндии Тойво Антикайнена, Ф. И. Егорова, Б. С. Лахти и других.

Основные военные и трудовые эпизоды тех далеких, но бесконечно близких нам лет, судьбы, мысли и чувства людей раскрывают рассказы очевидцев, участников боев.

После падения Олонца и неудач советских войск на других участках фронта нависла угроза над Петрозаводском. В конце апреля 1919 года был создан оперативный орган по мобилизации всех сил в помощь Красной Армии — губревком. Все коммунисты в губернии были мобилизованы, а такие партийные организации, как Видлицкая, Олонецкая, Повенецкая, ушли на фронт в полном своем составе.

Много воспоминаний посвящено Видлицкой десантной операции, имевшей исключительно важное значение для ликвидации белофинской интервенции в южной Карелии. В воспоминаниях Ф. Ф. Машарова, И. П. Медникова, В. Н. Федотова и других восстанавливается историческая правда о подготовке и проведении операции, развенчивается легенда о якобы исключительной роли в ее осуществлении Сталина. К середине сентября наши части при активной поддержке кораблей Онежской флотилии освободили весь Заонежский полуостров и вплотную подошли к Медвежьей горе и Повенцу.

Операции под Видлицей и Лижмой в значительной степени подготовили февральское наступление наших войск 1920 года, в результате которого были освобождены Архангельск, Сорока и наконец Мурманск. К концу мая—началу июня были изгнаны с территории северной Карелии и белофинны.

В сборнике освещается героическая работа тружеников тыла. Х. Г. Дорошин, Е. А. Горш, В. М. Куджиев и другие вспоминают о кипучей, неутомимой работе, которую вели в годы гражданской войны партийные организации.

**Ю. Курсков,**

кандидат исторических наук

г. Петрозаводск.

★

**БОЕВОЙ ПУТЬ СОВЕТСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.** Воениздат. М. 1964. 622 стр. Цена 1 р. 42 к.

Героизм военных моряков, самоотверженно сражавшихся на фронтах гражданской и Великой Отечественной войн, получил всенародное признание. Славную историю советского Военно-Морского Флота систематически излагает рецензируемая книга.

В ней отражено участие военных моряков в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде, в становлении советской власти в различных районах нашей страны и в Великой Отечественной войне. Советские моряки в тесном взаимодействии с Красной Армией героически дрались с белогвардейцами и интервентами на Балтийском, Черном и Каспийском морях, под Петроградом и Архангельском, в Сибири и на Дальнем Востоке. За годы гражданской войны было сформировано более двадцати речных и озерных флотилий. На сухопутных фронтах против интервентов и белогвардейцев сражались семьдесят пять тысяч военных моряков.

После окончания гражданской войны X съезд РКП(б) постановил: «...в соответствии с общим положением и материальными ресурсами Советской республики, принять меры к возрождению и укреплению Красного военного Флота». Вместе с ростом экономического могущества страны рос и советский Военно-Морской Флот.

Рассказу о многочисленных героических делах нашего флота в суровые годы Вели-

кой Отечественной войны из двенадцати глав книги отведены семь.

В послевоенные годы, особенно за последнее десятилетие, благодаря неустанной заботе КПСС об укреплении обороноспособности страны в Военно-Морском Флоте произошли коренные изменения. На основе выдающихся достижений экономики страны, науки и техники советский флот сейчас оснащен новейшими кораблями, самолетами, техникой и оружием. Основу его боевой мощи составляют атомные ракетные подводные лодки, которые способны длительное время находиться под водой и наносить мощные удары по любым объектам агрессора. Советский флот ныне более современен, нежели флот любой капиталистической страны.

Эту книгу с интересом и пользой прочтут самые широкие круги советских читателей. И в заключение одно замечание: жаль, что в книге нет справочного аппарата — предметного, географического и именного указателей. Такие указатели необходимы.

**С. Осокин,**  
капитан 2-го ранга.

★

**Г. А. КУМАНЕВ.** Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 322 стр. Цена 1 р. 25 к.

Великая Отечественная война явилась жесточайшим испытанием всех сил советского народа и всего народнохозяйственно-го организма нашей страны.

Проанализировать, как прошли через это испытание отдельные отрасли социалистического хозяйства, чрезвычайно важно для их дальнейшего развития. Это относится, естественно, и к железнодорожному транспорту, принявшему на свои плечи ряд тяжелых и ответственных задач. Следовало справиться с невиданной в истории эвакуацией материальных средств и людей, обеспечить огромный поток воинских перевозок для фронта, бесперебойно питать промышленность в тылу страны. Советские железнодорожники с честью выдержали боевой экзамен. До сих пор этот огромный опыт не был подытожен. Как справедливо отмечается в предисловии к книге Г. А. Куманева, литература по этому вопросу состоит главным образом из небольших брошюр и газетных материалов.

Автор впервые широко анализирует эти проблемы в полном объеме. Он не только описывает события, но и проникает в суть явлений, раскрывает их природу.

Караванное и колебательное движение поездов, новые скоростные методы формирования воинских эшелонов, новаторство машинистов, путейцев, стрелочников, вагонников — все, что повысило пропускную способность наших железнодорожных маги-

стралей, нашло отражение в книге. Наряду с достижениями железнодорожников в ней показаны их ошибки и промахи в работе, при этом вскрываются причины неудач.

Особое место в книге отводится героизму железнодорожников, которые своим трудом обеспечивали боевые действия Советской Армии. Читатель найдет в ней много славных имен железнодорожников, совершавших под огнем врага, казалось бы, невозможное.

Перед нами серьезный труд, который дополняет историю Отечественной войны новыми страницами.

**М. Брагин.**

★

**В. Г. ДЕНИСОВ.** Космонавт летает... на Земле. Издательство «Машиностроение». М. 1964. 152 стр. Цена 44 к.

Советские космонавты готовятся к многомесячному пребыванию в необычных условиях космического полета. Создана сложная система разносторонних тренировок, с помощью которых увеличивается сопротивление организма вредному влиянию перегрузок, невесомости, проникающей радиации, развиваются профессиональные навыки управления сложными системами космических кораблей.

В своей книге кандидат технических наук В. Г. Денисов, опираясь на многочисленные примеры, рассказывает, какими качествами должен обладать будущий космонавт, как строится программа тренировок, на каких научных данных она базируется, какие аппараты используются.

Читатель узнает много нового из того, что имеет отношение к космическим путешествиям. Пожалуй, мало кому известно, например, что такое окулограмма или почему для контроля эмоционального состояния космонавта электроды-датчики укрепляют... на подошвах ног, что такое зйфотия или какая температура в космическом пространстве и т. д.

В книге раскрыты основы инженерной психологии космических полетов, этой молодой, только еще складывающейся отрасли науки. Рассказано о новых проектах космических кораблей, о путях решения ряда инженерно-технических проблем полета на ближайшие небесные тела и о многом другом. Мы словно проходим вместе с автором в сурдокамеру, где будущие космонавты подвергаются испытанию не только тишиной, но и внезапными слуховыми раздражителями (сирена, джаз, трещотки), световыми вспышками и т. п.

Широкий круг разнообразных проблем, связанных с освоением космоса, доходчивое изложение материала позволяют отнести книгу В. Г. Денисова к числу наиболее удачных научно-популярных изданий.

**В. Низковский.**



**И. Р. ЛАВРЕЦКИЙ.** Колонизаторы уходят — миссионеры остаются. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 162 стр. Цена 25 к.

«Я намерен восстановить деятельность религиозных миссий за рубежом... Священническая одежда защищает их и маскирует политические и коммерческие расчеты», — так откровенно и цинично выразил Наполеон свое отношение к миссионерам.

С тех пор, как сказаны эти слова, прошло сто шестьдесят лет, но и сейчас священническая одежда служит средством маскировки миссионеров — подручных империалистов-колонизаторов.

В предисловии к многотомной истории католических миссий, издаваемой в Париже, говорится, что церковь, скомпрометировавшая себя сотрудничеством с колонизаторами, должна найти «новые формы деятельности».

Книга И. Лаврецкого характеризует эти «новые формы» в Азии, Африке, Латинской Америке, разоблачает интриги и заговоры церковников в Индии, на Цейлоне, в Южном Вьетнаме, в арабских странах.

Автор оперирует множеством фактов, свидетельствующих о явной и тайной подрывной деятельности миссионеров. Он показывает, что во время войны в Алжире церковь по сути дела была соучастницей французских колонизаторов, что она поддерживала контакты с осововцами.

В Конго незадолго до гибели Патриса Лумумбы церковники издали брошюру «Наши враги», в которой призывали к расправе над конголезским патриотом. В Индии церковь поддерживала не народ Гоа, стремившийся вернуться в лоно Индии, а португальских насильников. Католические проповедники в Бомбее осыпали бранью премьер-министра Джавахарлала Неру за то, что он посмел «украсть» у Португалии Гоа!

Церковники замешаны и в прямых уголовных преступлениях. Премьер-министр Цейлона Соломон Бандаранайке был убит буддийским монахом Сомаремой, а pistolетом его снабдил, как было установлено на суде, католический священник Осси Кореа, обещавший убийце в награду прощение грехов и вечное царство небесное.

Подрывная деятельность миссионеров встречается все большее осуждение в странах Азии и Африки. «Само слово «миссионер» режет нам слух», — заявил премьер-министр Уганды Милтон Оботе.

Правительство Судана издало недавно указ о высылке всех иностранных миссионеров с юга страны, где политиканы в сутанах пытались подорвать единство государства, разжигали расовую и племенную рознь.

Обильный фактический материал, приведенный в живо написанной книге И. Лав-

рецкого, убедительно показывает, что миссионеры как были, так и остаются «черной гвардией» колониализма.

М. Попова.

★

**ВОСПОМИНАНИЯ О БОРИСЕ ГОРБАТОВЕ.** Составитель С. А. Савельев. «Советский писатель». М. 1964. 496 стр. Цена 73 к.

Тема верности, отзывчивости, честности, словно лейтмотив, связывает воедино разрозненные воспоминания шахтеров и музыкантов, полярников и писателей, всех тех, кто дружил с Борисом Горбатовым, кто знал его.

«Борис Горбатов был едва ли не самым скромным в нашей, склонной к преувеличенному представлению о месте своего творчества, среде», — утверждает Юрий Либединский. А ведь «Обыкновенная Арктика», «Письма товарищу», «Непокоренные» и многие другие книги Горбатова были широко известны уже при жизни автора! Но не одна только скромность выделяла Бориса Горбатова среди его окружения. Он был на редкость цельной натурой, человеком большой храбрости, проявившейся в годы войны, на фронте. Эти же качества отличали его и в годы трагических репрессий, необоснованного преследования и травли многих честных художников. «Борис Леонтьевич был замечательным другом. В дни, когда на меня обрушилось постановление о фильме «Большая жизнь», он поддерживал меня... В ту пору мне было запрещено снимать художественные фильмы. Но Борис Леонтьевич вопреки этому стал писать для меня сценарий фильма «Донецкие шахтеры», — вспоминал ныне покойный режиссер Леонид Луков. Не нужно объяснять, какого гражданского мужества требовало в те годы такое поведение и о каких человеческих чертах Бориса Горбатова говорит подобное проявление дружбы.

В произведениях Бориса Горбатова точно и полно выразилась человеческая сущность писателя, его творческое «лицо», его почерк. Нравственные идеалы в его книгах и моральные принципы в личной жизни нерасторжимы.

Прозой ли, стихами ли — о Борисе Горбатове вспоминают с задушевной теплотой как о близком друге тридцать пять самых разных авторов. Это — коллективный портрет цельного, чистого человека, писателя-коммуниста, жизнь и творчество которого были отданы людям, народу.

С. Коротная.

★

**ВИНЦАС КРЕВЕ.** Колдун. Рассказы и повесть. Перевод с литовского. Издательство художественной литературы. М. 1963. 375 стр. Цена 54 к.

При перечислении замечательных имен литовской литературы, создателей ее классических традиций, по справедливости нельзя обойти Винцаса Креве-Мицкявичю-

са, писателя большого таланта и сложной судьбы. Однако за пределами Литвы его мало знают: на русском языке произведения Крeve издаются впервые.

Еще в конце прошлого века, когда безземельные бедняки в чаянии лучшей доли потянулись за океан и «Америка» стала в Литве синонимом отчаянных надежд, баснословных долларов, а чаще — погибели целых семейств, литовские писатели начали изображать мытарства земляков, устремившихся в американский рай. У Крeve тоже есть рассказ «Все эта Америка, чтоб ей провалиться!». И, словно в насмешку, сам Крeve окончил свои дни в Америке, которая, по его собственным признаниям, так и осталась для него «чужбиной»...

Среди многих произведений Крeve составители этого небольшого сборника справедливо выбрали те, что наиболее характерны для его творчества. И в рассказах, и в повести «Колдун» изображена «ископная», со своими патриархальными заповедями и привычками деревенская жизнь, по видимости застойная и неподвижная, куда, однако, уже вторгся немилосердный ростовщик и прочно укоренились векселя, заклады, кабальные займы. На первый взгляд, Крeve занят крестьянской психологией «вообще», вне социальных вопросов. Но как у подлинного реалиста, психологию бедного бобыля у него не спутаешь с ухватками оборотистого, «крепкого» хозяина. Два образа, воплощающие два противоположных человеческих типа, особенно увлекали писателя. Живущий «по правилам» богобоязненный «католик» Кукис — и «мирской» пастух, забубенная головушка, «язычник» Гугис по своему отношению к жизни, мировосприятию отдаленно напоминают рационального Хоря и поэтического Калиныча. Только в отличие от тургеневских героев мужики Крeve не ладят, враждуют между собой. И как в земной жизни прирожденная мудрость и справедливость «колдуна» не раз брали верх над предусмотрительной умеренностью «хозяина», так и в «загробном путешествии» сказывается душевная щедрость и доброта Гугиса, который и давнишнего своего хулиателя втаскивает в рай вместе с собой.

Особенность писательской манеры Крeve — в слиянии народной поэтической традиции с зоркой наблюдательностью бытописателя. К тому же край, который описывает Крeve, — это Дзукия, особая область Литвы, переполненная легендами и сказаниями, с «диковатой», необычайно живописной природой. Язык Крeve впитал в себя красочную народную речь, сохранив при этом ясность и чистоту. Переводить этого писателя — дело сложное. Можно сказать, что переводчики А. Баужи и И. Капланас, особенно И. Капланас, переведивший повесть «Колдун», добились многого. Сборник, снабженный обстоятельной статьей профессора К. Корсакаса, дает представление об этом интересном писателе.

3. Куторга.

**МАТЕО АЛЕМАН.** Гусман де Альфараче. Перевод с испанского. Том I. 480 стр. Цена 77 к. Том II. 568 стр. Цена 84 к. Гослитиздат. 1963.

С 1599 до 1604 года двадцать три «законных» издания и не меньше двадцати шести «пиратских» перепечаток; переводы на английский, французский, португальский, итальянский, немецкий, голландский, даже на латинский — доказательство широкой популярности книги. «...Европа признала «Гусмана» лучшим из всех произведений, какие когда-либо появлялись в этом роде, начиная с «Золотого осла» и кончая «Ласарильо с Тормеса», — писал автор одного из многих французских переложений знаменитый Жан Шаплен.

В обработке Лесажа, приспособившего роман ко вкусам иного поколения другой страны, книга в 1804 году появилась в русском переводе. Но лишь теперь, в 1963 году, вышел первый русский перевод с подлинника.

Свободный и строгий, перевод Е. Лысенко сохраняет аромат арханки и вместе с тем остается современным. Испанский колорит воссоздается в нем исконными для русской языковой стихии средствами, и эта самобытность стиля нигде не переходит в вульгарность. Чувство меры в сочетании со смелостью и богатством — вот черты перевода, который дал новую жизнь старинному роману и его герою.

Благодаря этим чертам битый, тертый, прожженный плут, всех обманувший и всеми обманутый, попрошайка, слуга, носильщик, повараенок, игрок, ростовщик, паж, сводник — впрочем, прервем длинный перечень небольшой цитатой: «Никто не усвоил, как я, науку кошелька и кармана: я стал отличным дырочником, вертуном, скотником, подкатчиком, помрачем, а также зарекомендовал себя с лучшей стороны в качестве ответчика, старшобо на бану, лазутчика, вымогалы и плаксы», — затем галерник, купивший предательством свободу и ставший учителем нравственности, — словом, изведавший что почем пикаро — или пройдоха, бездельник, искатель легкой удачи — Гусман предстает перед нами гораздо более живым и понятным, чем можно предположить, учитывая, что мошенничал-то он в далекой Испании почти четыреста лет назад...

Если перевод дает почувствовать образ героя, то предисловие Л. Е. Пинского помогает его понять. В нем проанализирована социальная почва плутовского романа в Испании (кризис, вызванный ломкой средневековых устоев, бездарной, кастовой своекорыстной внутренней и авантюрной внешней политикой абсолютизма, которая разрушила экономику страны и создала армию бродяг). В нем раскрыты национально-исторические особенности образа («Пикаро — Испания в миниатюре, поэтому ничтожная история плутней как бы становится иноказанием о стране, ее портретом... Вместо беспристрастного бытописательского романа... страстная политическая сатира»).

История создания романа, биография его автора, тип героя, традиции жанра, ощутимые не только у Лесажа и Фильдинга, но и у Гоголя, у Ильфа и Петрова,— словом, широкий круг вопросов, возникающих в связи с творением Алемана, предстает в предисловии и комментариях как цельная, пронизанная строгим историзмом концепция.

Внутреннее единство перевода, предисловия и комментариев позволяет признать этот со вкусом оформленный двухтомник (художник М. Клячко) изданием во всех отношениях образцовым.

М. Кораллов.



**Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.** Белые ночи. Сентиментальный роман. Из воспоминаний мечтателя. Рисунки М. Добужинского. Гослитиздат. М.—Л. 1963. 82 стр. Цена 65 к.

Иллюстрировать классиков — задача трудная вдвойне: во-первых, сам материал предъявляет высокие требования к художнику; во-вторых, иллюстрируемое произведение знакомо многим читателям, у них уже успело сложиться свое — иногда очень определенное — представление о его героях, о месте действия, обстановке.

Рисунки М. Добужинского к «Белым ночам» Достоевского — это подлинная классика русской иллюстрации. Раз увиденные, они навсегда сливаются в сознании с текстом.

Среди рисунков мы не найдем портретов, «крупным планом» герои изображены всего раз. На остальных рисунках — крохотные фигурки на фоне городского пейзажа или просто пейзаж без всяких фигур. Но это отнюдь не воспринимается как недостаток, замысел художника выражен до конца.

В рисунках Добужинского изображен не просто Петербург, а именно Петербург Достоевского. Не набережные Невы, не дворцы, не памятники (как в замечательных гравюрах Остроумовой-Лебедевой), а набережные узких каналов, мрачные фасады доходных домов, поленицы дровяных складов, глухие стены — тот Петербург, в котором жили Настенька и Мечтатель. И на этом фоне еще трагичнее выглядят фигуры героев, как, например, в удивительной силы рисунке, изображающем расставанье с Настенькой.

Над иллюстрациями к «Белым ночам» Мстислав Добужинский работал в 1922 году. По свидетельству его биографа Э. Голлербаха, он в этот период увлекался особым приемом, который он называл «гратографией». Суть этого способа состоит в том, что «художник рисует на грунтованном картоне и все тонкие белые штрихи выцарапывает иглой, достигая этим такой четкости и виртуозности, которая недоступна ни перу, ни кисти». Так выполнены иллюстрации к «Белым ночам». Название, придуманное Добужинским, не привилось, но способ этот применяется и ныне.

За сорок с лишним лет иллюстрации Добужинского ничуть не устарели, их слитность с «сентиментальным романом» Достоевского стала еще более неразделимой.

В прошлом году были переизданы «Казаки» Л. Н. Толстого с иллюстрациями Е. Лансере. Это такой же замечательный подарок читателям, как и «Белые ночи» с рисунками М. Добужинского.

Хорошо бы продолжить и впредь эту традицию. В частности, давно пора издать «Медного всадника» с иллюстрациями Александра Бенуа.

В 1923 году издательство «Аквилон» выпустило «Белые ночи» тиражом в тысячу экземпляров, а для 1963 года тираж в тридцать тысяч кажется слишком малым. Число любителей и ценителей хорошей книги у нас в стране неизмеримо возросло.

Б. З.



**Э. В. ПОМЕРАНЦЕВА.** Русская народная сказка. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 129 стр. Цена 28 к.

«Когда мы произносим слова «сказка», «сказочный мир», — говорится в книге Э. В. Померанцевой, — перед нашим мысленным взором возникает особый, красивый и таинственный мир, живущий согласно своим необычным сказочным законам, мир, где действуют необыкновенные фантастические герои, где свет, добро, правда побеждают тьму, зло и ложь. Это мир, где Иван-царевич мчится по темному лесу на сером волке, где страдает обманутая Аленушка, где Василиса Прекрасная приносит от Бабы Яги палящий огонь, где отважный герой находит смерть Кощея бессмертного, — мир, который раскрылся А. С. Пушкину у Лукоморья...»

Известная советская исследовательница народного творчества написала обширную работу о русской сказке. Популярная по форме, эта работа подводит итог достижениям науки в области изучения наиболее распространенного жанра фольклора.

Здесь читатель сможет познакомиться с самыми разными видами сказки — волшебной, авантюрной, сатирической, вспомнит с детства памятные сказки о животных, задумается над пониманием самого жанра сказки и многовековым развитием его. Автор знакомит нас с теми, кому мы обязаны сохранением и развитием этого жанра — с великолепными русскими сказочниками Абрамом Новопольцевым, Анной Корольковой и другими мастерами.

«Сказка витает над жизнью и неразрывна с жизнью», — сказал в свое время историк литературы П. Н. Сакулин. Вот это замечательное сочетание реальной жизненной основы сказки с фантастической мечтой, вобравшей в себя зоркий ум народа, вековые надежды его, стремления к осуществлению мечты и справедливости, — интересно и глубоко раскрыто в книге Э. Померанцевой.

Р. Борисов.

**К. Н. ЮЗБАШЯН.** Академик Иосиф Абгарович Орбели. «Наука», М. 1964. 158 стр. Цена 40 к.

С первых же страниц этой книги перед читателем возникает образ живого и темпераментного ученого, отдавшего советской науке талант исследователя и вдохновенное мастерство организатора. Используя биографические материалы из архива ученого и обширную специальную литературу, автор намечает основные вехи богатого событиями жизненного пути И. А. Орбели.

Мы видим Иосифа Абгаровича — ближайшего сотрудника и ученика Н. Я. Марра — на раскопках средневекового армянского города Ани. В 1911—1912 и в 1916 годах он совершает исключительно плодотворные научные поездки в Турецкую Армению. После Октябрьской революции И. А. Орбели все свои силы отдает реорганизации науки. Затем — тридцатилетняя работа в Эрмитаже, участие в международных конгрессах по искусству и археологии.

Незаурядные качества Орбели — неутомимого организатора, волевого и энергичного человека, патриота и гражданина — особенно проявились в дни Великой Отечественной войны. Мы с волнением узнаем, как происходила эвакуация основных собраний Эрмитажа, как в осажденном Ленинграде по инициативе И. А. Орбели проводились научные заседания...

И. А. Орбели стал организатором и первым президентом Академии наук Армянской ССР. В пятидесятые годы он — в ряду крупнейших ученых, возглавлявших советское востоковедение.

Из книги К. Н. Юзбашяна читатель узнает не только об опубликованных работах И. А. Орбели, но и о тех трудах, которые остались в рукописях и хранятся в архиве ученого.

Диапазон познаний И. А. Орбели был исключительно широк. Известны его работы по классической филологии, археологии, армянской эпиграфике, искусству Ирана и Закавказья, по курдскому языку и фольклору... Многие лишь намеченные им линии развития науки, остроумные научные гипотезы, отдельные догадки получили дальнейшее развитие в работах его многочисленных учеников.

Выдающиеся научные труды и блестящее мастерство оратора выдвинули И. А. Орбели в число наиболее известных деятелей советской культуры. Об этом живо и увлекательно рассказано в книге К. Н. Юзбашяна. Она хорошо иллюстрирована, снабжена богатым справочным аппаратом.

Э. Русинова.

Ленинград.

★

**Л. Н. КАРЛИК.** Клод Бернар. «Наука». М. 1964. 270 стр. Цена 82 к.

Блестящий экспериментатор, один из творцов современной научной медицины, Клод Бернар — звезда первой величины не только в области физиологии, но и в мировом естествознании вообще. И хотя глав-

ное содержание жизни таких личностей прошлого, как Бернар, Ньютон, Пастер, Павлов, составляет наука, — не надо быть физиологом, математиком или микробиологом, чтобы живо заинтересоваться перипетиями личной и научной судьбы больших ученых, характером их творческой природы, их мировоззрением и ролью в мировом прогрессе. Именно для такого любознательного читателя, интересующегося движением научной мысли, написал свою книгу проф. Л. Н. Карлик.

Шаг за шагом разворачивается биография гения: деревенский юноша, сын разорившегося виноградаря, сначала аптекарский ученик, потом студент-медик, он сложным извилистым путем восходит к вершинам науки и общественного признания. Думаю, что многие читатели, как и я, испытают радостное удивление, прочитав, что те физиологические факты, о которых каждый из нас слышал еще в средней школе, факты, которые казались нам давним завоеванием науки вообще, открыты конкретной личностью и совсем не так уж давно. Это Клод Бернар в своей маленькой подвальной лаборатории дознался, какую роль в организме играет печень, какова функция поджелудочной железы, где и каким образом происходит переваривание жиров и белков. Современники недаром говорили, что «Клод Бернар — не только физиолог, но и сама физиология». Кажется изумительным, что один человек мог сделать так много: открыть связь нервной системы с кровообращением, заложить основы экспериментальной фармакологии, выявить суть диабета, создать учение об электрических явлениях в нервах и мышцах и т. д. Л. Н. Карлик охотно раскрывает перед нами «механизм» великих открытий, показывает трудности научного поиска, сообщает о «счастливых» ошибках ученого.

Проф. Л. Н. Карлик в высшей степени объективно, без ненужных прикрас рисует общественный облик своего героя. Мы узнаем и о присущей ученому двойственности по отношению к религии, и о консервативном характере его политических воззрений, которые при всем том прекрасно уживались с революционным духом бернардовских открытий в науке. Для советского читателя будет интересно узнать, что Клод Бернар способствовал публикации той работы И. М. Сеченова, где молодой русский исследователь критиковал ошибку, допущенную самим Бернаром; что ближайшим другом великого физиолога была наша соотечественница уроженка Одессы Мари Раффалович.

«Книга или работа без идеи — это тело без души, — говорил Бернар. — Но работа или книга с идеей, но без фактов — это душа без тела». Первая научная биография французского физиолога на русском языке, несомненно, относится к произведениям, которые вмещают эти оба необходимых читателю ингредиента.

Марк Поповский.

**В. СМЕРНОВ.** В мире вечного мрака. «Мысль». М. 1964. 110 стр. Цена 25 к.

Крымские пещеры известны давно, их посещали видные географы и геологи. Однако всестороннее изучение пещер в Крыму началось лишь с 1958 года, когда была организована комплексная карстовая экспедиция Академии наук УССР.

В состав экспедиции входили ученые разных специальностей: геологи, гидрогеологи, палеонтологи, зоологи. Направление работ определялось не только чисто научными интересами, но и практическими задачами, в частности очень актуальной для Крыма проблемой изыскания и использования подземных вод.

«Но спелеология — это не только наука. Это еще и спорт. Нелегкий, своеобразный, зато связанный с наукой так, как никакой другой вид спорта». И к участию в работах экспедиции привлекаются спортсмены-пещерники.

Альпинизм в темноте — так часто называют этот вид спорта. Он требует не только физической закалки, тренированности, ловкости, но и большого самообладания, упорства, воли, истинного мужества. Есть у спелеологов способ передвижения в узких каменных щелях, который называется «пресмыканием». Нередко оно чередуется с головокружительными спусками по веревочным лестницам в глубокие пропасти или по узким каменным щелям колодцев.

Зато как вознаграждается этот нелегкий труд! Великолепные подземные залы, кри-

стальной чистоты озера, интересные находки и открытия. Вот описание главного зала Скельской пещеры: «...Главный зал поражал гигантскими размерами. Со свода спускались бледно-кремовые и желтые драпировки, по стенам струились каскадные натеки, точно водопады, окаменевшие миллионы лет назад. В полутьме угадывались неясные очертания каменных колонн...»

Изо дня в день спелеологи спускаются в пещеры. Топографическая и геологическая съемка, фотографирование, сбор образцов пород, поиски захороненных костей, замеры направления трещин, проследование путей подземного стока воды, исследование подземных озер, сбор насекомых... А вечером — беседы об увиденном, споры, в процессе которых часто приходит неожиданное решение трудных «загадок».

Постоянное общение с учеными обогащает спортсменов, воспитывает в них вкус к исследовательской работе, делает их сознательными, умелыми помощниками ученых.

Одним из участников экспедиции, которая совершила много трудных спусков, был и молодой журналист, автор этой книги. Она написана живым, образным языком, снабжена рисунками (планами пройденных пещер) и фотографиями. Значительный познавательный материал — образование и формирование карстовых полостей, история их исследования, общие вопросы геологии и гидрогеологии района и т. д. — органически включается в живую ткань рассказа.

**В. Шейнман.**



#### ПОПРАВКА

В шестой книге «Нового мира» на стр. 193 в статье И. Кичановой по недосмотру пропущена строка. В начале статьи следует читать: «Сколько самых противоречивых предположений и прогнозов можно встретить ныне на страницах мировой прессы относительно путей и судеб католической церкви! Ее XXI Вселенский собор стал событием отнюдь не только церковной жизни, но и событием политическим».

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

**Наша цель — коммунизм и мир.** Пребывание советской партийно-правительственной делегации во главе с Первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председателем Совета Министров СССР товарищем Н. С. Хрущевым в Венгерской Народной Республике 31 марта—10 апреля 1964 года. Сборник материалов. 215 стр. Цена 24 к.

**О. В. Куусинен.** Речь на февральском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС. 16 стр. Цена 2 к.

**А. Аренштейн.** Юность партии. Рассказ о том, как создавалась и распространялась ленинская «Искра». 96 стр. Цена 13 к.

**А. Верхолин.** Самолеты летят к партизанам. Записки начальника штаба. 208 стр. Цена 26 к.

**Я. Гашек.** Крестный ход. Атеистические сатиры и юморески. Перевод с чешского. 296 стр. Цена 61 к.

**Г. Крамаров.** Солдат революции. О Сергее Ивановиче Гусеве. 96 стр. Цена 12 к.

**В. Краснопольский.** Фемида со свастикой. 48 стр. Цена 5 к.

**С. Ковалев, М. Кубланов.** Находки в Иудейской пустыне (Открытие в районе Мертвого моря и вопросы происхождения христианства). 112 стр. Цена 12 к.

**Р. Ковнатор.** Первые годы. 160 стр. Цена 14 к.

**О некоторых сторонах партийной жизни в Компартии Китая.** 32 стр. Цена 3 к.

**А. Приставкин.** Костры в тайге. 192 стр. Цена 24 к.

**Сердце, отданное людям.** Рассказ о жизни и деятельности Григория Ивановича Петровского. 192 стр. Цена 26 к.

**Страны Юго-Восточной Азии.** Краткий политико-экономический справочник. 208 стр. Цена 47 к.

**Съезд Коммунистической партии Германии 1963 года.** Перевод с немецкого. 214 стр. Цена 34 к.

**Ф. Харди.** Трудный путь. 256 стр. Цена 88 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ф. Алиева.** Весенний ветер. Стихи и поэма. Перевод с аварского. 92 стр. Цена 13 к.

**А. Арзуманян.** Око Бюракана. Очерки и рассказы. Перевод с армянского. 472 стр. Цена 80 к.

**А. Бадаев.** Человек идет. Стихи. Перевод с бурятского. 80 стр. Цена 11 к.

**А. Белинский.** Мост через Фонтанку. Повесть и рассказы. 228 стр. Цена 32 к.

**Ф. Вигдорова.** Любимая улица. Повесть 320 стр. Цена 58 к.

**Е. Винокуров.** Музыка. Новые стихи. 64 стр. Цена 9 к.

**И. Гордиенко.** Семья Остапа Тура. Повесть. Перевод с украинского. 200 стр. Цена 45 к.

**В. Дадимов.** Белозерский дневник. Документальная повесть. Перевод с белорусского. 160 стр. Цена 19 к.

**И. Друкер.** Музыканты. Роман. Перевод с еврейского. 284 стр. Цена 51 к.

**И. Ирошникова.** Трудное лето. Повесть. 240 стр. Цена 51 к.

**А. Карпюк.** На лесных стежках. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского. 416 стр. Цена 81 к.

**Ф. Капельгородский.** Аш хаду. Недоразумение. Повести. Шурган. Роман-хроника. Перевод с украинского. 448 стр. Цена 80 к.

**Мастерство перевода.** Сборник статей и материалов. 1963. 524 стр. Цена 1 р. 16 к.

**Н. Мацуев.** Советская художественная литература и критика. 1960—1961. Библиография. 572 стр. Цена 2 р. 31 к.

**Л. Могилевский.** Судьба идеи. Очерки. 176 стр. Цена 30 к.

**М. Найдич.** Богатство. Стихи. 80 стр. Цена 11 к.

**Ф. Наседкин.** Самое главное. Повесть и рассказы. 348 стр. Цена 60 к.

**М. Тейф.** Рукопожатие. Стихи и поэма. Перевод с еврейского. 108 стр. Цена 17 к.

**Р. Фиш.** За окном через океан. Сцены и рассуждения. 270 стр. Цена 37 к.

**П. Цыбульский.** Добрый день. Рассказы. Перевод с украинского. 304 стр. Цена 51 к.

**Человек среди людей.** Рассказы. Дневники. Очерки. 388 стр. Цена 71 к.

**В. Шкловский.** Жили-были. Воспоминания, мемуарные записки, повести о времени. 484 стр. Цена 84 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**И. Андроников.** Лермонтов. Исследования и находки. 609 стр. Цена 1 р. 63 к.

**Н. Валцаров.** Стихотворения. Перевод с болгарского. 223 стр. Цена 37 к.

**В. Варма.** Мриганаяни. Исторический роман. Перевод с хинди. 351 стр. Цена 78 к.

**Е. Водозова.** На заре жизни. Мемуарные очерки и портреты. В 2-х томах. Том I. 582 стр. Цена 1 р. Том II. 591 стр. Цена 1 р. 6 к.

**Р. Гамзатов.** Избранное в 2-х томах. Перевод с аварского. Том I. 392 стр. Цена 65 к. Том II. 312 стр. Цена 65 к.

**А. Доде.** Короли в изгнании. Роман. Перевод с французского. 432 стр. Цена 59 к.

**С. Журахович.** Вечер над Орилькой. Рассказы. Перевод с украинского. 323 стр. Цена 47 к.

**Г. Ибрагимов.** Глубокие корни. Роман. Перевод с татарского. 228 стр. Цена 52 к.

**В. Казин.** Стихотворения и поэмы. 275 стр. Цена 53 к.

**Кальки.** Шум волн. Роман. Перевод с тамильского. 496 стр. Цена 1 р. 51 к.

**Жан де Лабрюйер.** Характеры, или Нравы нынешнего века. Перевод с французского. 416 стр. Цена 69 к.

**С. Маршак.** Избранное. 328 стр. Цена 47 к.

**С. Островой.** Сегодня я думал о вас... Стихотворения и поэмы. 300 стр. Цена 56 к.

**Н. Панов.** Стихотворения. Поэмы. 239 стр. Цена 41 к.

**Ф. Силланпя.** Праведная бедность. Полная биография одного финна. Роман. Перевод с финского. 176 стр. Цена 45 к.

**И. Старцев.** Художественная литература народов СССР. В переводе на русский язык. Библиография. 1955—1959. 727 стр. Цена 1 р. 94 к.

**Т. Шевченко.** Собрание сочинений в пяти томах. Том I. 432 стр. Цена 90 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- В. Боруля.** Дни великой жизни. Очерки и рассказы о В. И. Ленине. 144 стр. Цена 21 к.
- Ю. Вайцонайте.** Стихи. Перевод с литовского. 72 стр. Цена 9 к.
- А. Кулаковский.** Встречи на расставаниях. Роман. Перевод с белорусского. 320 стр. Цена 62 к.
- К. Кулиев.** Избранная лирика. Перевод с балкарского. 32 стр. Цена 3 к.
- В. Максимов.** Жив человек. Повести. 104 стр. Цена 14 к.
- Я. Мюрдаль.** Стокгольмская история. Возвращение. Повести. Перевод со шведского. 336 стр. Цена 82 к.
- В. Носова.** Комиссаржевская. 336 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 69 к.
- Л. Образцов.** Белый налив. Рассказы. 192 стр. Цена 28 к.
- Н. Ошач.** Сорок лет в пути. 175 стр. Цена 19 к.
- А. Полещук.** Падает вверх. Научно-фантастическая повесть. 224 стр. Цена 47 к.
- Приключения.** 1964. Сборник. 287 стр. Цена 57 к.
- М. Румянцева.** Девичья фамилия. Стихи. 79 стр. Цена 11 к.
- М. Спендиарова.** Спендиаров. 206 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 49 к.
- Г. Шилович.** Школа у крепости. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского. 174 стр. Цена 27 к.
- Эврика.** Идеи. Поиски. Решения. Сборник. 352 стр. Цена 60 к.

## «НАУКА»

- Агрохимическая характеристика почв СССР.** Районы Северного Кавказа. 366 стр. Цена 2 р. 37 к.
- М. Герасимов.** Люди каменного века. 169 стр. Цена 2 р. 20 к.
- Горьковские чтения. 1961—1963.** Драма-тургия и театр. 316 стр. Цена 1 р. 3 к.
- М. Демченко.** Специализация и производительность труда в машиностроении. 416 стр. Цена 1 р. 43 к.
- В. Дьяков, И. Миллер.** Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. 448 стр. Цена 2 р.
- И. Златкин.** История Джунгарского ханства. 1635—1758. 482 стр. Цена 1 р. 50 к.
- М. Лазарев.** Курдистан и курдская проблема (90-е годы XIX века — 1917 г.). 400 стр. Цена 1 р. 55 к.
- Литературное наследство.** Том 73, кн. 1. Из парижского архива И. С. Тургенева. Незвестные произведения И. С. Тургенева. 583 стр. Цена 3 р.
- Зденек Неедлы — выдающийся общественный деятель и ученый.** 271 стр. Цена 1 р. 6 к.
- Г. Некрасов.** Русско-шведские отношения и политика великих держав в 1721—1726 гг. 278 стр. Цена 1 р. 40 к.
- Л. Павлова.** Декабрист М. Ф. Орлов. 144 стр. Цена 23 к.
- С. Пронин.** «Демократический социализм» и проблема кооперативной социализации в Англии. 208 стр. Цена 65 к.
- Рабочий класс Советской России в первый год диктатуры пролетариата.** Сборник документов и материалов. 404 стр. Цена 1 р. 60 к.
- Развитие зарубежных славянских литератур в XX веке.** 416 стр. Цена 1 р. 18 к.
- Развитие и преобразование географической среды.** 240 стр. Цена 1 р. 31 к.
- Регуляторы роста и рост растений.** 224 стр. Цена 97 к.
- Б. Рыбанов.** Первые века русской истории. 240 стр. Цена 35 к.

- Ш. Санакоев.** Великое содружество свободных и суверенных народов. 183 стр. Цена 26 к.
- Современная Япония.** Сборник статей. 295 стр. Цена 1 р. 17 к.
- Ю. Соловьев.** Очерки по истории физической химии. 343 стр. Цена 1 р. 72 к.
- Страны и народы Востока.** География, этнография, история. Выпуск III. 210 стр. Цена 1 р. 35 к.
- Светоний Гай Транквилл.** Жизнь двенадцати Цезарей. 376 стр. Цена 2 р. 10 к.
- Художественный метод и творческая индивидуальность писателя.** 244 стр. Цена 70 к.
- Н. Чирнов.** О стиле Достоевского. 159 стр. Цена 31 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- Л. Вануловская.** Сашка, моя знакомая. Повесть. 120 стр. Цена 14 к.
- Р. Гамзатов.** И звезда с звездой говорит. Новые стихи. Перевод с аварского. 144 стр. Цена 19 к.
- Б. Захава.** Мастерство актера и режиссера. 288 стр. Цена 71 к.
- Л. Корнюшин.** Девушка с полустанка. Рассказы. 104 стр. Цена 13 к.
- М. Львов.** У нас в России. Стихи. 144 стр. Цена 20 к.
- Н. Нефедов.** Мужички. Повесть. 104 стр. Цена 13 к.
- Партийно-государственный контроль в действии.** Сборник статей. 160 стр. Цена 14 к.
- В. Тычинин.** Снежная Россия. Роман. 336 стр. Цена 71 к.

## «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- К. Абжанов.** Трудовой договор по советскому праву. 192 стр. Цена 75 к.
- Е. Кленов.** Судебная защита прав рабочих и служащих при увольнении. 88 стр. Цена 13 к.
- Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик.** С изменениями и дополнениями, принятыми на третьей сессии Верховного Совета СССР шестого созыва. 32 стр. Цена 2 к.
- В. Котон.** Съезды и совещания трудящихся — форма непосредственной демократии в СССР. 104 стр. Цена 13 к.
- П. Логинов.** Решение государственного арбитража. 150 стр. Цена 48 к.
- И. Петрухин.** Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. 268 стр. Цена 99 к.
- В. Писков.** Социальное обеспечение и страхование в СССР. Сборник официальных документов. 464 стр. Цена 1 р. 11 к.
- В. Ремнев.** Право жалобы в СССР. 132 стр. Цена 17 к.

## АЗЕРНЭШР (БАКУ)

- А. Ахвердов.** Мирза Сафар. Рассказы. Перевод с азербайджанского. 74 стр. Цена 13 к.
- С. Вургун.** Знаменосец века. Читая Ленина. Поэмы. Перевод с азербайджанского. 58 стр. Цена 11 к.
- М. Дильбази.** Вспоминаю вас. Стихи. Перевод с азербайджанского. 51 стр. Цена 8 к.

## ЭСТГОСИЗДАТ (ТАЛЛИН)

- О. Лутс.** Весна. Картинки из школьной жизни. Перевод с эстонского. 382 стр. Цена 69 к.
- М. Метсанурк.** На реке Юмере. Роман. Перевод с эстонского. 398 стр. Цена 67 к.

## САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ МАРШАК

Сейчас, когда мы еще привычно думаем о нем, как о живом, и можем в любую минуту заставить себя услышать его глуховатый и напористый голос, увидеть его улыбку, вспомнить силу рукопожатия,— трудно выбрать слова, которые бы верно оценили подвиг жизни Маршака — полвека талантливо, страстно, с рыцарской честностью служившего отечественной литературе.

Мы знаем Маршака как поэта, драматурга, переводчика, критика, детского писателя, редактора и собирателя литературных сил — короче сказать, как одного из тех людей, которые незаметно становятся как бы центрами притяжения в культуре своего времени. К ним стремится все талантливое и жизнеспособное, от них ждет совета, ободрения и поддержки. С именами таких людей связано обычно множество замыслов, начинаний в различных областях искусства, заметно влияющих на современный им уровень культуры и оставляющих свой след по их смерти.

Один из старейших советских писателей, сподвижник великого Горького, Маршак служит живым воплощением связи традиций классического реализма с новаторством литературы социалистического общества. Верность традиции была для него не преемственностью застывших форм: в великих творениях прошлого он находил то живое и теплое человеческое содержание, которое во все времена составляло душу искусства. Именно поэтому, при всей внешней традиционности своего стиха, он был нов и современен и в переводах Шекспира и Бернса, и в стихах для детей, и в своей строгой и умной лирике.

Маршаку было органически присуще острое чувство времени — его движения, перемен, ощущение нынешнего дня и ушедших эпох истории, умение связывать концы и начала, угадывать в прошлом грядущее. Автор злободневных сатирических стихов, особенно памятных нам по годам войны, он был вместе с тем создателем философской лирики, по своей нравственной требовательности и интеллектуальной культуре отвечающей нашему представлению об облике человека нового, коммунистического склада.

Вместе со всей советской литературой скорбя о смерти выдающегося писателя, «Новый мир» горько переживает эту утрату. В течение многих лет Самуил Яковлевич Маршак не только постоянно печатался в журнале, но, можно сказать, принимал ближайшее участие во всей его деятельности.

На страницах «Нового мира» не раз печатались в переводах Маршака стихи Р. Бернса, составившие позднее известную книгу, переводы из Г. Гейне, В. Блейка, латышских поэтов, Джанни Родари. «Новый мир» опубликовал его автобиографическую повесть «В начале жизни». Лучшие лирические стихи последних лет и эпиграммы поэта также печатались в нашем журнале. Читатели не раз могли встретить имя



Маршака в разделе «Дневник писателя», под литературно-критическими статьями, заметками о мастерстве.

Редакция «Нового мира» в свое время выдвинула на соискание Ленинской премии книгу Маршака «Избранная лирика», значительная часть которой была впервые опубликована на наших страницах, и вместе с Самуилом Яковлевичем мы переживали радость заслуженного присуждения ему этой высокой награды.

Еще в процессе работы над своими произведениями Самуил Яковлевич любил знакомить нас с ними, вводил во все подробности своих замыслов, внимательно выслушивал любые суждения и замечания. Великий труженик в литературе, он никогда не выпускал рукопись из своих рук, прежде чем не выверял ее многократно — наедине с самим собой и в кругу доброжелательных слушателей. А получив корректуру, тщательно считывал ее до самой малой запятой, вновь прикидывал на слух каждое слово. До последних дней его отличала поразительная работоспособность и самое истовое, святое отношение к писательскому труду.

Всего лишь за две недели до смерти, уже едва видя написанный собственной рукою текст, он читал нам новые свои стихи, делился замыслами, среди которых были — и завершение оригинальной книги «Лирические эпиграммы», и статья о Шекспире, и заметки о поэтическом мастерстве, обращенные к литературной молодежи.

Маршак был подлинным другом журнала, мы не раз в нашей работе пользовались его мудрыми советами и рекомендациями, основанными на долгом литературном опыте и безошибочном художественном чутье. Многие стихи, поэмы и повести, прежде чем появиться на страницах «Нового мира», читались в квартире Маршака на улице Чкалова. Так, еще в рукописи была прочитана Самуилом Яковлевичем первая повесть Солженицына, о которой он позднее написал замечательную статью, опубликованную в «Правде».

Интерес к жизни, ко всему новому в литературе — широкий, жадный, ненасытный — это, может быть, главная черта Маршака-человека и Маршака-художника, каким он навсегда сохранится в нашей памяти.

Редколлегия и редакционный коллектив «Нового мира» разделяют с бесчисленными читателями Маршака глубокую скорбь над свежей могилой выдающегося советского поэта, многолетнего нашего сотрудника, близкого товарища и старшего друга.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 5-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6. пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 5/VI 1964 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 25/VII 1964 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup> мм. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)  
А 05362 Зак. 1212. Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

## НОВЫЕ ТОМА «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА»

### «ИЗ ПАРИЖСКОГО АРХИВА И. С. ТУРГЕНЕВА»

Так назван очередной том «Литературного наследства», выпускаемый издательством «Наука».

Впервые публикуются неизвестные рассказы Тургенева («Русский немец и реформатор», предназначавшийся автором для «Записок охотника», но не появившийся по цензурным причинам, начало рассказа «Степан Семенович Дубков и мои с ним разговоры» и др.); его драматические произведения (либретто трех комических оперетт, комедия-фарс «Ночь в гостинице Большого Кабана» и др.); статьи о Пушкине, Лермонтове и Гоголе, о художнике Верещагине, а также считавшееся утраченным авторское предисловие к роману «Отцы и дети»; последний дневник Тургенева; неизданная переписка.

Особый раздел тома отведен материалам «Игры в портреты», которая занимала Тургенева и его друзей более двадцати лет. Эта творческая игра, изобретенная самим Тургеневым, представлена двумя сотнями его рисунков и сопровождающими их словесными очерками-характеристиками, принадлежащими перу Тургенева и Полины Виардо. Это по существу двести впервые публикуемых небольших новелл, замечательных по остроумию и изяществу стиля.

Том состоит из двух книг, выходящих одновременно. В томе свыше 1100 страниц, 400 иллюстраций.

Цена двух книг — 6 руб.

Вышли в свет:

### «ГОРЬКИЙ И СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ. НЕИЗДАННАЯ ПЕРЕПИСКА».

1963. 706 стр. 171 иллюстрация. Цена 3 руб.

В томе помещено более 260 неизданных писем Горького к Афиногенову, Бабелю, Зощенко, Леонову, Пастернаку, Пришвину, Алексею Толстому, Федину и многим другим, а также 300 ответных писем советских писателей. Переписка дает необыкновенно живую, многостороннюю картину литературной жизни 20—30-х годов.

### «ВАСИЛИЙ СЛЕПЦОВ. НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ».

1963. 548 стр. 106 иллюстраций. Цена 3 р. 07 к.

Здесь печатаются неизвестные произведения писателя, на протяжении ста лет остававшиеся скрытыми в секретном архиве III Отделения. Они в новом свете рисуют жизнь и творчество одного из интереснейших русских писателей середины XIX века. «Несправедливо забытый писатель», — говорил Толстой о Слепцове, а Горький называл его «крупным, оригинальным талантом».

Книги продаются в магазинах книготоргов и «Академкнига». Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу: Москва, Центр, Б. Черкасский пер., 2/10, магазин «Книга-почтой» конторы «Академкнига», или в ближайший магазин «Академкнига».

«АКАДЕМКНИГА»